

НОВЫЙ
МИР

5



1967

511

НОВЫЙ МИР

1967

ИГ(О)ВЪИ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIII

№ 5

Май, 1967 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
Н. Н. МИХАЙЛОВ — Путешествие к себе	3
С. ЗАЛЫГИН — Соленая Падь, роман. Продолжение	22
БАГРАТ ШИНКУБА — Кольчуга. Из поэмы. Перевела с абхазского Римма Казакова	90
А. ПЕРЕДРЕЕВ — Околица родная, что случилось?.. Стихотворение	94
И. ФОНЯКОВ — В дом приду, стихотворение	95
ЕФИМ ДОРОШ — Размышления в Загорске	96
Н. МЕЛЬНИКОВ — Одним человеком меньше. Из записок корреспондента	121
БЕЛЬГИЙСКИЕ РАССКАЗЫ — Вард Рейслинк. Любители конины. Перевела с фламандского Е. Макарова.— Иос Ванделоо. Шутка. Перевел с фламандского В. Островский	135
ЛУИС СЕРНУДА — Стихи разных лет. Перевели с испанского Морис Ваксмахер и М. Самаев	178
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
И. ОСИПОВ — Маршруты искателей	184
ПУБЛИЦИСТИКА	
А. КИРЮХИН — Земля и вода	204
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Ф. СВЕТОВ — О молодом герое	218
АНАР — «Большое бремя — понимать»	233

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	245
Мих. Байтальский. Реки не текут вспять — Э. Кузьмина. Испытание смехом.— В. Кардин. Дневник очеркиста.— Я. Гордин. Гипотезы и факты.— Л. Зонина. Миф, именуемый комиссар Мэгре.	
<i>Политика и наука</i>	259
В. Логинов. «...Вождь исключительно благодаря своему интеллекту».— Ю. Ефремов. Лицо страны.— В. Смолин. В защиту истины.— А. Некрич. Историк, публицист, борец.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	278
КОРОТКО О КНИГАХ — Г. Уткин. Штурм «Восточного вала». Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра.— Они — участники великой войны.— Грант Матевосян. Мы и наши горы. Оранжевый табун.— М. Демин. Мирская тропа.— Письма славы и бессмертия. 1905—1920 годы.— Александр Дейч. Голос памяти. Театральные впечатления и встречи.— А. Шалимов. На пороге великих тайн.— Г. К. Иванов. Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года).— В. Я. Френкель. Яков Ильич Френкель.— Владимир Жуковский. Песня, спетая один раз.— Нижегородские пионеры советской радиотехники	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Н. Н. МИХАЙЛОВ

★

ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕБЕ

Как и всякому человеку в годах, мне, конечно, очень бы хотелось быть моложе, чем я есть. И все же, если бы судьба чудесным образом предоставила мне право самому выбрать год рождения, я бы не изменил той даты, которую избрала она.

Ко дню Октябрьской революции я достиг двенадцати лет. Если бы мне было меньше, я не помнил бы старой России, не видел того уровня, от которого страна росла пятьдесят советских лет. Если бы мне было больше, я не мог бы считать, что вся моя сознательная жизнь прилась на эти великие и трудные полвека.

Говорю я это, разумеется, вовсе не потому, что моя личная судьба может иметь какое-то значение. Просто я хотел бы выразить чувства моего поколения. Страна прошла путь от отсталости до могущества на наших глазах.

Если говорить о себе, то именно в этом основа профессиональных интересов у меня как литератора. Всю жизнь стараюсь я уловить и передать читателю новое на карте.

Когда Советской стране приблизился круглый срок — полвека, — я написал в завершение долголетних своих работ по изучению и изображению страны довольно большую научно-художественную книгу, в которой попытался дать картину изменений в облике СССР и всех его республик, в его пейзаже. Книга называется «По стопам исполина», она уже подготовлена к печати.

Долго думал, как эту книгу построить. Решил написать ее как книгу-путешествие вдоль и поперек всего Советского Союза: от самой западной точки на Балтийском море — у Калининграда, в середине Европы, до острова Ратманова — самой восточной точки в Беринговом проливе, между материками Азии и Америки. И от Северного полюса до Кушки — самой южной точки СССР — в глубине Азии, на границе с Афганистаном. Словом, я задумал повести читателя шаг за шагом по самой большой стране земного шара, исколесить с ним шестую часть света.

Это не только путешествие в пространстве, но и путешествие во времени, потому что страна наша меняется не только от места к месту, но и от года к году.

Уже идет год пятидесятый. Началась новая пятилетка. Вот уже собирается Четвертый съезд писателей.

На трех писательских съездах я был. От съезда к съезду росла наша литература, обогащалась ее тема, оставаясь, в сущности, все той же: преобразование нашей жизни, страны, советского человека. Те же требования, но возвеличенные временем, поднятые на новый уровень, прозвучат и на Четвертом съезде.

Вместе с другими литераторами я обязан был в меру своих сил рассказать о том, как продолжало изменяться лицо родной страны. Я знал, что страна огромна, а мои знания ограничены. Тема величественна, а слова мои недостаточно сильны. Изменения продолжают и нарастают — за ними невозможно угнаться... Но попытку я сделал.

Главное, что было необходимо для этой книги,— во множестве мест побывать. Побывать раньше и теперь.

Самое большое желание моей жизни — видеть Землю, видеть самому. Еще давно, в годы юности, мечтал я стать путешественником. Но я видел лишь Москву, где родился, да небольшой подмосковный городок, в котором прошла часть моего детства.

От заставы того городка вдоль дороги за холмы, за поля уходила цепь телеграфных столбов. Их белые фарфоровые стаканчики держали проволоку, по которой можно было разговаривать с другими городами. Столбы чем дальше, тем становились короче и тоньше, пока не исчезали совсем.

Но я знал, что все они одинакового роста и в точности похожи друг на друга. Обнимешь, бывало, рукой телеграфный столб, и кажется, что цепочка столбов уносит тебя за тысячи верст. Ведь такой же столб стоит сейчас где-нибудь в узком ущелье, или на высоком горном перевале, или среди песчаной пустыни. Припав ухом к деревянному столбу, нагретому солнцем, слушал я, как жужжат, звенят, поют струны проводов,— и до меня доносился шум далеких улиц, гул водопадов, рев океана, вой ветра в горах.

Запыленные поезда с именами городов на белых табличках с грохотом проносились мимо железнодорожного полустанка, увлекая за собой мою мечту...

Немало лет прошло с тех пор.

Сначала, в студенческие годы, я отдал дань романтическим блужданиям по ледникам и вершинам неисследованного Памира, неразгаданного Тянь-Шаня. А потом понял, что не в тех местах, не среди заоблачных скал творится история, не там решается судьба родного народа. Нас потянули домны Магнитки, шахты Донбасса, краны Днепрогэса, оросительные каналы Ферганы.

Мне удалось за свою жизнь объехать почти весь Советский Союз. Эти поездки, эти постоянные порывы увидеть, как народ трудом своим наносит новые и новые черты на лицо страны,— они и дали мне смелость к попытке взяться за такую книгу.

Во многие места пришлось съездить заново. Пришлось добираться до каждой из крайних точек СССР на западе, на севере, на юге, на востоке — того требовал сюжет.

Каждой главе книги я предпослал вступления, которые в какой-то мере носят дневниковый характер,— краткие слова о том, когда и как я в данном месте был. Что я увидел сегодня и что я вспомнил.

Вот эти выбранные из рукописи страницы.

* * *

Крайняя западная точка. ...На катере с пограничниками я пересек Калининградский залив по направлению к песчаной косе. Он показался мне не частью Балтики, а лесным озером: кругозор со всех сторон замыкался бархоткой сосен.

За спиной вставали заводские дымы Калининграда.

В городе этом теперь веет Атлантическим океаном. В «Калининградской правде» ежедневно сообщают: такой-то траулер рыбачит у берегов Дагомеи, такой-то из Мексиканского залива заходит в Гавану: ведь читатели по большей части — родственники моряков. В столовой

подают уху из рыбы с диковинным названием «мороя» или «луфарь», в магазинах продают мясо кальмаров — по вкусу что-то среднее между крабом и индейкой. Обычный сюжет для местных художников-декораторов — пингвин.

Какими красивыми, ни с чем не сравнимыми кажутся мне эти пограничные косы на нашем Янтарном берегу!

Здесь рыбаки ловят и коптят угрей — редчайшее лакомство. И по странному совпадению именно на змееподобного угря похожи длинные, тонкие, плавно изогнутые полосы песка, что отделяют Калининградский и Куршский заливы от открытой Балтики. Да и заливы, «гафы», напоминают рыболовную снасть — большую вершу с отверстием необычайно узким.

С шипением киль катера врезался в береговую отмель. Мы выпрыгнули и под скрип чаек, чуть не по колена увязая в сыпучем песке, стали карабкаться на крутую дюну.

Громоздились голые горы песка, как барханы в Каракумах, — с полосатой рябью, с редкими пучками песчаного овса, с птичьими следами, вышитыми крестиком. Но чаще холмы покрыты лесом: то сосновый бор, то низкорослый березняк, иногда осина, еще реже рябина. Раньше дюны двигались, погребая жилье, теперь их почти все закрепили — не без труда. Ах, если бы не туристы со своими кострами! В одно из воскресений, когда я был на косе в Ниде, лесная охрана погасила двадцать шесть пожаров. Сейчас Куршская коса стала заповедной.

Сосны, как одна, наклонились в сторону залива — от суровых морских ветров. Весь лес нагнулся. Кажется, деревья бегут. А то всмотришься — и вдруг почудится, что сам утратил устойчивость: может быть, лес стоит прямо, но ты покачнулся, потерял равновесие? Голова закружилась от крепкого запаха хвои?

На сосновой коре серо-зеленые космы лишайника. Земля пружинит сухими иглами. Гудят вершины, чуть колыша гнезда красноногих аистов. Кукует кукушка. Вверх по стволу взвилась белка. Промелькнула косуля.

Взбираюсь к гребню дюн. Дюны на этих косах — самые высокие в Европе, до шестидесяти восьми метров: немногим меньше Ивана Великого.

Песок мелкий, мельчайший — как в песочных часах. В песке еле видные золотые частицы — наверно, янтарь.

С гребня открывается широчайший вид: в километре впереди — бескрайнее море с белой шумящей полосой прибоя, в километре сзади — спокойный замкнутый залив. А налево и направо среди вод на десятки километров зыблется узкая зеленая лента косы.

На гребне — резкий удар балтийского ветра. Желтая поземка: песчинки быстро струятся, бьют по ногам. Черные лаковые ботинки за каких-нибудь полчаса здесь становятся серыми, шершавыми. Край гребня дымится.

На косе — красно-зеленый столб в полоску. Он обозначает самую западную точку моей родины.

Я оглянулся на восток: страна лежит там вся, целиком, необозримым массивом — до самой Аляски.

* * *

...У пограничных кос начинается Прибалтика.

Прежнюю Прибалтику я не видел. Когда она входила в Россию, я был мал, а между двумя войнами она почти все время находилась за чертой границы. Название пограничной станции Себеж звучало в моей юности как символ чужого, неизвестного мира; почтовые марки

Литвы и Латвии были в альбоме приклеены где-то рядом с Люксембургом и Либерией.

И все же в детское сознание эта государственная разобщенность как-то не укладывалась. Я знал стихи Демьяна Бедного:

Любые фланги обеспечены,
Когда на флангах — латыши!

Я знал, что на латышей можно положиться, потому что латышские стрелки громили Деникина под Кромами и Врангеля под Перекопом, охраняли Ленина и Кремль...

Дело для меня разъяснилось позже. А Прибалтику своими глазами я увидел уже после воссоединения.

Готовясь написать раздел о прибалтийских республиках, я объехал их все, и не раз: Эстонию с ее розовым вереском, Латвию с ее вековыми дубами, Литву с ее пахучими клумбами руты. Я видел старый-новый Таллин, где антибиотики можно купить в аптеке 1422 года и где современнейшие здания кварталов Мустамяэ дерзостно встроены в сосны. Видел старую-новую Ригу, где средневековый замок с круглыми башнями из доломитовых глыб стал Дворцом пионеров, а древний Домский собор — концертным залом, и где построенные здешним заводом скоростные электропоезда трогаются с места, полного стакана воды не расплескав. Старый-новый Вильнюс, где сохранился дом с третьим ложным этажом для защиты от горящих стрел и где теперь с новых заводов идут станки, электросварочные агрегаты, электросчетчики, электронно-счетные машины, телевизионные узлы. Старую-новую Нарву, где после войны из трех тысяч пятисот пятидесяти домов оставалось только сто одиннадцать и где теперь электростанция на сланцах почти перекрывает мощность всего плана ГОЭЛРО.

* * *

...Прибалтику я раньше не видел и потому о ней не писал. Но вот Кавказ — он особенно дорог мне потому, что ему была посвящена первая, юношеская моя литературная работа: в конце двадцатых годов, совершив пешее путешествие в самой глубине Кавказских гор, я написал очерк «Карачай» и опубликовал его в журнале.

Приступив к главе о Кавказе для книги, я отыскал старый журнал и посмотрел: а что писал тогда?

Неумело, с ложными красотами... Но одно я отметил: прошло много лет, а цель моей жизненной работы, оказывается, не изменилась. И в первом своем очерке я пытался, как пытаюсь сейчас, показать изменение лица своей страны.

Карачай — это несколько долин на северном склоне Кавказского хребта, где живет небольшой горный народ — карачаевцы. К тому времени Карачай стал самостоятельной, автономной областью.

Отсталость хозяйственная и отсталость культурная еще сильно сковывала тот край. Я писал: «сильны пережитки старины»; «до сих пор сохранились остатки кровной мести»; «женщина вполне подчинена мужу»; «муж ехал на лошади, а рядом с ним жена тащила на себе тяжелую ношу...»

Но уже были и ростки нового: «пастухи строят свой первый город»; «все дети ходят в школу»; «в каждом ауле вы найдете врача или фельдшера».

Уступая благодушной безвкусице, я что-то писал там о «седине вечных снегов...». Седина — как это было наивно. До Карачая докатился.

лизнул его обжигающим пламенем фронт, грянуло над карачаевским народом несчастье.

...Что до причесок —
по косынкам девичьим
рано, ах, рано прошла седина!

Меньше пятнадцати лет назад — никогда этого не забуду — я видел у склонов Эльбруса, под Бермамытом, пустые карачаевские аулы: распахнутые сакли, иссякшие арыки, оставленные могилы предков, репейник на крышах.

А сейчас? Сейчас я нарочно туда, в Карачаево-Черкесию, съездил. Новый город Карачаевск в горной долине. Над домами города — большой серый куб педагогического института. Заводы, дающие масло, сыр, мебель, машины. Угольные копи, свинцово-цинковые рудники, добыча барита и сурика, стройка медного комбината. Первые в стране горные молокопроводы из полиэтиленовых труб. Альпинистские лагеря на Домбайской поляне...

В Союзе писателей пять секций: карачаевская, черкесская, абазинская, ногайская и русская. Газеты областные издаются на пяти языках: «Ленинское знамя» на русском, «Красный Карачай» на карачаевском, «Черкесская правда» на черкесском, «Свет коммунизма» на абазинском, «По ленинскому пути» на ногайском. И радио говорит на пяти языках. Конечно, из горянок вышли врачи, учителя, инженеры...

Как сохранили вы это блистание,
Девушки, после беды-испытания? ¹

Строфы созданы Халимат Байрамуковой — она карачаевка.

Чтобы писать о современном Кавказе, нужно его видеть. Нужно восхититься тем, что по проценту людей с высшим образованием Грузия стоит едва ли не на первом месте в мире. Что бакинцы-нефтяники стали еще и моряками-судостроителями — строят буровые суда, эстакаду на Нефтяных Камнях протянули посреди Каспийского моря более чем на двести километров. Что осетинский артист Тхапсаев — один из лучших Отелло. Что студенты университетов мира изучают физику звезд по книге Амбарцумяна. Что щупальца чаеуборочной машины «Сакартвело» не менее чутки, чем кончики человеческих пальцев. Что в Ереване, прекрасном городе, сложенном из розового туфа и серого базальта, сейчас докторов и кандидатов наук больше, чем раньше было рабочих. Впрочем, заводских труб в сегодняшнем Ереване слишком много; довольно нам перегружать индустрией столицы, пора рассредоточить ее в небольших городах.

Чтобы писать о Кавказе, надо испытать радость, поднимаясь над хвойными глубинами Баксанского ущелья среди белых пиков в висячем кресле на лыжную гору Чегет. И надо испытать горечь, взирая на обмелевшие берега Севана. Все это я прошел.

Вода Севана сыграла свою роль: Армения стала энергохимической, по количеству электричества на человека обогнала Францию, Италию, Японию, но всего этого можно было достичь разумнее и бережливее. Неужели урок Севана не научит нас, как надо обращаться с Байкалом?..

* * *

...Хачатур Абовян писал в «Ранах Армении»: «Возлюбленной сестре моей Волге отнесу я и передам благопожелания моего родного Севана». К Волге я и перейду.

¹ Перевод Новеллы Матвеевой.

Я видел старую Волгу и видел новую. Не верится, что она успела так измениться меньше чем за одну человеческую жизнь.

Бывало, плывешь по Волге на пароходе — матрос то и дело принимается измерять глубину, тычет в дно шестом, как бы не оказаться на мели, кричит:

— Под табак!

А сейчас на Волге построен уже целый каскад гидростанций, достраивают седьмую. И самая большая река Европы превратилась в цепь глубоких и широких, медленно текущих озер. Пожалуй, эту переделку земного шара можно заметить и с другой планеты.

В двадцатых годах я был в Нижнем Новгороде, видел обветшавшие, запыленные корпуса Сормова — и был недавно в Горьком, где обновленное «Красное Сормово» выпускает суда на крыльях и на воздушной подушке. Помню Ярославль без моторов, без синтетического каучука, без шин, без современной полиграфии. Городок Плёс — живописным угольем для художников, а сейчас оттуда идет канал и там стоят насосы, которые поднимают волжскую воду на пятьдесят метров и гонят в Иваново. Помню, как под Тверью, нынешним Калинином, на месте широкого Московского моря вилась Волга узкой речкой. Не забыл время, когда соборную колокольню Калязина еще не омывали волжские воды. Я видел ужасающие руины Сталинграда — в этом городе сейчас более семисот тысяч жителей.

Я видел, как в 1950 году начиналось в тех местах строительство гидростанции — там поток Волги достигает наибольшей силы. Геологи брали пробы грунта на месте будущей плотины. Меня перевезли в катере на левый берег и сказали:

— Здесь будет город.

А передо мной простиралось пустое ровное поле с одинокой ветряной мельницей. Не было еще даже барака, хотя на берегу высилась гора матрацев, уже привезенных для строителей, которые скоро должны были сюда явиться.

И вот гидростанция уже построена, можно сказать давно построена, потому что Братская успела ее перегнать, перегоняют Красноярская и Нурекская...

Киловатт-час, вырабатываемый на станции у Волгограда, в десять раз дешевле коробки спичек. По плотине идут поезда и бегут автомобили. Машинный зал по кубатуре равен огромному зданию Московского университета на Ленинских горах. А рядом с гидростанцией, где на пустом месте лежали матрацы будущих строителей и где я прохаживался по пахучей пыльной полыни, стоит белый город Волжский — с заводами, парком, зимним плавательным бассейном, с Дворцом культуры, почему-то напомнившим мне Парфенон: на Акрополе тоже сухие травинки, как здесь полынь.

В начале пятилеток я сделал первую попытку рассказать в книге о том, как меняется лицо страны. Но сразу столкнулся с трудностью. Тема эта такова, что, коснувшись ее, нельзя в конце рассказа поставить точку.

Трудно осилить глазом и словом громадные пространства страны, но еще труднее поспеть за быстрым бегом жизни.

Мои книги устаревали прежде, чем успевали выйти из типографии. Они требовали постоянных обновлений. И я с пером в руках старался догонять время.

И не следовало обижаться — ведь именно невиданно быструю изменимость я и пытался показать! В такое положение едва ли попадал еще какой-нибудь автор на свете.

Особенно это видно на примере Волги.

В 1934 году я писал: «Москва-река дала имя великому городу, но она не может дать ему достаточно воды. Столица шестой части мира стоит на берегах обмелевшей речки... Скоро география будет исправлена... Часть Волги у деревни Ивановково повернется на юг, к Москве».

Через два года, в 1936 году, жизнь заставила внести исправление в текст: «Москва-река дала имя великому городу, но она не может дать ему достаточно воды... Канал уже строится. Скоро он будет готов».

Через одиннадцать лет, в 1947 году, в книге «Над картой Родины» я писал уже иначе: «Москва-река дала имя великому городу, но она не могла дать ему достаточно воды... Теперь эта несообразность устранена... Через холмистую Клинско-Дмитровскую гряду к Москве перекачано девять миллиардов кубометров воды».

Но к этому времени тема перedelки Волги расширилась, и я написал: «Встает огромная задача реконструкции всей Волги... Цепь гидростанций, колоссальный энергетический центр, поливное, не знающее недородов земледелие, глубоководный путь... Но в целом это дело будущего».

Через два года снова пришлось писать по-другому. Страна опять ушла вперед, работы на Волге продвинулись далеко. Слова о реконструкции Волги как огромной задаче повторяются, но концовка в тексте уже с другим оттенком. Вместо слов: «Но в целом это дело будущего», сказано: «Но в полном завершении это дело будущего».

В книгу 1954 года жизнь вносит новые дополнения. Изменяется вся трактовка вопросов, связанных с Волгой.

Уже нет в новой книге слов: «Встает огромная задача реконструкции Волги». Нет слов: «Это дело будущего». Написано иначе: «Еще вчера мы говорили: «Проблема реконструкции Волги». Сегодня — какая же это «проблема»? Конечно, не все еще в этом сложнейшем деле изучено, но главное уже предрешено. Остается довести дело до конца».

И даются штрихи будущего, среди них такой: «Волга подойдет к домам Казани, которая сейчас стоит в шести километрах от берега». Помню, мне пришлось в Казани подняться на высокую кремлевскую башню Сюмбеки, чтобы вдаль увидеть Волгу.

Но сегодня, в 1967 году, и так писать уже не годится. По меньшей мере надо будущую форму глагола менять на настоящую и даже прошедшую.

Недавно я был в Казани. Город стоит уже не в шести километрах от Волги, как раньше, а на самом берегу — на берегу обширного водохранилища, которое образовалось после того, как на Волге появилась гидростанция у Куйбышева. С трепетом смотрел я, как широчайшее море плещется возле самого Казанского кремля, у подножья башни Сюмбеки.

Смотрел с радостным трепетом, а в глубине точила забота: «Опять надо писать по-новому, опять надо исправлять, переписывать текст...»

Только зря мы слишком уж восторгаемся «рукодельными морями»; они — необходимость, и дорогостоящая: крадут у нас землю, заливают пашню, губят лес, скрывают руды, заставляют тратиться на перенос городов. Обидно, что, достигая хорошего, мы не всегда умеем при этом избегать плохого. Улучшили водный путь Волги, но загрязнили его сточными водами и нефтью, нанесли вред рыболовству и теперь вынуждены прилагать усилия, чтобы с этим справиться.

* * *

...По-новому приходится также писать об Украине, о Белоруссии, о Молдавии.

Я только что пересек Украину трижды: через Донбасс, по Днепру и вдоль Карпатских гор. Многие из увиденного существовало и раньше, полвека назад, — богатая земля под пирамидальными тополями. Но многого раньше и не было. Не было дважды.

Не было в 1917 году: все это создала революция.

Не было в 1945 году: уничтожил Гитлер.

За время войны семьсот городов и городских поселков Украины сгорело. Третья часть населения осталась без крова. Каждый десятый человек погиб.

На Украине я думал об этом, потому что видел стройку и видел руины.

Видел: строили Днепрогэс — для нашего поколения это как первая любовь. Потом я приехал на пуск завода ферросплавов; по пустырю вышел к берегу, пересек реку по уже готовой плотине. Слышал, как внизу, в поднятых окнах, ревел Днепр. В тихом помещении пульта на мраморных досках светились цветные лампочки. Спокойно сидел дежурный инженер — вся эта могучая сила была в его руках. При отступлении наши саперы взорвали плотину Днепрогэса — что было у них на душе? Сейчас мощность Днепрогэса больше, чем до войны. Она еще увеличится вдвое с лишним: создадут Днепрогэс II — установят дополнительные агрегаты в левобережной части плотины.

Я жил или просто бывал во всех городах Крыма, исходил его пешком. Первое мое юношеское путешествие было, конечно, путешествием по Крыму.

Бывало, приезжаешь в Севастополь — белые дома сверкают под ярким солнцем на фоне синего моря... И пирамидальные тополя на перроне вокзала, у самого вагона, встречают тебя, как старые-старые друзья.

И, помню, приехал в Севастополь вскоре после изгнания врага. Любимый наш Севастополь, что с тобой сделали? Белый город над синим морем — он стал серым. Оголенный, бесформенный известняк. Стены без крыш, пустые дыры окон, горы щебня. Над круглым зданием Севастопольской панорамы — решето стропил. Бронзовые фигуры солдат севастопольской обороны насквозь пробиты осколками. С улиц сквозь рухнувшие дома просвечивает бухта. Обнажены лестничные клетки. Выворочены рельсы трамвая. Люди ютятся в подвалах. Посреди Приморского бульвара торчит из-под земли железная труба и вьется над нею тонкой струйкой дымок. А здания вокзала нет вовсе, и добрые мои, с юных лет знакомые пирамидальные тополя на перроне стоят понуро, скорбно: рядами у них срезаны верхушки...

Сейчас Севастополь лучше, чем был: построен заново, украшен, заселен веселыми людьми.

До революции в Донбассе было пять городов, а сейчас сотня. Чехов иронизировал: «...лет через тысячу в Славянске будет и телефон». А сейчас на электростанции в Славянске монтируют энергоблок в восемьсот тысяч киловатт, первый в стране энергоблок такой мощности: чуть не электроэнергетика всей царской России.

В Белоруссии я часто бывал; помню, если выедешь из Москвы в легкий мороз, там тебя наверняка ждет оттепель: ближе к Атлантике, ближе к западу. Это сказалось и в истории: за свои девять веков Минск был разорен, кажется, семь раз. Но такого разорения, как в последнюю войну, не испытывал ни разу. На улице Карла Маркса, одной из главных, уцелело лишь три дома. В республике погибло более половины национального богатства.

Теперь Минск весь новый. Его заводские кварталы сами похожи на города. В Минске с довоенных времен чудом сохранился девятиэтажный Дом правительства, похожий на серую граненую скалу,— одно из самых крупных зданий города. А на новом тракторном заводе каждый цех по кубатуре больше этого гиганта. Белоруссия сегодня выпускает самые крупные в стране автомобили — и самые маленькие часики «луч», размером в копеечную монету.

Могу ли я воспринимать свою страну вне вопроса: «Как было — как стало?»

* * *

...На Урале — другое. Непосредственно фронт его не затронул.

В свое время я видел, как социалистическая индустрия рождалась на Урале. Но, конечно, едва ли тогда, до войны, полностью понимал, что на моих глазах закладывается гарантия нашей независимости. Ведь Гитлера разгромили, опершись на Урал.

Тем более ценю я те штрихи, которые запечатлелись в памяти...

Лет за десять до войны ходил я по цехам Уралмаша: завод только что был построен, кругом шумели вековые сосны. Так создавалось машиностроение Урала. Прямо-таки из рук ускользали прежние тезисы науки, которой я тогда занимался,— экономической географии мира.

Сейчас Уралмаш выпускает экскаваторы с двадцатипятиэтажный дом, каждый из них заменяет пятнадцать тысяч землекопов. Блюминг с Уралмаша дает за год столько проката, сколько давала вся дореволюционная Россия. Уралмашевцы написали более тридцати книг о своей работе...

Между Уралом и Волгой ныне создана нефтяная база, далеко обогнавшая старый Баку, выручившая нас, когда гитлеровцы отрезали прямой путь к кавказским промыслам. Помню, летом 1932 года прошел слух, что в Башкирии, в западных уральских предгорьях, у подножья шиханов — рифов древних морей,— после долгих поисков впервые открыта нефть. Не было сомнений в чрезвычайной важности этого события. С карандашом и блокнотом спешил я на вдруг прогремевшую нефтяную разведку в никому дотоле не известной башкирской деревне Ишимбаево, где-то к югу от степного городка Стерлитамака. Как было мне знать, что Стерлитамак станет большим индустриальным центром с заводом синтетического каучука, с гигантским содово-цементным комбинатом, с производством станков, обуви и многого другого.

Спешил я, конечно, не по железной дороге Уфа — Стерлитамак, на которую тогда и намека не было, а в кузове попутного грузовика. Машина пересекала вброд ручьи и встряхивалась на рытвинах и ямах. На только что родившийся нефтяной промысел везли чугунный котел, он всей своей тяжестью подпрыгивал на ухабах, и я норовил при каждом толчке тоже подпрыгнуть повыше, чтобы котел не отдал мне ноги.

Сорокаметровая вышка была доверху забрызгана нефтью. Из трубы, торчавшей в земле, изливалась черная струя. Это был первый нефтяной фонтан на Урале.

Возле деревушки на берегу Белой увидел я всего две-три вышки, и не металлический, как строят сейчас, а деревянные; ныне там большой нефтехимический город Ишимбай. На моих глазах родился Второй Баку, который простерся до Перми на севере, до Волги на западе: почти три четверти добычи советской нефти.

Говорят, впрочем, что старая, первая, та самая скважина, моя скважина, не сдаётся, продолжает давать нефть.

Нынешний Магнитогорск растянулся километров на двадцать пять вдоль реки Урал. В городе — памятник Пушкину, Театр сказок, Дом музыки, проспект Metallургов шириною в сто десять метров. Жителей — почти полмиллиона.

Магнитогорский комбинат производит больше металла, чем выплавляла вся царская Россия. Он уже дал стране более чем полтораста миллионов тонн стали. Пущена десятая домна. За ее работой следят электронно-счетные устройства...

А я видел, как эта махина только строилась на зауральской равнине. Тогда гора Магнитная была еще высокая и у ее подножья возвели среди деревянных бараков первый каменный дом.

Мне, в те годы доценту московского вуза, было чуть не до слез обидно, что существует на свете металлургический комбинат более крупный, чем задуманный нами.

Корреспондентом «Экономической жизни» я приехал в этот барачный город на Урале и видел, как впервые пробивали лётку Комсомольской домны. Брызнул раскаленный чугун. Горновые, ворочая тяжелым ломом, о том не думали, но я втайне убивался, рисуя себе вереницу домен в преуспевающем Гэри близ Чикаго...

Когда начались пятилетки, мы отставали от Америки по стали в десять с лишним раз. Сейчас отстаем совсем ненамного и, будет время, — догоним.

* * *

..Я часто бывал в Казахстане. В городе Алма-Ате прожил несколько лет.

Перед моими глазами — Алма-Ата, бывший Верный, двадцатых годов и Алма-Ата сегодня.

Это была еле заметная точка в далекой середине Азии, затерявшаяся между горами и пустынями, там, где своими наименее освоенными полупустыми частями соприкасались три громадных государства — Россия, Китай и Индия. Был милый, но довольно жалкий городок. Домики в три окошка побеленными стенами, кругами подсолнуха и мальвой над изгородью напоминали Украину; ставнями, резными наличниками, грузными карнизами, березой у окна, зимними сугробами — Сибирь. А летняя жара, арыки, топка печек саксаулом, рев ишака говорили о близости Средней Азии.

Улицы, сплошь заросшие травой. Пыль над «скотским базаром». Деревянный собор в городском саду. До железной дороги далеко.

Турксиб тогда еще не был построен. Еще не была снята знаменитая фотография, обошедшая потом все журналы: в пустыне верблюд с недоумением нюхает рельс. В 1929 году из города Пржевальска в Киргизии — тогда он назывался Караколом — я добирался через хребты мимо лазоревых озер до Алма-Аты верхом, а оттуда на ближайшую железнодорожную станцию Пишпек, которая ныне называется Фрунзе, всю ночь трясясь по горам через Курдайский перевал в автомобиле какой-то старой иностранной марки — хорошо хоть, что не в скрипучей мажаре.

А сейчас какое у меня отношение к первоклассному столичному городу Алма-Ате? Подбираю слово... Люблю — слишком интимно, восхищаюсь — слишком громко, горжусь — может быть, не по праву...

Пожалуй, все же горжусь.

Горжусь, что близко знал казаха Каныша Сатпаева, который родился в юрте кочевника, в детстве учился твердить нараспев стихи корана, а стал просвещенным геологом, исследователем медных богатств Джезказгана, президентом Академии наук Казахской республики.

Добавлю, что эта Академия только за десять лет успела опубликовать более трех тысяч научных трудов, в том числе более трехсот монографий по математике, астрономии, химии, биологии, медицине, геологии, горному делу, металлургии, энергетике и другим наукам.

Горжусь тем, что был знаком с казахом Мухтаром Ауэзовым, роман которого «Абай» переведен на многие языки. Я помню, как Ауэзов говорил мне: «Девушка казахского эпоса превращается в златорогую серну и исчезает в скале: это потому, что народ чувствовал: его богатство — в недрах». Действительно, в советские годы выяснилось, что по запасам железной руды, нефти, марганца, молибдена, угля, фосфора Казахстан — на одном из первых мест в СССР, по запасам свинца, цинка, меди, вольфрама, серебра, кадмия — на первом месте в СССР, по запасам хрома и ванадия — на первом месте в мире. Здесь есть киноварь, дающая ртуть — самую тяжелую из жидкостей. Есть лигит — самый легкий из металлов. Есть вольфрам — самый твердый из металлов. Есть тальк — самая мягкая из горных пород. Есть корунд — самый твердый из минералов, не считая алмаза. Есть впервые найденный в природе метаборит, впервые встреченный советскими геологами пенвитит... Добывается свыше шестидесяти элементов системы Менделеева. За семилетку в Казахстане построено около тысячи заводов, цехов и рудников. Появилось восемнадцать новых городов. Население увеличилось на три миллиона. В сущности, построен второй Казахстан внутри первого.

Я горжусь, что в Алма-Ате в изданиях на казахском и русском языках вышла моя книжка о Казахстане дней войны. Сейчас в республике в среднем выходит пять книг за день.

Горжусь, что в Алма-Ате читал лекции в новом университете...

Студенты этого вуза среди тысяч других юношей и девушек немало поработали на казахской целине. На Северный Казахстан приходится у нас основная часть поднятой целины и залежи.

К началу усиленной распашки посевная площадь в СССР уже увеличилась примерно на территорию Франции. А за несколько лет работы на целинных и залежных землях еще добавилась площадь, превышающая всю территорию Италии.

Но под горячую руку, в погоне за цифрой, распахали и лишнее — землю, которая слишком легка; ветер поднял ее в воздух. Сильно сдуло и ту почву, которая лежала тонким слоем. Год за годом сеяли пшеницу по пшенице — и поля засорились. В пренебрежении к местным особенностям применяли ту же агротехнику, что и в европейской части страны. Все это можно исправить, и урожай на целине будут высоки и устойчивы.

В наших руках сильнейшее орудие улучшения земли — социалистический строй. Почему мы об этом забываем?

Смывает почву. Растут овраги. Борьба с этим долгое время велась без должной энергии. Доктор географических наук Д. Л. Арманд сообщает в своей книге «Нам и внукам»: в стране в той или иной степени эродирована четвертая часть пашни. Перелом в борьбе с эрозией создан решениями партии и правительства в 1966—1967 годах.

В числе других средств борьбы — лесополосы. В засушливый год я ездил в Каменную степь за Воронежем. Среди выжженных пространств шумели листьями клетка леса, заложенного Докучаевым: в клетках богато колосилась пшеница.

Докучаев — это слишком давно, конец прошлого века... Я отправился в колхозы Новоаннинского района между Хопром и Бузулуком. Там лесополосы посажены уже в советское время. Увидел: в самой середине березовых клеток ранняя озимь пожелтела, пожухла, а ближе к деревьям ярко зеленеет.

* * *

...Казахстан на севере смыкается с Сибирью. Много я ездил по Сибири, жил в ее городах. Не раз пересекал Сибирь в самолете, в поезде, на пароходе, в машине. И с запада на восток, и с севера на юг.

Сибирь так огромна, что очаги ее индустрии, если подойти с меркой европейской, еще далеки друг от друга. Они — острова среди нетронутых пространств. Поэтому миг перехода от тайги к городу всегда потрясает. Ведь, в сущности, это переход от вчерашнего к завтрашнему.

Внезапным был, например, для меня выход к Кузбассу по новому, непривычному пути — по Южно-Сибирской магистрали в западную сторону от Абакана. Остались позади сухие пастбища Хакасии, где торчат вставшие на дыбы, будто закопченные солнцем камни древних могильников; поезд прошел туннелем сквозь гребень Кузнецкого Алатау и затем часами мчался вниз по ущелью вдоль таежной бурлящей Томи. И вдруг ущелье после бурелома и порогов оборвалось, и мы очутились перед Кузнецкой котловиной, перед открытой плоскостью, которая сплошь — строительная площадка: копры шахт, градирни электростанций, клетчатые трубы заводов, новый город Междуреченск... Кузнецкий бассейн на этот раз открылся мне как бы с тыла, сзади, и оказалось, что он и там, в глуби, насыщен индустрией. Не забуду появления Усть-Неры под крылом самолета, идущего на северо-восток от Якутска. Сначала я видел сверху круглые лужицы озер на мохнатых блюдцах среди бесконечного леса, затем чуть не к самому иллюминатору поднялись снежные выси Сунтар-Хаята, будто мы переваливали через хребет Кавказа, затем в вираже саблей сверкнула река Индигирка, убегаящая через Полярный круг к Ледовитому океану, — и явилась Усть-Нера, центр Оймяконского района, где, не считая обитаемых плато Антарктиды, самые жестокие зимы на земле.

Опустились. Перебрались через реку: паром снесен наводнением, лодку крутило в летящем потоке меж водоворотов и вырванных ливневниц. Горы увенчаны перьями острых и узких скал. Над городом со склона свисает бело-голубой брусок наледи, которая и в разгар лета не растаивает. А в самом городе, на вечной мерзлоте, утепленные трубы центрального отопления, машины для поливки улиц, Дворец спорта с залом в два света, на сцене — «Мария Тюдор».

Когда приехал в Кемерово, поспешил выйти на набережную Томи — и простерлись передо мною увалы противоположного берега, поросшие сосной. А над этими просторами, прямо против города, за рекой, электро-мачта держала на весу тяжелый кабель, уходящий куда-то вдаль, и вся картина была подчинена этому выражению силы: будто не мачта несет кабель над сибирской рекой, а держит его рабочая рука, связывая все эти просторы, всю эту необъятно широкую, неисчислимо богатую Сибирь.

Счастьем считаю, что мне удалось среди дремучих лесов пересечь Анггару в самом обыкновенном пассажирском поезде с табличками «Москва — Лена» на вагонах, пересечь по грандиозной плотине Братской ГЭС, под сенью исполинских кранов, высоко над ревушим белым водопадом, который скован сталью и железобетоном. Я думаю, этот медленный, торжественный переход через Анггару по плотине в новом Братске — одно из самых сильных переживаний, доступных человеку нашего времени.

Как любят у нас говорить — «тайга отступает». Но теснить тайгу надо умело, даже в Сибири. Мы снимаем примерно лишь половину ежегодного прироста древесины, но следует помнить, что отставание заготовок от прироста относится к далеким, труднодоступным, малоосвоенным местам. Там же, где шли усиленные заготовки и не раз допускались перерубы, лес приходится тщательно беречь. Ведь дерево на Севере достигает спелого возраста только за сто лет! И плохо, что берем мы от леса меньше, чем

могли бы. Остатки древесины после рубки — пни и сучья, — как правило, гибнут в тайге, когда могли бы служить сырьем для лесохимии. Не покончено еще и с лесными пожарами, хотя с ними и ведется борьба с помощью вертолетов.

Сибиряки живут в старых и новых городах, в старых и новых селах. В Сибири и на Дальнем Востоке три четверти городов — новые. После революции население Сибири удвоилось. Но не нужно забывать: площадь всей Европы, площадь всех Соединенных Штатов... Надо привлекать людей в Сибирь, а для этого надо прежде всего улучшать там условия быта.

Основа завтрашней Сибири — могучая энергетика. Она строится на сочетании силы рек и дешевого угля, к этому недавно прибавился и северный газ. Будет создан один из величайших энергетических и промышленных центров мира. Сибирь преодолет слабую заселенность, следы отсталости, отдаленность, разбросанность, текучесть рабочей силы, трудности и отставание строительства. Ей будут присущи не только груды богатств, как раньше, а и совершенство быта, все удобства жизни.

* * *

...За Сибирью простерся Дальний Восток. Когда я впервые на пароходе — железной дороги еще не было — приплыл в Комсомольск-на-Амуре, его создатели, не успевшие повзрослеть, возводили поодаль от берега каменные стены заводских цехов, а сами жили у бровки над Амуром в ветхих избушках, оставшихся от села Пермского. Пожарная команда располагалась в деревянной церквушке... Сейчас в Комсомольске двести тысяч жителей, в библиотеках города — миллион томов.

Когда я впервые попал на Сахалин, в Охе уже поднимались нефтяные вышки, но уголь в Дуэ добывала японская концессия. Южный Сахалин вовсе был японский... Сейчас на севере острова местами лес нефтяных вышек кажется более густым, чем окрестная тайга. В Охе снесли здание цингатория: за тридцать лет ни одного случая цинги.

Капитан корабля, на котором мы заходили в бухту Нагаева — в толь-ко что родившийся Магадан, — еще руководствовался логикой, из которой я выписал фразу: «В бухте Нагаева нет ни домов, ни селений, ни отдельных юрт...» В Магадане сейчас сто километров улиц.

В этот край, на любимый мой Дальний Восток, я часто возвращался. Был и совсем недавно.

Петропавловск-Камчатский в летние солнечные дни, как это ни странно, нарядной своей набережной-улицей напоминал мне даже не Владивосток, а Ялту. Это, конечно, некоторое преувеличение, но в данном случае я считаю его допустимым, потому что контраст с прошлым слишком разительный. У набережной стоял морозильный траулер, там в рубке я видел прибор, который по ходу корабля чертит на бумажной ленте контур рыбьих косяков, блуждающих в глубинах океана. На Курилы отсюда я даже не плыл, а перемахнул на самолете — парил над жерлами вулканов. В Долину гейзеров, где кипяток хлещет из земли, не плелся пешком, а летел на вертолете и сверху с интересом следил, как от его шума дикие медведи в тайге разбегаются в разные стороны.

Прогноз погоды в Магадане узнавал по телефону. В Хабаровске видел скверы на месте засыпанных грязных речушек Чердымовки и Плюснинки. В Супутинском заповеднике, в местах, описанием которых Арсеньев начал свою книгу «В делях Уссурийского края», встретил искусственные, человеком созданные плантации женьшеня. А Владивосток над бухтой Золотой Рог в последний раз показался мне лучше всех городов, какие я знаю.

* * *

...Не раз приходилось мне ездить через Ленинград за Полярный круг, на Мурман. Впервые я был на Кольском полуострове в 1926 году, студентом первого курса. Это был почти совсем дикий край: саами, одетые в меха, — тогда их называли лопарями — кочевали на оленях по пустынным пространствам. Помню, примчали меня олени в лопарский погост. Я зашел в бревенчатую избушку: у камелька, как в сказке Андерсена, сидела женщина с голым ребенком на руках; трубы в хижине не было, дым выедал глаза...

Город Мурманск, незадолго перед тем возникший, был совсем маленьким и весь состоял не из домов, а из бараков, из «чемоданов» с полукруглой железной крышей. Еще жила поговорка: «От Колы до ада два шага».

Второй раз я увидел Кольский полуостров в 1931 году. Мурманск уже разросся: появились деревянные дома. Саами переходили на оседлость. В глубине гор, у нового рудника в долине Умптэк, что на языке саами значит «дважды недоступная», родился бревенчатый Хибиногорск, но природа еще властвовала над человеком: помню, в суровый снежный буран заблудился на главной улице.

Сейчас на Кольском полуострове — современный город Мурманск с асфальтированными озелененными проспектами, с более чем двумя сотнями кораблей для ловли рыбы, с троллейбусами, с кукольным театром. В городе больше жителей, чем во всей стране Исландии. Телевизор смотрят не только горожане, не только жители окрестных поселков, но и рыбаки на судах у побережья. Городок Хибиногорск стал городом Кировском — мировым центром добычи сырья для фосфорных удобрений. В крае появились институты, которые изучают и дно океана, и полярные сияния в небе. Строится электростанция на энергии приливов и отливов. Процент городского населения достиг девяноста пяти; выходит более десяти газет.

Создано заполярное земледелие. В долгую полярную ночь кур держат при электричестве — и куры несутся. Более того, с помощью электрического света обманывают несушек: учащают суточный ритм, приучают кур к суткам, в которых не двадцать четыре часа, а, скажем, восемнадцать, — и снимают больше яиц.

Быт саами не так уж сильно отличается от быта жителей в центральной полосе. Впрочем, что говорить о саами, живущих возле крупных городов и железной дороги, когда даже в далекой Эвенкии в 1963 году каждый житель просмотрел сорок три кинокартины...

Мурман — удивительный край. Не будет большой ошибкой, если я скажу, что он создан заново.

* * *

Крайняя северная точка. На берегу Таймырского полуострова, около мыса Челюскин — самой северной материковой точки Советского Союза — я был, но мне нужно было достигнуть крайней северной точки советского сектора Арктики. В августе 1954 года на самом Северном полюсе работала дрейфующая станция СП-3, я вылетел на нее из Москвы на самолете. Мы пересекли леса, тундру, линию арктического берега. По дороге был Архангельск с памятником Человеку — покорителю Севера, и помощнику его — оленю с ветвистыми рогами. Был Диксон — порт в тумане среди диабазовых скал. Был островок на Северной Земле, где у подножья глетчеров трепетали под ветром желтые лепестки полярного мака. Пересекли тысячекилометровое пространство Ледовитого океана — и увидели темные палатки на белой льдине, окруженной морем.

Узкая и короткая посадочная полоса была усеяна острыми обломками льда. Справа флажки, но слева рядом — черная полынья. Впереди, совсем близко, — гряда торосов. Мы сели.

На льдине в домике кают-компания я увидел пианино. И прочитал приказ, подписанный начальником СП-3 А. Ф. Трешниковым, висевший на стене рядом с библиотечными полками, таблицей шахматного турнира и стенной газетой: «Неорганизованное преследование медведей воспрещается»...

Так ценой довольно острых ощущений я приобрел право сказать: проблему освоения Арктики и Крайнего Севера теперь понимаю отчасти и как непосредственный свидетель.

Всем известна цитата из Ломоносова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью». Ее вы увидите хотя бы на стенах Академического городка в Новосибирске. Но почему-то мы цитируем не полностью. На самом деле у Ломоносова так: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном».

* * *

...Среднюю Азию я люблю больше других краев нашей страны. С нею связывают меня не только литературные, но и жизненные, самые дорогие воспоминания.

Туда, в дивный мир необъятных раскаленных пустынь и высочайших ледяных гор, в мир древнейших восточных городов, подобных Багдаду из сказок Шехерезады, год за годом ездил я юношей в географические и альпинистские экспедиции. Там, на высотах Памира и Тянь-Шаня, ждали меня первые грозные опасности, которых после немало было в моей страннической жизни, — провалился ночью в глубокую ледниковую трещину и чудом был спасен, попал в плен к басмачам, но удалось ускользнуть. Туда, в Ташкент, кончив институт в родной Москве, поехал я работать. Там, в пути, встретил человека, с которым не расстаюсь тридцать лет. Средняя Азия стала для меня краем, где, говоря словами Тютчева, «был величаем великий праздник молодости чудной».

Но это к делу не относится. Сейчас имеет значение другое: вся жизнь этого края прошла перед моими глазами, потому что я не раз приезжал туда снова. Последний раз пересек Среднюю Азию недавно, возвращаясь через пограничные горы из зарубежного путешествия; взглянул на нее с обратной, необычной стороны.

Незадолго до моего первого появления там Средняя Азия была колонией. И вот один за другим стали исчезать следы экзотического, но нищенского, страдающего Багдада.

Сейчас в Средней Азии есть, разумеется, свои академии; изделия индустрии вывозятся в страны всего мира.

В крае, где воду на поля подавали скрипучие деревянные колеса с глиняными кувшинами, где слонялись по базарам полуголые дервиши в струпьях, построены и продолжают строиться первоклассные промышленные комбинаты, высшие учебные заведения исчисляются десятками, грамотность давно стала всеобщей, воздушные линии по грузообороту не уступают странам Западной Европы. Новые автотрассы с туннелями на заоблачной высоте. Новые города среди покоренных пустынь...

Я застал Среднюю Азию страной, выращивающей хлопок. Затем она стала страной его обработки и страной добычи руд. Сейчас я вижу будущее ее индустрии: дешевая энергия гидростанций и дешевый газ сделают Среднюю Азию страной новейших энергоемких производств — не хуже Сибири. В Таджикистане, например, Нурек с его 2,7 миллиона киловатт, Регар с алюминием, Яван с электрохимией уже в пути.

Конечно, нелегко обживать песчаные пустыни и скалистые горы, преодолевать безводье и жару. Еще велик удельный вес сельского населения по сравнению с городским; тяжелая индустрия слишком перевесила легкую; еще отстают машиностроение; еще не достигнута должная комплексность хозяйства; еще не весь ручной труд изгнан с хлопковых полей; в строительстве зданий из-за стандартности проектов не всегда учитывается природа Средней Азии: жара требует высоких потолков, небольшой этажности, обилия затеняющей зелени и, как это ни странно, окон, обращенных на юг, — лучи с зенита не проникают в комнату. Еще не покончено со многими пережитками прошлого в быту... Вдумайтесь в соотношение сроков: при Советах Средняя Азия живет пятьдесят лет. А невольничий рынок в Ташкенте существовал назад тому всего лишь сто лет. Это показывает быстроту и условия движения вперед.

Вот образ современной Средней Азии, который я не вычитал, а уловил сам. Лет десять назад небольшой самолет кружился над пустыней Каракумы. В самолете была бригада экономистов и архитекторов, был с ними и я. Они сверху выбирали место для нового города. Мы пронеслись над песчаными холмами, над развалинами крепостей древнего Хорезма. С воздуха я узнал тот мавзолей давней царицы, на плитах которого арабской вязью начертано: «Жизнь прекрасна, как жаль, что она не вечна...»

Потом мы сели на плоском глиняном такыре, строители вышли, походили вокруг — и главный из них топнул о землю ногой.

* * *

Крайняя южная точка. Это туркменский аул Чильдухтер возле Кушки — на параллелях Алжира и Сирии.

В ясную погоду я видел оттуда снежные верхи афганского горного хребта Паропамиз. Кругом в жарком дрожании воздуха разлеглись сыпучие холмы, поросшие рощами фисташковых деревьев.

Городок со старой крепостной стеной лежит на пологом склоне. Долина дальше, у границы, переходит в небольшое ущелье.

Кушку знал я со слов писателя Петра Андреевича Павленко и по его книге «Путешествие в Туркменистан»: «С гор, с Казачьего перевала, она похожа на горку белых, с розовато-рыжими пятнами яблок, переложенных зеленою стружкой...»

В зелени пирамидальных тополей вдоль мощеных мостовых тянутся белые дома русской и украинской стройки: в эти места в конце прошлого века переселились русские и украинские крестьяне, основали поселки, среди которых, конечно, есть и Полтавка.

Кушка сильно оживилась, когда недавно с нашей помощью афганцы построили семисоткилометровый автомобильный тракт, уходящий из Кушки через горы и пустыни на Герат и Кандагар. Оттуда везут шерсть, орехи, инжир, сок граната, а туда от нас тракторы, цемент, машины. Под Кушкой заложены новые рощи фисташки. Недавно невдалеке на геологической разведке ударили фонтаны горячего газа. Городок стал быстро строиться — уже открыли широкоэкранный кино...

* * *

...Середина России — это моя родина. Я видел все, что произошло там, в сердце страны, за последние полвека.

Со всего мира приезжают сейчас люди взглянуть на новую Москву. А я помню старую Москву, и мне есть с чем сравнить сегодняшнее. Я вырос в Москве в деревянном домишке без воды и канализации, и не

где-нибудь на окраине, а у Высокого моста, на Садовом кольце, которое сейчас считается частью городского центра.

Москва — мой родной город, и московский Кремль я помню с тех пор, как помню себя. Когда мать первый раз повела меня в Кремль, мне было лет пять. На Красной площади, у Спасских ворот, городской махнул рукой, чтобы я снял с головы картузик: в ворота Спасской башни нельзя было входить с покрытой головой.

Площадь в те годы была вымощена булыжником, по ней ходил трамвай. Помню, стояли дни предпасхального «вербного базара», под древней кремлевской стеной в толпе торговали плюшевыми чертиками, морскими жителями, свистульками и прочей чепухой.

С тех пор протекло много времени. Великие и суровые годы прожила моя Россия и я вместе с нею.

Помню канонаду в октябрьские дни 1917 года. Батарея была по юнкерам, засевшим в Кремле, с горы над Яузой, от Андроньевского монастыря. Снаряды пролетали над нашим домом. Стекла в окнах дребезжали. Отец несколько дней не приходил — он был ротным фельдшером и перевязывал раненых где-то на подступах к Кремлю.

Потом мы ходили с отцом на Красную площадь, думали на митинге увидеть Ленина. Но я увидел его позже, уже неживым, жестокой зимой 1924 года. На площади звонко скрипел снег, ветер на клочья разрывал пар от дыхания людей. Запомнил этот морозный белый пар над шлемами красноармейцев, вижу красные петли — «разговоры» — на шинелях. Ленина хоронили. Мавзолей был деревянный.

В ноябре и мае я приходил на Красную площадь в школьной, в студенческой колонне. Я видел там наш первый автомобиль, наш первый трактор.

Вечером 9 мая 1945 года я тоже был там. Сичие лучи прожекторов соединяли землю с небом. Сверху сыпались разноцветные звезды. Гремел салют из тысячи орудий. Я видел на Красной площади, как незнакомые люди обнимали друг друга. Это было после войны, унесшей двадцать миллионов моих соотечественников. Среди них были мои близкие, мои родные...

Пришло время, когда из старого, ветхого дома наша семья переселилась за Москву-реку, на Юго-Запад, на Ленинские горы. В этой новой части города, которая возведена на совершенно пустынном плато, на останцевой доледниковой возвышенности, срезанной течением реки, уже три четверти миллиона жителей.

Недалеко огромное здание университета. Туда, в университет, по утрам убегала учиться моя дочь, студентка. Из окна на шестом этаже год за годом я смотрел на нее.

* * *

Крайняя восточная точка. До позапрошлого года на Чукотке я не был. Но задуманная конструкция книги заставила меня отправиться туда и попытаться достичь самой восточной точки СССР, которая лежит еще дальше мыса Дежнева.

Воздушный рейс Москва — Анадырь — самый обыкновенный, регулярный, под номером 1263. Но это рейс феерический, совершенно феерический. Я даже не знаю, есть ли второй такой на свете, — может быть, где-нибудь на Огненной Земле.

Он длится почти шестнадцать часов. Улетаешь из Шереметьева днем, и все время светло, но где-то около Восточно-Сибирского моря происходит смена экипажа, появляется новая стюардесса и говорит:

— С добрым утром!

А ты думал — дело близко к вечеру. Разница во времени между Москвой и Анадырем — десять часов.

Трасса идет вдоль северного берега Сибири. То внизу зеленовато-бурая тундра, усеянная озерами, то Ледовитый океан с плавучими льдинами. Незаходящее солнце на небе с радужной эмалью. Приземление на аэродромах, которые еще вчера мне казались недостижимыми. Возле устья Колымы или Индигирки — пушистые белые кисти невиданных цветов.

От Анадыря — другой самолет. В полете восточная долгота сменилась западной: пересекли меридиан 180 градусов. Сели между двух гор в сумраке дождливого тумана. Там, в невыразимо далеком далеке, я увидел новый город с высокими домами.

До Уэлена шел на угольщике. Нерпы высывали усатую морду. Пенились фонтаны китов.

На Чукотке могла бы поместиться вся Франция, да еще осталось бы место и для Англии. Голые горы и сопки тянутся, тянутся, пока не обрувятся к морю, образовав фиорды. В красоте Чукотки — очарование сдержанности, как в высокогорных долинах Памира. И, может быть, как в гладкой, непорочной стене старинного псковского храма.

Над оленьим стадом — вертолет. В руках татуированного эскимоса «Спидола». Автоматизированные горнорудные комбинаты. Стройка атомной электростанции.

На морском берегу в Уэлене валяются ребра и позвонки китов. Среди домиков поселка — косторезная мастерская с вывеской «Северные сувениры». В ней — звук стоматологической лечебницы. Из моржовых клыков вытачивают зверьков, кораблики, а если очень попросишь, то и забытого эскимосского божка — пелекена. Каким орудием? Жужжащим зубоврачебным буром...

Сторожевой корабль пришел за мной во время шторма. Валы, ударявшие в берег, были слишком высоки, чтобы моторный бот мог пристать. Он притащил за канат надувной понтон, который сам легко вылетел на отмель. На меня надели воздушный жилет. Он оранжевого цвета — при случае легче рассмотреть среди волн. Я знал, что дорожные рабочие на итальянских скоростных автострадах носят оранжевые куртки: требование технической безопасности.

Когда пробивались через прибой, буксирный канат лопнул. Понтон закрутился, его залило водой. Меня вытащили. По шторм-трапу забрался на палубу.

Подошли к мысу Дежнева. На утесе белыми пятнами — шкурка горностаея — лежал снег, в бинокль хорошо был виден обелиск с бронзовым бородатым лицом сибирского казака, с металлической доской, на которой, я знал, насечено: «С. И. Дежнев в 1648 году первым из мореплавателей открыл пролив между Азией и Америкой...»

Пошли поперек Берингова пролива на восток. Сильно качало. Из волн поднялся остров черного цвета, с обрывистыми краями, с плоской поверхностью, на которой косо поднимается обнаженная, обветренная вершина. Остров показался мне похожим на стоящий в море огромный рояль с поднятой крышкой.

Под обрывом вскипали белые буруны. Бот с трудом подошел к берегу. Обломки камней, мох, нависающие скалы.

За горбушкой острова Ратманова совсем близко, в четырех километрах, был виден соседний остров, уже американский, — остров Крузенштерна. Я различил дома и мачту. У нас было 24 июля, а там, по ту сторону международной линии перемены дат, 23 июля.

Восточнее тяжелел в тумане коренной берег Аляски. На утесе острова Ратманова стоял красно-зеленый столб в полоску. Он обозначал самую восточную точку Советского Союза.

Я оглянулся на запад, как в свое время на балтийской косе оглядывался на восток. Сзади лежала моя страна — вся, целиком, необозримым массивом.

* * *

Возможно, какой-нибудь западный иностранец скажет:

— Нашел чем удивить: «Россия изменилась за полвека». Пятьдесят лет — срок не малый. За полвека весь мир изменился.

— Да,— я отвечу,— за полвека весь мир изменился, еще как. Ни Америки не узнать, ни Африки. Поди, и Аляска изменилась. Но сравните две такие цифры: 3 и 20. Царская Россия давала около трех процентов мировой промышленной продукции, а Советский Союз дает сейчас почти двадцать процентов. Значит, Россия строилась и изменялась быстрее, чем мир в целом. Значит, Россия настолько изменилась, что изменила свое место среди прочих стран. На Россию вы прежде и смотреть не хотели, а теперь главное, к чему вас принудила история,— считаться с Советским Союзом.

3 и 20. Это значит, что народ наш вопреки всем невзгодам и тяготам работал упорнее, напряженнее, интенсивнее, плодотворнее среднего уровня. Путь к этому открыла ему революция.



С. ЗАЛЫГИН

★

СОЛЕНАЯ ПАДЬ*

Роман

Глава седьмая

Только вошел Мещеряков в главный штаб, как в коридоре опять встретил Брусенкова, Коломийца, Тасю Черненко...

Все они были серьезные очень, особенно начальник штаба.

А встречали его с почетом — трое одного. Хотели представить свой главный штаб, свою власть во всей красе. «И понятно! — подумал Мещеряков. — Войну воевать — это каждый мужик может, его этому на действительной учили и на фронте. А вот власти его никто не учил. Даже наоборот — всегда ему внушали, что власти он коснуться не может... Ну что же, поглядим, что это такое — наша мужицкая власть... — Он поплотнее надвинул папаху. — Поглядим!»

Тепло сильно было в папaxe. Жарковато. Но и ждать, покуда придет зима, тоже можно не дожидаться.

Тут откуда-то подошел еще Лука Довгаль Станционный, этот с Ефремом поздоровался приветливо, и все вместе начали обход главного штаба по отделам. Начали с посещения отдела народного образования. Он по коридору первым был — в бывшей кухне кузодеевских хором помещался.

До сего времени пахло здесь щами, печеным хлебом, вареным-пареным еще каким-то, а с большой, огромной печи, с одного ее угла, торчали черенки ухватов. Вся же остальная печь, и шесток, и два подоконника, и все четыре угла комнаты завалены были книжками.

За большим кухонным столом, сильно порезанным ножами и сечками, каждый спиной к небольшому узкому оконцу, сидели двое — заведующий отделом и его заместитель, он же секретарь.

Они сидели, а посреди пустой половины комнаты перед ними стоял посетитель — еще молодой, с русой бородкой, румяный священник. Ряса на нем была чистенькая. Аккуратный батюшка.

Когда распахнулась дверь и один за другим вошли Брусенков, Довгаль, Черненко Тася, Мещеряков, а чуть позже еще и Коломиец — батюшка потеснился в угол, а заведующий народногo образования и помощник его встали. Помощник — старый-старый учитель — загасил желтым пальцем сигарку и бросил ее под стол. Но оба они тут же и сели снова, поздоровались с вошедшими уже сидя.

Брусенков стал объяснять Мещерякову, кто они такие — нынешние руководители отдела, тыча пальцем то одного, то другого. Когда Брусенков говорил о них что-то не так, неточно — те поправляли его.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

Мещеряков слушал внимательно, боялся что-нибудь пропустить, не понять.

Заведующий был только чуть помоложе своего помощника, в недавнем еще прошлом — знаменитый в Соленой Пади, да и в других окрестных селах плотник. Строил он церкви, Моряшихинская церковь тоже была его работы, жилые дома — бывший кузодеевский дом — он и начал и кончил, теперь в нем и помещался весь главный штаб, а еще, когда стали строить школы, он и школы тоже ставил, не один десяток успел по деревням поставить школ. Тем более постройки немудрящие, одноэтажные, под старость лет как раз по силам ему приходились. Построил он школу и в Соленой Пади — из камня даже сделал дом, — и в тот же год просило его общество стать школьным попечителем. Он и стал и уже бессменно в этой должности состоял, а нынче главный штаб, как опытного в деле человека, назначил его заведовать отделом народного образования.

Помощника ему дали с умом — учителя все той же школы.

— На первый случай, — сказал Брусенков, — работники они обоев все не худые. А навсегда нам их и не надо — придет советская власть, та и возьмется уже за дело, как должно быть. У нас до недавнего времени сильный был на этом месте работник, давно уже партийный. Нынче на другой должности — полком командует.

Мещеряков подумал: на этом же месте сидел ведь товарищ Петрович! Нынешний командир полка красных соколов. И вспомнились ему порядки, которые тот смог сделать в своем полку, и его собственное неудавшееся намерение — сделать Петровича комдивом.

Тем временем учитель пошарил рукой под столом и сбросил окуроч с узла, на котором тот начал было глеть. В узел завернута была постель — он здесь и спал, учитель, в отделе.

Сбросив окуроч на пол, учитель вышел из-за стола, похлопал Мещерякова по плечу и сказал:

— Ты вот что, товарищ Мещеряков, ты, голубчик, будь добр, сделай сражение как следует, а то мало того — народ пострадает, еще и детишек нынешнюю зиму учить никто не станет. А это плохо, очень плохо!

— Постараемся! — кивнул Мещеряков. Он хотел сказать: «Постараемся, товарищ учитель», но не получилось. «Товарищ» и «учитель» — не складывались у него слова эти вместе, тем более что говорили с ним, словно урок ему на дом задавали.

— Постарайся! — сказал учитель, одобрительно поглядев на Мещерякова из-под растрепанных, но редких бровей. — Тут вот Ваня, то есть товарищ Брусенков, обещал сразу после сражения и всех учащихся из армии вернуть. Хотя занятия еще не начались, но ведь и готовиться к занятиям некому — кусочка мела в школах нет, грифеля, дров! Окна всюду побитые. Но главное — это учащие. Их еще Колчак брал в армию, отменил льготы, а нынче — мы сами берем. Ничего хорошего в этом нет.

— У нас порядок — учителя от воинского призыва освобождены. И только по силе необходимости, на период решающего сражения, призваны. Все, кто на нашей платформе, посланы в армию как агитаторы, — пояснил Брусенков.

— Давай, слышь, товарищ начальник главного штаба, отпустим их седни же! — предложил ему Мещеряков. — Что там взрослых агитировать? Они жизнь готовые за правое дело положить, а их агитировать! В чем еще-то? Детишек будут учить — вот это сильная агитация!

Брусенков главнокомандующему не отвечал, тот еще предложил:

— Ну, давай так: отпустим учителей по школам, но обяжем сражаться по месту ихнего жительства. Дадим по бердане, кто поздоров-

ше — пику, и, когда дело дойдет до сражения за собственный населенный пункт, пусть идут в первом ряду. Личным примером пусть агитируют!

И опять Брусенков ничего не ответил, а вступился плотник:

— А что? Он верно говорит — товарищ наш главнокомандующий! И вот они, — он кивнул в сторону своего помощника, — они тоже верно положение обрисовывают!

Тут Брусенков обернулся к священнику:

— По какому делу, благочестивый?

Священник вздрогнул, приподнял руки к груди:

— Не могу я дать подписку, каковую люди эти от меня требуют! Не могу!

— А мы не требуем! — сказал плотник. — Мы вам, отец, предлагаем. И сказать — уважительно предлагаем.

— У нас, товарищ главнокомандующий, — снова пояснил Брусенков, — порядок: церква, отделенная от государства. И мы со всех попов и дяков, которые учат, берем подписку, чтобы они в школах об законе божьем нынче не заикались. Хватит дурману! А которые родители все ж таки желают этому детей учить — мы не тормозим: нанимайте попа за свою особую плату, учите, но без школьных стен, а у кого хотите в избе. Об этом разговор у вас нынче идет?

— И все равно надо посмотреть, — заметил учитель, — чтобы и вне школы отцы святые не забивали детям головы всякими небылицами. Если уже учат, пусть учат только ради пробуждения в детях добрых чувств к людям. Никак иначе!

— Но совесть моя, совесть слуги божьего! — снова и торопливо заговорил священник, тут же сбился и продолжил почти фальцетом: — Я не более, как слуга его! Не о своем достоянии, о достоянии бога, о божьем законе совесть моя умолчать не может!

— А вот это ты зря, отец! — сказал учитель. — Вовсе напрасно. Говори о себе, о своей нужде, что касается учения божьего — не тебе его спасать!

— Богу — его закон нужен ли, нет ли — не знаю! — пожал плечами Брусенков. — Видать, несильно, когда он сделал нынешнюю убийственную войну. Но есть ли он или нет — этот закон, а выгода тебе от его, батя, все равно идет. Как на тебя глянешь, так и скажешь: идет. Даже и двух мнений быть не может.

Мещеряков тоже засмеялся:

— Ну, еще бы!.. Солдатки, те, безусловно, к батюшке этому только и ходят причащаться! — Посмотрел на Тасю Черненко и смеяться перестал, стал серьезным.

Священник тоже серьезно поглядел на него, а потом обернулся к учителю:

— Согласен я с тобою — спасать великое учение немислимо, когда оно есть бессмертно само по себе!

— Неправильно понял меня, отец! — ответил учитель, как будто даже осердившись. — Совсем неправильно! Учение тебе не спасти и не спасти никому, потому что губит оно самое себя!

— Но в словах этих кощунства более, чем смысла! — смиренно произнес священник, а потом, будто раззадорившись, спросил: — Поясните еще о великом учении и законе.

— Отчего же! — согласился учитель. — Поясню. Учение тогда учение, когда никого не страшится. Особенно если оно великое. А божье — оно, едва народившись, уже искало еретиков даже среди своих же мыслителей. Оно еще до рождества Христова преследовало Сократа. Ко-

роль Фридрих-Вильгельм от своего лица и от лица церкви выражал полное неудовольствие Канту. Великий писатель всех времен — искатель божьего в мире — Толстой отлучен от церкви, проклят от имени того же бога с церковных амвонов. Кто учит божественному — не знает, что такое бог, а кто хочет познать — того объявляют преступником... Даже уничтожают. Что же говорить о людях, которые и вовсе не хотят бога, его добра? Учение отказывает таким в признании за ними человека. Отсюда следует, что учения этого и вовсе нет, а есть тень его, догма или суеверная легенда, потому что все истинно человеческое и тем более все духовное — не что иное, как познание человеком самого себя... Без этого познания какое же может быть человеческое? И все, что нынче происходит вокруг нас с тобой, отец, что творится учащимися вокруг нас, учащихся, — творится для того, чтобы никогда уже не повторилась роковая ошибка, то есть боязнь мысли! Чтобы учение о жизни сущей и духовной отныне и навсегда создавалось беспрепятственно!

Священник задумался, и все вокруг примолкли — ждали, что он ответит.

Он ответил так:

— Именем процветающей ныне на скорбной нашей ниве революционной идеи тоже творится непотребное. Однако же идею ты стремишься от непотребного отделить, а не утопить оную в нем? Отделить, как злак от плевела. Не дано человекам чистой веры в мыслях, тем паче в делах рукотворимых. Будем же ее, веру, лелеять, а не отвергать, ибо по сему случаю она еще более человеческая есть потребность. И счастье его.

Теперь подумал учитель, постучал прокуренным пальцем по столу.

— Революция, отец, не объявляет себя ни вечной, ни высшей... Она прямо о себе говорит, что есть насилие над насилием, что она — меньшее из двух зол и не больше того. Но если даже меньшее зло ты, отец, и бог твой возводите в высшее, вечное и божественное, то это срам, фарисейство и самая вредная из всех вредных догм.

Спор разгорался нешуточный, но вдруг, поглядев еще раз на учителя, на Мещерякова, на всех присутствующих, священник спросил:

— А — дальше?

— Что — дальше? — пожал плечами учитель.

— Почему же вы требуете от меня подписки? Не проистекает этого из слов ваших! Отнюдь!

И учитель, усмехнувшись и еще пожав костлявыми, согбенными плечами, стал объяснять дальше:

— Мы не требуем. Мы объясняем. И прослушай меня, отец, еще раз внимательно: не даешь подписки — значит, не учишь в школе. Не учишь — значит, не занят в труде. Не занят в труде — значит, бери лопату, иди с ополчением копать окопы. Вот и все! Как же тебе не ясно? А ведь когда-то был смысленный мальчик! Я помню!

— Как знаешь, батя! — снова сказал Брусенков. — Не хочешь давать подписку — зачем пришел-то? А когда пришел — не задерживайся тут! Простому гражданину давно бы уже объяснили, а с тобой без конца и краю канитель! Мы тоже люди занятые!

— Не отказываюсь я! — воскликнул священник. — Не отказываюсь устами произнести обещание, но приложить персты претит совести! И святому писанию.

Брусенков возмутился:

— Бога нет, а закон божий все одно по печатному написанный! А ты — от гражданского закона хочешь, чтобы он на словах только был. Не выйдет! Кончим разговор!

Но тут снова вступился Мещеряков, обращаясь к учителю, спросил о священнике:

— Он что же — не хочет писать бумагу, а сам согласный? В этом весь вопрос-то?

— Только! — подтвердил учитель, и священник тоже воскликнул:

— Истинно!

— Да бросьте вы разъяснять ему! Он и сам все понимает! И дело-то вовсе простое,— засмеялся Мещеряков.— Пусть батя пишет бумагу, принесет, покажет вам. После возьмет к себе домой, а уже после сражения принесет и навсегда оставит вашему отделу. Все!

Брусенков вздрогнул, резко обернулся:

— А ты догадливый, товарищ главнокомандующий! Как это ты быстро понимаешь их? Таких-то?

— Просто! — засмеялся Мещеряков.— Он чего, отец этот, боится? Боится — мы сражение проиграем, придут белые, бумагу его найдут. И поглядят его после того по головке — волос-то длинный, кудрявый, есть что погладить! А боишься ты этой самой причины, батя, вовсе зря — белых мы расколотим, ни один в Соленую Падь не зайдет, бумаги твоей не увидит!

Священник вдруг обратился к Брусенкову, сказал ему:

— Когда вы желаете окончить на сем разговор...— Поклонился и быстро вышел, а Мещеряков поглядел ему вслед, вздохнул:

— Незавидная жизнь у их нынче! До чего незавидная!

Завотделом спросил у Брусенкова:

— Я к ночке, товарищ начальник главного штаба, по школам хочу ехать и мне надо путевую бумагу выдать от вас. О содействии.

— Далеко собираешься?

— Да вот в ихний, в Верстовский край, раз уже мы полностью с ними объединились.

— Белых не боишься? — спросил Мещеряков.— Их там у нас поболее нынче, чем в других местностях, блуждает.

— А я — с инструментом. Плотник. Топор да рубанок — кто на меня подумает, будто я — от главного штаба? И в действительности тоже школы буду ремонтировать.

— Один — много ли сделаешь?

— Почто один? Инструмент — для собственной работы. мандат — для организации всеобщей. А что ты еще-то мне можешь для этой цели дать, товарищ главный штаб? Все одно ведь — ничего больше?!

Вместо ответа Брусенков кивнул на книги, заполнившие комнату:

— Конфискацию книжек закончили?

— Ни в одном частном владении более десяти книг не оставили.

Учитель встал, погладил на подоконнике книги:

— Богатство! Только божественного слишком много, а для обучения детей почти ничего нет!

Брусенков тоже внимательно осмотрел книги.

— Смотрите — ненужное всякое, против народу направленное, чтобы к народу не шло вовсе! Когда будет какое затруднение самим решить — принесите книгу мне. Не стесняйтесь, если я шибко буду занят важными какими делами. Найдем время — поглядим. Списки учителей и школ составлены? Полностью? Наличные и — потребные?

— Полностью! — кивнул учитель и развернул длинный список, лежавший перед ним трубочкой.

— Сельские отделы народного образования организованы? На местах?

— Этого еще нету. Но — будут.

— Решение Первого нашего съезда в части народного образования чтобы висело у вас на стенке! На видном месте, с чистописанием.

— А оно и висит, товарищ Брусенков,— сказал заведом.— Надо лишь глядеть хорошенче.— И кивнул в простенок.

Там и в самом деле висело тщательно переписанное решение Первого съезда:

«Образование прежде всего необходимо русскому народу. Это самая важная потребность населения, которую может удовлетворить только народная власть Советов. Впредь же, до полного восстановления советской власти, съезд считает необходимым:

— открыть школы грамоты, где есть помещения и обучающие;

— требовать от обучающихся плодотворной работы, направленной к воспитанию детей, будущих граждан и будущих культурно-развитых работников.

О смысле внешкольной культурно-просветительной работы:

а) устроить, где возможно, отделения добровольного общества «Саморазвитие»;

б) проводить, где возможно, беседы по общественно-политическим вопросам и по текущему моменту;

в) воспретить продажу без разрешения учебных пособий — бумаги, карандашей, чернил и пр.;

г) все штрафы, взимаемые от самогонщиков, передавать отделу народного образования».

К этой бумаге подошла Тася Черненко, стала ее читать. И Мещеряков тоже прочел все внимательно. Потом спросил:

— А золота вам не надо, товарищи? Может, пригодится вам?

— Какое еще золото? О чем это ты, товарищ Мещеряков? — спросил Брусенков.

— Обыкновенное! Золотое! — ответил Мещеряков.— Мои ребята в Знаменской конфисковали сорок семь тысяч. Да еще игрушки всякие поделаны тоже золотые. Вот-вот в Соленую Падь должен доставить все добро мой эскадрон.

— Не-ет,— махнул рукой учитель.— Зачем нам золото? Что мы с ним будем делать?

Прощаясь, Мещеряков пожал руку учителю, приняв сначала стойку «смирно», потом улыбнулся ему:

— Учителей я вам из армии освобожу! Своим собственным приказом и освобожу, когда главный штаб это долго решает!

Брусенков сказал резко:

— Пошли. Пошли в финансовый отдел!

По пути Мещеряков засмеялся:

— Ладно учитель-то сделал батюшке проповедь! И по памяти сделал — всех помнит христианских учителей, даже которые до Христа еще были!

— Не совсем ясно говорил учитель...— ответила Тася Черненко как будто даже не Мещерякову, а так, вообще ответила.— Не каждому понятно...

— Ну чего тут не понять-то? — удивился Мещеряков.— Он ведь что сказал? Что ложь всякая сама себя и губит. И — правильно! Взять хотя Колчака. Кто ему первый враг? Первый враг ему — Колчак! — И тут Мещеряков снова вспомнил о золоте, и, как только вошли в финансовый отдел, он тотчас спросил:— Здравствуйте, товарищи! Золота не нужно вам?

Финансовый отдел помещался в комнате узкой и длинной, вдоль одной стены стояли деревянные и железные шкафы — такие же точно, как

в помещении штаба армии, вдоль другой — плотно друг к другу прижались столы, за столами сидели финансовые работники. Четыре человека.

Трое вытаращили на Мещерякова глаза, четвертый, в блузе, с бородкой клинышком, в очках и небольшого росточка, стоя за столом, громко стукнул костяшками — положил на счеты какую-то длинную сумму, прижал пальцем строку на разлинованной и тоже длинной бумаге и только после этого поднял голову. Часто-часто поморгал, будто что-то вспоминая, и спросил:

— А — много ли?

— Сорок семь тысяч. В имперiales и в червонцах. Еще — барахлишко золотое.

— А-а-а... Сорок семь... У Коровкина в Знаменской конфискованное!

— У него! — подтвердил Мещеряков. — Ты скажи, и здесь известно уже, оказывается, дело! А мы не слишком и рассказывали о конфискации!

— Когда привезете золото?

— Ну, не сегодня, так завтра.

— С охраной везете?

— Эскадрон сопровождает!

— Кому здесь сдадите? В Соленой Пади?

— Хотя бы тебе. В отдел.

— Нет, нам не надо... — И небольшой человек у окна снова пощелкал костяшками, после этого отнял палец от длинной ведомости.

— Как это не надо? А может, пригодится?

— Не надо!

— Так вы же контрибуции деньгами делаете!

— Делаем. Керенками. Керенские билеты двадцати и сорока рублей достоинством у нас ходят. Мы на белой территории для этой цели даже кассы экспроприуем.

— А золото — и ни к чему?

— Обсуждали вопрос. Вот с товарищем Брусенковым и обсуждали. Не имеется смысла. Не получается.

— Не получаться тоже может по-всякому.

— А вот как не получается: если мы не можем со всяким и повседневно расплачиваться золотом, то и не надо начинать. Иначе бумажный билет потеряет силу. Получится инфляция. — Завотделом выговорил это слово громко, со значением, посмотрел на Мещерякова и еще сказал: — А вслед за тем необеспеченным деньгам будет уже полная аннуляция! Верно я говорю? — И завотделом хитро так на Мещерякова поглядел.

Мещеряков подумал...

— Ты, товарищ завотделом, с деньгами давно сталкиваешься?

— А всю жизнь! Вот с таких лет! — ответил финансист и показал рукой у пояса. Совсем у него низко получилось. — Мальчиком был при лавочке и бухгалтером Кредитного товарищества. Много слишком я их перевидел! Помыслил о них.

— А что же помыслил?

Завотделом подошел к Мещерякову, снова и часто-часто поморгал на него:

— Вот вы воюете. Люди — с людьми. А воевать надо всем против денег. Когда такую войну сделать в свою пользу — наступит справедливость. Раньше — нет!

Мещеряков стоял посреди комнаты, засунув руки в карманы, и смотрел на маленького финансиста. И тот, на минуту примолкнув, тоже разглядывал главнокомандующего, а потом стал говорить дальше:

— Жизнь начинаем новую, только один ее начинает с двадцати рублей, другой — с двадцати тысяч. Человека можно убить, осудить, деньги

его не убьешь: он их скроет, на другие обменяет — все успеет. Скончается — сыну передаст. В земле схоронит — другой, совсем нечаянный человека найдет клад и тут же станет уже не за себя — за прежнего владельца жить с деньгами. Как же понять? Чтобы денег было у всех ровно и не более того, сколько в действительности необходимо человеку? В Панковской волости еще до присоединения к нам подумали. Сделали так...

— Ты вот что, — перебил финансиста Брусенков. — Ты скажи главному о реквизициях, о конфисках, о контрибуциях — ему военными его силами всем таким придется заниматься, — и пусть он знает, какой на это существует у нас порядок!

— Законность такая: конфискуйте, но за присвоение — расстрел. Делайте исключительно и только через комиссию. Что еще? Бывшему владельцу имущества от лица комиссии выдается расписка. Кончатся военные действия — многим оплатим обратно. Кроме злостных. Что еще? Расписки эти считаются совершенно как облигации займа. Нужно сказать: белые, у кого находят подобные облигации, тут же жестоко расстреливают. Деньги находят — ничего, за облигации абсолютно не щадят. И население, когда видит быстрое приближение белых, истребляет наш заем. Так что оплачивать его придется далеко не полностью.

— Правильно! — подтвердил Брусенков и еще сказал: — Он у нас, наш товарищ финотдел, дело знает, ничего не скажешь, только вот...

А Мещеряков сел на стул, вынул из кармана гимнастерки трубку.

— Пускай разговаривает!

И завотделом, глянув на Брусенкова даже чуть насмешливо, продолжил про Панковскую волость.

— Начали они — в город сделали налет, захватили банк. А в банке денег не оказалось — белые вывезли. Захвачены были карандаши, бумага и две самопишущие машинки...

Окна финотдела выходили во двор бывшей кузодеевской торговли: бревенчатая стена амбара замыкала двор с противоположной стороны, сбоку был огород с невысокой городьбой, в огороде — беседка. Садовая беседка — и в огороде. Смешно! Но так, значит, нравилось бывшему владельцу второй гильдии купцу Кузодееву.

Замечая все это, Мещеряков ничуть не терял интереса к рассказу. Приглядываясь — моргает завфинотделом, оказывается, будто и не зря — умно моргает.

— И сделали тогда панковские свои собственные мучные рубли, — продолжал финансист и небольшими ручками показал этот рубль. — На керенском, на романовском выпуске — это им уже абсолютно все равно — рубли погасили, пуды поставили. Обеспечили подобное денежное наличие действительным запасом зерна в общественных магазинах. Но послушайте: опять богатый как имел больше хлеба, так и остался богаче других. Тогда они что поняли: муки запаса нет ни у кого. Мука сама по себе уже не хранится, а у кого все-таки был запас — они знали, произвели конфискацию. Конфисковали также и мельницы и стали молоты исключительно и только на мучные рубли. Стал мучной рубль подлинной ценностью. И чтобы увеличить ему обращение, они соль с завода на него исключительно и только отпускали. После всю наличную торговлю на него же перевели. И никто мучных рублей мешками уже иметь не мог, все крайне бережно к нему относились.

— Политика! — засмеялся Мещеряков.

— Политика! — подтвердил завфинотделом. — Только без золота... Золото ты, товарищ главнокомандующий, отдай нашему военному отделу. Там оно, может, и пригодится!

— Какому-какому? — быстро переспросил Мещеряков.

— Военному, товарищ главнокомандующий,— пояснил Брусенков. Пояснил, не оглядываясь,— он прикуривал от сигарки Коломийца. Прикурил, повторил еще раз: — Военному!

— А есть и такой у вас отдел? Есть?

— У нас — есть,— подтвердил Брусенков.— Ввиду военного времени, так он самый большой. Без него главный штаб — не штаб. Тем более не главный.

И Брусенков вышел в коридор. За ним и все вышли.

— Интересно-то как! — тоже ни на кого не глядя, проговорил Мещеряков.— А почто же отдел этот не был, когда мы окончательный протокол нашего объединения подписывали? Когда он — самый крупный? Ввиду военного времени... И ведает, думать надо, военными делами?

Брусенков еще раз затянулся неразгоравшейся сигаркой.

— А некому было присутствовать — начальник отдела на позициях находился в то время. Вместе с товарищем Крекотенем находился он. С командующим фронтом.

— Так! — кивнул Мещеряков.— Так. Ну — пошли в военный отдел. Где он тут у вас?

— А он совсем не на пути. Посетим юридический, труда и народного хозяйства, информации и агитации, тогда уже — самым последним — будет военный.

— Предлагаю порядок этот изменить. Для меня главное то самое и есть, что у вас в конце числится.— Мещеряков остановился в коридоре, повторил: — Где, спрашиваю, военный отдел? Ну!

И все остановились. Брусенков — как раз напротив Мещерякова, руки в карманы, Тася Черненко — справа от него, Коломиец — слева, Довгаль — чуть впереди, у противоположной стены коридора. В коридоре было полутемно, торопливо проходили мимо какие-то люди. За дверями слышались чьи-то голоса...

— Слушай, Ефрем,— сказал Довгаль.— Давай нарушать не будем! Военный отдел потому намеченный последним, что тебе с ним делов больше, как со всеми другими вместе. Ты в нем и останешься, будет надобность, а мы сможем уже быть свободными, то есть уйти каждый по своим местам. Вот так. Просто.

— Где военный отдел? — повторил Мещеряков.

Ему никто не ответил. Тогда он шагнул вперед, слегка отстранив Брусенкова, и открыл ближайшую дверь. Войдя, спросил громко и требовательно:

— Какой отдел?

Из глубины комнаты неловко поднялся крупный человек, смуглый, бородатый, в расстегнутой почти до пояса рубашке, и не по-военному, но все-таки в тон Мещерякову так же громко ответил:

— Юридический!

— А где военный?

— Отсюда — вторая дверь. И направо тоже!

— Ясно! — ответил Мещеряков и снова повернулся, а в дверях уже стояли его нынешние сопровождающие. Стояли, тесно прижавшись друг к другу, но не двигались ни туда, ни сюда. Потом к Мещерякову протиснулся Довгаль, положил ему руку на плечо.

— Слушай, Ефрем,— снова сказал он,— ты человек военный, и не с этого тебе надо начинать, не с нарушений и не с глупого упрямства. Нас четверо, членов главного штаба, и для нас такой порядок — хороший, тебе одному только он плохой, а ты знай к своему гнешь...— Посмотрев на Мещерякова еще, Довгаль вдруг улыбнулся: — И все одно — ты и сам вошел в юридический, куда мы все вчетвером тебя хотели сейчас завести. Ну? Поимей же терпение!

Мещеряков постоял, потом кивнул в сторону бородатого юридического работника. Обернувшись к Брусенкову, сказал:

— Спрашивай, товарищ Брусенков. Я послушаю. Спрашивай вот этого. Объясняй — что к чему?

У Брусенкова же все еще рябинки были чуть красноватые, брови сдвинуты над узким и длинным носом. Уголком рта он покусывал снова затухшую сигарку.

— А может, еще поупрямимся, товарищ главком? — спросил он.

— Ну, когда тебе так понравилось... — ответил Мещеряков, а Довгаль обернулся к Брусенкову:

— Это ты тоже брось, Иван!

— Где товарищ Завтреков? Заведующий? — медленно, будто нехотя спросил Брусенков у бородатого работника юридического отдела.

— Он что — сильно тебе нужен? — спросил тот.

— Сильно.

— Тогда он в главной следственной комиссии. Дело гражданки Решетовой решает.

— Текущие все дела отложить надо отделу. Текущие — после. А нынче заниматься исключительно и главным образом подготовкой к съезду.

— Занимаемся.

— Мало. Мы, может, товарища Завтрекова не дождемся, тогда ему передай не откладывая, чтобы пришел ко мне и сделал свое предложение обо всех наших названиях. Положить надо конец безобразию и неразберихе! — Голос был у Брусенкова уже как обычный — глуховатый, отрывистый, требовательный. Он сделал как бы выговор юридическому работнику и замолчал, а вступился Довгаль и стал объяснять Мещерякову:

— Ведь у нас как, товарищ главнокомандующий? У нас по сю пору кто как вздумается, тот так и называется. И Краснопартизанская мы республика, и республика Соленая Падь, и Освобожденная территория, и просто — Народная власть! А взять хотя бы, товарищ главнокомандующий, твою же армию... Армия, а порядку в ней того меньше, она — партизанская, красная, народная, объединенная, крестьянская, верстовская, соленопадская, мещеряковская — это же все упомянуть и то невозможно! Пишем документы, протокол объединенный подписали, а после и понять будет невозможно, кто все ж таки его подписывал? И когда прямо сказать, то более всего в этом виноватые мы — руководство. Тут скрывать нечего.

— Надо раз и навсегда решить и записать, — сказал Брусенков. — А для этого неотложно надо собрать съезд, во всем утвердиться и наперед всего решить — кто мы.

Мещеряков кивнул. И о себе подумал, что он тоже далеко не все нынешние названия знает и понимает. И для всех-то тут — лес темный. «Ладно, — подумал он. — Не вовсе уже зря я в этот отдел тоже явился». И он сам спросил у бородатого юриста:

— Еще-то вы чем занимаетесь? Кроме названий — чем? К примеру.

— К примеру, составляем уголовный и гражданский закон для Освобожденной территории — это раз... Утверждаем все положения о конфискационных комиссиях, равно и акты крупных конфискаций. Все другие отделы, кроме военного, когда они издадут распоряжения всеобщего значения, то с нами эти распоряжения заодно и подписывают. Еще организуем суды — сельские и волостные. Надзираем за лагерями военнопленных, передаем их отделу труда для разверстки по крестьянским дворам как рабочую силу, принимаем жалобы граждан на неправильные действия народной власти...

Загибая крупные потрескавшиеся пальцы, работник юридического отдела продолжал и продолжал приводить примеры:

— Хотя если обратно сказать, то у нас есть и без конца и краю становится всяких комиссий по всяким вопросам — они отделам все менее и менее подчиняются, а все более и более лично вот товарищу Брусенкову. Потому что они именуется не просто так, а — чрезвычайными, — еще сказал юрист. — Хотя бы и чрезвычайная юридическая.

Мещеряков ответил ему:

— Ну, существуют! Делов у вас — вот! — и похлопал себя по верху серебристой папахи. — Пошли? Дальше? — обратился он к Брусенкову.

Но тот снова махнул рукой почти в самую бороду юриста:

— Как понимаешь свою главную задачу? Самую главную?

— То есть?

— Ну, со всей глубиной?

— Трудную жизнь живем нынче... Все надо предусмотреть. Все! На далекое будущее.

— А что это — все? — заинтересовалась Тася Черненко. — Это как вас понять? Скажите, мы слушаем.

— Когда слушаете, я бы объяснил так: делаем мы власть, после под нее делаем закон. А надо бы вовсе наоборот: сделать всенародным обсуждением закон, после призвать к нему власть, которая его блюла бы и свято исполняла и за это перед народом на съездах отчитывалась бы.

— А кто же делает, по-твоему, самый первый закон, если не власть? От безвластия закон никогда не произойдет, — усмехнулся Брусенков.

— Самая первая власть и должна быть чисто законодательной, то есть выслушать народ, записать, какой он хочет для себя закон. После от власти уйти и никогда его не быть. Ни при каком уже случае.

— Как дева Мария, — родить без власти законы, — усмехнулся Брусенков. — А то еще хуже — как ровно ты по Учредительному собранию тоскуешь? Закон без власти надумал, а? Да я такой закон навывдумываю для кого-то там, такой хороший, что его сроду ни одна самая наилучшая власть не сможет осуществить! Получится одно беззаконие! Это вот и сейчас уже, на сегодня, каждому видно, что даже у нас в отделах люди не столь занимаются делом, как выдумывают... Один — с деньгами выдумывает, другой — хочет закон без власти... И так далее, без конца. Я когда тебя спрашивал, что самое главное должно быть в отделе, — я ждал, ты скажешь: укрепление новой народной власти! Вот что я услышать хотел. А ты? Не забыть надо сказать товарищу Завтрекову. Как фамилия-то?

— Проскураков.

— Понял ты меня, товарищ Проскураков? Сделал вывод?

— У меня вывод загодя уже был сделанный. То есть я знал — тебе, товарищ Брусенков, мнение мое вовсе не поглянется.

— И в этом ты вовсе правый, — согласился Брусенков. — В этом — да! Потому что твое мнение — оно не твое. Оно — к большому нашему сожалению, нерасстрелянному — Якову Власихину в первую очередь принадлежит. Вот кому. Вредные мысли — они живучие. Их кто-то заронит, и заботы после тому человеку нету, что они живучие, другим придется их раскорчевывать!

— Так ты считаешь, это что же — ерунда? — удивился бородатый юрист.

— Я за это ручаюсь. Где только ты набрался подобных мыслей? Не на пашне, поди, и не в скотской ограде, а где почище?

— Набрался я этого, где погрязнее. Заседателем в судах и в волостном и в уездном сиживал. В буржуазном и в капиталистическом суде.

И не один год. Там и набрался. А грозиться ты мне не грозись, товарищ Брусенков! Я на службе не у тебя и не у товарища вот главнокомандующего — у народа. Так же, как и ты. Мне народ — сход либо митинг — укажет уйти, я уйду, спасибо скажу за освобождение от службы. Пойду на свою пашню, к своей скотине. А покуда я служу своей головой, какая она у меня есть вместе с мыслями, и вы тут не то что страшать меня всем кагалом должны, а должны меня слушать и понимать!

— Ишь ты,— сказал Мещеряков,— ишь как ты нас бреешь! Чисто!

И опять, уже когда снова были в коридоре, Тася Черненко, посмотрев на Мещерякова коротким, внимательным взглядом, который он, однако, тут же и поймал, сказала:

— Трудно подбирать работников! Очень трудно! И мало их. И те, которые есть, далеко не всегда сознательные...

В тон Тасе Черненко Мещеряков заметил:

— Ищут все нынче. Все и каждый. Не каждый знает, чего ищет...

— И ты?— спросила Тася, впервые обратившись к Мещерякову на «ты».— И ты ищешь, товарищ главнокомандующий?

— Мне просто,— ответил ей Мещеряков,— побить Колчака. И даже того понягнее — нынче же надо побить генерала Матковского. Все! Кому это не понятно?

Следующим был отдел агитации и информации.

Тут работники оказались налицо, и все они вместе с пришедшими расселись по столам, стульям и подоконникам, а Брусенков сказал Тасе Черненко, чтобы она читала документы, подготовленные отделом в последние дни...

Тася читала «Воззвание главного штаба ко всей трудовой интеллигенции».

— «На нашей общей обязанности лежит разрушить старый строй и создать новый, одеть голых, накормить голодных, обучить неученых, защитить несправедливо обиженных!— читала Тася.— Не верьте слухам, что мы — грабители, что мы — тот «красный зверь», о котором вопит Колчак, будучи сам с ног до головы в невинной человеческой крови. Когда сто человек голодных отнимают у одного богатого пищу — это не грабеж, а справедливость. И на этом пути социальной революции политический жернов эпохи перемолол уже многих кумиров. Из Временного правительства, до сих пор милого многим вашим сердцам, он сделал пылинки и атомы, которые ссыпались в мешки забвения. Рабочие и крестьяне побежали от этого политического Вавилона, как мопассановский герой от Эйфелевой башни.

Техническая мощь извращенной прессы сдавила крестьянину и рабочему мозги, и только интеллигенция пошла за ним, как за виффлеемской звездой.

Прежде многие из вас, интеллигенты, звали мужика делать революцию, но дядя Иван гнал вас палкой: «Молчите, крамольники!» Но роли переменялись, теперь Иван зовет вас: «Пойдемте делать революцию!»— а многие интеллигенты его палкой: «Молчи, крамольник! Это не революция, а пугачевский бунт!»

Товарищи, трудовая интеллигенция! Чтобы наше восстание в действительности было непохожим на бунт, вы должны быть с нами. Смело несите знания нам, восставшим за добро и правду! Целость ваших жизней и имущества гарантирована нашими приказами, запрещающими разбой и самоуправство!»

Тася кончила читать, все замолчали. и тут Мещеряков заметил — все смотрят на него. И еще он подумал, будто все, что делается нынче в главном штабе во всех отделах, делается для него, происходит испытание ему... Когда бы Брусенков и все другие этого не хотели, так и нача-

ли бы показывать штаб с военного отдела, который для главнокомандующего всего важнее, в котором он понимает и разбирается... Нынче какая-то идет с ним игра. Недомолвка какая-то во всем, что происходит. И сейчас нет чтобы читать Тасе Черненко и дальше — все смеют на него, ждут, что скажет он. «Так и есть — испытание! Соображаю либо нет я в ихних делах... Или солдатишка серый — «ура-ура!», а ни на что больше не способный!» — подумал Мещеряков. Спросил:

— Это кто же сочинил? — Обвел всех глазами, остановился на фигуре немолодого уже человека, который, сложив на груди руки, сидел на узком подоконнике, свешивая часть туловища за окно. — Ты?

— Я! — ответил ему этот человек.

— Точно! Я всегда угадываю в таких вот случаях. И заведуешь отделом — тоже ты?

— Я! — опять подтвердил человек с подоконника.

— Так это за тебя мы и голосовали в главном штабе? Тайным голосованием ставили тебя на должность? Пуговицы в ящики опускали?

— За меня...

— Ясно!

«Отгадал — правильно...» — вздохнул Мещеряков.

— Забыл — у тебя образование какое? — разговаривал между тем Брусенков с заведующим отделом.

— Систематическое — высшее начальное. А затем самообразование в книжной лавке.

— Дальше-то я уже знаю об тебе: двадцать годов приказчика в книжной лавке прошел. Двадцать годов! Это, сказать, товарищи, так сколь университетов стоит? — Брусенков обернулся к Тасе Черненко, Мещерякова он миновал взглядом и весело так сказал: — И вот пошла эта служба впрок — гляди, как кроет! Правильно написано товарищем! Что непонятные слова — про звезду, про башню, про жернова — тоже правильно! Что она, интеллигенция, все понимает, что ли? Сроду нет! Когда понимала бы, то и нельзя было про нее написать, как здесь написано: то она Ивана звала на революцию, а тот не шел, а то Иван зовет ее не дозвется революцию делать! И тут разница большая — народ за несознательность винить хотя и нужно, но далеко не так, как интеллигенцию, поскольку она получила образование, и не для себя только, а должна отдавать его народу! И винить ее за это надо сильно и как можно больше. А еще говорить ей непонятные слова — она их любит, не может без их дня прожить!..

Вдруг Мещеряков встал и пошел. Пошел в военный отдел. «Надо сделать — сейчас же встать и сейчас же идти. Идти одному, никого не дожидаясь!»

И встал даже раньше, чем так подумал.

В военный отдел быстро распахнул дверь — тотчас оценил обстановку.

Люди здесь были все побриты чисто — не иначе как утром нынче брились... Это значит — вчера еще знали о встрече с главнокомандующим. И столы по ранжиру стояли в отделе, и лампа керосиновая стояла на одном из столов — показывала, что люди гут и ночью работают, и, конечно, находилась лампа на столе у начальника...

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Мещеряков громко.

Военный отдел — пять человек — встал, нестройно ответил на приветствие. Не по-всеенному ответил и не по-штатски. Ответил, замолчал. Чего-то ждали еще, не хватало им чего-то...

Вернее всего, не хватало Брусенкова. Они не думали, что Мещеряков явится к ним один — без сопровождения начальника главного штаба.

— Вольно! — весело так и насмешливо подал команду Мещеряков,

потому что в команде этой не было необходимости — люди и так стояли «вольно», а не «мирно».

Потом на лицах сотрудников военного отдела исчезла растерянность, все враз вздохнули, и Мещеряков понял — позади него, в дверях, появился начальник главного штаба.

— Да ты проходи, проходи, товарищ Брусенков,— сказал он ему, оглянувшись.— Послушай, о чем у нас тут пойдет разговор! Ты же член ведь нашей военной ставки!

И Брусенков шагнул с порога в комнату, а Мещеряков тотчас закрыл за ним дверь. В коридоре остались Довгаль, Тася Черненко и Коломиец. Им он сказал:

— А мы, товарищи, здесь враз и управимся! Ждать нас долго не придется!

Подошел к столу с лампой, спросил у полного, уже немолодого человека в военной гимнастерке:

— Заведуешь?

— Заведу!— ответил тот.

— Фамилия?

— Струков!

— В германскую кем служил, Струков? На каких фронтах? В каком чине, когда демобилизовался?

— Пехота. Был на Восточно-Прусском, после — на Юго-Западном. Прапор. Домой вернулся в октябре прошлого года.

Мещеряков спрашивал, Струков быстро и четко отвечал, отвечал, не задумываясь.

— Какое это в данный момент имеет значение? — начал было перебивать разговор Брусенков.— Какое значение имеют твои вопросы, товарищ главнокомандующий?

А Мещеряков строго спрашивал и спрашивал дальше:

— В Луцком прорыве шестнадцатого года был?

— Случилось...

— Это какого же было числа, подожди, подожди?..— проговорил Мещеряков, вспоминая.— Генерал Брусилов пошел в прорыв какого числа?

— А в мае, когда считать по старому календарю!— ответил Струков и начал вспоминать, как было дело, до тех пор, пока Мещеряков сам не перебил его:

— Коротко: для чего твой отдел существует?

Тут впервые Струков задумался. Посмотрел на Брусенкова...

— Ну, вот хотя бы мобилизация. Снабжение армии. Оружейные мастерские. Всё — наши вопросы...— стал отвечать наконец Струков.

— Для мобилизации в армии есть штаб. Для снабжения — отдел снабжения. В главном штабе Освобожденной территории есть отдел финансовый и конфискационные комиссии. Мне нынче и показывали все это, чтобы я понял. Я и понял. Как надо, разобрался. Не знаю только — зачем ты? И к тому же — по всем вопросам. Когда бы ты занимался, скажем, одной только мобилизацией, я бы и тебя тоже понял и распустил бы своих работников, которые мобилизацию проводят. А когда ты едва ли не всеми вопросами занимаешься — мне что же, весь свой штаб расформировывать или как? Кроме разве что оперативного отдела да еще разведки? Или, может, и разведка мне тоже уже ненужная? — Это все Мещеряков сказал будто самому себе, но тут же снова и быстро обратился к Струкову:

— Ну, ладно! Мы в главном штабе делали протокол объединения, ты тот день был у товарища Крекотеня. Так мне товарищ Брусенков объяснил. В какой деревне был?

— В Тимаковой...

Мещеряков быстро расстегнул планшетку, вынул карту, показал пальцем:

— Вот она — Тимакова... Вот она — дорога на Соленую Падь. Обрисуй, пожалуйста, кратко военную обстановку: где наши части, где дислоцируется противник?

Струков начал вглядываться в карту, пересек тонкую линию дороги ногтем:

— Наши — тут... А вот тут — белые. Да я ведь вовсе и не с оперативной целью был. Был по делам мобилизации.

— Ну все равно, как военный отдел интересовался же ты положением?

— Не успел. Спешил слишком.

— Это, конечно, может быть. Тогда давай коснемся здешнего положения. Надо же нам с чего-то общее дело начинать. Как ты находишь оборонительные работы под Соленой Падью? Признаешь ты их хорошими?

Струков снова подтянул к себе карту и стал показывать, где и что сделано, какие выкопаны окопы, где, по его мнению, следовало бы еще копать. Мещеряков слушал внимательно. Поддакивал. А тогда и Струков спросил вдруг его:

— Мне вот тоже интересно — как ты дело находишь, товарищ главком?

— В какой части?

— Ну, хотя бы в части состояния армии? Общего состояния?

— Общее — оно среднее. До хорошего далеко.

— Почему так?

— Выпивки много на позициях по сю пору. Разной. И самогонка, и бражка, и даже лавочная встречается. И бабы тоже разные шляются — свои, и чужие, и вовсе беженки. Служба связи не поставлена. Ну и еще могу перечислить...

— Это потому, — вступился Брусенков, — что у нас гражданское население повсеместно исполняет наряды на рытье окопов. А всем и каждому известно — гражданского населения без баб не бывает. Но я спрошу так: кроме баб, ты на позициях заметил еще что либо нет, товарищ главком? Командные курсы наши заметил? Всю армейскую организацию? В целом?

Мещеряков прошелся по комнате, остановился. Постоял. В окно поглядел. А когда обернулся, сказал:

— Ну, вот что, товарищи, я уже и готовый ответить на все вопросы. То есть, как я понял ваш военный отдел. — Шагнул от окна на середину комнаты. — А понял я так: ты, Струков, вовсе и не бывал в Тимаковой тот день, когда мы подписывали объединенный протокол. И в штабе тоже не был — не хотели мне тебя показывать. Не расчет тогда был. Зато был ты на местных оборонительных позициях. Был так: ходил следом за мной. Узнавал, что я делаю, как распоряжаюсь и разговариваю как. После товарищу вот Брусенкову все докладывал.

Струков заметно вытягивался, принимая стойку «смирно». А Брусенков подошел к Мещерякову:

— Так вот — мы и не скрываем, товарищ главнокомандующий, что над тобою и над всей армией должно быть со стороны главного штаба руководство, а значит, контроль. Так и должно быть. Не иначе. Ни твоей бесконтрольности, ни чьей другой не допустим. Тем более в военное время. Кончим воевать — другой разговор; мирная жизнь, она потому и мирная, что свободнее и бесконтрольнее. А нынче — положение всей жизни военное. Не тебе это объяснять!

— Понятно. Но когда я об контроле об этом знаю — это одно. Когда он от меня делается тайно — то это называется шпионство. И чтобы впредь таких недоразумений у нас не случалось, я прямо заявляю: для меня нынешнего военного отдела не существует! А ежель все ж таки кто из его работников будет и дальше шариться в армии, по моим следам ходить и нюхать, то я отдам приказ брать таких и стрелять, как за шпионство!

Брусенков покраснел. Рябины его по всему лицу сделались красными. Клюква или брусника. Он еще шагнул к Мещерякову, но тот не дал ему говорить, сказал сам:

— Дальше. Дальше так: я ультиматум до конца все ж таки не ставлю. Предлагаю: завтра в десять часов товарищ Струков является ко мне в штаб армии и дает обещание, что никакого шпионства с его стороны более не будет. После того он докладывает свои честные сообщения — как отдел его может армии и общей нашей победе помогать и в действительности быть полезным. Когда мы с товарищем Жгуном, начальником моего штаба, эти предложения усмотрим как хорошие — то и хорошо дальше будем вместе работать. Когда они будут для нас негодные — то я уже окончательно и в полном ультиматуме повторяю нынешние слова: военного отдела для армии нет и не существует! Все! В других отделах я больше нынче находиться не имею возможности — некогда!

И, козырнув, Мещеряков быстро пошел прочь из комнаты. Распахнул дверь... Остановился. Так же резко вернулся, вынул из кармана и положил на стол коробок с цветными карандашами.

— Это ты мне давеча прислал, товарищ начальник главного штаба! — сказал Брусенкову, но не оборачиваясь к нему. — Возьми! У нас и в своем штабе таких дополна!

Брусенков усмехнулся, протянул руку, взял коробок, потряс его около уха. Сказал:

— Ну, мы примем предметы обратно. Вовсе не постесняемся принять. А еще вот что — отдай-ка нам золото! Сорок семь тысяч и сколько там у тебя фунтов? Не хочешь отдавать военному отделу — отдай прямо в главный штаб. Прямо мне. Я уже использую. Смогу. На общее наше дело, и с умом использую...

— Нет, — ответил Мещеряков. — Не отдам. Самому пригодится. — И еще раз, уже с порога, повторил: — Не отдам!

Глава восьмая

На другой день в избе Толи Стрельникова снова собрались члены главного штаба.

Сидели в горнице.

Спокойным оставался, кажется, один только Брусенков.

Изда Стрельникова всем была знакома, но уже по одному тому, что это было жилье, а не штабное помещение, здесь невольно приходило на память, что к ночи люди имеют привычку ложиться спать, утром — вставать и завтракать, днем — обедать...

После напряжения, в котором жил главный штаб, после бессонных ночей, бесконечных посетителей, бесконечных событий, которые врывались вслед за этими посетителями, или в донесениях с мест, или еще как-то, даже неизвестно как, — обычное жилье казалось странным, поначалу оно охватывало каким-то оцепенением.

Однако нынче ничто не могло помешать присутствию здесь еще и беспокойства, волнения. Необычная была нынче встреча.

Разговор был тихим, сдержанным — о том, о другом...

Тася Черненко все глядела в окно, будто упорно ждала еще кого-то; на продолговатом смуглом лице ее проступал неровный румянец, пальцами то одной, то другой руки она теребила металлическую пуговицу гимнастерки. Пуговица оставляла на пальцах серый налет, Тася вытирала их о голенище сапога и принималась теребить пуговицу снова.

В кухне тяжело шаркала ногами и кашляла нутряным, навек пришившим кашлем древняя старуха — Толи Стрельникова бабка.

Толина мать умерла давным-давно, он ее не помнил, бабка и воспитывала его вместо матери, а теперь воспитывала и выхаживала, как могла, правнуков, и родных и неродных: жена Толи тоже померла лет пятнадцать назад, он снова женился, женился на вдовой и детной. Теперь росли ее ребятишки и его, от первой жены, и общие, от нынешнего брака.

Жена и старшие дети страдовали, рыли окопы, малые все были на ограде, бабка одна и хозяйничала в доме, изредка стонущими, глухими окликаками призывая в помощь девчонок, которые водились на крыльце с самыми малыми, искали друг у друга.

— Старая уже сильно. А ходит. Работает... — сказал Довгаль, прислушиваясь к шагам на кухне.

— Всю-то жизнь так... — кивнул Толя, плотнее заправил пустой рукав домотканой рубахи за пояс. — Я в пятнадцатом годе в лазарете лежал с масленки и до покрова. После первой еще контузии. Еще был с рукой. И вот — закрою глаза и слышу: бабка-то ходит, ходит, ходит... День-ночь без конца и краю ногами шебаршится и грудью кашляет... Я расту — из сосунка в парнишку, из парнишки в парня, из парня в мужика, — а она все шарк да шарк. День — ночь, день — ночь... По кругу.

Удушливо пахло геранью, расставленной в глиняных горшках по всем подоконникам. Иные горшки были поломаны, повязаны бечевками, из одного сквозь шель выползал на подоконник желтый узловатый корень.

Посреди широкой деревянной кровати, покрытой лоскутным одеялом, будто в беспамятстве, лежал, раскинув все четыре лапы и хвост, рыжий встрепанный кот с разорванным до основания и еще не зажившим ухом. Черные с отливом и жадные мухи тревожили ему незажившее место, забирались внутрь, кот скалился, бил по уху лапой и просыпался, но тут же снова впадал в сон, даже храпел.

В углу, возле печки-голландки, на гибкой жердочке чуть покачивалась пустая люлька.

— Что — пустая-то весится? — кивнул на люльку Довгаль. — Снял бы, когда не нужна...

— А это баба не сымает, — ответил Толя рассеянно. — Все ж таки, говорит, острастка. Надпоминание.

— Ну и как? — осведомился Коломиец. — Как? Помогает? Ты-то — боишься?

— Я-то — не сильно. А баба — та страшится. Который раз.

— Все одно — толку нету! — махнул рукой Коломиец, пошел на кухню закутить от уголька, а когда вернулся, сказал еще: — Мы вот многодетных и малоимущих даже от службы в народной армии освобождаем, бумагу им пишем на этот предмет в отделе призрения. А ты мало того — многодетный, еще и безрукий, а служишь! Зря это ты, однако... Без тебя революция не погибнет тоже.

— Не в армии служу — в ополчении! — отозвался Толя. — Ну, когда революция не погибнет без меня, то я без ее — запросто. Другие есть — с одной рукой научаются делу, а я без правой жизнь потерял, ничего не мог. У лесопилки живет Елисейев Никита — тот запрыгает одной рукой! Верить ли — уздает, и хомутает, и засупонивает. А я? С готовой вож-

жиной могу управиться — не более того! А тут — сгодился! И еще как сгодился: у меня есть в ополчении и с руками и с ногами, кругом целые, а мне все ж таки подчиненные! Я и сам к этому долгое время был без привычки.

— Привык? — спросил Довгаль.

— Ко всему человек привыкает.

Коломиец кивнул в знак согласия с Толей, еще сказал:

— Нынче власть от народа отказу ни в чем не имеет...

— И об народе тоже заботиться надо, — заметил Брусенков. — А ты, Коломиец, уже сильно за сознательность прячешься! Я тебе приказывал на страду квасу вывезти бочек десять для жнецов, соли выдать им же из общественного магазина по осьмушке — ты не послушался. И пересказывали мне, будто сказал еще: «Народ — он и без осьмушки нынче делает! Его нынче вовсе не корми — он делает!» Это правда, нет ли?

— Так я с твоих же слов, товарищ Брусенков, говорил, — удивился Коломиец. — Ты, когда мне приказ давал, эти же и слова говорил! Вспомни-ка?

— Я-то, может, и говорил, но приказ сделал. А ты второстепенные слова повторяешь, а исполнения приказа не делаешь. Еще случится — наказывать будем тебя! — И вот тут-то, совершенно неожиданно для всех, хотя все ждали этого, ради этого собрались в избе Стрельникова, Брусенков сказал: — Значит, так — самое главное произошло вчера в главном штабе, за дверями военного отдела, куда Мещеряков даже не посчитал нужным всех нас запустить. Он заявил, что военному отделу не станет подчиняться, а работников его будет на позициях брать. Как за шпионство. Так что мне от себя лично добавить к этому, пожалуй что, и нечего, разве еще, что в конце концов он даже в конфискованном золоте самому главному штабу отказал. Общее положение: наша армия под руководством товарища Крекотеня теряет силы, ведет бои, а бывшая верстовская тем временем сил набирается. Будет ли она после того действительно защищать Соленую Падь до последней крови — никому не известно. Положение требуется менять. В корне и окончательно. Мы и так опоздали. И дальше сильно опаздываем. Что ни день — Мещеряков имеет больше власти в армии, заблуждает вокруг своей личности народ, уже хватит ему такие дни предоставлять. Конкретно: как сделать? Предлагаю, как и с самого начала предлагал, — взять Мещерякова, предъявить ему ультиматум. Ультиматум такой: чтобы ни один его приказ по армии без подписи главного штаба не считался действительным. Чтобы немедленно стянул армию к Соленой Пади. Товарищ Крекотень — командующий фронтом, а фронт один — то есть фактический командир он и есть, а главнокомандующий — это, скажем, как в прошлом военный министр, не более того. Чтобы признал свою ошибку по вопросу о Власихине. Чтобы отдал золото. Последнее не потому, что оно нам нужно, а потому, что оно и ему ненужное тоже. Теперь — взять Мещерякова. Это не просто, но я беру на себя. Сделаю. Мне нужна с вашей стороны даже не сильно большая помощь Толи Стрельникова, как проверенного и смелого члена нашего главного штаба. С Толей мы уже договорились насчет действий... Так, товарищ Стрельников?

Толя кивнул, поправил рукой по-детски взлохмаченные и светлые волосы.

— Затем уже нужно будет такое же, как сейчас наше, совещание, на котором мы и предъявим все вместе взятому товарищу Мещерякову указанный ультиматум. И решим по всей строгости, как поступить. Все. Хватит слов. Будем осуществлять.

Сильнее запахло геранью в избе Толи Стрельникова, слышнее стало, как храпит на койке рыжий кот, грызаясь во сне, и как бабка двигается на кухне: шарк-шарк...

Тася Черненко еще раз посмотрела через герани в окно, вздохнула и отвернулась... «Ну, вот и все,— подумала она.— Все сказано. Бывает, что сказать труднее, чем сделать». И не то с благодарностью, не то все с тем же чувством облегчения перевела взгляд на Брусенкова, на его сухощавое пестроватое лицо и, когда Брусенков замолчал, продолжала смотреть, ждать от него еще каких-то слов. Как-то особенно звучали для нее сегодня его слова, глуховатый, уверенный, спокойный голос. Потом, в тишине, Тася подумала: «Это — война!», и тут ей показалось, что только сейчас она и увидела войну, сию минуту открыла ее. «Ну, конечно,— продолжала она размышлять теперь уже об этом неожиданным открытии,— война — это когда перешагиваешь через себя, через свои представления, как через трупы!» Она вспомнила, что никогда не перешагивала через трупы, не раз видела убитых, только не вблизи, а изда-лека, но все равно повторила еще раз: «Как через трупы!»

Война — вот что было настоящим огромного множества людей, и Тася Черненко тоже. На двадцать третьем году она наконец обрела это настоящее, а двадцать два года — с самого младенчества — только и делала, что от настоящего уходила.

И настоящим же был Брусенков.

С пестрым лицом, с хрящеватым носом, с маленькими, тоже пестроватыми умными и жестокими глазками. С желанием начать все сначала, если уж сама жизнь заставляет его начинать.

Это он был готов избавиться от изначальной ошибки, от самого первого человеческого «не то», он выражал тысячелетнее возмущение «не тем», не подозревая даже, что ведь вся целиком жизнь тоже могла быть «не той»...

Но подозрения не смущали его. Если жизнь действительно не та, он действительно разрушит ее без сожаления. Без сожаления погибнет и сам.

Никто так не чувствовал внутреннего, скрытого порядка в хаотическом беспорядке войны, никому не было дано так просто распоряжаться всем — сражениями, судами, жизнями, — как Брусенкову.

И нынче Тасе Черненко показалось очень странным, что еще несколько дней назад, когда Брусенков в этой же избе, сидя на этом же деревянном стуле с прогнутой спиной и с исцарапанной кошачьими когтями задней ножкой, предлагал устранить Мещерякова, — она заколебалась, не поддержала его. Почему она заколебалась тогда? Что это была за слабость?

Обернувшись к Довгалю, она вдруг заметила какую-то его интеллигентность, — аккуратное и красивое лицо стало ей неприятным.

Она еще не знала, как далеко может зайти спор между Брусенковым и Довгалем. Но как бы далеко этот спор ни зашел, теперь она никогда уже не позволит себе тех колебаний, той двусмысленности, той постыдной слабости, которой она поддалась однажды — при решении вопроса о Мещерякове. Никогда!

Довгаль между тем заговорил медленно, тяжело.

— Как на разговор Мещерякова в военном отделе посмотрел заведующий товарищ Струков? — спросил он у Брусенкова.

И Тася подумала: «Зачем, к чему этот вопрос, когда уже все решено?»

— С товарищем Струковым вовсе худо, — ответил Брусенков, нетерпеливо поглядев на Довгалья. — Товарищ Струков безоговорочно, как и

назначил ему Мещеряков, явился к нему нынче утром в штаб армии, где они уже втроем, с участием штабс-капитана Жгуна, договорятся о фактическом подчинении военного отдела штабу армии.

— Почему товарища Струкова опять нет между нами? — снова спросил Довгаль.

— Это смешно! — ответил Брусенков и вдруг в самом деле засмеялся. — Человек пошел на поддержку Мещерякова, мы все считаем: Мещерякова необходимо устранить, а после того будем звать этого человека, советоваться с ним? Это смешно!

— У меня есть вовсе новое предложение... — сказал Довгаль. — Назначить к Мещерякову от главного штаба комиссара. Назначить товарища Довгаля.

И Толя Стрельников и Коломиец смотрели вопросительно: не поняли. Понял Брусенков. Подумал и сказал:

— Соглашательское зрение. Вообще и на самого себя. С самим собой идешь на соглашение, предлагаешься в комиссары. Странно. Или ты думаешь, что Мещеряков согласится на твое при нем комиссарство? Бесполезно же это!

— Я не перед ним вопрос ставлю — ставлю сейчас его перед вами. Дайте мне ответ, а тогда уже и пойдет разговор, как Мещерякову мнение представить. — И еще, в упор посмотрев на Брусенкова, Довгаль проговорил: — Далее же вопрос я поставлю перед всем нашим главным штабом. В полном его составе.

Поскрипывала люлька, едва заметно пригибая тонкую неотесанную жердочку с коричневой корой. Не то ореховая была жердочка, не то черемуховая. Кот потянулся на кровати, открыл один глаз, глянул им в потолок, закрыл снова...

— Наверяд ли наше мнение будет положительным для тебя, товарищ Довгаль, навряд ли! — ответил Брусенков. — И вообще, я вот только что подумал, спросил себя — а заслуживаешь ли ты теперь положительного? К своей личности? Хотя сейчас не в том даже дело. Вызываешь ты один вопрос. Не знаю — ловко ли задавать его? Но снова повторяю: ты же сам его вызываешь...

— Очень-то уж сильно не стесняйся.

— Тогда задаю этот вопрос. До сего времени мы впятером и даже четверо решали за главный штаб. Вплоть до объединенного протокола, который с Мещеряковым подписывали. А вот нынче, когда мы не назначим Довгаля комиссаром при Мещерякове, то он в своем недовольстве пойдет перерешать вопрос уже на полном составе штаба! Почему до сего дня порядок был для Довгаля хорош, он сам в нем хорошо участвовал, а нынче он стал ему плох? Выслушать бы. Понять бы товарища Довгаля. До конца! Без этого — нет в тебе необходимой ясности, Довгаль. Без этого ты — как тот Мещеряков — внушаешь такое же сомнение. Такое же сильное.

Довгаль провел обеими руками по лицу, положил руки на колени, кивнул:

— Не напрасно я нынешнюю ночь об этом гвоем вопросе думал. Думал: почему я в таком порядке до сей поры плохого не видел? Отвечу: не выпадало ему полного испытания. Удавалось нам под наш порядок вопросы подгонять. Но вот явился вопрос: он уже в наш порядок не влазит, и будет преступление, когда мы все одно будем стараться его обратно захихнуть. Он покрупнее нас с тобой, этот вопрос, товарищ Брусенков. Убрать или не убрать нынче главнокомандующего — это вопрос каждого товарища солдата, за кем он пойдет в бой, кому он верит? Восстали мы тоже не четверо и не пятеро — восстал народ, а народ не-

виноватый, что мы между собой раскололись, виноватые в этом мы сами. Из своей вины мы не можем делать от народа тайну, тем самым делать ему плохое, а должны во всеуслышание о ней сказать. После уже сделать, как скажет народ. Так что если мы расколемся не только сейчас, но и в полном составе, все семнадцать членов главного штаба,— то я пойду еще дальше.

— Так... Пойдешь... Но пошел-то ты предлагать себя в комиссары опять же к нам — к той же четверке либо к пятерке, на которую ты едва ли не всему народу готовый жалобу принести? Если мы с тобой не согласимся. Ну, а когда согласимся, ты, верно, уже не будешь жаловаться никому — на согласие с тобой мы правомочные, это на отказ — ни в коем случае?

— Согласие — оно никому не угрожает. Согласие — это сохранить Мещерякова и — учти, Брусенков, — Брусенкова тоже. Раскол же — это жертва, и мы ее делать сами по себе не имеем права. А во-вторых, объяснял уже я: наша рабочая группа — четыре человека — нынче доказала, что она плохая. Пока мы этого не видели. Увидели же и не как-нибудь, а глазами и душой — значит, надо менять дело. Значит, пора вспомнить, что не наши только головы решают, решают и те, кого с нами нету — члены главного штаба, кто в дружинах нынче и в полках тоже делает победу. Хотя бы тот же товарищ Петрович в полку красных соколов и многие другие. Мы настолько об них забыли, об других, что несколько человек уже к сегодняшнему дню есть среди них расстрелянные за проступки. Нами же и расстрелянные. А ведь опять же решений на это всего главного штаба не было? Хватит забывать! Надо вспомнить, пока не поздно, пока мы, может быть, самого печального для всего нашего восстания расстрела не сделали.

Было видно, что Довгаль ни в коем случае с Брусенковым не согласится.

И Брусенкова это поразило — он к этому не привык.

А еще больше поразило Тасю. Не понимал Довгаль, что два человека — Мещеряков и Брусенков — с первой же встречи не могли делать одно дело. Один из них должен уйти.

А Тася это понимала...

Несколько дней назад Мещеряков зачем-то забежал в главный штаб. Это было еще до того, как он знакомился с отделами штаба, и, должно быть, не разобравшись, где и кого он должен найти по своему делу, махнул на это дело рукой, сел против Таси Черненко на длинную скамью у стены и потянул носом воздух, в котором вдруг запахло ваксой. Ни у кого в Соленой Пади ваксы не было, а у Мещерякова она была, сапоги его блестели, пахли пронзительно — он наслаждался этим запахом.

Он долго, улыбаясь, смотрел и на нее, а тогда она спросила:

— Чему улыбаетесь, товарищ главнокомандующий?

— Так ты же, товарищ Черненко, не собираешься в меня палить с пистолета? — как будто даже удивился Мещеряков. — Либо рубить шашкой? Это вот я в бою встречу с каким беляком — тому я уже улыбаться не стану. И он мне не станет!

Тася еще не знала, почему Мещеряков ее так раздражает, и терпеливо, не выдавая себя, ждала — когда же узнает?

В это время и вошел Власихин. Все такой же осанистый, огромный, с едва заметной проседью в черной бороде. И те самые люди, которые хотели расстрелять его на площади, уже снова обращались к нему с просьбами написать то одну, то другую бумагу, вот он и пришел с чьим-то прошением.

Мещеряков тотчас узнал его:

— А-а, здорово, дед! Слушай-ка, мне все ж таки интересно узнать — ты истинно за советскую власть? Садись-ка вот! — Похлопал по скамье рядом с собой. — Садись, скажи!

Власихин сел и сказал:

— Я — истинно за нее. Ближе либо далеко, мало прольем крови или больше того — а достигнуть справедливой власти над собой человек должен. Без этого на что расходуемся? Это жили вдвоем на земле Адам и Ева — тем надобности не было. Но когда нас, миллионы, с каждым годом больше и больше — надо как-то управляться.

И тогда Мещеряков обратился к Тасе:

— Ты гляди, товарищ секретарь, мыслит дед-то! Мыслит в основном в пользу советской власти и народа! Хорошо, не стрельнули в его тот раз, не успели — вот он и мыслит по сей день!

Тася думала: Мещеряков тут же потреплет Власихина по бороде или по голове, но он потрепал его по плечу, встал, ушел. Заторопился вдруг. И вот тут-то Тася поняла и сказала себе в первый раз: «Или — или: или тот, или другой. Этот просто мальчишка перед тем... И в семьдесят лет он не сможет стать взрослым... Даже Власихин и тот — взрослее его!»

Еще написав какую-то бумажку, она закончила свою мысль: «Так называемые жертвы истории — это прежде всего мальчишки... Белые или красные, но одинаково наивные».

Теперь она обернулась к Довгалю, рассмотрела его черные усики, похожие на усики Мещерякова, темные блестящие глаза, аккуратно расчесанную голову и сказала:

— Товарищ Довгаль, ты рассуждаешь, как мальчик!

Довгаль встал, прошелся от окна к дверям и обратно, сказал:

— Подведем итог. Ты, Брусенков, твердо стоишь на платформе. Потому и нужен нам, нашему делу. Но учти, народ — он выше любой платформы. Ты вывода не сделал, когда и меня и тебя, совдепщиков, в прошлом году запросто прогнали. Значит, не так делали, чтобы нас народ мог понять. Но ты и сейчас еще вывода не сделал. Далее. Боишься ты Мещерякова, потому что, как никто, сам склонный всех устранивать. Отсюда и Мещерякова ставишь под сомнение в том же вопросе.

— Ставлю! — кивнул Брусенков. — Покуда мы с тобой ведем здесь суждения, он запросто разгонит главный штаб. Кто слепой, политически незрелый — тот опасности не видит.

— Я не кончил еще...

— Заодно твой, сельский соленопадский штаб тоже разгонит...

— Не кончил же я!..

— Мне уже ясно, почему ты в комиссары к нему запросился. Военной и физической силы у него, верно что, больше...

— Еще раз — прошу и требую, товарищ Брусенков, дай мне сказать! И не наводи тень — в нынешней обстановке это вовсе просто, но, когда тебе дорого наше дело, ты сам должен этого уберечься! Всеми силами! И какой же для нас выход? Какой выход, когда я не только тебе, Брусенков, хотя и хочу, но не могу уже верить — не могу верить всем, здесь собравшимся? С этой минуты — не могу! Что тогда? — Довгаль черными своими глазами посмотрел на Толю Стрельникова, на Коломийца, на Тасю Черненко.

— Тогда прямой ход тебе — в комиссары к Мещерякову, а уже вместе ийти на разгон главного штаба.

— Замолчи! — крикнул Довгаль, крикнул пронзительно, кот вскочил на лоскутном одеяле, бабка и та, должно быть, услышала, перестала шаркать ногами, недоуменная тишина проникла из кухни в горницу...

— Есть выход,— неожиданно тихо, медленно снова заговорил Довгаль.— От него ни тебе, Брусенков, ни мне не уйти. Хочешь ты или не хочешь — я тебя сегодня же призову на люди. И себя тоже. Нынешний вопрос способные решить те люди, которые ближе всего стоят к идее, идейно же могут и всею душою взглянуть на каждый факт, на всю нашу борьбу и жизнь по-человечески... Сегодня на заимке Сузунцева на заходе солнца соберется собрание партии. Мы самостоятельно, ячейкой, чуть ли не со времени советской власти не собирались. Пора восстановить нам себя. И даже не потому, что мы хотим, а дело требует. Если не явисься — значит, забоялся своей неправоты. Призову я не только тебя, но и Мещерякова.

— Ты мне уберечься велел, чтобы тень на других не бросать. Я уберегусь — я на этом собрании выскажу мысль всем, чтобы она не тенью была уже. Выскажу, почему ты в комиссары к Мещерякову пробиваешься.

— Я тебя об этом даже прошу. Лично.

— Нынче ты уже людей не соберешь, не успеешь.

— Моя забота.

— Кто тебе заботу поручал?

— Никто. Надо было сделать — я сделал, назначил, хотя до сей минуты не думал, какой вопрос еще будет перед нами поставлен.

Тася видела, как Брусенков становился злым. Той злостью, которую все в главном штабе давно знали, в которой Брусенков был страшен, но быстр, решителен, смел, в которой он не раз выводил штаб из-под ударов белых.

Но Брусенков не рассердился и не сделался злым до конца... Тоже поглядел через герани в окно, а поглядев на Довгалья — улыбнулся. Это было совсем неожиданно.

— Ладно...— кивнул Брусенков.— И даже вовсе не худо! У меня только есть мысль... Отказать ей нельзя... Прежде, как мы явимся на Сузунцевскую заимку, мы встретимся с товарищем Мещеряковым. Поговорим. Вдвоем. Мы оба партийцы. Он даже раньше меня вступил, еще на фронте, еще за два месяца до Октябрьского переворота. Мы имеем полное право и необходимость между собой выясниться. А уже с остальным неразрешенным вопросом прибудем на заимку. Я его и приведу, Мещерякова.

* * *

Спустя некоторое время вдоль озера, нижней улицей Соленой Пади, ехали в главный штаб Коломиец, Толя Стрельников, Тася Черненко, Брусенков. Довгаль отправился в другую сторону — на позиции.

Ехали в тарантасе, на козлах сидели Коломиец и Толя, Толя и правил единственной рукой, а Коломиец то и дело падал плечом на безрукое Толино плечо.

Пестрая кобыла шлепала разбитыми копытами по густой уличной пыли.

Брусенков кланялся прохожим, приподнимая картуз с треснувшим надвое козырьком.

На тарантас смотрели и с огородов, через немудрые жердяные прясла, на огородах нынче было много женщин и ребятишек. Шла уборка разного овоща, а кое-где уже копали картошку.

Соленая Падь и овощами и картофелем была известна далеко вокруг по Низовской степи. Существовал даже сорт картофеля «солянка». Хорошо шел по супескам, долго хранился в ямах и подпольях без порчи. И урожай давал, особенно если не случалось чрезмерной засухи.

«Солянку» эту — чуть желтоватую, круглую и пахучую — нынче ко-

пали, подсушивали на солнышке и ведрами, кулями и попросту, волоча рядно по земле, стаскивали в ямы.

В улицу несло картофельным, луковичным, укропным, огуречным духом, дорожная пыль была пропитана им, как рассолом, будто совсем недавно падал рассольный дождь, после — высох, а дорога осталась пропитанной им на многие годы.

— А я,— сказал Брусенков Тасе,— я и пашню свою нынче не сеял, и огород как посадил — не зашел ни разу глянуть... Возшло ли, нет ли — не знаю.

Тася спросила:

— Товарищ начальник главного штаба, о чем же вы надеетесь договориться с товарищем Мещеряковым?

— ...баба там пласталась нынче, на огороде, а мне — носу сунуть недосуг было.

Тася стала смотреть вокруг. Вплотную к озеру подступали огороды, на гладкой, расцветенной солнцем и тенями облаков поверхности вдруг вспыхивали яркие огоньки, тут же и потухали.

— Эй, Толя! — окликнул Брусенков Стрельникова. — Поезжай, слышь, свиньим проулком, а после — мимо избы моей. Хочу глянуть...

Толя, не оглядываясь, кивнул затылком назад. Коломиец же резко повернулся на козлах, устался на Брусенкова красноватыми глазками:

— А? В чем дело-то, товарищ Брусенков?

— Говорю: езжайте лево...

— А-а-а...

Спустя еще немного свернули в узкий переулочек между плетнями, и в самом деле весь взрытый свиньями; тарангас сразу же едва не застрял в глубокой рытвине, Коломиец стал хвататься за пустой Толин рукав, Тася крепко взялась за борт плетеного коробка, Брусенков, глядя на свиней, неохотно уступивших дорогу, сказал:

— Задави, Толя, одну, язвило бы ее...

Толя опять кивнул затылком, после коротко обернулся вполоборота, сдвинув белую, выцветшую бровь на самый глаз:

— Однако объехать надо было свинячий этот буерак...

Он весь был напряжен, Толя, управляя одной рукой, строгий был, как будто соображал что-то.

Коломиец же, вывернув шею и взмахивая на толчках руками, почему-то вдруг начал объяснять Брусенкову:

— Сколь себя помню — это место без свиньев не бывало. Ей-богу! Строились здесь и огораживались изо всей силы — и все ничего против ихнего рыла. Клад, чо ли, чувт, проклятые? Жители окружные страдают: без хорошего кобеля-охранщика огород невозможно держать. В прошлом годе кобель один, видать, озлился — трех задушил, а они его... Такая была свара... И то сказать — с нашими, соленопадскими, кобелями навряд ли кто сравняется. Злее не найдется. Наши кобели — они же еще от самого первого жителя пошли, от Силантия. От дяди мещеряковского. У их, видать, порода. — Коломиец и еще продолжал бы рассказывать и размахивать руками, но тут вскоре показалась ограда Брусенкова, и он замолчал, обернулся лицом вперед.

Тася и раньше видела брусенковский двор, всегда он выглядел странно и неудобно, а нынче она удивилась еще больше...

Ворота были построены огромные и высокие, такие же, как на бывшей кузодеевской усадьбе, рядом с ними ютилась крохотная избушка. Во дворе снова возвышался амбар кондового дерева, но недостроенный, с одной стеной, защитой горбылями, потом виднелась хлевушка из плет-

ня, когда-то обмазанная глиной, а теперь лишь покрытая кое-где землястыми пятнами, и уже в огороде стояла добротная, с кирпичной трубой, с двумя застекленными оконцами баня...

Посреди ограды — ржавое, с несколькими обугленными бревнами пепелище; огород большой, почти весь покрытый пыльно-серой пылью, притоптанной к почве и тоже с частыми пятнами бывших кострищ.

Было известно, что один из карательных отрядов хотел сжечь ограду Брусенкова, солдаты подпалили постройку, но пошел дождь, затушил огонь, а каратели вскоре бежали, не успев кончить дела.

После пришли партизанские отряды, не только свои — из других местностей, эти разбивали биваки на заброшенных огородах, жгли там костры.

Брусенков, как будто и не глядя на Тасю, вдруг заговорил первым:

— А это как случилось? Меня отец долгое время не отделял. Хотел, чтобы мы, братья, семьей жили, хозяйством сильным. А я — нет! Мечтал сам по себе достигнуть богатства. И начал строиться с малого, с бани, с ворот с этих, но все ставил для будущего, для большого двора. Сам жил абы как, в избенке, не хотел жилое ставить, покуда не разбогатею. И ведь разбогател бы. Но тут пошел на фронт, а когда вернулся — во мне позору этого, этого собственности, не осталось нисколько. Ненавистью и презрением к богатству я был пронизан. Понял: весь обман людского рода, вся его животная накипь — все от богатства, и покуда оно владеет, нельзя ждать справедливости. Ни отдельно от кого, ни в целом от человечества. И вот по сю пору не прощаю белым — не сожгли они ворота, не сожгли амбар — готовую половину. Они не сделали, а я гляжу, зажмуриваюсь от бывшей своей несознательности. Самому пожечь, но это уже не то. Враг бы сделал, я бы над им смеялся, что он сделал, как мне лучше... Вот так же, может, зря мы бьемся, не понимаем до конца самого истинного исхода, не решаемся самое главное исполнить...

Брусенков махнул рукой. Замолчал. Но ненадолго — заговорил снова:

— Другой раз говорят: человек учится на медные гроши. А какая разница — медь ли, золото ли? Это все одно и то же — металл. И не сильное от его учение. Я учился на кровях. Японская война — из-за дровишек купчихи Безобразовой пошла. Дрова она на Дальнем Востоке с кем-то не поделила, а царь за ее заступился. Получилась кровь. И — немалая. Германская война — того больше кровь, и жал не непонятная до конца — из-за чего? И в конце концов понимать тут и нечего. Надо просто глядеть, что на чем держится... А держится все на том, кто кого сильнее, кто из кого крови больше может выпустить, кто ее не боится, этой крови. Это и в большом, и в самом малом. Вот хотя бы и Мещеряков, — ты думаешь, на нем чего держится? Нынче для войны он сколько-то нужен, верно. Этакие телки — они иной раз развоюются, ну, прямо как взрослые. А после? Постоянной же силы в нем нету, на раз один, и все. Вот он в этот один свой раз и лягается. Война — она не на сейчас. Жизнь — живи, жизнь — воюй, может, тогда что и сделаешь необходимое...

А Тася, вглядываясь в этот странный двор, слушая этот неторопливый голос, вдруг подумала: Брусенков на какой-то случай прощается со своим домом. Может быть, со своей жизнью.

— Сегодня убираем главнокомандующего? — спросила Тася.

— Буду...

— Совсем?

— Как бы совсем... — вздохнул Брусенков. — Но непонятно это будет многим, можно сказать — большинству. Еще несознательность кру-

гом, неидейность. Время для этого надо, для понимания. Кто друг, кто враг и какой. Кого учить надо, а кого — убрать. Вот сейчас и приезжаем в главный штаб. Вызываем Мещерякова — берем его. Иначе сказать, арестовываем. Предъявляем тот же ультиматум. Когда он подпишется — все, нам больше ничего не надо, мы тоже не против — сделать по-хорошему. Откажется — предъявляем ему снова, но уже как обвинительное заключение, по которому и судим его. Мы четверо и судим, а еще — заведующий юридическим отделом товарищ Завтреков. Имеем право как члены главного штаба и большинство — члены ревтрибунала. Постановляем: снять с должности, оставить под арестом вплоть до прихода советской власти. Это легкий суд и приговор, каждый отнесется к нему с полным доверием. Тем более главком в нашей местности не сделал ни одного боя, только все ходит по мирным позициям, а не доказывает своих способностей. Крекотень один и воюет. Среди бывшей верстовской армии у него нынче тоже не сильное положение: вчера расстреляны два пулеметчика по утвержденному им приказу и по пьянству. В эскадронах случаем этим сильно недовольные... Ну, а после того, если все ж таки сложится, чтобы пересмотреть наш приговор на полном заседании главного штаба либо где угодно, — пусть! Пусть его даже оправдают. Но какой это уже главнокомандующий, когда он только что был подсудным? В должности его оставить уже невозможно, разве что сделать у Крекотеня начальником штаба. И еще: оправдать его — значит высказать сомнение главному штабу. Я же думаю: у нас авторитета хватает, чтобы это все отвергнуть.

Тася спросила:

— Довгаль?

— Что Довгаль? — переспросил Брусенков, но тут же понял вопрос и ответил на него: — Это если бы Довгаль не заявлял нынче и при свидетелях, что он сам всюю силой порывается к Мещерякову в комиссары! Ну, а заявил, после того что хочет, то пусть и говорит.

Миновали еще несколько переулков, виден был уже главный штаб.

— Если Мещеряков согласится подписать ультиматум, а потом выйдет из штаба и поднимет эскадроны? — еще спросила Тася.

— Ну, где он согласится? Это он на воле добренький, ходит — улыбается. А ведь мы его сперва арестуем!

— Ну и что же?

— Я чую, ему руки свяжешь — он зверем станет. Тут и бери его голыми руками, веди хотя на какое собрание, следствие, хотя какой суд, он уже не оправдается... Твое дело, товарищ Черненко, ждатель момента — написать протокол суда и приговора.

— Когда?

— Да вот сейчас же! Приедем в главный штаб, займемся. Надо к вечеру, до собрания на Сузунцевской заимке, полностью управиться!

К главному штабу тут же и подъехали.

Толя Стрельников соскочил с козел, Брусенков спросил у него:

— Значит, понятно, Толя?

— Ясно... — кивнул тот, плотнее заправляя пустой рукав за пояс.

Глава девятая

Несколько дней назад при главном штабе был организован новый отдел — почт, телеграфа и банков.

Банков на Освобожденной территории еще не существовало, а почтовые отделения с новой энергией повсюду взялись за дело. Были установлены твердые таксы на почтовые отправления всех видов в денеж-

ных знаках и чатурой, несколько раз удавалось договориться с почтовыми служащими на территории, все еще занятой белыми, и те принимали почту партизанских районов для дальнейшей переотправки в пределах Сибири.

В пределах же примерно ста верст, вдоль еще не достроенной как следует западной железнодорожной ветки, а от нее до Соленой Пади продолжал исправно работать телеграф.

А извне Освобожденная территория по-прежнему не получала сведений, разве только один из районных штабов сообщал вдруг для всеобщего сведения: «Перебежчик, унтер-офицер белой армии, категорически утверждает, что Колчак эвакуирует город Омск и с часу на час ожидается занятие колчаковской столицы войсками доблестной Красной Армии».

Проходило несколько дней, иногда — неделя, и уже другой районный штаб от другого унтера-перебежчика узнавал, что «Красная Армия с часу на час займет город Омск».

Но даже отрывочные сведения, ненадежные, поступающие от случая к случаю от перебежчиков, из газет и донесений, перехваченных у белых, из сообщений советских агитаторов, которые хотя и очень редко, а все-таки проникали через заслоны Колчака, — ни у кого не оставляли сомнений в том, что российская Красная Армия стремительно наступает, и, если нельзя было сказать, занят или не занят Омск, так каждый знал, что в течение весны и лета Колчак потерял Поволжье, Урал и Сибирь до Ишима или Иртыша.

Конец белой армии был близок и очевиден, а партизанская власть все больше становилась властью. Многие штабы на местах уже именовались Советами, и действительно, их отделы, службы, переписка, вся повседневная деятельность продолжала теперь деятельность тех Советов, которые были свергнуты летом прошлого года, как раз в горячую пору сенокоса.

Недавно специальным приказом главного штаба были окончательно распущены земства, и начинался приказ так: «Земства продолжают еще существовать в местности, уже занятой советской властью...»

Так и считали Брусенков, весь главный штаб, что он — главный орган подлинной советской власти на Освобожденной территории.

Но только не все районные штабы так считали, и — что особенно Брусенкова тревожило — самый крепкий, самый устойчивый по своему составу Луговской штаб то и дело подчеркивал, что он — власть временная, что он существует только до прихода российской Красной Армии.

Луговской штаб по всем статьям был особым. Начать с того, что он только назывался Луговским, на самом же деле резиденцией его была железнодорожная станция Милославка с небольшим вокзалом, с большим, но недостроенным депо.

Там он и появился впервые, но белые несколько раз и на продолжительное время занимали станцию. Всякий раз штаб эвакуировался в село Луговское, верст за сорок на восток, а возвращаясь обратно, сохранял за собой свое сельское название — Луговской районный революционный штаб.

Не будь нынешним летом таких ожесточенных боев, Луговской штаб смог бы, наверное, настоять даже на том, чтобы все учреждения Соленой Пади переместились в Милославку как самый крупный и благоустроенный населенный пункт. Но пока что главный штаб должен был находиться в глубине Освобожденной территории.

Луговской штаб с самого начала возглавлял товарищ Кондратьев.

В первый раз Кондратьев поднял знамя борьбы, когда надежды на победу не было никакой, и восстание действительно было подавлено уже через несколько дней.

Позже он опять и опять будоражил не только Мирославку и Луговское, но и еще смежные волости. Всякий раз восстания подавлялись, а он начинал все сначала, пока наконец не укрепился окончательно партизанский район.

И вот этот-то штаб называл себя «временным»!

Однажды Брусенков пошутил, сказал на каком-то совещании, что Луговской штаб — это временное правительство, только большевистское, а Кондратьев тут же ему и ответил:

— Товарищ Брусенков подозревает, будто большевистским может быть что-то плохое?

Брусенков сдаваться не захотел, снова засмеялся и сказал:

— Карасуковские — те хотя и воевать за советскую власть, только чтобы она была без коммунистов. А луговские? За коммунистов — без советской власти?

Кондратьев опять повторил:

— Брусенков подозревает, что...

В последнее время Брусенков невольно стал думать о том, что с приходом Красной Армии положение Луговского РРШ еще заметно укрепится именно потому, что нынче он — временный и районный, а главного штаба пошатнется, потому что он главный и уже успел объявить себя советской властью.

Приехав в главный штаб, Брусенков прошел в свою комнату.

Сюда являлись заведующие отделами штаба, он передавал им бумаги со своими указаниями, а они ставили перед начальником разные вопросы.

Вопросы, в общем-то, были одни и те же: откуда взять? Откуда взять снаряжение, медикаменты, бумагу, писарей, фельдшеров, учителей, лошадей, повозки, чернила, хомуты?

Но как раз сегодня возник новый разговор: заведующий отделом труда и народного хозяйства доложил, что экспроприированные еще в июне—июле мастерские и заводы на нынешнее число произвели в общей сложности более пятисот пар пимов, тысячу двести сорок семь овчин, около тысячи аршин сукна, две тысячи с лишним пар меховых рукавиц, около восьмидесяти кубических сажень пиломатериалов, четыреста пеньковых кулей и семьсот шапок-ушанок.

Заведующие отделами тотчас начали делить все это добро. Коломиец, взглянув на Брусенкова пристально, просительным и преданно, сказал, что вообще все это должно поступить в распоряжение его отдела, что другие отделы и сами способны доставать, а признание, оно на что способно? — только получать и распределять между призываемыми!

— Не для себя же прошу! — воскликнул он, когда понял, что просит уж очень много.

Но тут маленький финансист дернул себя за бородку и заметил, что в главном штабе вообще нет ни одного человека, который что-то просил бы и что-то делал ради себя.

Брусенков кивнул финансисту: все-таки он любил его — маленького, мечтательного и в то же время расчетливого. Хотя почти что из интеллигенции, а в то же время какой-то мужичкий.

Давно можно было ввести финансиста в члены главного штаба, но только для участия в вопросах хозяйственных. Там же, где дело касалось политики, назначений и смещений, финансист вряд ли оказался бы к месту. Там и одного Довгаля хватало.

Потом Брусенков сказал, чтобы заведующие отделами подали ему свои требования в письменном виде, а уже тогда, сказал он, мы их рассмотрим...

— Я и вот еще товарищ финотдел рассмотрим!

Велел, чтобы разговор оставался покамест между ними, потому что если о резервах отдела труда и народного хозяйства узнают все районы, так никто ничего давать главному штабу не будет, а будет только у него просить. И так может быть. С некоторыми.

Заведующие отделами ушли, Брусенков снова подумал: в случае перемещения в Милославку кого бы из них он с собой взял туда?

Коломийца взял бы, заведующего отделом информации и агитации, юриста товарища Завтрекова... А вот насчет Таши Черненко у него всегда было такое чувство, будто Тася действительно какая-то временная, с ней работать только до определенного дня. Как неожиданно эта интеллигенция появилась в Соленой Пади, так же неожиданно и может уйти.

И Брусенков стал знакомиться с бумагами, поступившими от местных ополчений.

В армии про ополченцев рассказывали всякие смешные байки. Рассказывали, будто в одном ополчении на правом фланге был хромым на левую ногу солдат, так после вся команда — человек двести — на левую же изо всех сил падала, старалась.

Будто бы у одного ополченного командира были часы, уже в течение многих лет не ходили, так он сам крутил стрелки и как только докручивал до двенадцати — отдавал команду к бою — ни раньше, ни позже... Другой будто бы смотрел в бинокль без стекол.

А что взять с ополченцев, когда на весь отряд — несколько бердан огнестрельного оружия да литовки вместо холодного? Воевали пиками-самоделками и трещотками: изладит дед какой-нибудь громогласную такую машину, и вот она издает звук за десять нарезных винтовок залпами и строго прицельными, одиночными выстрелами.

И лучшим способом для таких стариковско-младенческих отрядов было нападение, внезапные засады, ночные налеты. Только храбростью они могли побить белых, добыть у них оружие.

Брусенков тоже прошел через ополчение, командовал таким вот отрядом и одновременно руководил сельским штабом Соленой Пади, потом поставил на свое место Довгалья, а сам ушел в штаб районный, тоже Соленопадский, а потом его районный штаб стал главным для всей Освобожденной территории.

Покуда все это происходило, он об ополчениях как-то и не вспоминал. А тут почудилась вдруг молодость, которая и была-то совсем где-то близко — весной, даже еще летом нынешнего года.

После заведующих отделами Брусенков имел обыкновение встречаться с председателями комиссий — главной конфискационной, главной следственной и юридической.

Комиссии назывались еще и чрезвычайными, они не подчинялись соответствующим отделам, и хотя ни один из председателей не входил в число членов главного штаба, все они имели непосредственные отношения с Брусенковым.

Но Брусенков эти встречи отложил на следующий день — уже мог явиться главком Мещеряков.

Мещеряков в самом деле пришел даже раньше срока. За ним и посылать не надо было: еще вчера была назначена их встреча в главном штабе.

Пришел один, без своих штабных работников. Поздоровался:

— Здорово, товарищ Брусенков!

— Здорово, товарищ главнокомандующий! — ответил Брусенков, не поднимаясь из-за стола. Он чигал теперь бумаги, только что переданные ему земельно-лесным подотделом отдела труда и народного хозяйства.

В общем-то, Мещеряков пришел слишком рано, у Толи Стрельникова, может быть, не все готово. Надо было Мещерякова занять разговором.

Вопросы, по которым они наметили нынешнюю встречу, были о лазарете, об оружейных мастерах, о снабжении армии продовольствием. С них и надо начинать.

Брусенков отложил в сторону земельно-лесное дело в коричневых корочках с двуглавым орлом, оторванных от какой-то книги. Орел был отпечатан черной краской, нынче выцвел, был сильно поцарапан.

— Слушай, товарищ главнокомандующий,— сказал Брусенков и еще поцарапал орла ногтем,— а я уже решил вопросы, которые ты ставил передо мной... Значит, так: помещение под второй лазарет тебе подготовлено, вымыто-выскоблено, и среди населения начат добровольный сбор белья и мыла. Сестры милосердия назначены. И что их назначать, когда они сами желают служить раненым героям нашего дела! Наоборот, отбою нету от девок, которые есть вовсе малые: веришь ли — в голос режут, что их не принимают. Ну, а есть женщины бездетные и выражают желание. Тех берем в первую очередь и предпочтительно... Хуже дело с хирургом. У меня сведения, будто через Милославку должен проехать хирург с семьей. Эвакуируется. Вот бы пленить, а? Твоя разведка ничего не сообщала?

— Мы на докторов разведку не посылаем.

— Напрасно. Дело нужное.

— Его пленишь, а он работать откажется. Что тогда?

— И сроду нет! Какой же это доктор имеет право отказываться от спасения человека? Да их как обучат, так еще и клятву с каждого берут, что он обязан лечить и заниматься хирургией в любом случае, когда это потребуется! Приведем его в лазарет, поставим перед раненым — и все: он уже уйти не имеет возможности.

— Надо подумать...

— Подумай... За оружейными мастерами посланы люди в урман. Там среди охотников мастера по оружию знаешь какие встречаются? Надеюсь, есть и сознательные, тоже придут помогут. Хотя уже и начались у них промысел, но не может быть, чтобы не откликнулись на просьбу народа. Не откликнутся — возьмем на замету, после войны потолкуем с ими. Дальше. Из Милославки еще вчера привезли одного. Питерского беженца. Хотя и больной и старый — берется помочь, чтобы стреляные пистоны вновь восстанавливать. Состав знает, как сделать. Только бы не заболел вовсе. Того хуже — не помер бы. Чахоточный... Закурим?

Закурили.

Мещеряков сидел на стуле нога за ногу, одной рукой придерживал трубку, другой обхватил колено. Слушал.

Внимательный был, подобранный. И напряженный какой-то. Неужели учуял?

Намечено было сделать так: Брусенков садится спиной на подоконник, и это будет сигналом, чтобы Толя Стрельников бросил с улицы в другое окно гранату-бутылку без капсюля. Брусенков крикнет: «Граната!» — и кинется к двери, но, замешкавшись, пропустит Мещерякова впереди себя. В полутемном коридоре Мещерякова и должны схватить. На тот же случай, если Мещеряков почему-либо не выскочит из ком-

наты, кинется прятаться хотя бы за стол, Брусенков уже сам должен был взять его сзади, взять на несколько секунд, куда люди из коридора вбегут в комнату. Все можно было бы сделать гораздо проще: дватри человека входят в комнату и арестовывают Мещерякова. Но несколько раз Мещеряков приходил к Брусенкову не один, а в сопровождении своих штабистов, и план был намечен на этот неблагоприятный случай. Хотя нынче с Мещеряковым не было никого, Брусенков решил ничего не менять. Делать, как намечено было и еще вчера несколько раз прорепетировано.

И еще — гранаты-бутылки были только у нескольких эскадронцев Мещерякова, больше ни у кого. В случае необходимости это давало повод объяснить все событие как хулиганскую выходку мещеряковских людей.

Но странно — шел разговор, и Брусенков не торопился. Ему было даже интересно с Мещеряковым в последний раз вот так поговорить.

Зашел вопрос о нормах питания для партизанской армии. Мещеряков сильно настаивал на увеличении мясного пайка, вспоминал, какие были нормы в царской армии и при Временном правительстве, даже припомнил откуда-то, сколько в сутки полагалось мяса разным родам войск при Суворове, приравнивал партизан к гвардейцам и гренадерам, поскольку партизаны — солдаты почти что вольные, у вольного же человека аппетит всегда и несравненно больше, чем у казарменного солдата.

Откуда он знал все эти порядки и нормы — было неизвестно. Брусенков подумал: может, Мещеряков на пушку его берет? С него станет... Но, в общем-то, Брусенков уже привык к тому, что главнокомандующий по военному делу знает много, такие подробности и факты, что в голову тебе не придет, будто их может кто-то знать и помнить...

И сейчас, споря с Мещеряковым, он удивлялся, подумал про себя: «Хороший бы вышел из тебя начальник штаба при товарище Кречотене, товарищ Мещеряков. Но ты на это не пойдешь, не пойдешь ни в коем случае. Жаль!..»

Суточную норму питания согласовали следующую: хлеба печеного 3 фунта, мяса 1 фунт, капусты $\frac{1}{4}$ фунта, картошки $\frac{1}{4}$ фунта. Плюс еще и вольный харч, которым солдат сможет по своему усмотрению разжиться.

Исходя из этой нормы, главный штаб совместно с армейским интендантством должен был приступить к заготовкам продовольствия для всей армии.

— Я думаю, — сказал Брусенков, — мой отдел народного хозяйства утвердит норму без слова. А мы тем временем разошлем по армии и сельским комиссарам письмо с указанием данной нормы и чтобы занялись делом, заготовкой продуктов. Оговорим, что армейские части и сами могут конфисковать, брать под расписки и принимать от населения добровольные пожертвования всяких видов довольствия, только сообщать обо всех подобных случаях сельскому комиссару, чтобы тот зачислял и эти продукты в счет выполнения заготовок.

Мещеряков согласился, Брусенков записал договоренность в виде протокола и снова подумал: «Надо будет оформить в канцелярии. Как следует затвердить. И при Кречотене пригодится! Есть вопросы, так с Кречотенем еще хуже договоришься, чем с Мещеряковым. А уже насчет жратвы, так даже определенно с Мещеряковым толковать удобнее. У Кречотеня — у того аппетит звериный!..»

Но спорил ли Мещеряков или слушал спокойно, только и в споре и в спокойствии он был по-прежнему напряжен, будто ждал чего-то...

Может быть, потому он нынче такой, что оба они избегают острых вопросов, вопросы эти ни тот, ни другой не ставят, даже краешком не задевают их?

И тут Брусенков спросил:

— Ну и как? Об чем же договорились вы нынче утром с товарищем Струковым? Он мне еще не докладывал, мой заведующий военным отделом. Может, ты скажешь?

Мещеряков повел плечами и вправду, кажется, оживился:

— Мы так подумали: каждому и в отдельности сообщать тебе об нашем разговоре вовсе не годится. Поскольку в общем и целом, не считая отдельных подробностей, договоренность между нами троими состоялась — мы и должны сказать о ней все трое. Так будет лучше.

— А третий — это кто же? Капитан царской армии?

— Начальник штаба партизанской Красной Армии товарищ Жгун. Брусенков помолчал, после сказал:

— Ну что же, когда так — давайте соберемся хотя бы и вчетвером. Завтра об эту пору ладно будет?

— Ладно.

— Гляди не опаздывай, я завтра сильно занятый буду. Еще больше, как сегодня.

— А когда это я опаздываю? Сегодня так даже раньше сроку прибыл.

— Торопишься куда?

— Обговорить дела, да и в армейские части обратно.

— Живешь-то как? У Звягинцевых квартира подходящая?

— Почто бы нет?

Брусенков встал из-за стола, поднялся, подошел к окну, глянул на площадь.

Толи Стрельникова было все еще не видать... Было еще время для разговора.

Мещеряков нагнулся, протянул руку к столу и как-то особенно ловко, как будто ни для чего, а в то же время словно что-то внимательно рассматривая, поиграл с чернилкой-непроливайшкой. Сказал:

— Это вот в школу-то бегали, бывало. Ребятишками еще. Тоже вот чернилки были. Давно это было? — Ответил сам себе: — Давно! Чернило-то где берешь? Для всего главного штаба.

— Ну где его взять! — ответил Брусенков. — Конфискуем по силе возможности...

И, осторожно пятясь задом, чтобы с площади не было видно его спины, Брусенков отошел от окна, повернулся к Мещерякову, протянул ему коричневые корочки с исцарапанным орлом и с бумагами лесного подотдела:

— Глянь вот эту исходящую от нас бумагу. Твоих армейских партизанов дело это тоже касается. Да и кого лес — хотя бы и крупномерный и дровяной — не касается? Не так уже богатые мы лесом, особенно в степном крае, в верстовской местности. Всю-то жизнь из-за его с казной воевали. Вот эту бумагу и гляди... — И сам тоже стал смотреть в бумагу через плечо Мещерякова.

Начиналась бумага, циркуляр этот, как и десятки других, со слова «предложить»:

«Предложить районным, волостным, а через них сельским штабам выработать для себя инструкции, а также таксы на лес...»

Отдавая настоящие распоряжение, земельно-лесной подотдел исходит из того принципа, что не народ существует для власти, а власть для народа, а потому, являясь народным работником, подотдел и предлагает

выработать инструкции на лес и таксы самому народу, а уже из всех доставленных в подраздел инструкций и такс подраздел составит одну общую...»

— Кроет! — усмехнулся Мещеряков. В первый раз и усмехнулся нынче. Потом задумался. — Это сколько же будет стоить по народному усмотрению лес хотя бы на полную избу? — спросил он у Брусенкова. — На крестовый дом, положим, три на три сажени? Им вот из чего нужно исходить, таксировщикам этим: не цену одной лесины определять, а сразу же цену крестьянского дома, после уже — делить ее на число потребных бревен. И чтобы результат получился доступный среднему хозяину. А вдовам и малоимущим предусмотреть льготу. Согласный ты со мной?

— Пожалуй, что и так... Но ты обрати свое внимание, как тут сказано: «Не народ для власти, а власть для народа!» А?

— Это дело нынче известное, — сказал Мещеряков. — Как бы не было оно известно — кто бы и пошел воевать в партизанскую армию? И чего бы ради?

— Сколько я ни гляжу за своими отделами, — вздохнул Брусенков, — они все одно к анархии клонятся.

— А что?

— Приняли таксы, утвержденные для кабинетских лесов его величеством государем-императором в тысяча девятьсот шестнадцатом году!

— Ну, а когда они были справедливыми, те таксы...

— Царские таксы для народа — справедливые?!

— Нынче-то они уже не царские! Когда народ за них проголосовал добровольно.

— Верно что — много тебе известно, товарищ Мещеряков! А когда так, может, скажешь, — спросил Брусенков, подвинувшись еще ближе и положив руку на плечо Мещерякова, — может, скажешь: почто же ты освободил своей волей Власихина? Пошел против народу и его священной воли? Скажи! Когда тебе столь много известно и понятно...

И вдруг Мещеряков встав, резко сбросил руку с плеча. Засмеялся. Громко и весело засмеялся, нельзя было не вздрогнуть от этого смеха, и Брусенков вздрогнул, подумал: «У него победа, окончательная победа, оказывается, уже назначена! День и час! То-то он об избе и спрашивал о новой! Три на три сажени!»

— Скажи ты мне: сильно он тебе шею грызет, Власихин, а? Руку на сердце и — скажи! — спросил Мещеряков.

— Не мы с тобой, Мещеряков, поделили народ на красных и белых, на правых и неправых. Нам только нужно мерку понять, по которой это происходит. И когда был апостол на весь мир и по сию пору им желает остаться, мало того — другие есть, которые по несознательности либо как тоже этого могут желать, а в действительности апостол тот по новой мерке — ничто, как бремя и бесповоротный враг — от его надо освободиться. Когда же народ его судит, сам достигая высшей сознательности, а ты в ту торжественную минуту, гнусно насмехаясь, бьешь по руке народного правосудия — это как называется?

— Не все у тебя понятное, товарищ Брусенков. Удивительно, как по сей день ты переживаешь Власихина этого? — усмехнулся Мещеряков, уже по-другому усмехнулся и другой сделался в лице. — Почему это — не можешь ты без врагов, нужны они тебе, как воздух? И что бы ты делал посреди одних только друзей — угадать невозможно!

— Почему ты обо мне? Почему выставляешь мою личность, когда о народном же приговоре идет речь?

— Не шуми. Суд был твой. По крайности наполовину — твой. Но

ты уже нынче об этой своей половине не поминаешь. Говоришь: «Народ! Только он — и больше никто!».

— Ты и суда не видел. Вступил с эскадронами на площадь когда? Суд был уже решенный!

— Увидел...

— Умный?

— Который раз — бываю. Когда это сильно нужно.

— И завистливый?

— Завистливый. Особенно в бою. Когда кто лучше меня дерется, да еще — и против меня же.

— Еще бы — товарищ главнокомандующий. Только испытать бы: взять у тебя главнокомандующего — что останется от товарища?

— Войну кончим — время покажет, что и от кого останется.

— Ты вот что, товарищеский, независтливый, умный — ты понять можешь: власть берем. А чем? Властью же! Что другое придумаешь? Не придумаешь! В кожаной курточке, в папаше серой и героем-освободителем перед народом куда интереснее красоваться. Но не каждого на это купишь. Кто-то и без геройского виду революцию делает. И геройскую и черную работу. Все, что потребуется, то и делает. Легко тебе жить, товарищ Мещеряков. Другим-то как от легкости твоей? Ты-то людей вовсе не стреляешь? Не бывает?

— Бывает.

— Хотя бы в Знаменской своего же эскадронца стрелил. По ошибке, да?

— Признаюсь.

— Но не об одном же случае речь! Ты скажи в принципе: почему тебе стрелять можно, а других ты убийцами готов вовсе назвать? Ответь, будь такой добрый.— Брусенков медленно, не спуская глаз с Мещерякова, стал приближаться к окну... Шаг, другой... Приостановился, повторил: — Убийцами?..

Мещеряков сидел на стуле по-прежнему — нога на ногу, чуть согнувшись и обхватив руками колено. Покачивался на стуле. Думал.

Брусенков почему-то уперся взглядом в ту ногу главкома, которая лежала сверху, в блестящий хромовый сапог. Смотрел долго, потом спросил:

— Ну?

— Я воюю оружием, товарищ Брусенков. Я не убью — меня убьют. Ясно-понятно. И люди идут ко мне — знают, куда идут: в армию, под оружие. На другое на что я ни на столько не годен и не возьмусь за другое. Не имею права. За другое взялся товарищ Брусенков — воевать словом, делом, но — без оружия. Взялся — не жалуйся, не свое оружие не хватай. Управляйся с живыми, с мертвыми — это каждый может. Они же во всем с тобою согласные, мертвецы. Но в том и дело — тебе такие нужны. Подумай, может, ты выйдешь, скажешь: не умею с живыми! Не умею без оружия! Подумай...

— Ну вот, поговорили.

И тут Брусенков сел на подоконник. Плоская поджарая спина его в темной рубахе приняла солнечное тепло. Легкое было тепло. Он еще сказал:

— Спасибо за разговор. Время и кончать...

— Время... — согласился Мещеряков. Встал.

И когда он встал, Брусенков вдруг неистово упрекнул себя: зачем этот разговор затеял, зачем довел его до того конца, когда уже Мещеряков не мог о чем-то не догадаться? Как допустить, сделал это? Он еще сильнее прижался спиной к оконному стеклу, а когда раздался треск, он подумал: не его ли это спина стекло раздавила?

Но это было лишь мгновенное недоумение — стекло затрещало, зашвиство, зазвенело в соседнем окне, Брусенков перехваченным горлом крикнул: «Гран-ната!!!» — и бросился к двери. Он ударил дверь ногой, и когда понял, что Мещерякова нет рядом с ним, что его не видно, — грохнулся на пол.

Падая на руки, чтобы проще было снова вскочить и броситься на Мещерякова, он в то же время подумал, что, если Мещеряков будет прыгать через него, устремляясь в дверь, он схватит его за ногу в блестящем сапоге...

На залитом все тем же легким солнечным светом полу было отпечатано множество различных следов: подошвы — каблуки, подошвы — каблуки, — пестрая, узорчатая и широкая, от стены до стены, тропа следов грелась в этом свете. И тихо было...

Потом в дверях появились люди, два человека и третий чуть позади, — люди, которые должны были схватить Мещерякова в коридоре. По глазам одного из них он понял, куда надо смотреть, и оглянулся почти назад.

Стул, на котором только что сидел Мещеряков, стоял теперь у окна, вплотную к простенку. На стуле, поблескивая свежей ваксой, — сапоги Мещерякова, на цыпочках. Вытянувшийся вдоль оконного проема и сбоку от него, стоял и сам Мещеряков. В одной руке — наган, в другой — граната... Граната — лимонка, а вовсе не та бутылка без капсуля, которую бросал в окно Толя Стрельников. Это ошеломило Брусенкова, он приподнялся на руках и теперь уже видел лицо Мещерякова — напряженное, побледневшее и загадочное. Мещеряков смотрел на площадь, смотрел очень странно — скрываясь в простенке и поднявшись над окном, он снова заглядывал в окно, только уже сверху. Ему можно было так смотреть, потому что шея у него оказалась длинная-длинная и тонкая. Она тянулась из ворота расстегнутой гимнастерки.

Еще привстав с полу, Брусенков понял все, что произошло, все, что сделал Мещеряков...

Он вот что успел: подхватить гранату, брошенную Толей Стрельниковым, и выбросить ее обратно; подставить стул к стене рядом с целым окном и вскочить на этот стул. Теперь, стоя в простенке, он был не виден с улицы. С улицы могли стрелять, заранее взяв на прицел подоконник, но Мещеряков заглядывал в окно сверху, готовый тоже в любой миг выстрелить и бросить гранату.

В этом положении его нельзя было схватить и отсюда, с этой стороны: он в мгновение мог выскочить в окно, а гранату бросить в комнату и еще выстрелить из нагана.

Медленно Мещеряков повернул загадочное лицо, так же медленно выпрямляясь на стуле и все еще наблюдая за площадью. По нагану пробежал солнечный зайчик, ствол блеснул, как лезвие. Из другой руки несколькими темными квадратами глядела лимонка.

Брусенков ждал...

Когда они встретились взглядами, Брусенков вдруг подумал, что лицо не было загадочным — наоборот, оно само озабочено загадкой: что же это было? Для чего?

Брусенков подошел к разбитому окну, распахнул его. Внизу, в палисаднике, лежала граната-бутылка, угадав горлышком в ямку и выставив кверху пустое капсульное гнездо.

Чуть поодаль по площади шел Толя Стрельников, размахивая единственной рукой и с любопытством поглядывая на окна штаба.

— Вот, — сказал Брусенков, — вот так-то. И окна ради тебя не пожалели, товарищ главно! Чем только будем стеклить — стекла-то нынче нигде же нету?.. — И засмеялся.

Мещеряков соскочил со стула, сунул свою лимонку в карман, наган в кобуру и, застегивая пуговицы гимнастерки, спросил устало и даже как-то безразлично:

— Ты что же думал: главнокомандующий на словах только может, да? Рассказывает о себе громкие слова, а пугни его в тот момент из мешка — он и... Так думал?

Брусенков засмеялся снова громко и весело. Мещеряков еще сказал:

— Хитро делаешь! Хитро! И разговор ведь как подвел под момент! Но — игрушка опасная. Ладно, этот твой ополченец, как его... Стрельников Толя — ладно, он с одной рукой! А то бы я и подумать не успел, как стрелил бы его: на пять сажений бью из нагана в яблочко.

Люди из дверей ушли... Догадались уйти тихо, спокойно, тоже усмехаясь.

Немного погодя ушел и Мещеряков, чуть вздрагивая правым веком.

Брусенков сел за стол, подумал: «И вот так он уходит из главного штаба — все время одинаково: после, как подписали протокол объединения и дал он задание Глухову, ушел... Давеча из военного отдела — так же. И нынче тоже так же...»

Задумался. Снова подошел к разбитому окну. Под ногами похрустывали осколки стекла. Вернулся к столу.

Потом быстро-быстро стал писать записку и крикнул дежурному по штабу, чтобы тот немедленно доставил ее главнокомандующему, вручил ему лично.

Дежурный ушел, чуть спустя уехал и Брусенков.

Записка была написана им такого содержания: «Товарищ главнокомандующий! Забыл за разговором сказать. Нынче вечером ты должен обязательно прибыть на собрание в Сузунцевскую заимку. Это тебе приказ дал товарищ Довгаль, я только его передаю. Мы нынче главным штабом назначили товарища Довгалья тебе комиссаром, поэтому ты должен повиноваться ему безоговорочно по всем политическим и другим важнейшим вопросам.

Главный штаб — И. Брусенков».

Глава десятая

На станции Милославка вышел первый номер газеты Освобожденной территории.

Станция Милославка, конечная на недостроенной железнодорожной ветке, два года назад, при Временном правительстве, была переименована в город, и тогда же по этому случаю там было решено издавать сразу несколько газет.

И в самом деле — газеты стали выходить, однако очень быстро прекратили существование.

Нынче же летом главный штаб задумал выпускать свою газету, настаивал, чтобы она выходила в селе Соленая Падь, а милославские наборщики тем временем взяли и выпустили давно уже подготовленный номер у себя дома.

Номер этот вышел на полулисте оберточной желтой бумаги, конфискованной у купца Быкова в мастерской по изготовлению кульков для бакалейных лавок, тиражом в пятьсот экземпляров. На грубой и неровной поверхности и буквы отпечатывались неровно, кое-где их не видно было совсем.

Газета называлась «Серп и молот», издателем значился агитационно-информационный отдел главного штаба краснопартизанской респуб-

лики, кроме того, извещалось, что, помимо отдела, «сотрудниками редакции являются учитель товарищ Хломников С. И., наборщики товарищи Қаляев И. И. и Бородухин К. Н., а также широко известный агитатор и пропагандист советской власти крестьянин Перов С. Л.»

Через всю первую полосу крупным шрифтом напечатаны были лозунги:

«Да здравствует центральная советская власть!»

«Да здравствует Совет Народных Комиссаров!»

«Вся власть крестьянам и рабочим в лице их Советов!»

По поводу своего возникновения газета писала:

«Нашу печать враги называют «партизанской артиллерией». Наши враги безусловно правы — печатное слово великой правды бьет дальше самых дальнобойных орудий. Недаром за «Информационными листками», «Известиями» и «Бюллетенями», которые на самопишущих машинах и другими способами выпускают местные революционные штабы и армейские соединения, охотится, не жалея сил и своего благородного происхождения, белое офицерство, чтобы уничтожить эти листочки сожжением без суда и следствия, рядовые же белой армии скрывают их у себя на груди под страхом смерти. Издание нашей газеты нисколько не умаляет местных «Известий». Наоборот! Газета будет только содействовать дальнейшему их процветанию!»

Под общим заголовком «Официальные сообщения» наробраз объявлял о начале занятий с первого октября. Призывал население принять активное участие в ремонте школ.

Отдел юридический оповещал о результатах выборов в сельские и районные штабы, о выборах делегатов на Второй съезд Освобожденной территории.

Четвертая полоса, как и полагается, была отведена под объявления и события местной жизни.

Хроникеры Милославки собрали обширный материал, разверстали его на три раздела: «Хронику общественной жизни», «Судебную хронику», просто «Хронику».

«Хроника общественной жизни» открывалась рецензией на концерт, который прошел в Народном доме.

«После «Ямщик, не гони лошадей» публика потребовала «Шарабан», что является в высшей степени возмутительным! — писал рецензент. — Приходится удивляться, что в наше время есть еще любители делать из храма искусства балаган с шарабаном!» Далее рецензент отметил, что «публика вела себя, в общем, благопристойно, пьяных не было, а если и были, то не в сильной степени, чем и можно объяснить отсутствие плевков с балкона».

Кружок любителей музыки приглашал новых членов «со своим инструментом или хотя бы со своими струнами».

Штаб армии благодарил троицкое сельское общество, которое пожертвовало в пользу героев партизан пятьсот пятьдесят возов зеленого овса, десять возов печеного хлеба, один пуд свиного сала, пятьсот штук яиц и два горшка сметаны, а троицкое общество в свою очередь выносило благодарность армии и лично начальнику отряда Смольникову «за дружественное отношение и действия по освобождению трудового крестьянства, причем считаем необходимым присовокупить, — говорилось в благодарности, — что как самим товарищем Смольниковым, так и товарищами солдатами никаких грабежей, насилий, инквизиций или истязаний в селе Троицком совершено не было».

Портной Н. З. Закин сообщал, что он кончал курсы в городе Риге, был директором школы кройки и шитья в Ташкенте, работал в круп-

ных городах черноморского побережья, имеет диплом и отзывы почтенной клиентуры.

Главная следственная комиссия опубликовала списки арестованных по обвинению: в сотрудничестве с белыми и в шпионаже в пользу белых; в побеге с фронта и в распространении панических слухов; в дебоширстве, пьянстве и краже сена.

Был отчет из зала суда: в совокупных действиях с правительством Колчака обвинялся казак-доброволец Олейников. Он же участвовал в боях с партизанской Красной Армией.

Обвиняемый был приговорен к шести месяцам тюремного заключения. Полностью признав свою вину, он через газету горячо благодарил всех, кто доставил его в суд, так как «по суду происходит тюрьма, а без суда и следствия — расстрел».

Служащие города делали через газету запрос: почему продотдел отпускает продукты по ценам более высоким, чем базарные?

Профсоюз кожевников, открывая мастерскую, объявлял о приеме от населения сырой пушнины: волчин, барсучин и медвежин.

Но самой главной, самой обширной и значительной в первом номере газеты была редакционная статья под названием «Уроки прошлого».

Газета говорила по поводу этой статьи: «Наш издательский коллектив приложит все силы, чтобы как можно полнее удовлетворить возрастающие с каждым днем запросы массы читателей. Но мы не только будем удовлетворять запросы — мы сами намерены их воспитывать. Начинаем это воспитание, это подлинное просвещение трудящегося человека нашего времени публикацией статьи «Уроки прошлого».

Эпиграфом к статье были известные строки Надсона: «Как мало прожито, как много пережито!» Затем следовал текст.

«Ровно два года и шесть с половиной месяцев прошло со времени свержения монархии,— писали авторы «Уроков».— Сначала кипучая деятельность граждан, так решительно отвергнувших монархию, превратилась в апатию. Что же отравило народную самодеятельность, рвение к творчеству и заставило погрузиться в бессознательный сон абсентизма?

Чтобы понять это, нужно понять другое: кем был мужик-крестьянин в недавнем прошлом?

Он был титаном каторжного труда. Он платил в лавке за аршин ситца восемнадцать — двадцать копеек, а на фабрике этот аршин стоил три копейки плюс полкопейки доставка. При этом он не знал, что на роскошные вещи, которые покупала буржуазия, никогда не было подобных налогов. А балерины? Он и представления не имел о том, каких безумных затрат требовали от своих меценатов эти львицы — опять-таки за счет трудового народа! Он платил пятьдесят три копейки за водку при настоящей цене тринадцать копеек. Пресса и периодическая литература сделали все, чтобы оставить его в плену умирающих консервативных взглядов, чтобы он курил фирмам перед отдельными личностями, создавал себе кумиров, игнорируя коллективное творчество. Он был ослеплен обещаниями и заверениями и считал, что проблемы его существования решены или будут решены в ближайшие дни. Он не понимал всех тайн капитализма, пятидесятилетней тайны заводов Круппа, не видел в капитализме притаившегося зверя, заискивал перед ним. И нищие ругали большевиков за то, что те не позволяли им ходить с протянутой рукой и пресмыкаться.

Пока народ заблуждался и страдал от своих заблуждений, буржуазия после падения монархии проделала путь от объявленной ею же самой демократии до корниловского мятежа. Но она и открыла этим

глаза народу. Нашлись люди и целые классы (в лице пролетариата), которые пробудили сознание всего трудящегося народа. И вот свершился Октябрь.

Общепризнанный взгляд на революцию таков, что ее должен совершить народ, доросший до тех идей, которые неразрывно связаны с революцией. Доросли ли мы до своей революции, до Октября?..

Тут сама жизнь — лучший учитель. Мы слишком отстали от жизни за 300 лет Романовых. Половина или даже две трети наших требований в начале революции сводились к тому, что Западная Европа уже давно имела. С ношей монархизма нам недолго было потеряться в том, что называется историей человечества, и Октябрь показал, что Россия — не дряхлая старуха, а сильная, здоровая молодая девушка, которая, проснувшись от сна, хочет жить долго и счастливо. Нас упрекают в том, что мы прыгаем, не находя себе места, что совершаем скачки. Но что это за скачки? За жизнью или в сторону от нее? Мы совершили скачок за жизнью. Существует уже великий опыт народов в борьбе за освобождение, за свое благосостояние, ибо голодного одной свободой не накормишь.

А наш собственный опыт 1905 года? Что он дал? Государственную думу, эту птицу без крыльев и вовсе без перьев, которую монарх терпел только потому, что зажаривал ее по частям!

Итак, свободу можно получить собственными вооруженными руками и никому не доверять ее охрану. Свободой должно обладать большинство, а не меньшинство — это ясно ребенку, но до сих пор неясно было всей истории человечества. Но вот волею судеб мы вступаем в демократический строй. Час искупления пробил! «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — в этом спасение трудящегося человечества!

До Карла Маркса идея социализма была в каком-то тумане. После Маркса она превратилась в учение.

Любое учение и учение о социализме едва ли возможно разъяснить полностью — важны его принципы. Недаром же Маркс поставил на службу социализму философию Гегеля: «Нет ничего постоянного ни в природе, ни в человеческой жизни, постоянны только изменения». Через двадцать — тридцать лет всеобщее образование и воспитание выдвинут из недр народа столько живых сил, что технические и химические изобретения польются как из рога изобилия и настолько в корне изменят жизнь (понятно, к лучшему), что мы и представить себе не можем. Ведь социализм — это царство труда, где не будет ни бедных, ни богатых и, следовательно, не будет классовой розни. Социализм расковывает цепи, наложенные капиталом на ум человека, а ум человека настолько беспределен, что трудно определить, где и что начинается и чем кончается.

Октябрь и социализм неразрывны, они провозглашают в один голос: «Дорогу науке! Произвол исчезнет! Дорогу справедливости! Вперед, вперед! Вся сила в нас самих — трудящихся массах!»

И каждый истинно трудящийся тоже провозглашает сегодня: «Ради победы социализма да здравствует центральная советская власть и Совет Народных Комиссаров!»

(В следующих №№ газеты редакция надеется дать продолжение статьи уже под названием: «Уроки прошлого и настоящего»).

* * *

Когда утром экземпляры «Серпа и молота» были доставлены в главный штаб, там сразу же замолкли пишущие машинки и в коридорах никого не стало, хотя время было — полдень. Посетителям объясняли: «Газету читаем!»

В полк красных соколов газета поступила тоже в полдень.

Петрович выстроил полк перед цейхгаузом, произнес речь, назвал это событие праздником справедливости. Командиры подразделений подходили под знамя полка, брали из плоской стопки по одному экземпляру газеты.

Сразу же после митинга Петрович подозвал к себе командира мадьяр товарища Андраши. Тот был готов — выбрит, пахнул мылом. Настоящим мылом.

Они оседлали коней и поехали на Сузунцевскую заимку.

Слева оставалась ложбина с кровлями села на самом дне, а два круглых озера, почему-то казалось, лежат выше этих кровель. Справа — все еще не остывшая от летнего зноя степь слегка переливалась в мареве, марево подымалось к облачному небу. Над камышами речки Падухи дрожал утиный табун...

— Земли много — много хольдов, — снова сказал Андраши. — Очен. И вода — неизвестное движение. Венгрия — не так. Венгрия — каждый капля движет в Дунай. Да. Советская власть всего мира — хорошо. Советская власть Венгрия — хорошо очен. Да? Интересно, какой газетт сегодня Венгрия? Интересно, да?

Встретили разведчика Звягинцева.

Еще недавно Звягинцев служил в полку красных соколов, и Петрович и Андраши знали этого лихого солдата. Теперь он был в армейской разведке.

— Сем дён отслужу — на два дни домой, в отпуск! — И Звягинцев еще козырнул Петровичу, взяв под красный лоскуток, пришитый к папахе. — А какие нонче новостя, товарищи командиры?

— Новости — у разведчиков! — ответил Петрович, тронув поводья.

— Разведка, сказывают, узнает от баушки Лукерьи. Когда баушке стает известно — от ее и мы знакомимся. Ну, что говорят-то?.. Говорят: нонче бомбу бросили в главный штаб...

— Бомбу? Какую? Кто?

— Нашу, партизанскую. Сказать даже эскадронную, таких больше ни у кого и нету, как у мещеряковских эскадронцев. По фигуре — бутылочную, только без капсюля.

— Озорвал кто?

— Когда без капсюля — ясно, озоровал. Поглядеть, как главный штаб в окошки прыгать будет.

— А кто в штабе был в тот момент?

— Много было. Мещеряков были, Брусенков. Вся прочая служба.

— Что же — Мещерякова и хотели испугать?

— Ну, навряд ли. Тот не сильно из пугливых. Они у бати у нашего на квартире стоят — товарищ Мещеряков. Когда не в отлучке — батя с его глаз не спускает, ровно с малого ребенка. Удивительно даже. Нет, на главкома — кто на его замахнется? Жить каждому охота. Вернее всего, на Брусенкова из армейских кто-то хотел поглядеть, ну и мадамой интересовались, как мадама через окошки прыгать будет? Не близко прыгать — два етаж!

— Какая еще «мадама»?

— Одна у их. Черенькая. По обличию и по фамилии. Либо не знаете?

— Ну, а белые наступают?

— А что им делать? Может, они и не сильно хотят, солдаты, так офицерство их гонют. Рабы!

Звягинцев хлестнул коня, задымил по дороге пыльным следом.

Версты две оставалось до Сузунцевской заимки — встретился Довгаль...

Петрович еще издали его узнал — у того особенная была посадка в седле, ни с кем не спугаешь: правым боком вперед, всем корпусом назад... Руки при этом Довгаль держал на груди, в одной — повод, в другой — шапка. Он любил подставлять простоволосую голову под ветер и солнце.

Этой своей посадки Довгаль стеснялся на людях, проезжая деревней — усаживался прямо, как все люди, но куда бывал один, где-нибудь в поле, его можно было из тысячи проезжих отличить.

Поравнялись. Андраши заулыбался, тоже сбросил картуз с головы: — Хороший дни, товарищ Довгаль! Хороший здоровье! Хороший обед! Да?

Довгаль в ответ вынул из-за пазухи газету.

— Еще — вот!

— А как же! Слушай, Довгаль, это не ты ли нынче собираешь нас? — спросил Петрович.

Довгаль повернулся к нему лицом — открытым, веселым:

— Я! Я и собираю!

— По какому случаю?

— То есть?

— Какие решать вопросы? Кто вопросы ставит?

Довгаль подумал и сказал:

— Вопросов — их множество! Есть очень серьезные. — Проехав еще несколько шагов, он прикрыл глаза и стал говорить громко, в такт словам поднимая правую руку с шапкой: — «В жизни человечества наступают времена, когда революция становится необходимостью. Народное сознание, народная совесть восстают! Буря очищает мир от плесени, вдыхает жизнь в оцепеневшие сердца, приносит человеку благородство и героизм, без которых человек разлагается!» Когда хочешь — я и дальше, и дальше, и дальше могу все сказать. До слова! До единого! Всю газету, как есть — всю!

Петрович удивился:

— Не может быть?

— Заучивать нисколько не надо, а будто бы я сам все, до слова, написал! Вот она — общая и великая идея: один сказал, а другой уже за собственное принимает! Тысячи и миллионы принимают. — И еще Довгаль резко обернулся в седле: — Скажи, товарищ Петрович, скажи, пожалуйста, вообще-то годный ли я к идейной работе? К самой к высокой политике?

Петрович усмехнулся и сказал:

— Ну, как же, Лука, дорогой товарищ, тебе ответить? Я думаю — годный...

— И совершенно правильно ты говоришь, Петрович! Я нынче страшно как переживаю идею, как овладела она мною! И всех других я тоже хочу заставить проникнуться до конца!

— Слушай, Лука, — всех ли ты собрал нынче? Будет ли главный штаб, Брусенков? И товарищ главком?

— Они обои должны быть обязательно и во что бы то ни стало. Потому что у их случилось разногласие. Но только не может быть — не может получиться, чтобы они не нашли между собой общее. Как это может, когда они одной идеи? Тысячи, миллионы друг друга понимают, а двое нет?

— Что за недоразумение?

— Не будем в этом деле покуда ворошиться. Боязно не так что-нибудь сказать! Выслушаем их обоих — это лучше всего. И ни одного чужого, безыдейного при этом, на их глядеть не будет — только истинно свои люди!

И тут Довгаль стал приглядываться к дороге, проходившей в стороне, самой кромкой бора. Стал беспокоиться.

— Кого заметил? — спросил Петрович.

— Во-он там коробок видишь, да? Коробок, в серого запряженный, и тоже — куда? Тоже на Сузунцевскую заимку держит!

— Чужой?

— Хуже чужого — Перевалов Аким. Один, а все-таки к нам проникает. Может всю среду попортить.

* * *

Солнце опускалось к горизонту, озаряя небо ясным, прозрачным светом, выпукло проступали перед глазами бревна заимочных амбаров, угловые врубки, пеньковые жгуты между бревнами...

И сосны вокруг заимки — огромные, столетние, и сосновый подрост, едва достигавший нижних ветвей материнских деревьев, тоже были омыты тем же светом... Между этими соснами и жердяной изгородью и расположилось собрание.

Сидели на земле по-татарски. Стояли, прислонившись к соснам. На пеньках устроились.

— Наше партизанское движение — это пожар, — говорил Довгаль, стоя на перевернутой колоде, показывая руками пламя, как все выше и выше оно вздымается. — И нету против силы, чтобы загасить его! А чтобы еще пуще на весь мир раздуть, такая сила есть, это мы с вами — партийцы! Кто нынче устраивает повседневную справедливость? Мы с вами устраиваем ее, коммунисты-большевики! Отсюда каждому из нас нужно запомнить: при конфискации имущества партийцам не брать совсем или брать в последнюю очередь, что останется, и только в самом крайнем случае. Если кто из партийцев имеет нынче среднее хозяйство и даже смахивает на зажиточного, а делается бедняком — на это нечего злопыхать. Чтобы в точности понять интерес бедноты и пролетариата — самому бедняком быть даже полезно. А то находят личности, они за бедняков, а сами не нюхивали бедности. Даже в буржуазном классе находились идейные представители — они отдавали состояние на революционное дело. Добровольно. А у нас встречаются по сю пору партийцы — он первый руку кладет на общественное. Позор! Я приведу один только, совершенно негласный пример. Перевалов Аким Федорович на солодниковском базаре картинку купил. С тремя конными богатырями. Я его встретил у покотины, у знаменских ворот. И какое же он дал объяснение поступку? Он кобылу понужнул, сказал, что картина никого не касается. Купленная за свои, и вопрос исчерпан. Уже после стал объяснять, что до революции она в десять раз стоила дороже, а нынче он взял ее за полтора пуда муки простого размола.

Товарищи! Я спрашиваю: может, мы революцию делаем того ради, чтобы после партийцы картинку подешевше покупали? Может, для этого мы и свою и чужую кровь проливаем? Да ежели мы, все члены нашей самой чистой в мире партии, увешаем избы свои картинками, не глядя, что сосед, может, в ту минуту о куске думает и вообще в два, а может, и в три раза в имущественном положении меньше тебя имеет, — какое мы покажем тогда движение к своему будущему, к свободе, к равенству и к братству? Ведь ежели мы способные только других агитировать, а сами будем больше всех руками своими брать — так мы не то что коммунизм устроим, мы его навек тем самым погубим! Ведь идея — она же не сама по себе, ее глазами не углядишь, руками не нащупаешь, она — это мы с вами! Она для всех масс такая и есть, какими мы с вами для них являемся. Мы — члены партийной ячейки! Нас — горстка, а мы большевиками себя называем, ничуть не стесняемся перед

любой массой. Почему? Потому что все светлое и большое в людях мы на себя берем и не глядим, что нам от этого тяжелее других будет, не жалуемся, тяжестью своей не хвастаем... Но замыкаться с картинкой в своей избе — это недопустимо, и для всех нас это невыносимый пример! За идею, хотя бы за самую справедливую, себя не спрячешь сроду — глупая мысль! Наоборот, ты всегда наперед ее идешь, а она уже за тобой следует, за каждым твоим шагом!..

Когда нынче Довгалю пришла мысль — собрать партийцев, жителей Соленой Пади, не дожидаясь ни Луговских, ни других штабов, которые ставили вопрос о партийном собрании всей Освобожденной территории, он еще не знал — правильно ли он делает? Но тут, на собрании, сомнения его рассеялись, тут радость захлестнула его — стоило только ему поглядеть на людей.

Кто горжественно и тихо, а кто шумно и нетерпеливо, но все переживали нынче эту же радость — встречи.

Не радовался только Перевалов Аким. Он еще перед началом собрания подошел к Довгалю, глянул узкими глазками и сказал сердито:

— А все ж таки ты сатрап, Лука!

Довгаль вздрогнул. Изменился в лице...

— Сейчас разъясню! — ответил он Перевалову. — Чтобы всем было нынче слышно и понятно, кто ты есть, что за человек! Чтобы раз и навсегда пресечь тебя!

И Довгаль взошел на колоду, поднял руку, заговорил... А теперь он кончал свою речь горячо и страстно:

— А когда вернется наша родная советская власть, она партийцев таких, таких Переваловых Акимов Федоровичей, самих заместо безобразных картинок к позорному столбу будет строго пригвазживать, — говорил он. — Но даже и без советской власти, когда у тебя хватило ума вступить в партийные ряды, должно хватить его, чтобы ты сам себя намертво за этот свой поступок засудил. Ты взглядишь в себя, и если твоя партийная совесть молчит — то лучше встань и выйди отседа раз и навсегда!

Довгаль наконец замолк.

А навстречу поднялся из рядов Перевалов. Он поднялся и молча, медленно, шаг за шагом пошел, держа руки за спиной, в руках — картуз. Тропинка огибала амбар, прижималась к торцовой амбарной стене и еще раз сворачивала за угол, к коновязи...

Но по этой ближней тропинке Перевалов не пошел — пошел по другой, едва заметной среди все еще густо-зеленой гусиной травки, под ветви двустольной и черной от древности сосны с усохшими ветвями.

Под ними он остановился, обернулся к собранию:

— Совсем? Или как?

Никто ему не ответил. Он еще прошел, еще обернулся:

— Совсем? Из-за картинки кто же вычеркивает человека с партии? — Еще раз обернулся, теперь уже крикнул в полный голос: — Больше меня здесь никто не совершил? Да? Я один только и есть виноватый?

Довгаль задумался, не ответил, и, чувствуя замешательство Довгалья, Перевалов спросил еще раз:

— Один! Да?

Но Довгаль уже отвечал ему:

— Тебе легче, когда бы ты не один был такой — больной личной собственностью? Тебе от этого радостно, когда бы ты не один заразой болел? Вот и понятно, почему революция с трудом и тягостью делается не только всем народом, но даже самой революционной его партий-

ной частью! От твоей, Перевалов, картинка тень падает на мировую революцию!

Перевалов Аким махнул рукой и ушел, огибая угол высокого амбара.

Довгаль махнул ему тоже и застыл неподвижно на колоде — ему показалось, из-за угла вот-вот выйдут Брусенков и Мещеряков.

У него уже готова была к ним речь, готовы были особенные слова, против которых ни тот, ни другой устоять не смог бы.

Это утром, в избе Тольки Стрельникова, Довгаль был одинок и слов у него было в обрез.

То были тяжкие минуты, тяжкие часы, а здесь Довгаль чувствовал торжество и силу своих слов, своего убеждения.

Мещерякова не было, Брусенкова тоже, предстояло их ждать, но ожидание не тяготило Довгалья.

— Тысячи копают окопы с утра и до ночи, — говорил он, — а мы все одно про себя знаем: если бы призвали нас копать в Тверской губернии либо на Волыни, пошли бы мы туда? Нет, не пошли бы! Для нас там до сего времени — чужое! Мы бы не пошли, а офицер, буржуй — он собственник куда больше нас, но идет защищать капитализм повсюду, не глядит, что владение его в одном конце земли, а он идет в другой. И получается — народам нет исхода, когда они имеют меньше сознательности к задаче своего собственного освобождения, чем капиталист — к порабощению. И еще спросить: глодает ли нас нынче совесть, что пролетарий — тот бросает в Питере семью на осьмушку хлеба, а сам идет с гордо поднятой головой в Сибирь и на Волынь защищать не только себя самого — идет ради нас? Упрекает ли? И не потому ли, не по собственной ли нашей несознательности, мы сами виноватые, что ставили в Советы не столько людей, сколько чрезвычайные тройки и пятерки, а те уже чрезвычайно обходились не только с богатыми — даже с равным крестьянином! Но мы должны верить и знать, что, когда бы советская власть падала под ударом темной силы не только в Сибири, но по всей России, она и тогда восставилась бы повсюду, потому что люди уже видели ее однажды и поняли ее! И какие бы мы ни делали ошибки, как бы сами ни калечили который раз дело, все равно справедливость — одна! Другую — никто не смог человеку показать. Нету нашей идее конца, и кто-то должен непрерывно нести и претворять ее, если потребуется — начинать ее снова и снова! А для этого — перед самим собой, перед каждым товарищем-партийцем — необходимо быть чистым и преданным!

Еще совсем недавно Довгалья мало кто знал в Соленой Пади. Он подростком ушел на станцию железной дороги, прижился там как будто бы навсегда... После — уже по водворении правителя Колчака — принял участие в забастовке железнодорожных рабочих и служащих, а когда Колчак стал за это жестоко расправляться — вернулся с молодой молчаливой женой-чистюлей в родное село...

Детей у них не было, жена день и ночь мыла и скребла избу, Довгаль не обзаводился хозяйством, больше ремесленничал, когда же началось партизанское движение — примкнул к нему со всею страстью...

А теперь имел право и призывать и упрекать любого человека. И стыдить. Имел право.

Нынешним летом, в середине июня, казачья станица Егошинская, которая до тех пор никак себя не проявляла, была будто бы не за белых и не за красных, вдруг выступила и в одну ночь уничтожила на дороге партизанский отряд, после станичники еще заняли несколько сел и там вырезали партизан и ополченцев, уничтожили их семьи, пожгли дворы.

И тогда Лука Довгаль среди бела дня пришел в станицу, объявил, что желает договориться с казачеством полюбовно и мирно, потребовал собрать митинг.

Говорил Довгаль перед людьми с полудня до позднего вечера, призывал станичников вернуться домой, подумать хотя бы еще несколько дней. Призывал к миру, указывал на безнадежность выступления. Кончилось тем, что его арестовали. Но не расстреляли, и даже ничего ему не сделали.

Не пропала бесследно его речь, засомневался кое-кто из станичников, и часть — особенно фронтовики, досыта понюхавшие пороха, по большей части покалеченные и поконтуженные, — убралась на пашню, на займки, отклонилась от своей станичной контрреволюции.

А тут пришел партизанский отряд, разгромил непокорных, освободил Довгалья. Освободившись, Довгаль уже говорил перед своими, защищая станичников. Опять ему удалось — не всех, а все ж таки кое-кого защитил.

И теперь и всегда так было: когда обращался он к людям, когда произносил речи, слушали Довгалья, смотрели на него, еще и еще ждали от него слова.

Довгаль и сам от себя ждал его. Он еще не сказал его вслух, но знал наизусть. Так же как «Уроки прошлого», напечатанные в газете. Еще тверже и даже как-то отчаяннее знал. «Товарищи! Вы куда не в курсе, а я — буду комиссаром нашей армии! — хотел он воскликнуть нынче. — Так верьте же мне, каждому моему слову и вздоху — верьте, верьте и верьте! Мне это нужно от вас, я этого требую от вас, и когда это будет, когда совершится, — никто уже и никогда в мире не сможет выдумать такой жертвы, которой я убоялся бы, на которую не пошел бы ради вас и общей нашей и великой идеи! Верьте!»

Он ждал с минуты на минуту Мещерякова, будто бы уже видел его перед собою и ему говорил эти же слова, его направлял на истинный путь.

Ждал Брусенкова, чтобы камня на камне не оставить от тяжелого брусенковского упрямства.

Ему казалось — он ждет еще и еще каких-то людей, чтобы в ту же минуту они поверили. Поверили бы всему, чему должен и обязан верить нынче человек.

Но все еще не было ни Мещерякова, ни Брусенкова, ни других каких-то людей, и, чуть повременив, Довгаль сказал:

— Товарищи! Есть предложение создать коммунистический батальон. Либо хотя бы роту. И в предстоящем сражении показать всей армии чудеса героизма, а противнику показать нашу неустрашимость и храбрость, чтобы у его кровь позастывала в жилах!

Тут как будто даже кто-то догадался о тайных, невысказанных словах Довгалья:

— Тебе бы, Лука, комиссарить надо было при товарище главнокомандующем — вот это получился бы комиссар!

И началась запись в комбатальон. Когда началась — в этот момент и появился Брусенков.

Он только что приехал, оставил коробок у коновязи, приблизился к собранию и сразу же понял, что происходит.

— Неправильно! — сказал он громко и отчетливо, поправляя картуз на голове. — Неправильно! Необходимо всем пойти в существующие роты и батальоны, а вовсе не записываться в отдельную часть, отрывать от народа! Для себя я спрашиваю самую малосознательную роту, со слабой дисциплиной...

И еще посмотрел Брусенков вокруг себя, увидел Петровича, остановил на нем взгляд:

— Товарищ Петрович, в твоём полку таких рот нету, знаю. Но, как армейский товарищ, ты все одно можешь подсказать — куда мне записываться?

— На этот вопрос лучше ответил бы главком Мещеряков! — сказал Петрович. — Лучше он.

— Ну, — пожал плечами Брусенков и плотнее натянул на голову картуз, — от его-то как раз особой дисциплины ждать не приходится. Встречался я с им нынче, и всерьез. После — записка еще с нарочным была мною передана, точно пересказаны все слова о собрании и наказ Довгалья — явиться. Не явился! — Брусенков посмотрел вокруг внимательно и строго. — Нету?

— Перед лицом предстоящего сражения за Соленую Падь есть предложение: коммунистам, а также истинно сочувствующим, кто еще не в армии, но способен быть в строю, распределиться поротно! На роту по одному, — провозглашал тем временем Довгаль. — В ротах не объявлять по поводу принадлежности, а идти в бой, вести себя до конца сознательно, объясняя другим политический момент. Чтобы товарищи солдаты сказали первыми: «Этот человек дерется с врагом и любое испытание переносит, как коммунист, хвастовства в нем нету ни капли!» И вот уже в ту минуту имеется право с внутренней гордостью объявить: «А я и есть коммунист!» Либо выйти вперед, сказать: «Товарищи! Когда вы обо мне отзываетесь — подтвердите, что я достоин быть коммунистом!» Строй подтвердит, а тогда приходи к нам, мы запишем тебя в свои ряды, — слово над тобою произнесено народом, а это нам закон!

Петрович подошел к Довгалю, спросил:

— Это все, товарищ Довгаль?

Негромко спросил. Другие и не заметили.

Довгаль поднял к нему лицо — радостное, возбужденное:

— А? Что? Что еще?

— Мы с товарищем Андраши можем возвращаться к себе в полк?

— Почему бы нет?

— Слушай, Лука, не упрекнешь ли ты себя за нынешнее торжественное собрание? Ну, собрались, ну, записались в роты. Дальше что?

Довгаль оставил кому-то бумажку, в которой вел запись, встал, отошел с Петровичем в сторону. Обнял его.

— Надо же нам было, товарищ Петрович, всем вместе собраться! Понять, что мы уже не разойдемся более никогда. Когда поняли — дальше будет все! Будет — единение. Ты гляди на людей, товарищ Петрович, гляди на их, а тогда сам поймешь без посторонних объяснений. — И Довгаль протянул руку, указывая на одного, на другого, на третьего.

Были тут совсем еще парни, и мужики в серебре, кто — просто в посконных рубахах, перехваченных бечевками, кто — в потрепанных гимнастерках, кто — в длинных, почти до щиколоток, шабурах. Кто — в сапогах, а некоторые — уже в пимах...

Толпились по траве между лесной опушкой и высоким амбаром, но толпы не было...

Разговаривали в голос, никто почти не молчал, но и гомона и шума тоже не было, короткий смех появлялся там и здесь — слышались восклицания, только ни перекричать, ни заглушить друг друга никто не хотел, голос исходил ото всех как будто один, с одной и той же сдержанностью, с одним общим дыханием.

Курили... Дымки тянулись легкие, едва видимые.

Довгаль спросил:

— Ну? Ну, товариш Петрович, что тебе еще надобно? Может, на этой поляне в данную минуту находятся самые решительные и даже самые счастливые люди на всей земле? Других таких нету.

И он еще махнул рукой, еще приближая к себе сосновый бор со сплошным коричневым древостоем, пашню с поседевшими гребешками пластов; следующую за этой пашней узкую луговину с редкими, охваченными в красное кустами боярышника и с частыми, даже издали видимыми метелками высоких трав.

— Вот так! — сказал Довгаль.

Подошел Брусенков. Он тоже был тих, задумчив, без картуза... Картуз нес в руках. На лице спокойствие; будто вспоминая что-то, давно прошедшее, он сказал:

— Забыл, а ведь и верно, надо бы объявить для всеобщего сведения: главный штаб нынче постановил при главкоме Мещерякове назначить комиссара. Комиссаром назначить товарища Довгалья. По его же личной просьбе и желанию. Тем более непонятно, что он нынче по записке не явился сюда, наш товарищ Мещеряков... Непонятно и вовсе странно. Ну, это, я считаю, все ж таки не слишком уже большая вина с его стороны.

* * *

Довгаль и Брусенков возвращались вместе, в одном коробке. Уже было темно.

По увалу тянулась темно-желтая, почти коричневая узкая полоска света — не то солнечная, не то лунная. Одна только и мерцала, а выше, в небе, и ниже, на земле, все заняла осенняя ночь. Не враз стукали копытами кони — брусенковский впереди, в оглоблях коробка, и верховой Довгалья сзади, на привязи...

Не сразу заговорили — каждый думал о своем. После Довгаль сказал:

— И все ж таки восстановились! Теперь раз и навсегда! Теперь связаться бы с губернией, и не просто, как сейчас — от одного случая до другого, а повседневно. В крайнем случае поеженедельно. Хотя в городах Колчак еще хуже свирепствует, а все ж таки подполье не в силах уничтожить — оно пролетарское и негибает. Свяжемся. Затем уже будет связь и с российской партией большевиков. Еще дальше — с Интернационалом. Бесконечная это сила — трудящиеся массы! — Довгаль поглядел на желтую полоску света, повторяющую очертания увала. Вдохнул. — И как обидно становится, товарищ Брусенков, когда мы на месте у себя который раз не находим общего языка, не можем друг от друга заимствовать силу, убеждение и организацию! Обещаешь ли мне, Брусенков, что против главкома негласно и единолично ты никогда уже больше не пойдешь? Что не повторишь той картины, которая только сегодня еще утром случилась в избе Толи Стрельникова?

— Я обещаю, Лука! — сказал Брусенков. — Что вовремя не произошло, того не вовремя не должно быть...

— Ну, я так и знал, Брусенков. Я все ж таки верил!

— Негласно — не будет с моей стороны против его сделано ничего. Подтверждаю. Но во всеуслышание — я был против многочисленных его действий и поведения, сейчас против и всегда буду против. В одном месте он делает победу, верно, но в другом ее разрушает. Вольно либо невольно — это мне неинтересно.

— Сколь мы об этом говорим, никак не могу от тебя добиться — да что же он такого делает, Мещеряков, контрреволюционного?

— Еще до сражения или после он пойдет и сделает дело, от которого у тебя волос станет на голове, товарищ мой Довгаль... Запомни это. Пойдет он на разгон главного штаба.

— Этого не может быть!

— Как только узнает о нашем нынешнем совещании в избе Толи Стрельникова... Как только узнает, то и сделает с главным штабом.

— От кого узнает?

— От тебя, товарищ Довгаль! Ты будешь при нем не только комиссар, но и друг ему.

Гасла желтая полоска на увале, становилась все более узкой, тусклой. А звезд нынче в небе не было, хотя закат был светлым — без облаков, без туманов. Задумался Довгаль. Сказал:

— Ты хочешь от меня обещания, Брусенков, чтобы я молчал бы перед Мещеряковым? Чтобы взамен твоего обещания я дал тебе свое?

Брусенков не ответил, Довгаль заговорил дальше:

— Не будет такого с моей стороны. Не может быть, и ты должен об этом знать. И помнить. Как покажет дело, так я и сделаю. Зря ни с чем говорить главкому не буду, потребуется — скажу все до единого слова.

Помолчали, и Довгаль снова стал вспоминать «Уроки прошлого»:

— Эх, Брусенков, Брусенков, помнишь ли ты, как там сказано: «Свободой должно обладать большинство, а не меньшинство, это ясно ребенку, но до сих пор неясно было всей истории человечества»?

— Про балерин тоже помнишь? — спросил Брусенков. — Там, в статье, говорится — оне львицы и требуют на себя миллионы за счет трудового народа.

— Помню.

— Я и велел про их сказать! Чтобы не откладывали, а в первую же газету напечатали... Как ты думаешь, Лука, где сейчас находится Петрович, куда держит свой путь? — вдруг спросил Брусенков.

— Вернее всего, в полк красных соколов. Вместе с товарищем Андраши.

— Нет! Вернее всего, он сейчас на пашенную избушку Звягинцевых держит путь.

— А что там — в избушке?

— Там нынче товарищ Мещеряков находится. И товарищ Жгун.

— Тебе-то откуда это известно, Брусенков?

— Известно...

Еще проехали молча какое-то время.

Горькая обида подкрадывалась к Довгалю. Горькое недоумение: почему главком с первого же шага пренебрег, не явился нынче на Сузунцевскую заимку? Он этой обиды не хотел, ни к чему она была. Он не имел на нее никакого права.

— А говорил ты нынче здорово, Лука, — сказал вдруг Брусенков. — Хотя я и не все слышал, пришлось на собрание приподняться, но ты все одно говорил здорово! Все тебя слушали и молчали, даже товарищ Петрович молчал. Даже он не взялся помимо тебя людям объяснять и призывать их. Я от него этого не ожидал — молчания. А может, он понял истину про твои и вообще про все слова... Все может быть. Он умный.

— Веришь ли, Брусенков, я к белогвардейцам ходил с речами. к белому казачеству — и то не переживал тот раз, как нынче пережил. Нет!.. А об чем должен был понять Петрович? Как это вообще понять твое замечание про слова, про их истину?

— Да просто — комиссар ты мой! Кто сильно, красиво и даже истинно излагает дело — хотя бы и борьбу за справедливость, и всю человеческую жизнь, — тот уже не делает. Делают другие.

* * *

Мещеряков и начальник штаба Жгун в это время и в самом деле были в звягинцевских пашенных избушках, почти на самой земельной грани между Соленой Падью и выселком Протяжным.

Под навесом, нарушая тишину темной ночи, хрупали кони развед-взвода, в избушке светила длинным языком свеча, за деревянным из неотесанных досок столом, склонившись над картой, сидел Жгун — худой, морщинистый, с рукою на перевязи. В углу, на топчане, на охапке сена и на шинели спал Мещеряков.

В головах — аккуратно сложенная гимнастерка, рядом — папаха, под ней, выглядывая наружу шнурком и рукоятью, лежал наган, еще рядом — портупая, трубка и бинокль.

В ногах — сапоги пятками вместе, носками врозь.

Мещеряков спал на спине в брюках-галифе, в расстегнутой на всю грудь белой рубашке, свет тускло падал ему на светлый пушок груди, на лицо с разбросанными по лбу волосами и с короткими усиками над верхней приподнятой губой. Усики и во сне топорщились, если бы не они — главнокомандующий совсем похож был бы на мальчишку.

Дышал Мещеряков ровно, разметав обе руки, при каждом вздохе поблескивая планками расстегнутых подтяжек. Чуть слышно посапывал.

Посапывание прекратилось — Мещеряков повернулся со спины на бок.

Жгун поправил фитиль свечи, другой рукой, которая была у него на перевязи, потянул на себя карту.

— Ну вот, я и отдохнул сколько-то! — послышался голос, а когда Жгун оглянулся, голос раздавался уже из гимнастерки: Мещеряков натягивал ее через голову.

Потом появилось недоуменное лицо, и он сказал еще:

— Смотри-ка, а шея-то у меня болит! Вывернул я нынче шею, глядеть было слишком неловко!

— Где же это тебе пришлось, товарищ главнокомандующий? — спросил Жгун.

— Пришлось... Ну, ничего, поди-ка, пройдет сама по себе? — Еще повертел головой. — А может, это уже к старости, а? Товарищ Жгун? Все может быть — волос же из головы падает у меня. — Вздохнул. Взялся за сапоги, но раздумал их надевать и, подобрав босые ноги, обхватив колени руками, спросил: — Ну и как же? Все тобою продумано, товарищ Жгун? Окончательно, до тонкостей?

— Окончательно.

Тогда, быстро обувшись, Мещеряков тоже подошел к столу, тоже склонился над картой... Поглядев на нее, на Жгуна, на пламя свечи, сказал:

— Ну, теперь на свежую голову давай! — Указал на длинную, узкую бумажку.

На одной стороне этой бумаги было отпечатано объявление торгового склада сельскохозяйственных машин, нарисована сенокосилка с поднятыми вверх крупными пальцами ножа и жатка-самосброска с граблями, распущенными веером, а на другой — четким почерком, строчка к строчке, буква к букве, рукою Жгуна был написан приказ с задачей полкам 20-му, 22-му, 24-му и 26-му красных соколов разгромить противника по выходе его колонн из села Малышкин Яр.

Указывались в приказе: а) исходные позиции полков перед началом операции, б) взаимодействие во время боя, в) средства связи и сигнализации, г) дальнейшие действия в случае выполнения поставленной задачи.

Указывалось, что штаб армии и канцелярия остаются до конца операции в Соленой Пади, что о дальнейшем передвижении штаба будет сообщено особо.

Что службы тыла — лазарет, патронная лаборатория, пункт сбора пленных — будут находиться в выселке Протяжном.

Что там же, в Протяжном, впредь до выхода на командный пункт для непосредственного руководства боем, будет и главнокомандующий армией Мещеряков.

Еще и еще раз долго и молча читал Мещеряков этот приказ, а потом, тоже молча и старательно, его подписал.

Жгун кивнул, положил подписанный приказ в карман френча, чуть сгибаясь под низким потолком, прошелся из конца в конец избушки, а потом протянул главному и еще одну бумагу. Протянул — ни слова не сказал.

Это было письмо командиру полка красных соколов товарищу Петровичу.

«Товарищ Петрович! — написано было на листке той же четкой, строгой рукой Жгуна. — Луговской районный штаб в лице его начальника товарища Кондратьева и заместителя товарища Говорова, отмечая, что в объединенной крестьянской армии все еще не поставлена политическая работа, как того требует нынешняя чрезвычайная обстановка и задача полной победы над ненавистным врагом, — предлагает немедленно назначить всермейского политического комиссара.

Тем же письмом указанные товарищи предлагают назначить политическим комиссаром армии товарища Петровича.

Штаб армии, рассмотрев это письмо, отнесся к нему положительно и, со своей стороны, немедленно, по завершении боя за село Малышкин Яр, предлагает встретиться для окончательного решения поставленного вопроса в выселке Протяжном следующим товарищам: главнокомандующему ОККА товарищу Мещерякову Е. Н., начальнику главного штаба Освобожденной территории товарищу Брусенкову И. С., начальнику Луговского районного революционного штаба товарищу Кондратьеву К. М., вам лично, а также и другим лицам».

Подписал и это письмо Мещеряков.

Глава одиннадцатая

Еще раньше, чем из Карасуковки была получена телеграмма, Мещеряков узнал, что карасуковцы сделали налет на отряд белых, который двигался к Соленой Пади по Убаганской дороге.

Узнал через свою армейскую разведку. Для разведки событие оказалось совершенно неожиданным, и она сообщила сначала: «Неизвестная белая банда сделала нападение на своих же белых, по неизвестной причине нанесла последним сильный урон в ночном бою». Только на другой день ошибка была исправлена: «Те белые, о которых было донесено вчера, оказались вовсе не белыми, а восставшей карасуковской местностью в количестве пятисот семидесяти одного человека конных и вооруженных, о чем ими же было нашему разведзводу точно сообщено».

А спустя еще день и была получена шифрованная телеграмма: «Карасуковские хозяева согласны продать соленопадскому обществу 571 пуд муки простого размола да здравствует советская власть долой тирана Колчака Глухов Петр Петрович».

Было ясно, что карасуковский телеграф в руках восставших, что Глухов Петр Петрович проявил оперативность, что колчаковцы успели и

еще пошालить с карасуковскими хозяевами, без этого они так быстро не собрались бы сделать дело.

Ну вот — начало было... Был подан сигнал, который томительно и напряженно ждали Мещеряков и Жгун все эти дни.

Сразу же после подписания протокола объединения армий комиссар Куличенко с двумя полками вышел в направлении на Моряшиху и далее ленточным бором в тыл правофланговой колонне противника; он должен был дать этой колонне бой, и даже не один.

В том же случае, если с правого фланга, хотя бы самыми небольшими силами, выступят еще и карасуковцы, Мещеряков решил сам выйти против серединой и наиболее значительной группировки противника.

Одновременные — или почти одновременные — удары на трех дорогах должны были заставить противника задуматься: а действительно ли партизанская армия уходит в оборону?

Нужно было заронить подозрение. А тогда противник станет обеспечивать тылы и фланги своих колонн, оставлять гарнизоны в селах по пути следования, увеличивать арьергарды и к Соленой Пади подойдет уже далеко не всеми своими силами. Это и нужно было Мещерякову. Он в решающий момент стянет свою армию до последнего человека к оборонительным позициям, выдержит первый натиск белых, а потом как можно скорее перейдет в решительное контрнаступление.

Такой был официальный, утвержденный в штабе план.

И вообще Мещерякову давно хотелось дать бой и обязательно его выиграть; подходила к концу всего-то вторая неделя его пребывания в Соленой Пади, но все казалось — народ уж слишком долго ждет от главнокомандующего боевых действий, хочет своими глазами, а не понаслышке увидеть, на что он способен. И армия ждала от него дела. Партизанские части, которые он привел из Верстова, в этом не нуждались, зато те, кто до сих пор воевал под командованием Крекотеня, хотели окончательно понять: почему Мещеряков, а не Крекотень нынче общий военачальник?

На этот вопрос надо было ответить.

Бой Мещеряков решил дать по выходе белых колонн из села Малышкин Яр. В случае успеха он и дальше намерен был развивать контрнаступление, даже вплоть до того, чтобы вообще избежать обороны. Об этом он даже самому себе не говорил, а все-таки и надежда в нем не гасла, теплилась. Не оборона была ему страшна, а тот факт, что не он будет нападать, а на него; не он, а кто-то другой будет назначать час и место боев.

Накануне он приехал в выселок Протяжный — несколько амбаров и молотильных токов, покрытых еще мягкой половицей, было расположено в неприметной ложбине того же названия, верстах в шести от Малышкина Яра. Здесь и находился его штаб. Свой же командный пункт на позициях он хотел занять за каких-нибудь полчаса до начала сражения. Чтобы раньше времени не привлекать внимания противника.

Днем он хорошо вымылся в бане для бодрости тела, коротко, но крепко выпался, сначала тоже крепко поев и немного выпив.

Вечером отрезал от буханки кусок — солдатскую пайку, пол-луковицы чеснока тщательно очистил, съел и то и другое, запил холодной водой, начатую буханку и чесночную луковицу положил на середину стола, на видное место — пусть ждут его после боя.

Доктора правильно говорят, всякое ранение, особенно в живот, когда перед тем сытно наешься, переносить гораздо хуже. Кроме того, кровь сильно приливает к желудку, а во время сражения ее должно быть

как можно больше в сердце и в голове. Это Мещеряков уже знал от себя...

Входили-выходили разведчики, кое-кто из командиров частей все еще был тут, хотя Мещеряков на них даже сердился, прогонял прочь: части были на исходных позициях, командирам надо быть при своих частях, а они все еще мотались на взмыленных конях к выселку Протяжному, потом обратно — а для чего? Может, это у них от Крекотеня осталось, тот сделал привычку — до последней минуты толкаться в штабе главнокомандующего?

И он посадил в первой комнате комполка двадцать четыре, велел ему выслушивать всех, кто домогался сию же минуту увидеть главнокомандующего, и только уже в случае действительной необходимости входить к нему в дальнюю горницу, где он, расстелив на полу карту района военных действий, не столько на эту карту смотрел, сколько отдыхал перед боем.

Ну, а комполка двадцать четыре было кстати потренироваться; когда не вышло дело с назначением командиром дивизии Петровича, так Мещеряков стал приглядываться к молодому еще, но уже хорошо повоевавшему командиру этого полка.

Сам же, не торопясь, размышлял о разных предметах...

Есть люди — они о себе рассказывают, и даже с охотой, будто в ночь перед боем спят, как младенцы, видят веселые сны, а сигнал тревоги не сразу после таких снов могут понять.

Вранье все! Это рассказывать во всех подробностях о бое, когда он уже прошел, а ты в нем был и остался живым, интересно, даже необходимо.

В ночь же перед боем человек отчасти бывает мертвым, и говорить об этом вслух, да еще об этом врать, просто глупо. Глупо, и ничего больше! Он о тех ночах ни говорить, ни вспоминать не любил. Они тайной были даже для него самого.

В такие ночи и на прусском и на австрийском фронтах, да и в эту войну случалось тоже — он, как и все, делал вид, будто крепко спит, на самом же деле не спал никогда, прошался с другими людьми...

Дня начала отец в эту ночь по-солдатски желает тебе удачи, снова и снова повторяет, в каких он был войнах и сражениях, если за ним строго не доглядеть, он тут же и приврет, представит себя героем.

Ты тоже желаешь отцу прожить побольше и даже заметно побольше того, что человеку суждено, походить за внучатами, ну, а потом легкой смерти.

Жена в эту ночь редкостно хороша и тиха, чуть-чуть и молча ласкает тебя рукой по лицу...

Детишки глядят на тебя, словно ты явился перед ними и объясняешь, как надо жить, какими быть. И мало того, что им, детишкам, понятно и ясно и они тебя слушают внимательно, мало того — тебе и самому это тоже понятно и ясно. Не понятно только, почему же по сю пору ты сам так не жил, как об этом рассказываешь?

После подходишь под благословение матери... Подходишь — сам ребенок, хотя бы и двадцати, хотя бы и тридцати лет. И опять удивляешься: почему не жил до нынешней ночи так, как велела мать, как мечтала она о твоей жизни?

Но мать не упрекнет. В такую ночь не то что мать — никто и ни в чем не упрекнет тебя. Никто, кроме себя самого. Но и от этого последнего упрека уберезжет мать. Наоборот, что-то скажет тебе, как-то к тебе прикоснется — и снова чувствуешь ты себя в той самой жизни, которая начала будто бы уже обрываться.

И хотя с шестнадцатого года Мещеряков окончательно не верил в бога — с того дня, как угадал в немецкую газовую атаку, — материнское благословение для него не переставало существовать.

Нет, ночь перед боем — это ночь человечья! Тем более что подумать-то человеку о себе в другое время некогда. В бой ты идешь — уже ни о ком и ничего не помнишь, а перед тем дано тебе иной раз вспомнить все, все, что было, все, как было. Дано — пользуйся. Не представляйся перед товарищами, будто и это тебе нипочем, даже ночь эта. Лежи молча. Думай.

Лукавство во всем этом есть — тоже правда, есть хитрость, но разве от нее хуже? Прощаться-то ты со всеми уже попрощался, а спроси: разве не знаешь, что все ж таки и еще живым будешь?

В первых боях, потому что они первые, потому что ни с того ни с сего в самом начале войны не так уж много людей погибает, у большинства это еще впереди.

В последних — потому что они последние, и если ты их множество пережил, почему бы не пережить еще один?

В ночь перед боем у Малышкина Яра все это было, опять было так, будто жизнь прожита, расчеты с нею покончены, остался один бой и больше ничего. И теперь только в бою, и только через него, она уже и могла снова вернуться, жизнь. Теперь уже в неразберихе огня, криков, маневров вдруг тебя осенит какой-то миг... Что за миг? А это тот самый, до которого ты мысленно дошел еще вчера, вчера услышал вот этот крик, вот этот залп, увидел такой же маневр, а теперь увидел его в действительности. И вот уже ты бой подхватил и через него возвращаешь себя к жизни. Это удача твоя! Надейся, уже не смерть с тобой играет, ты играешь с нею!

В просторной избе о трех горницах почему-то пахло ржаным хлебом.

Мещеряков выходил из гумна, смотрел полосу и солому — ни одного колоска ржаного нигде не заметил. Молотили здесь пшеницу-белотурку и номерную, овес, гречишная была солома, были длинные, хрупкие, как перекаленная сталь, ости ячменя, а ржи — нигде. Рожь вообще в этой местности не знают...

Отмолотились протяжинские хозяева недели две назад и семьями ушли в большие села — в Моряшиху, в Соленую Падь. Там вместе со всем миром и уберегутся от Колчака, там — сила, а здесь — всего-то десяток мужиков, против конного разезда и то не выстоять.

А минуют выселок колчаки — удивятся партизаны, спросят: почему миновали? «Ага! Выселок-то заодно с колчаками!» Вот и не стали протяжинские пытаться судьбу, бросили строения. А ржаниной в избе пахнет — так это, наверное, был квасной дух. Густой, сильный, как брага...

То и дело подъезжали разведчики с донесениями, прибыл уже и размещался лазарет; как только он прибыл, сразу же под окнами избы слышался женский голос:

— Да ты изведаль ли когда в жизни любви-то? Тетеря!

— Какая это жизнь? — вздохнул в ответ немолодой уже, грустный бас. — Какая жизнь — день и ночь с песком на зубах!

Долгое время слышалась разноголосая перекличка, говорили кто о чем. Бессвязно. Потом двое кто-то повстречались, давние дружки:

— Каким ветром, милой, занесло? А? Пригвоздило — и прямо сюда? Вот встреча!

— Ветер нонче для всех один...

— Горы двигаем, да?

— Горы-то двигать тоже надоть знать — в какую сторону? Чтобы на себя не обвалить...

— А что там все ж таки в Зубцовой? Обрато на ее белая банда посягает?

— Белые — и не очень. У их у самих, зубцовских, еще большая сила колебания проявляется. Казачество!

— Так ить белые сами на себя всем глаза открывают! Хотя бы и казачеству!

Мужицкие разговоры тоже слышались. Хлебопашеские:

— Мы урожая не ждали нонче, ждали запалу... За троицей вслед над нашей местностью туча прошла. Стариков спрашивали — и росейских и чалдонов, — в один голос отвечали: врать не станем, не бывало у нас такой на глазах! Черная, ну как в тулупе в барнаульском завернутая, и ни капли не обронила, а жаром пышет страшным! Может, дошла к горам, об горы задела, остыла, после того излилась. Над нами прошла — мы в ту же минуту кто во что запрягать кинулись, пашню глядеть — сгорела либо живая еще? Живая была пашня, но только чуть. Еще бы полдни такого жару — и нет ничего: ни колоска, ни травки. После что ты думаешь? Голубенькая такая, махонькая тучка надвинулась и ка-ак ливанула — спасла пашню! А больше нам в лето обиды не было — и тепла и дождя в самый раз. Трава так и по сю пору еще молодится... Ну, а та черная была туча — забыл сказать — грому от ее — так это не обещься! Идет и грохочет, идет и грохочет! Правда ли, нет ли — земля круглая? Гром-от все катился, и все под гору!

Об этой туче Мещеряков нынче слышал не раз. И в разных местностях...

Долго было тихо.

К ночи, что ли, угомонился народ, вот так же задумался о предстоящем бое, как только что Мещеряков о нем думал.

Наконец, когда тишина стала томительной и захотелось, чтобы ее прервали, в хутор въехали двое или трое верховых, один, соскакивая на землю, сказал сердито:

— Тарантас угнали, хады! На железном ходу!

— А в кого запряжен-то?

— Да запряжен, бог с ей, кобылешка немудрящая! А тарантас выездной, сами бы еще сколь в ем поездили... На железном ходу!

— Кто же такие?

— Кто их знает... Не похоже, чтобы беляки. Фулиганье какое-нибудь. Жиганы. Трое.

— Как же вы — вершние — и не догнали? Как могло быть?

— Догоняли. Они дорогу, видать, знают, через мочажину колесами проехали, а мы след хорошо не поглядели, ринулись. Ну, едва коней не утопили в мочажине этой. И сами по уши в грязе побывали.

— Что за банда?

— Вернее всего, банда и есть. Фулиганье. Жиганы.

— И зачем им тарантас спонадобился? Документов там не было каких? Срочных бумаг?

— Документов вроде не было. Разве что при бабе... Которая в тарантасе была. Они ее тоже сперли.

— Что за баба?

— Ну, штабная. Которая при Брусенкове состоит, при главном революционном штабе.

— Черненко?

— Черненко...

— Оторвали, язви их, кусок. Была и нету. Из-под самого носу увели!

— Брусенков сильно сердитый будет. Грамотная баба. Он без ее ни шагу.

Мещерякова вынесло из дверей избы, он подхватил с перил крыльца повод гнедого и уже верхом крикнул:

— Это что же за партизаны, что за мужики, когда у них баб из-под носу воруют? А? Десятеро — за мной! Лыткин! Десять человек, не больше и не меньше! Догляди!

За распахнутыми воротами поскотины остановился, чуть подождал. Один за другим подскакивали верховые, он еще приказал Гришке:

— В обход мочажины на большак и по большаку с криком, с шумом гоните до самой Салаирки.— Сосчитал рукоятью нагайки троих: — Первый, второй, третий! За мной!

Тронул вправо, через пашню.

Он рассчитывал, что Гришка со своими конниками спугнет бандюков с большака на проселок вправо. Проселок на неудобной этой, мокрой и озерной местности держался вдоль большака, верстах в двух от него, потом круто брал еще вправо, на деревушку Семиконную. Если бандюков нет ни на большаке, ни на проселке — значит, они белые, к белым и ушли. Их уже не возьмешь, но хотя бы узнаешь, кто такие. Если свои, с Освобожденной территории, так не должны уйти далеко. Будь они все верхами — пошли бы пашней, напрямик и куда угодно, но с тарантасом только две дороги: большак на Салаирку и проселок на Семиконный. На этом проселке и ловить банду...

Перемахнув мягкую, только что сжатую пашню и с небольшой гривы снова спустившись вниз, под уклон, Мещеряков дал коням передышку. Лег на землю. Ночью вот так глядеть снизу вверх вдоль земли — далеко можно видеть, и бинокль хорошо берет, особенно движущиеся предметы, слышно так и совсем неплохо, если только вблизи тишина, никто тебе не мешает ни словом, ни вздохом. Мещерякову никто не мешал, кони похрапывали, так он отошел чуть в сторону, чтобы не слышать их.

Но не было ничего ни слышно и ни видно. Ночная осенняя степь чуть шелестела травами, где-то совсем близко была неубранная полоса хлеба, хлеб позванивал колос о колос, и о почву задевали невысокие облака. Тишина Мещерякова ничуть не разочаровала, он подумал — расчет его правильный: пашней бандюки не поехали, побоялись, на пашне останется след, по следу их с рассветом настигнут, хотя бы и за много верст.

Проселок же где-то близко давал большую петлю, на ту петлю и метил Мещеряков, соображал, как бы не ошибиться в темноте, не взять правее либо левее...

Вспоминалось: наутро предстоит сражение, но азарт погони, еще какое-то упрямство охватили его, он легко уговорил сам себя: «И здесь успею и там! До рассвета далеко еще!»

Все-таки немного погодя, прислушиваясь к прерывистому дыханию гнедого и беспокоясь, как бы не загнать его, как бы не вывести его из строя, он подумал опять: «К бою-то к нынешнему, к особенному бою, я уже сильно готовый! Как бы не потерять эту готовность. Не опоздать, не промахнуться...»

Опять похрустывала под копытами нескошенная трава. «Успею!» — думал Мещеряков, а когда выехали на крутую петлю проселка, выехали точно, не забрав ни право, ни лево, Мещеряков сразу же и догадался — не успел.

Проселок огибал здесь глубокий, мокрый лог, как раз от поворота шел круто под уклон, примерно за версту пересекал этот лог и поднимался в обратном направлении.

По прямой на ту сторону — рукой подать; прошлась по той стороне луна, так проселок с плюшевой синеватой пылью даже на какое-то время видно стало. А еще стали видны фигуры конных, и тарантас тоже мелькнул. И колеса стукнули. И копыта.

Но это было по прямой, а туда-обратно — две версты, притом одна верста в гору и размытая, неустроенная, сажень, верно, тридцать длинной — гать, по которой коней надо вести спешившись. И еще, как это часто бывает, что вместе с одной неприятной догадкой сразу же приходит и другая, Мещеряков вспомнил карту местности, а на карте проселок — как вслед за этим логом он дает развилки еще на два или на три населенных пункта, а уже после того достигает деревушки Семиконной.

— Ушли...— сказал он.— Ничего больше не выдумаешь — ушли, гады...

И погоня показалась ему глупой, никчемной, и себя самого он за эту глупость сильно стал упрекать: ну зачем он-то поскакал! Полковдец, перед боем! Даже и во тьме не глядел бы на тех людей, которые были с ним рядом.

С той стороны крикнули:

— Щ-щенки мещеряковские! Слюни-то, поди, до полу у вас достали уже?

Все слышно было, как там притормозили, как спешились — дали коням передышку, чувствуя себя в безопасности. Даже и огонек сигарки будто бы мелькнул.

Внизу, по дну лога, булькала вода, кое-когда волновались камыши. После захрюкала свинья. Наверное, одичавшая какая-то — ушла из Протяжного либо из Семиконной еще весной и одичала в этом буераке окончательно...

Когда на той стороне зашевелились, должно быть, решили снова трогаться в дорогу, Мещеряков вдруг подъехал к самой кромке лога и крикнул:

— Эй, ребята! Слышно вам?

Кто-то там, на той стороне, кашлянул, кашлянул не просто так, а в ответ, и он крикнул снова:

— Так это я, Мещеряков, и говорю! Лично! Вот какое дело: бросайте тарантас и бабу — живую, невредимую. Сами с богом! Даю обещание — никто вас не тронет. Когда же вы несогласные, с утра половина моей армии пойдет по вашему следу и говорю точно: пойманные будете все! Я на следу на вашем стою и уже не сойду с него! Мало того, всю вашу родню возьму, всякого возьму, кто из ковшика подаст вам воды напиться! Ни тетки, ни дядьки вашего живыми не оставлю! Все. Договорились. Поняли друг друга!

С той стороны грохнул выстрел.

Кто-то рядом с Мещеряковым тоже вскинул было винтовку. Мещеряков сказал:

— Отставить! Вот разве в кусты зайти, а то они, может, в действительности видят нас хорошо.

В кустарнике переждали беспорядочную пальбу. Пули шли все больше правее, цокали о ветви, посвистывали.

Когда на той стороне угомонились, Мещеряков крикнул снова:

— Ну, ребята, так мы едем! Бросайте тарантас с бабой на открытом месте, на лужке. Чуток подальше того, как сейчас стоите. Чтобы без провокации мы ее взяли обратно.

И поехал по дороге вниз. За ним — остальные. Еще стукнули выстрелы, и даже бердана ударила железными обрезками. Обрезки летели со звоном и всем, прямо как картечью палили, но до этой стороны не

долетали — плюхались в камыши, чавкали там, словно поросята... А у белых, у тех винтовки были нарезные. С бердан да еще железками белые никогда не стреляли.

— Так поспешайте, молодцы! — крикнул еще раз Мещеряков. — Мы сию минуту едем! — Своим он сказал: — Пришпорить! Кто их знает, вернутся — на гати нам засаду сделают! Надо туда раньше их поспеть!

Все-таки гать переходили с предосторожностями — двоим Мещеряков приказал пешими быстро бежать на ту сторону, сразу же залечь. В случае малейшего шороха открывать огонь. Двое перебежали. Тогда и остальные выехали на другой берег лога, но тронулись не дорогой, а пошли в обход, чтобы к тому месту, где было бандюкам наказано оставить тарантас, подъехать с противоположной стороны. Когда было совсем уже близко, спешили, оставили коней при коноводе и пошли, пригибаясь к земле, тихо, осторожно.

— Кто их знает, варнаков, — шептал Мещеряков, — кто их знает? Конечно, они могут тарантас загнать в кусты, сыграть нам на нервы. А могут и с фланга засаду сделать, из травы, из кустиков пальнуть...

Выпряженный тарантас стоял на лужайке, которую Мещеряков указал. В тарантасе, связанная, сидела Тася Черненко.

И сидела-то, будто ни в чем не бывало. Не заметишь сразу, что руки связаны за спиной, никогда не подумаешь, что украденная женщина. Сидит, смотрит на луну.

— Ты хотя бы голос подала, товарищ Черненко! — удивился Мещеряков. — А ну, ребята, развяжите попроворнее девку-то!.. Товарища Черненко! — И сам принялся Тасю развязывать. — Ты гляди, веревка у их на этот случай припасенная была! Добрая веревка! Ну, закоченели руки-то?

Черненко обернула желтое, словно у китайки, лицо с большими черными глазами. Глаза тоже пожелтели при этом повороте, она как-то странно улыбнулась, будто почувствовав их желтизну. И только. Ничего не сказала.

Подошел коновод с конями:

— Товарищ главнокомандующий, твой-то гнедой-то — в ногу пулей поцарапанный! Это, видать, когда они с другой стороны палили, и произошло.

— Не может быть?! — воскликнул Мещеряков, бросился к гнедому щупать рану. — Это как же мне завтра без коня-то, а? Ну, какой же я буду без гнедого? — Посмотрел в сторону Таси Черненко, сказал тихо: — Нет, это точно: от баб солдату удачи нет! Неужто и правда нет?..

Запрягли одну лошадь в тарантас. Гнедого привязали поводом. Мещеряков сел рядом с Тасей Черненко, стал ее разглядывать.

— Ну, и что же ты? — спросил он чуть спустя. — И слез у тебя нету на такой случай? Или от страху нету их?!

— Мне не страшно, товарищ Мещеряков, — сказала Тася.

— Ну, чего врать-то? Наговаривать на себя? Или, может, они стукнули тебя чем? Сознание искалечили?

— Я сама по себе не боялась...

Мещеряков долго молчал, после проговорил задумчиво:

— Ну, тогда вовсе худое твое дело, девка. Вовсе худое!

— Наоборот. Разве бояться — лучше?

— Так не об этом же разговор — лучше либо хуже. Когда бояться-то живые люди, так разве об этом думают? Неужели тебе в голову не пришло, что они с тобой могли сделать?

— Мне не страшно...

— Дура! Дура и есть: когда тебе не страшно, так хотя бы молчала об этом! — И Мещеряков сплюнул на дорогу.

Тася сказала:

— Ну, как вам объяснить, Ефрем Николаевич. — Она называла Мещерякова и на «вы» и на «ты», это ее раздражало. Она начала фразу снова: — Как тебе объяснить...

— Да не объясняй, ради бога, никак! Ни мне, ни вам — никому не объясняй!

Но тут она обернулась к Мещерякову, схватила его обеими руками за плечо и сказала:

— Все говорят о жертвах, о готовности принести себя в жертву, но только никто не решается этого сделать! До конца. Никто из людей, среди которых ты выросла. А я — решила. Неужели непонятно?

— Конечно, непонятно! У тебя же мать есть? Она — живая женщина, а хотя бы и помершая, так ей не все равно было — какая ты станешь? Ты тоже матерью должна быть, хотя бы при какой жертве. — Еще подумав, будто послушав, как перестукиваются под колесами корни кустарника, Мещеряков уже тише сказал: — Не люблю я, слышь, людей, которым жизнь не мила! А уже про этаких баб так и говорить не приходится — отравы. Такой нынче решит: ему собственная жизнь ненужная, а завтра он так же и об моей жизни подумает! Мне это не глянется.

— Товарищ главнокомандующий, неужели ты боишься смерти?

— Так я же не против того, чтобы живым быть. Не против. А на кой черт такая жизнь, при которой смерти не боишься? На это мне голова дана, и глаза, и уши, и даже оружие: защищаться самому, других защищать от смерти!

— Умереть ради других — и тебе страшно?

— А я-то чем хуже других? Что-то все нынче: «Другие, другие!» Все за других. Кто же за себя-то? И я не другой, что ли? Я за тех, других, когда они за меня. Вот какое у меня условие. А когда они категорически требуют моей жизни, то я погляжу, стоит ли с такими связываться?

— И вот так ты делаешь революцию? Товарищ Мещеряков?

— Вот так и делаю. И двадцать тысяч мужиков, которые в нашей армии, тоже так делают, из того же расчета: жить, а не помирать. Они воюют не только за себя, за себя — это даже скучно, за счастье своих детей — это уже гораздо веселее. Но и двадцать тысяч счастливых вдов после себя оставить, да сто тысяч ребятишек безотцовщины, да сколько еще престарелых родителей — нет, ни для кого не расчет. Разве что для самого лютого врага.

— Завтра у тебя сражение, Мещеряков?

— Что из того?

— Понадобится тебе ради верной победы бросить всех людей на верную смерть — бросишь?

— Нет. Не брошу. Какая же это будет верная победа? Я отступлю. Буду ждать победы для живых. Не для мертвых. И пусть народ губит враг народа, а не друг ему. И знаешь еще что, товарищ Черненко, давай кончим наш с тобой разговор. Спасать тебя куда ни шло. А разговаривать с тобой после того... Правда что сроду не поймешь, где найдешь, где потеряешь... Ты и сама сказала: завтра у меня сражение, не порти мне его уже сегодня.

— Так ты что же, боишься революции? Сам ее делаешь, будто бы желаешь, и сам же боишься? Так ты трусливый, товарищ Мещеряков? Как заяц? Мне стыдно, что ты меня спасал!

Мещеряков как будто и в самом деле трусливо оглянулся — три

нечеткие темные фигуры всадников двигались чуть позади, вели разговоры между собой, но за топотом копыт слов нельзя было разобрать. «Ну, значит, и нашу беседу им тоже не слышать! — подумал Мещеряков. — Тем более колеса под тарантасом громко стучают. Смазанные, слава богу, плохо...»

Поперхнувшись, тонким и противным каким-то голоском сказал Тасе:

— Слишком большую глупость говоришь ты человеку, товарищ Черненко. Слишком!

И заставил себя думать о предстоящем сражении.

В уме стал перечислять части противника, которые следовали в колонне и которым он, по выходе их из Малышкина Яра, завтра даст бой: два полка — сорок первый и сорок пятый, в одном три батальона, в другом два. В одном пулеметная команда, в другом два конных эскадрона и батарея трехдюймовых орудий. В первом батальоне сорок первого полка три роты и взвод связи... Так он перечислял на память все подразделения, чуть ли не до взвода включительно. Сведения доставляла ему разведка, и делалось это совсем просто: куда белые двигались со станции железной дороги через степные села, ночевали в этих селах, а утром то ли на сельской площади, то ли где-нибудь в улице устраивали переклички; эти переклички обязательно слушали два-три будто бы даже глуховатых деда из бывших солдат, хорошо знающих строй и военный порядок. Белые уходили из села, тотчас появлялась разведка партизан и тут же, куда память еще не изменяла дедам, записывала с их слов все слышанные ими названия подразделений.

И этого Мещерякову было мало.

Несколько раз в последние дни, когда колонна белых двигалась пересеченной местностью, на которой можно было найти удобный и скрытый наблюдательный пункт, он из этого укрытия просматривал колонну в бинокль — от начала и до самой последней повозки обоза. Ему удавалось подобраться так близко, что он знал уже многих офицеров по лицам и фигурам, по лошадям, на которых они ехали, по ординарцам.

Он надеялся, что и в бою тоже узнает их, а тогда сразу же и поймет, где и какие расположены подразделения, какие подразделения уже действуют, а какие еще находятся в резерве.

И нынче, закрыв глаза, Мещеряков тотчас погрузился в это занятие: «Первый батальон — командир сутулый, конь под ним карий, ординарец при нем вовсе крохотный... — вспоминал он. — Второй батальон — чаще всего заодно со взводом связи, командир сильно толстый, почему-то с казачьей саблей, ординарец при нем красномордый... В офицерских сапогах, гад! Только бы они без шинелей воевали! Я-то их без шинелей видел, тепло было, а завтра как наденут шинеля — всех враз и попу-таешь! Третий батальон...»

Тася Черненко еще раз посмотрела на круглое и даже в темноте добродушное лицо Мещерякова. Удивилась: что это он шепчет?

Ранней весной, когда она ехала этой же степью, еще по снегу, еще охваченная каким-то недоумением и перед снежными просторами, и перед самой собою, вдруг решившейся покинуть город, родителей, сестер, друзей — все-все, как будто и в самом деле данное ей навечно откуда-то свыше, ей встретился отряд человек сорок или тридцать верховых с ружьями и шашками, в серых куртках нерусского образца, серых же коротких папахах и шапках-ушанках. Молоденький офицер вел отряд.

Он долго ехал бок о бок с Тасиной кошкой, потом кинул повод солдату, пересел к ней и стал глядеть на нее голубыми подростковыми глазами. Ему можно было дать лет четырнадцать — пятнадцать. Может

быть, он впервые в жизни сидел вот так рядом с женщиной и так ее рассматривал? Тасю подросток не испугал. Наоборот, ей казалось, это он боится ее. Стоило дернуть подростка за ухо, за нос, чтобы испугать его окончательно.

И они разговаривали весело, почти мило и прятались в воротники от предвесеннего жгучего ветерка, а потом Тася еще больше ошеломила мальчика, неожиданно сказав ему:

— Ведь вы из семьи юриста, не так ли? Вам особенно хорошо должны быть известны права и обязанности старшего чина по отношению к младшему! Вы нынче старший — вы офицер, а я совсем без чина!

Это и был легкий щелчок по носу мальчика. Она не хотела объяснить ему, как ей пришла догадка. А пришла она потому, что мальчик несколько раз употребил слово «правопорядок». «Я призван восстановить в этой местности правопорядок!» — сказал он вдруг прочим. «Правопорядок — прежде всего!» Ей же было забавно вдруг встретить себе подобного среди этих бесконечных снегов... Себя она так и не выдала, назвавшись сельской учительницей.

Остановились в деревне Старая Гоньба.

И там голубоглазый мальчик собрал все население деревни, а потом ходил по рядам и бил шомполом по лицам, по рукам, которые эти лица заслоняли. Бил мужчин. Бил женщин. Бил стариков.

Сколько она прочла за свою жизнь книг, самых умных, самых благородных, сколько прочли ее сестры, ее родители — для чего было все это? Для чего, если голубоглазый мальчик оказался сильнее гениальных, потрясающих человеческое сознание мыслей? Может быть, для того, чтобы она не знала, что же должна делать? Подойти к мальчику, выхватить у него револьвер и застрелить его или — застрелиться самой? Она была отчаянно противна самой себе, потому что не знала, что нужно сделать, как поступить, потому что мальчик не избил ее, не совершил насилия над ней, а, встретившись с ней на улице, по-прежнему ласково и преданно смотрел ей в глаза. И она не пережила бы этого, не смогла, если бы на следующую ночь, уже в Соленой Пади, куда она бежала от голубоглазого мальчика, ее не застало восстание.

Где-то незадолго до рассвета она услышала стрельбу, крики, стоны, конский топот, вышла на крыльцо земской квартиры и, взглядываясь во тьму, смотрела, как люди стреляют друг в друга, падают, поднимаются, снова падают. Когда это кончилось, она пошла на площадь и там впервые увидела Брусенкова. С первого взгляда она догадалась, что это он поднял восстание, это он только что стрелял и рубил. Брусенков говорил речь, а потом Тася подошла к нему, протянула две прокламации, призывавшие к восстанию, которые ей дали в городе на случай, если придется заслужить снисходительность «красных», и сказала, что хочет быть в том штабе, о котором Брусенков только что говорил в своей речи.

Брусенков надел на дымящуюся паром голову огромный и пестрый трехх, спросил у нее:

— Сильно грамотная?

— Сильно...— ответила она.

— Не предашь?

— Не предам.

— А хотя бы чуть предашь — расстреляем! И не просто так. Обыкновенный расстрел как счастье будешь вымаливать — не вымолишь! Поняла?

— Поняла...

Кто-то сказал Брусенкову, что он все-таки напрасно берет в штаб незнакомую городскую девку. Кажется, Довгаль сказал.

Брусенков ответил:

— И вовсе не зря! Эта даже лучше, чем взрослый мужчина, ей обмануть страшнее. И не умеет она.

Но еще чуть спустя снял рукавицу и подозвал Тасю снова:

— Балериной не была? — спросил он ее.

— Не была...

— Ни одного разу?

— Ни одного...

— Чтобы войны не бояться! Вот нынче с крыльца на войну глядела, чтобы всегда так же!

Она всегда так и смотрела на войну...

— Так это как же получилось, товарищ Черненко? — спросил вдруг снова Мещеряков, еще поворачиваясь к Тасе и дыша ей в лицо. — Как же произошло? Хотя бы какие ты глупости ни говорила, а ведь я все одно обязан, не откладывая дела, выяснить!

— Что выяснить?

— Кто ж таки тебя украл?

— Почему же я знаю? Странный вопрос...

— Ну, из разговора ихнего не узнала — кто? Беляки? Жиганы? Свои удумали?

— Не знаю...

— Значит, трое их было.

— Трое...

— Застали они тебя где?

— Не доезжая Протяжного верст пять. Это тебе интересно?

— Ты отвечай, товарищ Черненко! Тебя спрашивают — ты отвечай! Обстановка военная! В засаде воры были? Или встречные?

— Встречные... Один чуть позади. Он и крикнул, что у моей лошади рассупонился хомут. Соскочил затынуть супонь, а в это время те...

— Так не обидели они тебя?

— Не обидели, нет.

— Кони каких мастей под ними были?

— Не помню.

— По обличью на кого они похожие?

— На самих себя...

— Вот что, товарищ Черненко! Когда ты не будешь мне хорошо отвечать, то я могу сделать вывод, что тут заложена провокация! А когда так, то в момент посажу тебя под арест, после с тобой будет разбираться следственная комиссия. Поясняю: комиссия армейская, никому она, кроме главнокомандующего, не подчиняется. Даже товарищу Брусенкову. Теперь вопрос: зачем ты ехала на Протяжный выселок?

— Решила поехать — и поехала.

— По чьему поручению?

— Сама по себе.

— Бумаг при тебе не было?

— Не было.

— Будешь ты говорить либо нет?! — заорал вдруг Мещеряков и замахнулся на Тасю нагайкой. — Ну!

— Бумаг при мне не было. Никаких.

Мещеряков сунул нагайку под себя и спросил еще:

— Ладно. Ты приехала бы на выселок, я бы тебя встретил, спросил: зачем ты здесь? Что бы ты ответила?

— Хочу участвовать в завтрашнем сражении. Тебе известно — члены партии и сочувствующие распределились поротно. Или ты не знаешь об этом?

— О бабах разговора не было.

— Был разговор о войне. Я тоже хотела тебя спросить, товарищ Мещеряков: ты следственной армейской комиссии, наверное, сам не подчиняешься? Когда делаешь безобразия, она тебя не привлекает к ответственности?

— Не было случая. Безобразий я не делал.

— Разве это не безобразие: накануне сражения, в самую ночь перед ним, главнокомандующий гоняется за бабами? Меня украли. Так послал бы в погоню людей, но не самому же тебе за мной гоняться? Разве это твое дело?

— Не мое... Но бабу-то украли у партизанов из-под самого носа!

— А тебе разве не все равно?

— Все равно... Но все ж таки из-под самого носа, а? — Потом замесившись, Мещеряков еще обернулся к Тасе, в темноте поправил на себе папаху, поплевал на руку и потер сапог. Приступил к разговору серьезно и в то же время насмешливо. — Я сроду за женщинами не бегал, товарищ Черненко. И не буду никогда. Не люблю. Не дело это. Это который бегаёт, без конца ухаживает, а в действительности преследует. Как охотник, по следу идет, идет, глядит, где бы на ее удобнее окончательно петлю накинуть. Еще неизменно перед ней представляется. Если голос, к примеру, у него грубый — говорит тихо, если он работник худой, ленивый — объясняет причину: то ли занемог, то ли потому и не работает, что от любви горит. Она же и виноватой оказывается. Когда у него на правой стороне бородавка — он левой вперед ходит, когда сильно жадный — платочек ей купит. Не признаю! Мужчина — он и без того сильнее женщины, это известно, зачем же ему прикидываться разное? И так и этак? Пусть уже она и глядит, который ей всех милее, тем более от любви ей всегда горше приходится, как мужчине. Ну, а когда она спросит: «Нужна ли я тебе?» — то это грех ответить, что не нужна. Разве уж она какая-нибудь вовсе. Действительно, почему нет? Почему я ласковым не могу быть, когда ей ласковый так глянется? Либо смелым, когда у ее от смелости дух захватывает? — Развел руками. — Да ты понимаешь ли в этом? — Поглядел на Тасю и еще сказал: — Представить невозможно, чтобы понимала!

— Да,— подтвердила Тася,— невозможно...

Она действительно не могла себя представить иной, чуть-чуть не такой, какая она есть сегодня, не хотела даже своего прошлого — ни одной встречи с ним, самой случайной, самой неожиданной.

В партизанских лазаретах кое-где были городские девицы и женщины — сестры милосердия, фельдшерицы; в районных революционных штабах восставшей местности они тоже иногда встречались — она не обмолвилась словом ни с одной из них. Все эти интеллигентные девицы, женщины, мужчины, — все без исключения люди, похожие на нее самое, стали теперь самыми чуждыми для нее людьми.

Близко было до выселка, Мещеряков снова велел подать ему гнедого. Вскочил в седло, заругался:

— Вот, язвило бы тебя — как завтра буду без коня? А? Когда он в бою захромлет окончательно? В бсю? Как буду? Может, он стерпит? Пришпорил...

За поскотиной выселка в темноте слонялся народ — милосердные сестры и солдаты. Смешки раздавались, кто-то даже пиликал тихонечко на гармошке, но приумолк, услышав конский топот.

Мещерякову это не понравилось, ни к кому не обращаясь, но так, чтобы услышали все, он сказал:

— Будто и не перед боем! Будто и не военное у нас положение — просто балаган! Команда выздоравливающих!

В темноте кто-то хихикнул, но опять тихонечко, нельзя было понять — хихикнул или нет.

Когда же вошли в помещение, Мещеряков сразу же, с порога, окинул всех недоумевающим взглядом: что-то случилось здесь во время его отсутствия. Что-то случилось...

По-прежнему пахло ржаниной. Под лампой, подвешенной к потолку, на прежнем месте сидел комполка двадцать четыре, замещавший Мещерякова. Вид у него был растерянный. Разведчиков набилась пол-избы. Гришка Лыткин был уже здесь, во все глаза уставился на главнокомандующего.

После короткого замешательства поднялся комполка двадцать четыре:

— Товарищ Мещеряков! Сражения не будет. Не может быть!

— Что? Что-о? — быстро спросил Мещеряков, наступая. — Что сказал?

— Сражения не будет. Командующий фронтом товарищ Крекотень прислал приказ — трем полкам нашей группы контрнаступления срочно перейти на Моряшихинскую дорогу, сделать заслон от белых. Белые идут по той дороге огромной массой!

— Полковые командиры, — приказал Мещеряков, — подойдите ко мне! — И сам направился в соседнюю горницу. Обернулся. Спросил: — Ну?

— Уже нету, товарищ главнокомандующий! И моего полка нету, и я сам ушел бы, когда не ждал бы твоего возвращения! — сказал комполка двадцать четыре.

— У-убью-ю! — заорал Мещеряков. — У-убью-ю!

— Кого-кого? Товарищ главнокомандующий, кого? — подпрыгнул Гришка Лыткин, срывая с плеча винтовку.

— Пошел к чертовой матери! — крикнул Мещеряков, крикнул снова и еще громче, потому что не знал, кого он грозился убить.

Тут вошел Петрович — командир красных соколов. Доложил, что его полк на месте, ждет личных распоряжений главкома.

Мещеряков и Петровичу не ответил. Приблизился к темному окну, поглядел в него. Рукой показал через плечо на Тасю Черненко:

— Эту — арестовать!

«Ждали от меня победных боев, хотя бы и молчаливо попрекали за бездействие. Все попрекали — Брусенков, Петрович, даже Довгаль, — думал Мещеряков яростно и злобно, все еще глядя в темное окно. — Ну вот — дождались! — Он вспомнил свой штаб в Соленой Пади с одиночной комнатой, с чернилкой и с ручкой... — Все думали: это главнокомандующему страсть как нравится — и кабинет и чернилка! Только этого ему и надо? Вот как могли о нем подумать! Да?»

* * *

Разведчикам Мещеряков сказал, чтобы впредь все сведения они передавали Жгуну, а его лично не искали бы. Чтобы они немедленно выяснили положение на Моряшихинской дороге.

Приказал Петровичу собрать командный состав полка красных соколов в кошаре под Малышкиным Яром, в той самой, которую хотел сделать своим командным пунктом.

Через полчаса и сам был в этой кошаре с плоской, наполовину раскрытой соломенной кровлей.

Падала сверху луна, изломанным коричневым пятном лежала на овечьем помете, на соломенных охвостях, на дерновой стене кошары.

Вошел и встал посреди этого пятна ширскогрудый латыш, оглядел

ся, вынул из карманов руки, а изо рта трубку. Зажав трубку в кулаке, проговорил:

— Здрвствт! — Снова сунул трубку в рот, руки в карманы...

Забегал командир штрафников — быстрый, даже суетливый, — доложил о самом себе:

— Громыхалов прибыли!

Мещеряков спросил его:

— Громыхалов — это не ты ли прошлый год разгонял советскую власть в Панковской волости?

— Так точно! Было дело, товарищ главнокомандующий! В прошлом годе и было!

— Тогда ты, значит, убедился, что получилось без советской власти?

— Был случай. Сильно убедился.

— Ну, а нынче тебе случай — стать ей на защиту, чтобы она вернулась раз и навсегда.

— Нынче об чем разговор? Стану!

Еще прибывали командиры, и Мещеряков обратился к ним:

— Так вот, товарищи красные соколы, вы не то что сами завоевали честь называться красиво и гордо, вы даже силой своего убеждения переквалили бывших врагов советской власти на ее друзей. И даже на воинов-героев. А нынче положение такое — где было четыре полка, остался один. Один ваш полк.

Латыш опять вынул трубку и кивнул, кто-то стал объяснять слова главнокомандующего мадьярам, показывать на пальцах — один и четыре.

Два мадьяра — высокий пожилой и молоденький чернявый — быстро поняли, закивали.

Из другого угла им по-своему и еще кто-то сказал несколько слов. Это Андраши сказал, он там был, в дальнем углу кошары.

Мещеряков продолжил:

— Вы должны нынче показать пример всей партизанской армии. Занять передовое место в шеренге борцов. Сделать очень смелый бой.

Высокий пожилой мадьяр понял быстрее своего товарища:

— Мой личность — хороший пример? Да? Будет вперед? Да?

— Понято, — подтвердил Мещеряков. — Сегодня будем делать мировую революцию здесь, на этом вот месте.

— Большая революция маленькой место? Да? — снова понял высокий мадьяр, а молоденький похлопал товарища по плечу.

Латыш спросил:

— Когда время? Сейчас?

— Сейчас, — подтвердил Мещеряков. — Врываемся с четырех сторон в Малышкин Яр. Наносим противнику как можно больше потерь. уходим. Все. Но только сделать нужно по-геройски. Чтобы противник бы долго и прочно бой этот помнил. Как будете наступать — кто с какой стороны, кто раньше, кто позже, — договаривайтесь промежду собой. Я требую одного — немедленно и беспрекословно повиноваться сигналу отхода, хотя бы в ту минуту вы овладевали штабом противника... Выйдем из Малышкина Яра затемно. Противник даже не увидит по-настоящему наши силы. Выйдем все в направлении на Елань, то есть к северу от села...

Мещерякова слушали, мадьяры поясняли друг другу его слова, никто не знал, что Мещеряков уже не воюет — он партизанит.

Показать этого еще нельзя, не каждый солдат в один миг может из солдата переделаться в окончательного партизана. И он не показывал. Но о себе знал твердо — снова партизан. Знал — надо показать главному штабу партизанщину: видать, в Соленой Пади еще плохо ее знали.

Лучше рано показать, чем поздно, лучше нынче, а не тогда, когда уже начнется генеральное сражение с белыми. Может быть, придется снова вернуться в Верстово, но показать себя Мещеряков-партизан должен.

Подошел Петрович, взял его за локоть, отвел чуть в сторону. Этот обо всем догадался. Этот тревожился. Но Мещеряков никому не хотел хоть что-то объяснять. Ни Петровичу, ни самому себе. Сказал:

— Слушаю тебя, товарищ Петрович, но учти: на все вопросы и ответы, на весь разговор — три минуты. Ну?

— Зачем этот бой? Для чего нужен? Почему приказываешь идти в сторону Елани? Бросаешь Соленую Падь? На произвол судьбы?

Мещеряков спросил:

— Паника?

— Товарищ главнокомандующий, я тебя арестую! Ты моих мадьяр и латышей знаешь? Приказ исполнят — не дрогнут.

— Убить меня можешь. Или я тебя. Всяко может быть...

— Закуривай, — сказал Петрович. — Это время не в счет, в минуты не входит. — Завернул сигарку, взял ее в руку. — Обещаешь своих не трогать? С белыми войой, как хочешь, но своих не трогаешь?

— Ничего не обещаю. Требую: ты должен подчиняться мне без слова! Все!

— Куда это может тебя завести?

— Чего не знаю, того не знаю.

Петрович потянул к губам сигарку, еще опустил руку.

— Белые Соленую Падь растерзают. Там и твоя семья, товарищ Мещеряков! Вспомни!

— Не задавай мне вопросов, гад! — крикнул Мещеряков. Переждал чуть. Чуть успокоился. — Белые не сразу поймут, что под Соленой Падью у нас силы нету. И задача у них — разгромить нашу армию, а вовсе не самую деревню...

— Если все-таки...

— Выйдешь из боя в направлении на Елань... Встретится не сильный резерв противника — уничтожь его. Все! Дальше действуй, как хочешь — возвращайся, обороняй Соленую Падь, собирай главный штаб и делай с ним новый план военных действий, — что хочешь, то и делай! Все можешь! Но сейчас выполняй! Без слова. Будешь в главном штабе, скажи от моего имени: Крекотеня я расстреляю. После как только закончим бой в Малышкином Яру — я догоню те три полка, которые он перебросил на Моряшиху, буду с теми полками драться, как он им приказал, осуществлять его приказ, но после расстреляю! За что? Он сам знает. Лучше других знает об этом товарищ Крекотень. А ежели плохо понял — я ему прежде объясню, что и как!

— Жгун? Он же тебя осудит?

— Может, осудит. Но поймет: все вы толкаете меня в партизанщину. Я толкнусь. Пойду. Не в первый раз пойду!

Первыми на Малышкин Яр пошли мадьяры. Белые оказались настороже: не прошли для них незамеченными передвижения полков. Но все равно дальних часовых мадьярам удалось снять без выстрелов, и только следующий пост открыл огонь. Тогда мадьяры встали в рост и пошли с русским «ура», которое они кричали не совсем по-русски.

Огонь был сильный, мадьяры не ложились, ждали следующей атаки; и верно, тут же вскоре, с противоположной стороны, с севера, пошли латыши и шахтеры Васильевских рудников. Тогда мадьяры залегли, белые все палили по ним, потом чуть смолкли. Стало слышно, как разгорается бой на противоположной окраине.

Мадьяры снова встали. Снова белые открыли сильный огонь и, должно быть, уже не слышали, как через прибрежные камыши речки Машышки, через невысокий ее яр, с левого фланга в деревню стали просачиваться штрафники Громышалова, а с правого — через огороды — остальные две роты полка красных соколов.

Оборона была у белых предусмотрена круговая. Они не метались, не перебрасывали огневые средства с одного участка на другой, вступали в соприкосновение с отдельными группами партизан, которые просачивались в улицы села, основные же силы красных соколов продолжали держать под огнем, не позволяли им войти в село.

Ошибка все-таки у них получилась: недооценили они громышаловских ребят, сделали огневую завесу над яром, но не очень плотную. Яр этот рассекался поперек несколькими оврагами, по ним-то громышаловцы и пробрались в село, попали в густой конопляник, потом в проулок, из проулка на главную улицу. Тут нарвались на крупный резерв противника — полноценный батальон, который стоял в строю и, по всей видимости, готовился вступить в бой. Партизаны кинулись в стороны, а резерв белых, должно быть, подумал, что его окружают, залег в канавы, развернулся по флангам и открыл огонь. Это произвело впечатление, что самый жестокий бой как раз и завязался в центре села, и перед мадьярами и перед латышами противник начал отступать, чтобы подавить громышаловцев... Был тот самый момент, когда белые пришли в замешательство, у партизан же поднялся боевой дух.

Хороший был момент...

Мещеряков боем не руководил. Они с Гришкой Лыткиным где-то между громышаловцами и латышами тоже проскочили в село по коноплянику. Постреляли. В одну избу, в окошко, бросили гранату, потому что показалось — за окном кто-то в военной форме мелькнул. И надо же — не ошиблись, через окна и двери поскакали на улицу беляки, порядочно, человек пять или шесть. Они и в этих прыгунов тоже постреляли, после убрались в конопляник обратно, перебежали улицу и дали огонька по упряжке, в которой кто-то и куда-то мчался. Похоже было — попали в коней, но тут по ним тоже кто-то пристрелялся, они, от греха, переползли улицу на брюхе в обратном направлении, но в коноплянике пересаться было теперь неудобно: там уже пальба шла непрерывная, где свои, где чужие — с ходу не узнаешь, свои подстрелят — недорого возьмут, и Мещеряков с Лыткиным подались вдоль плетня по улице, после перемахнули через этот плетень в том месте, где и по ту и по другую сторону его были густые кусты. Гришка порвал новую гимнастерку — это боярышник оказался, колючки вершковыые. После огородом они стали отходить, не стреляя, к яру, а тут снова залегли, и Мещеряков объяснил Гришке:

— Отсюда мы будем с тобой, Гриша, отступать уже окончательно, но сперва пальнем еще повдоль грядок. Я думаю, беляки пойдут огородом в рост, не будут уже здесь ничего плохого для себя ожидать, а мы тут-то пальнем.

Подумать только, какой им случай со своего огорода выпало увидеть: в проулке за плетнем белые, двое или трое, залегли и партизан сильно обстреливали, не пускали в тот проулок... Вдруг позади них появился какой-то человек, конный, закричал пронзительно:

— Бей красных паразитов! Бей! — подскочил к тем белякам и — бах-бах из нагана по ним. После крикнул: — Громышалов! Ты где? За мной, ребята! — и снова исчез.

И человек этот верховой был не кто, как Петрович.

— Узнаешь? — спросил Мещеряков у Гришки.

— Вот гад, вот гад! — восхищенно отозвался Гришка. — Как он их ловко, а? Я бы сроду на Петровича и не подумал, будто он на такое способный! Мы-то что сидим здесь, товарищ Мещеряков?

Напряжение боя еще не спадало, еще рвали мадьяры свои пулеметы непрерывной стрельбой, у латышей было два пулемета — тоже работали, кажется, оба исправно. Еще хороший был момент! Но, в общем-то, какой там огонь давали соколы — едва различишь! Вот белые грохотали сильно, улицами мчались повозки на площадь — там была артиллерия, еще не вступившая в бой, — туда они стягивали резервы и несколько не торопились бросаться с испугу туда-сюда... Все-таки у белых офицеры, полковники, они повоевали уже на своем веку... Мещеряков слушал, улавливал: нигде белых серьезно потеснить не удалось, хотя и сильные они получали удары, но те полковники тоже, надо думать, бой хорошо слышат, понимают. Истинные силы партизан они, наверно, уже давно поняли, и если все еще не идут на окружение, не отрезают партизанам путей отхода — так только потому, что ждут еще какого-то нового натиска, новым — удвоенным, утроенным — числом. Но нету этого числа у партизан.

Игрушечный был бой. Не на жизнь и не на смерть, а на испуг. Ничего серьезного. Заставить белых замешкаться, заставить их подумать, будто это против них была разведка боем. Если разведка такая сильная — значит, основных сил партизан тем более следует опасаться, не следует из села в скором времени выходить, двигаться на Соленую Падь.

Вот и только — и вся задача.

Один раз, правда, закружилась у Мещерякова голова, замутило ее — это когда громыхаловские ребята по второму разу подняли сильный шабаш совсем поблизости от площади, а мадьяры крикнули «ура!» тоже где-то посередине главной улицы — прорвались-таки. Тут Мещеряков и подумал: вдруг белые паникнут, дрогнут, вдруг да стоит повести дело на серьезное сражение, на разгром противника? Добиться победы здесь, в Малышкином Яре, — это значит свести успех белых на нег под Моряшихой! Свести его на нет там — значит, восстановить положение полностью, а тогда снова не станет в природе крекотеневского приказа, ничего не станет, что за приказом этим должно последовать. Ведь сколько немного надо — один бой в Малышкином Яре выиграть. Немного-то как? И как близко, оказывается, она была — победа! Не только теми четырьмя полками, которыми Мещеряков хотел вступить в бой, он этот бой выиграл бы. Будь у него сейчас только два полка, уж он использовал бы прорыв громыхаловцев и мадьяр, вот сейчас бы и бросил второй полк массивным ударом в направлении на площадь, захватил бы орудия. А тогда...

Зажимал в потной горячей руке неуклюжую ракетницу, а хотелось ему швырнуть эту чертову перечницу подальше, самому поближе подползти к своим, встать в рост: «Ур-ра, красные герои! За мной! Ура, ура!»

Ведь и вся-то война, которую он только что начал по новому счету, вся она — риск, вся — безотчетная. Стоит ли стесняться, нежничать? Остановливаться?

Остановился...

На огороде, в дальней его стороне, в самом деле появились неясные, будто бы очень тощие фигурки. Гришка хотел стрелять, Мещеряков вовремя остановил его:

— Ты, Гришутка, сперва погляди, в какую сторону они сами-то стреляют, может, это наши?

Вскоре стало понятно: фигурки скрытно обходят конопляник, громыхаловских ребят хотят окружить. Тут Мещеряков рванул из своего кольта и сам заорал дико:

— Бей гадов! Бей контру! — Из конопляника тотчас по контре открылся огонь, а они с Гришкой быстренько скатились из огорода под яр, потом в камыши.

Отсюда Мещеряков и послал в черное звездное небо зеленую ракету. Не опоздал. У белых не могло еще появиться мысли, что это они заставили партизан отступить, — партизаны сами ушли. Прощупали силы противника и ушли.

Когда зеленая нить ракеты перестала искриться над головой, Мещеряков швырнул ракетницу прочь.

Стрельба тут же и спала. Будто ветром отнесло ее куда-то в сторону. Партизаны начали отход, а белые все еще думали: может, это дан сигнал к решающей атаке? Может, вот сейчас партизаны и введут в бой главные свои силы? Еще с какого-то направления ударят? Прислушивались беляки... Все ж таки напуганы были порядочно.

А Гришка Лыткин тяжело вздохнул, догадался:

— Кабы нам сию секунду, товарищ главком, те наших три полка? Которые Крекотень отвел! А?

— Помалкивай! — сказал ему Мещеряков зло. — Помалкивай, змееныш!

Он в первый раз в жизни на Гришку осердился. Подошли к коноводам, молча взнуздали.

Красные соколы выходили из села, под прикрытием небольшого арьергарда строились в походную колонну.

Подскакал Петрович, спросил:

— Ну, главком? Уходишь от Соленой Пади? Все-таки уходишь?

— Будь здоров! — ответил Мещеряков. — Будь здоров, надеюсь — встретимся. И даже — в скором времени...

Когда уже тронули, разъехались, Петрович вдруг спросил из темноты:

— А как же с товарищем Черенкой? Она же под арестом? Как с ней?

— А верно что... — вспомнил Мещеряков. Попридержал коня. — Ты вот что, комиссар: допроси, зачем она ехала в Протяжный? Сама ехала или послал кто. Далее рассудишь, что с ей делать. С заразой этой.

Все-таки Мещеряков хотел помириться с Гришкой и спустя время, когда уже перед рассветом они догоняли полки, выходявшие на Моряшихинскую дорогу, сказал ему:

— Я, Гриша, запутаю белых гадов! Обязательно! Запутаю ужасной партизанщиной, они про все свои планы забудут, собьются с толку окончательно... — Подумал, вздохнул. — Только, Гриша, для этого, может быть, мне самому нужно будет с толку сбиться? Тоже окончательно?

(Окончание следует)



В мае 1967 года известному абхазскому поэту Баграту Шинкубе исполняется пятьдесят лет. Редакция «Нового мира» сердечно поздравляет юбиляра, горячо желает ему здоровья, счастья, новых успехов в поэтической работе

БАГРАТ ШИНКУБА

★

КОЛЬЧУГА

Из поэмы ¹

С абхазского.

Говорил Хаджарат не врагам, не князьям,—
говорил своим искренним, верным друзьям:
«Кто от женского взгляда растает, как снег,—
не мужчина, поверьте. Пустой человек!»
Но одна... Ошутившая с болью такой
его теплую кровь под свою руку!

Он глаза ее помнил. Подобно свечам,
они тихо горели над ним по ночам.
Они звездами плыли в ночной вышине,
когда горной тропой он скакал на коне,
были солнцем и строгостью белых вершин...
Мир огромный без них — словно тесный кувшин.

К той, чьи были прекрасные эти глаза,
к той, чье имя так просто звучит — Квараса,
он не раз приближался, коня придержав,
его добрую морду ладонью зажав, —
и назад уносился, тоской опален...
Замолчал, заскучал, закручинился он.

А когда обо всем догадались друзья,
когда стали шутить, Хаджарата дразня,
так их выругал парень, не помня себя,
что решили друзья его: это — судьба.
Если сильный такой — как котенок слепой,
значит, это — она... Значит, это — любовь!

* * *

Дочь у вдового Джата одна — Квараса.
Ее праздник весенний едва начался.
Двадцать лет ей. Без матери в доме одна —

¹ Поэма «Песнь о скале» будет опубликована в журнале «Дружба народов».

«Всё в походе... И ест он и спит на коне...
 Не сошью — что подумает он обо мне?
 Помню, рядом стояли... А ну-ка, опять
 я прикину... Да, он меня выше — на пядь!
 А про талию Кяхбы везде говорят,
 что она — будто девичья... Будет наряд!»

И смеются глаза Кварасы, не грустят.
 И блестящие ножницы звонко хрустят,
 и привычно иголка выводит стежок —
 как привычно крестьянин сбивает стожок...
 «Здесь — пошире дадим... Здесь вот — полы загнем...
 Вдруг войдет он? Ах, что я — о нем да о нем!»

Ой, опять укололась!.. Но что за беда,
 что за стыд, если он и заглянет сюда?..
 Все как будто готово. Построже смотри!
 Да, тут вправо и влево пойдут газыри...
 А рукав попросторней пушу — потому,
 что гулять на просторе в черкеске ему!»

* * *

Третьи сутки наряд ждет того, для кого
 на глазок Квараса мастерил его.
 «Ах, сама бы подарок ему отдала,
 если б птицей была, два имела крыла!»
 Но на шатком крыльце раздаются шаги —
 осторожные, будто бы рядом враги...

«Приходить в этот дом не решался... Но вот
 я пришел. Не обидел тебя мой приход?
 Я, как загнанный зверь, пробирался сюда.
 Квараса, отовсюду грозит мне беда.
 Я не должен, твоею играя судьбой,
 стать твоею судьбой, звать тебя за собой.

Но у вашего дома хожу и хожу,
 по ночам возле окон потухших сижу,
 провожаю закат и встречаю зарю...
 И не в силах я больше! И я говорю:
 Я не вор! Друг от друга мы не убежим.
 Так пускай же я стану тебе не чужим...

Прав — и правда стоит за моею спиной.
 Эта правда нам будет надежной стеной.
 Эта правда проста — ты узнаешь ее...
 Это правда: ты — солнце, ты — счастье мое!
 Кто-то скажет: преступник... Но это не так!
 Разве Джату я враг? И тебе я не враг!

И не враг я крестьянам, таким же, как вы...
 Отчего ты не хочешь поднять головы?
 Сядь поближе ко мне. Не стесняйся. Не стой.

Ну какой же я гость? Понимаешь, я — свой!
Дни и ночи, тяжелые муки терпя,
как хотел я смотреть и смотреть на тебя!

А не будет тебя — сразу станет темно.
Не поможет и светлое наше вино...
Может быть, ты научишь, как жить мне во тьме?
Умер, пыткой замучен, отец мой в тюрьме.
Дом сожжен. Мать ушла с пепелища к родным.
До сих пор он все душит меня, этот дым...

Ты — одна у меня... Ну, а может, другой,
не такой горемычный, давно под рукой...
Ты молчишь... Как мальчишка, не знающий лжи,
я спешил и, должно быть, ошибся? Скажи!..»
Не промолвив ни слова, стоит Квараса.
Щеки — пара гранатов. Плают глаза.

Вместо слов, что так жадно он ждал от нее,
не спеша, принесла из каморки шитье,
то, в которое вложено столько труда,
то, которое самое лучшее «да»!
Он смутился. Он так на нее поглядел!
И не знал, что сказать. И черкеску надел.

«Почему в ней шестнадцать всего газырей?
Было б сто! Он глазами торопит: скорей!
Поправляю... Спешу... Ах, как трудно спешить!
Хоть бы пуговку, что ли, забыла пришить!
Чтоб внезапно ослабшей, неверной рукой
хоть на миг растянуть этот миг дорогой...»

И под звездами глаз ее, чистых, больших,
бросил на плечи парень свой белый башлык.
«Мне надежно служил мой отважный кинжал,
и в руке револьвер никогда не дрожал...
Но отныне я буду сильнее втрое:
не черкеска — кольчуга подарена мне!»

Перевела Римма Казакова.



А. ПЕРЕДРЕЕВ

* * *

Околица родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.

Взрастив свои акации и вишни,
Ушла в себя и думаешь сама,
Зачем ты понастроила жилища,
Которые — ни избы, ни дома?!

Как будто бы под сенью этих вишен,
Под каждым этим низким потолком
Ты собиралась только выжить, выжить,
А жить потом ты думала, потом...

Окраина, ты вечером темнеешь,
Томясь большим сиянием огней,
А на рассвете так росисто веешь
Воспоминаньем свежести полей,

И тишиной, и речкой, и лесами,
И всем, что было отчею судьбой...
Разбуженная ранними гудками,
Окутанная дымкой голубой!



И. ФОНЯКОВ

★

В ДОМ ПРИДУ

В дом приду усталый, молча сяду,
Книгу с полки верную сниму.
Новых слов сегодня мне не надо.
Новых я сейчас не восприму.
Новое — назавтра. А покуда —
Улыбнетесь, посмеетесь пусть —
Тихо перечитывать я буду
Строки, памятные наизусть.

Для чего мне это? В самом деле,
Не сказать, что с памятью — беда.
Просто злая выдалась неделя.
Суетная. Просто иногда,
Прикасаясь пальцами к бумаге,
Важно убедиться в тишине
В том, что строки правды и отваги
Существуют. Не приснились мне.



ЕФИМ ДОРОШ

★

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ЗАГОРСКЕ

Загорск — это новое имя как нельзя лучше пришлось древнему Сергиеву посаду. Кажется, от века назывался так этот город, открывающий собою череду старых русских городов, выстроившихся на пути из Москвы на Север. Название его как бы произошло оттого, что он стоит за горами, подобно тому как Заболотье — за болотами, Залесский — за лесами.

Помнится, лет тридцать пять тому назад в промерзшем полупустом вагоне пригородного поезда, лязгавшего буферами и железными площадками, тащился я мимо болот, где из снега торчали смятые желтые тростники, мимо черневшего по белым горам леса.. А потом и впрямь за горами открылся городок с уходящими в небо белыми дымами. Я шел по его заваленным снегом крутым улочкам, коричневые, серые и охристые домики с пряничными наличниками стояли под глазированными сахарными крышами, пахло топившимися печами, и вдруг, словно сработанная из дерева здешними игрушечниками, пестро раскрашенная ими, встала многобашенная и многоглавая лавра. «За долами, за горами...» Сказочному этому городку иначе и нельзя называться, подумал я тогда, — Загорск!

После первой той поездки я побывал здесь многожды. Мое отношение к русской старине, определявшееся по преимуществу теми стилизациями под Древнюю Русь и народное творчество, какие я назвал бы леонтьевско-абрамцевскими, имея в виду магазин Кустарного музея в Леонтьевском переулке и мастерскую Поленовой в Абрамцево, резко переменялось, однако интерес усилился. В течение последних двенадцати лет я бываю в Загорске чуть ли не три-четыре раза в году, иногда проездом, не останавливая машины, а то и остановлюсь, чтобы пройти по лавре, потолкаться в обычном здесь многолюдье.

Быть может, потому, что город этот не так велик и весь доступен мгновенному обозрению, здесь хорошо видна связь настоящего с прошлым, пускай стихийная, на взгляд иного ревнителя чистоты стиля — диковатая, зато естественная. В самой лавре, за ее высокими белыми стенами с могучими, по преимуществу красными башнями, то многогранными, почти круглыми, то четырехугольными, украшенными белым узором архитектурных подробностей, — смешались стили пяти столетий. А уж вокруг — такая смесь вкусов и требований, такое соединение ошибок и редких удач, что при взгляде на эти выстроенные в течение какого-нибудь столетия здания, большинству которых нет и двух десятков лет, на эти широко раскинувшиеся и одновременно теснящиеся к древ-

ним стенам мещанские домики, купеческие лабазы, доходные дома, коробчатые постройки тридцатых годов, ложноклассические портики не столь уж давних дней и сегодняшние плоские фасады,— при взгляде на всю эту пестроту и несовместимость охватывает какое-то веселое, иначе я не могу его назвать, ярмарочное чувство.

Наклонная площадь перед лаврой уставлена автомобилями, среди которых встречаются и машины иностранцев, чем-то напоминающие жесткокрылых насекомых или летательные аппараты. Черные старухи в белых платочках тянутся к Святым вратам. Их обгоняют загорелые туристы в закатанных до колен спортивных штанах. Изредка пройдет иеромонах в длинной рясе и высоком черном клобуке.

Вышагивают пионеры. Колхозники с порожними корзинами из-под ягод, с пустыми бидонами в мешках, закинутых за спину, идут в разные стороны, поглядывая на вывески. Из автобазы, расположенной неподалеку, в кривой улочке, лепящейся по оврагу, идут, громко переговариваясь, замасленные белозубые парни. А следом за ними идет худенькая женщина в траурном платье, в накрахмаленной кисейной накидке, спускающейся на плечи и сколотой под подбородком, седая и бледная, не то монахиня, не то явившаяся вдруг из четырнадцатого года сестра милосердия. Смирненного вида старик в пыльных сапогах и прорезиненном плаще, истомленный жарой, снимает шляпу, чтобы перекреститься на круглящиеся в небе золотые и синие главы, и вдруг оказывается, что у него длинные волосы, по-бабьи собранные в пучок, схваченные шпильками,— поп, скорее всего сельский, дальний.

Мимо всего этого, погромыхивая, чадя сгоревшим бензином, предупреждающе и тревожно сигналивая, катят с горы и на гору автомашины различнейших марок и назначений, занявшие сплошь всю улицу, точнее втиснувшуюся в город автомобильную дорогу, соединяющую Москву с Ярославлем.

Когда сидишь в одной из этих машин, а впереди, покачиваясь, еле движется торчащая из прицепа бетонная труба, слева, застая свет, ползут и ползут грузовики, уставленные новенькими двигателями, сзади надсадно гудит мотор, и в редкие просветы между машинами только и видно, что остекленные стены и крыши, поднятые в небо трубы, эстакады, резервуары, трансформаторы на столбах, решетчатые плечистые мачты с чуть провисшими проводами,— понимаешь, что места здесь по преимуществу индустриальные.

Загорск!

Даже и эта его сторона не сразу наводит на мысль, что город назван именем Владимира Михайловича Загорского, секретаря Московского комитета партии, в 1919 году, тридцати шести лет от роду, погибшего при взрыве бомбы, брошенной контрреволюционерами в здание Московского комитета.

Это не забвение, скорее бессмертие.

* * *

Для меня весь этот край — загорский. Я называю его так, идучи еловым лесом, где в жару застаивается терпкий воздух, спускаясь в заросший ольхой и черемухой овраг с медленно текущим по его дну темным от опавших листьев ручейком, выходя на светлую поляну с дубками посредине или же на открывшееся вдруг среди леса зеленое поле овса... Мне представляется в этих случаях, что и семьсот и восемьсот лет тому назад здесь было так же.

Я населяю лес высокими и статными людьми в узких, облегающих икры портках, туго обмотанных онучами, в просторных, длинных, слегка

развевающихся рубахах. Такими изображены крестьяне на древних русских миниатюрах. Одни из них валят лес легкими широкими секирами, другие пашут землю трезубыми сохами, третьи, с севалками, рассевают горстью зерно. И здесь же — как это было принято у старинных художников, изобразивших на одной картине разновременные события, — на волнистых, изогнутых от тяжести стеблях покачиваются неправдоподобно крупные колосья.

На южной окраине этого леса стояло у слияния двух рек маленькое поселение. Ростовский князь Юрий, чья рука и до Киева достигала, отчего он прозван был Долгоруким, однажды пригласил сюда на свидание своего союзника — новгород-северского князя Святослава. Тот отправился в путь «с делятем своим Олгом». Олег ехал впереди, он вез в подарок Юрию пардуса, то есть леопарда. На другой день по приезде гостей Юрий, как известно, устроил «обед силен». «Приди ко мне, брате, в Москов», — приглашал Долгорукий союзного князя, и этим началась писаная история Москвы.

Находившийся много севернее Ростов в ту пору уже был Великим.

Странно вообразить, что Москва, жизненную энергию которой сегодня ощущаешь и на расстоянии доброй сотни километров, тогда соотносилась с Ростовом примерно так же, как сейчас Ростов соотносится с Москвой. Так продолжало оставаться, надо полагать, долгие годы, хотя Москва уже перестала быть пограничным ростовским поселением и имела собственного князя, с течением времени забиравшего все большую силу. В тридцатых годах четырнадцатого столетия в небольшой московский город Радонеж переселился искавший тишины и покоя ростовский боярин Кирилл, разорившийся от поездок со своим князем в Орду, от набегов татар на богатый Ростов. Впрочем, в Ростове, хотя он оставался еще самостоятельным, было «насилование много» и от московского князя Ивана Калиты, воевода его наложил «великую нужу на град да и на вся живущая в нем», а жизнь в Радонеже сулила многие льготы. У боярина Кирилла было три сына, средний из которых, Варфоломей, вошел в историю России под именем Сергия Радонежского.

Мне случалось бывать в Радонеже, бродить по высокому мысу, омываемому речкой Пажей. Воспоминанием о древних временах осталось название находящегося на месте Радонежа села — Городок. Два порядка изб тянутся с напольной стороны к обрывистому берегу речки, образуя широкую улицу. В конце улицы, за церковью в стиле провинциального ампира, по другую сторону узкого перешейка возвышаются валы земляной крепости — они окаймляют мысообразную гору. Внутри валов теснятся сквозные железные кресты и жестяные обелски сельского кладбища. Вот здесь, можно предположить, и был собственно «город», то есть укрепления с княжеским двором и дворами бояр.

Быть может, оттого, что на могилах кладбища весной пестреет яичная скорлупа, я в мыслях своих сближаю Радонеж с радуницей — днем поминовения усопших на Фоминой неделе, когда поются радостные, праздничные песнопения. Не то чтобы я считал, что название города происходит от этого обряда, просто мне слышится тот же корень — радость. С какой-то радостью связано было это место для первых поселенцев.

Впервые я побывал в Радонеже как-то в начале осени. Было утро, белесое небо глядело холодно. Вокруг, сколько видел глаз, стояли леса, в черной зелени которых краснели осины, желтели березы. По склонам холмов, большей частью распаханных, в тусклом жнивье кудрявились ольшаники или же, несколько ближе к вершине, редко торчали остроколючие ели. Светло зеленел выкошенный кочковатый луг, посреди кото-

рого металлически поблескивала петлистая, то пропадавшая, то появлявшаяся вновь, как бы остановившаяся Пажа.

Покамест я шел сюда селом, мне повстречалась баба, загонявшая во двор большую розовую свинью. Другая баба стояла возле дома и смотрела на малого, возившегося с мотоциклом. Из скотного двора напротив церкви — надо же было его здесь поставить! — тянуло хлорной известью. Речка в том месте, где она подступает к горе, на которой находилась крепость, была, казалось мне, шириною с метр, и между стволами берез и осин, росших по склону горы, видны были простершиеся на стоячей воде листья кувшинок.

И все же можно было вообразить, как тут было шестьсот с лишним лет тому назад, когда Варфоломей, тогда еще отрок, впервые увидел эти места. Вал, надо полагать, был укреплен частоколом, но он и сегодня, если смотреть с него вниз, к подножию склона, представляется неприступным. Можно предположить, что вал был выше, а склон — круче, и деревьев здесь не было, а река была широкая, чистая и лес подступал к ней несколько ближе.

Дикая лесная чаща, мне представляется, занимала мысли подростка.

Мне он не кажется болезненным и кротким, каким изобразил его Нестеров. Художник рассказывает в своих воспоминаниях, что отрока Варфоломея он писал с крестьянской девочки, долго болевшей грудью. У нее были большие, широко открытые, удивленные глаза и скорбный, горячечно дышащий рот. Скорее всего, что в знаменитом «Видении отроку Варфоломею», как и в «Юности преподобного Сергия» и в «Пустыннике», написанных в восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия, Нестеров передал то несколько мистическое и одновременно сказочное представление об отечественной старине, какое было характерно для некоторых кругов интеллигенции того времени.

Между тем, я думаю, русские пустынноики четырнадцатого и начала пятнадцатого веков, учреждавшие монастыри на границах молодого Московского государства, осваивавшие, если употребить современное нам слово, далекие северные пределы, были не ветхими старцами или бесплотными отроками, светившимися благостью, но романтически настроенными юношами и энергичными мужами. «То были вожди духовных дружин», — говорит о них Соловьев, замечая при этом, что монастыри строились «в глуши, но обыкновенно на господствующем красивом месте».

Мне приходилось слышать, как девятистолетняя бабка, когда внучка удачно сдаст экзамен в университете, не без гордости говорила, что она-де молилась за нее преподобному Сергию. Бабка была неграмотна, выросла в крестьянской семье, замужем была за шорником, и я не представляю себе, откуда она взяла, что Сергий был «двоешником», как она выговаривала, что по этой причине он и предстательствует перед господом за всех учащихся. У меня не было случая прочитать полностью какое-либо из житий Сергия Радонежского, и я не знаю, говорится ли в них о том, что он плохо учился, или же до нашей бабки дошел отголосок некоей древней легенды. Однако достоверно известно, что в Ростове, откуда родители Сергия уехали, когда ему было по иным свидетельствам лет пятнадцать, существовал так называемый Григорьевский затвор, учрежденный еще до татарского нашествия, славившийся своей библиотекой и образованностью братии. Ростов и при татарах оставался средоточием просвещения, здесь продолжалось летописание, работали иконописцы, создавшие особенную, местную школу. В Григорьевском заговоре жили и учились знаменитый просветитель зырян Стефан Пермский, впоследствии друг Сергия, и не менее известный представитель

книжного образования, блестящий писатель того времени Епифаний Премудрый, перешедший затем в основанный Сергием монастырь под Радонежем, ставший его учеником и биографом.

Одно только замечание Епифания о том, как Стефан, живучи в ростовском монастыре Григория Богослова, прилежно читал книги и, встретив мужа книжного и мудрого, «ему совопросник и собеседник беаше, и с ним соводворяшеса и обнощеваше и утренаваше, распытая ищемых скоропытне», то есть, как я понимаю, и дни и ночи проводил с этим ученым мужем в подробных исследованиях истины,— одно только это свидетельство, мне кажется, говорит о характерной для Ростова той поры духовной и нравственной среде. И если вообразить всю последующую жизнь Сергия, совсем еще юным переехавшего в населенный по преимуществу ремесленниками подмосковный городок, жители которого, надо думать, не отличались просвещенностью, то едва ли будет ошибкой утверждать, что именно из Ростова вынес он начатки знаний, пристрастие к книгам, первые и незабываемые представления о добре и зле.

* * *

Дремучий лес, простиравшийся вокруг Радонежа, привлекал, я думаю, отрока Варфоломея тем, что и сегодня способно привлечь каждого здорового юношу, да и вообще свойственно человеческой природе,— возможностью своими руками и по своему разумению устроить жизнь. Обстоятельство это еще и потому мне кажется важным, что русская действительность в ту пору во многом определялась насилием татар и пресмыкательством перед ними представителей как раз той среды, к какой принадлежал сын поселившегося в Радонеже ростовского боярина Кирилла. Наконец особенности духовного развития людей того времени могли побудить интеллигентного, как мы сказали бы сейчас, молодого человека искать уединения и простой, тяжелой работы, необходимых для размышлений и нравственного совершенствования.

Если бы дело было только в том, чтобы стать монахом — намерение в ту пору весьма обыкновенное,— юноша пошел бы в любой монастырь, какие имелись в каждом городе. Однако именно это последнее, то есть то, что монастыри были в городах, скорее всего и не устраивало Варфоломея. В такого рода «мирских» монастырях братия исполняла обязанности как бы наемных богомольцев, получая жалованье от богатых устроителей монастыря, из которых иные и сами постригались на старости лет. Монахи жили здесь сообразно со своим достатком, каждый держал отдельный стол, причем «с вином».

Варфоломей поселился в глухом лесу севернее Радонежа, на горе Маковец, возвышавшейся между двумя оврагами и протекавшими по их дну речками Кончурой и Вондюгой. Сперва он, в сущности, не был иноком, постригся он позднее и при этом принял имя Сергия. Можно предположить, что срубленная им келья стояла недалеко от построенного спустя лет тридцать после его кончины белокаменного Троицкого собора.

Собор невелик. Желтоватые от времени шершавые его стены несколько расширяются книзу, благодаря чему он выглядит особенно устойчивым. Суровая обнаженность стен только лишь подчеркивается узкими, устремленными вверх плоскостями лопаток, широким, протянувшимся по горизонтали узорчатым резным поясом и немногими, похожими на щели окнами. Мощная шея золоченой шлемовидной главы, венчающей собор, прорезана множеством окон, и это наводит на мысль, что здание освещалось сверху и что окна в его стенах, через которые можно бы проникнуть внутрь, устроены по необходимости лишь в тех

местах, где без них не обойтись, причем на достаточном удалении от земли, почему и зияют они одиноко то здесь, то там, подобные бойницам.

В соборе установлена гробница Сергия, и, если я прохожу здесь летом, направляясь в находящийся рядом музей, мне слышно через решетку, которой забрана отворенная дверь, как негромкие голоса, по преимуществу старческие, женские поют: «Преподобный отче Сергие...»

Существует изображение Сергия Радонежского, довольно известное по воспроизведениям в разного рода специальных изданиях. Его можно видеть в отделе древнерусского искусства Загорского музея. Это так называемый лицевой покров, иначе сказать — покрывало с вышитой на нем в полный рост фигурой святого, которым по древнему обычаю принято было покрывать гробницу. Сергей изображен здесь глубоким стариком, и если взять во внимание, что покров датирован 1424 годом, а Сергей умер в 1392 году, нетрудно допустить, что автор знал Сергия, хорошо помнил его внешний облик,— однажды мне случилось услышать, как экскурсовод высказал предположение, будто покров знаменовал, то есть нанес на нем рисунок для вышивки, Андрей Рублев.

Когда я рассматриваю узкое и худощавое лицо старика, несколько неправильное, с прямым носом и близко сдвинутыми, разной величины глазами, бледное, в свободно круглящейся шапке темных еще волос и седой бороде лопатой, мне представляется не иконописный лик, но портрет некогда жившего человека. Я люблю искусство, с каким вышивальщица сумела передать выпуклости и впадины тонкого лица, смелостью, с какой она подчеркнула красной линией нос, и губы, и уши. Мне нравится сочетание темно-фиолетовых и блекло-синих одежд с коричневато-серым лицом и серебряным нимбом. Однако наибольшее впечатление производят мудрость и печаль, которыми исполнено лицо, его одновременная доброта и суровость. Мне симпатичен этот человек своей приверженностью высокому идеалу, и хотя сегодня этот идеал представляется наивным, сама по себе преданность, с какою он служил ему, не может не вызвать чувства восхищения. Вместе с тем я испытываю нечто похожее на жалость и сострадание к этому чужому мне по всему своему складу человеку, жившему шестьсот лет тому назад.

Сергий был первым, кто по истечении многих лет ввел в Северо-Восточной Руси монастырское общежитие. Монахи его монастыря стали жить трудовой общиной. Имуществом они владели нераздельно, пища и одежда были для всех одинаковы, работы распределялись между всей братией.

«В самой ограде монастыря,— писал Ключевский, основываясь на дошедших свидетельствах,— первобытный лес шумел над кельями и осенью обсыпал их кровли палыми листьями и иглами; вокруг церкви торчали свежие пни и валялись неубранные стволы срубленных деревьев; в деревянной церковке за недостатком свеч пахло лучиной; в обиходе братии столько же недостатков, сколько заплат на сермяжной ряке игумена; чего ни хватись, всего нет, по выражению жизнеописателя; случалось, вся братия по целым дням сидела чуть не без куска хлеба. Но все дружны между собою и приветливы к пришельцам, во всем следы порядка и размышления, каждый делает свое дело, каждый работает...»

Однако прошло не так много времени после смерти Сергия, и основанная им религиозная коммуна превратилась в богатое и могущественное хозяйство. Троице-Сергиеву монастырю принадлежали приобретенные им за деньги или же по вкладу от князей и бояр обширные леса и сенокосы, пустоши, пахотные земли с крестьянами, рыбные ловли, соляные варницы, бобровые гоны, причем многие из этих земель и угодий находились в далеко отстоящих уездах. Монастырю даровано было

право беспошлинно покупать и продавать любые товары и припасы, он вел деятельную торговлю хлебом, рыбой, солью... Из дошедших до нас грамот известно, что монастырские крестьяне одними из первых лишены были существовавшего тогда права отказа от владельца и перехода в чужую вотчину, иначе сказать — закрепощены.

Мне приходит вдруг на мысль, что мужичок, пришедший, по преданию, повидать прославленного троицкого игумена и разочарованно воскликнувший: «Все худостно, все нишетно, все сиротинско!» — случись ему побывать в обители при преемниках Сергия, был бы удовлетворен великолепием ее, богатством и могуществом, при всем том, что происхождением своим они обязаны были тяжкому его, мужичка, труду.

* * *

Сергий, принято считать, был тих и кроток.

Мне же он представляется не кротким, но деликатным. Эта черта его характера как нельзя лучше идет к тому образу жизни, какой он вел, к его взглядам, верованиям, и все это, вместе взятое, если употребить современное понятие, позволяет вообразить интеллигента.

Сергий жил в деревянной келье, совершал службу при свете лучины, был невзыскателен в еде и в одежде, и за всем тем, как я узнал из черновых записей одного из видных знатоков древнерусского искусства, ныне покойного, можно с уверенностью сказать, что при Сергии в монастыре было по меньшей мере около пятидесяти рукописных книг, для того времени количество немалое, причем все это были произведения наиболее углубленных мыслителей и самых выдающихся поэтов греко-христианской культуры. «Книги греческия извыче добре», — сообщает о Сергии древний жизнеописатель.

Некоторое представление о нем, мне кажется, дает и принадлежащая ему икона Николая-чудотворца, возмозно, вывезенная им из Ростова. Каждый раз, когда мне случается видеть это написанное на небольшой доске поясное изображение святого — его темное, как бы сожженное солнцем Ликийи сухое лицо с крупным, переходящим в лысину бугристым лбом, с впалыми щеками аскета и суровым изломом морщин над строгими, сдвинутыми к переносью бровями, из-под которых задумчиво и отрешенно глядят усталые глаза, — я не только люблюсь сочетанием коричневых по преимуществу тонов с кое-где положенной неяркой красной охрой, но и думаю о том, что для Сергия это был скорее портрет возвысившегося над житейской обыденностью единомышленника, архиепископа Мирликийского, нежели икона, и что этот негибавый ревнитель истинной веры нисколько не походил на созданного народом Николу, снисходительного лесного старичка, своего человека в деревенском доме.

Мне приходит на мысль, что Сергий, быть может, задумывался над тем, как далека его вера от почти языческой веры великого множества людей, обитавших по всему лесистому пространству вокруг, среди мелянских болот, по берегам глубоких озер и небыстрых равнинных рек.

И еще я думаю о том, почему это так случилось, что настоятель провинциальной пустыньки, будучи по природе своей, можно предположить, человеком деликатным, мечтательным, склонным к уединению, оказался вдруг одним из самых энергичных и деятельных людей эпохи — политиком, дипломатом, идеологом начавшегося национально-освободительного движения и организатором крупнейшего в истории страны монастырского строительства. Он мирил между собой князей, приводил их в подчинение московскому князю, причем не только увещеванием, но и силою, закрывая у непокорных церкви. Он благословил на борьбу с татарами великого князя Дмитрия, приехавшего к нему перед Куликов-

ской битвой, отправил с ним двух воинственных иноков — Пересвета и Ослябю, первый из которых и начал знаменитое сражение. Наконец с именем Сергия связано основание чуть ли не каждого из тех монастырей, которые крепостями и факториями вставали на рубежах Московского государства.

Впрочем, быть может, во всем этом и нет противоречия.

Сергий, подобно многим людям высокого интеллекта, именно в книгах, то есть в идеях, какие в них содержались, я думаю, черпал энергию и мужество. И еще мне думается, что не случайно у него в келье находились изображения божьей матери Одигитрии и упоминавшегося мною Николая. Что до богородицы, то все объясняет уже само наименование ее, означающее — Путеводительница. А Николай призван был напоминать о твердости на избранном пути. Рассказывают, что в день посвященного ему праздника он жестоко покарал некую женщину, занявшую домашними делами и по этой причине не поспевшую в церковь. Сергию, конечно, житие архиепископа из ликийских Мир было известно во всех его подробностях, и жестокость во имя веры, надо полагать, казалась ему естественной, при всем том, что вообще-то он был мягок и добр. Я все больше склоняюсь к тому, что так оно и было на самом деле.

Я не вижу противоречия и в том, что юный мечтатель, искавший душевного покоя в общении с природой — она и сегодня прекрасна, овражистая и всхолмленная земля Радонежья с ее темными еловыми лесами и березовыми рощами, с ее извилистыми речками, носящими ласковые имена: Воря, Паж, Торгоша, — я не вижу противоречия, повгоряю, и в том, что юноша, склад мышления которого можно бы назвать философским, оставил избранную им для себя уединенную жизнь ради соотечичей своих, которым в равной мере грозили гибелью насилия азиатской тирании и порождаемое ею раболепие. Одни и те же причины побудили Сергия к отшельничеству и к деятельному служению людям.

Сергий умер, предполагают, семидесяти семи лет от роду.

Мне нравится думать о нем, что он, хотя с возрастом образ жизни его и менялся, во многом и взгляды менялись, жил с естественным для интеллигента ощущением своего равенства со всеми людьми, не испытывал потребности в каких-либо имущественных или иерархических привилегиях, хорошо понимая, что этот его, как мы сказали бы сегодня, демократизм может вызвать у начетчиков злобу и осуждение: «Заводите вы ханжи ереси новые... беса имате в себе вы ханжи...» Он ведь уже испытал однажды, когда вводил общежитийный устав, силу приверженности людей к жизненным удобствам, к привычным порядкам, вызвал против себя неприязнь и злобу чуть ли не всех троичских иноков, в том числе и старшего брата Стефана, бывшего игумена московского Богоявленского монастыря и духовника великого князя Симеона Гордого, из-за чего, можно предположить, ушел из радонежской обители и некоторое время жил в новой, основанной им Киржачской пустыни.

И когда я бываю в Загорске, особенно восемнадцатого июля, в Сергиев день, среди множества чувств, какие способны вызвать прекрасная архитектура и связанные с нею исторические воспоминания, я испытываю и некое странное, не то чтобы печальное, однако отзывающее горечью чувство, к которому примешивается обыкновенная жалость.

После торжественной литургии на площади перед белой громадой Успенского собора, перед утвержденным на возвышении портретом Сергия — я не могу сказать о нем «икона», потому что речь идет о действительно существовавшем человеке, известном своей земной, по преимуществу политической деятельностью, — блистающее золотом духовенство служит молебен преподобному. Покачиваются высокие округлые митры, жестко топорщится парча, вьется пахучий дымок из кадилыниц...

Мне представляется не только Византия, но и Египет, Вавилон.

Я размышляю о несоответствии между этими почестями и скромным монахом, которому они воздаются. Мне приходят на мысль обычные в подобных случаях слова: если бы он встал из гроба!.. Я представляю себе самоотверженного юношу, обращающегося к любому из неспешно шествующих по асфальтированным дорожкам монахов с теми же словами, с какими он обращался к приходившим к нему инокам: «Знайте прежде всего, что место это трудно, голодно и бедно; готовьтесь не к пище сытной, не к питью, не к покою и веселию, но к трудам, посту, печалям, напастям». Легко вообразить, как всполошились бы эти выхолившиеся на праздном житии сравнительно молодые люди в шуршащих черных рясах, с надушенными, слегка подвитыми бородами. В сущности, случилась бы та же история, которую Иван Карамазов рассказал Алеше. Если бы сегодня явился Сергей, который, как об этом говорится у Соловьева, «сам носил дрова из лесу и колол их, носил воду из колодезя и ставил ведра у каждой кельи, сам готовил кушанье на всю братию, шил платье и сапоги», то ему сказали бы словами Великого Инквизитора, заявившего пришедшему на землю Христу: «Зачем же ты пришел нам мешать?..»

Я не думаю, что такого рода размышления так уж бесплодны. Однако вокруг столько поводов поразмышлять.

* * *

Мне вспоминается письмо Татьяны Алексеевны Мавриной, работы которой, собственно, и побудили меня начать эти заметки о Загорске. Художница часто бывает здесь, жадно и подолгу рассматривает все вокруг, и на ее исполненных гуашью или темперой картинках этот единственный в своем роде чудо-городок возникает в такой своеобразии и неповторимости, какие позволяют сказать, что вслед за юоновским Загорском мы получили теперь мавринский.

«Попала я на торжественную службу в большом соборе,— писала Маврина.— Служил сам наместник в сверкающей митре, и еще два бородача в таких же уборах. Кудри русые, длинные (красят они их, что ли), по плечам волнами, бороды лопатами, профили строгие... Я, как язычник князь Владимир, пленилась великолепием и блеском и таинственностью этого действия».

Тогда я не подумал об этом, только много позднее, вспомнив эту последнюю строчку в Загорске, я вспомнил и то, что послы князя Владимира, сравнивая различные веры, предпочли греческую единственно ради «красоты» ее и «веселья». О болгарях, говорится в летописи, послы сказали, что «несть веселья у них, но печаль», и у немцев «красоты не видехом никоея», что же до греков, то «не свемы, на небесех ли были емя или на земле, несть бо на земле такового вида или красоты такая... Мы убо не можем тоя забыти красоты».

Разумеется, здесь не столько определение сущности самой религии, сколько раскрытие национального характера, и если даже все это было не так или не совсем так, если Владимир не посылал «мужи мудры и смыслены» или посылал, но говорили они нечто другое,— то есть если слова эти принадлежат летописцу, скорее всего монаху, желавшему, естественно, в наилучшем виде представить исповедуемую им веру, тем больше у нас оснований считать, что русский человек весьма высоко ценил красоту, причём — веселую.

Где-то я читал, что не истина православия и не церковный догмат, до сего дня мало кому известные, тем более во времена Владимира,— не они интересовали и привлекали народ, но перезвон колоколов, дьяконские басы, золотые иконостасы, благолепие служб в храмах с ковровы-

ми росписями... Автор, помнится, утверждал, что византийская красота будто бы соединилась у нас со среднеазиатской фантастикой и что из этих двух элементов возникло причудливое, часто вычурное, фантастически-чудесное русское искусство.

Спору нет, как и все европейские народы, русские испытали на себе влияние великой греческой культуры, причем непосредственно, поскольку «бе путь из Варяг в Греки», — не случайно, надо полагать, в летописи говорится, что «Понтийское море», то есть Черное, «словет Русское». Что же до среднеазиатского элемента, то суждение это, впервые высказанное лет сто назад, не без основания многими опровергалось, хотя несомненно, что живость ума и отзывчивость русского человека на все полезное либо занятное не могли не побудить его позаимствоваться чем-либо и у живших бок о бок с ним восточных народов.

Однако, приходит мне на мысль, кроме тех или иных влияний, было ведь еще и нечто свое, коренное, от века существовавшее на нашей земле, в местах, где завязывались узлы национальной культуры, — рядом с дышащей сухим жаром печенежской степью, в виду курящегося туманом Варяжского моря и здесь, в Залесской земле, в Радонежье с его разбежавшимися к Воре и Паже оврагами, по весне белыми от черемухи, с его одинокими дубами и черно-зелеными, в гроздьях шишек исполнинскими елями, теснящимися попережку с осинами и березами.

Строчка из письма Мавриной о язычнике князе Владимире и пришедшая на память книга, автор которой говорит о фантастичности древнерусского искусства, побуждают меня вообразить человека той далекой поры. Понятия «красота» и «веселье» были для него равнозначны, как это следует из летописного рассказа об избрании веры. Я вспоминаю, что там же говорится о болгарях, верующих в Бохмита, то есть Магомета, как болгарин «поклонився, сядет и глядит семо и овамо, яко бесен», и мне открывается черта, распространенная еще и сегодня, — способность представить чужое в смешном виде. И вот я хожу по лавре в поисках давно исчезнувшего мира, какой застало здесь христианство.

* * *

В Святых вратах лавры, стены которых с ремесленной тщательностью расписаны сюжетами из жизни ее основателя, можно видеть картину, содержанием своим близкую к верованиям людей, живших в здешних лесах тысячу лет тому назад. Здесь изображен Сергей и пришедший к нему медведь — то есть рассказанная Елифанием Премудрым история о том, как многие звери, в том числе волки «выюще и ревуще», являлись к Сергию, «и от них же един зверь, рекомый аркуда, еже сказуется медведь, иже повсегда обычай имат приходи к преподобному».

Любая бабка, сколько-нибудь сведущая в церковности, знает хотя бы понаслышке, что к преподобному Сергию Радонежскому, когда тот жил в пустынном лесу, повадился ходить медведь и Сергей отдавал ему последний кусок хлеба. Об этом упоминает и Соловьев. Рассказывая, как отрок Варфоломей, похоронив родителей, удалился в пустыню — «лес великий, и долго жил здесь один, не видя лица человеческого», историк замечает попутно, что один лишь «медведь приходил к пустыннику делить с ним его скудную пищу».

Я всегда относил это к обычному в житиях святых баснословью, хотя мог бы вспомнить, что основатель Троицкой обители был выходцем из Ростова и что по крайней мере еще два исторических лица, связанных с Ростовом, — Ярослав Мудрый, одно время княживший здесь, и ростовский князь Константин, — как об этом рассказывает предание, были усмирителями медведей, только не лаской, что приличествует отшельнику, но силой оружия. Ярослав согласно сказанию об основании

города Ярославля приехал к обитавшим в селище Медвежий угол язычникам, чтобы собрать с них дань; они выпустили на него содержавшегося в клетке лютого зверя, однако Ярослав убил его и этим поверг их в ужас. «Великого медведя» убил однажды и князь Константин. Я мог бы вспомнить и то, что в гербе Ярославля — первоначально ростовского города — помещен вставший на задние лапы медведь с секирой.

Однако исцелованная старухами картина в воротах лавры ничего не говорила моему воображению, пока я не увидел в отделе народного искусства Загорского музея грубо высеченного из дерева медведя. Сперва я не сообразил, что это пчелиная колода и что мастер, придавший ей такую форму, надо полагать, отличался острым умом, поскольку медведь известен своей любовью к меду. Самое имя зверя, по предположению некоторых ученых, означает «поедающий мед» — «медо-ед», буква же «в» вставлена лишь ради благозвучия, — признаться, мне всегда казалось, что имя медведя скорее всего произошло от «медо-вед», то есть ведающий, знающий мед или заведующий медом, в чем слышится почтительное отношение к зверю, вполне понятное, если взять во внимание распространенный некогда среди многих народов медвежий культ.

Я дивился первобытной простоте, с какой вырублен был медведь. Он стоял на задних лапах, почти черный, залоснившийся от времени; туловище его представляло собою грубо обработанную колоду, голова обращена была рылом вперед, одна из лап простерта в том же направлении, круглые, обведенные белым глаза глядели пронзительно. Он показался мне идолом — этикетка относила его к девятнадцатому веку, но я знал, что изделия народных мастеров очень часто повторяют древние образцы. Я вспомнил, что еще не так давно, в лесу, примыкающем к знаменитому Берендееву болоту, как об этом рассказывает Н. Н. Воронин в статье «Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XII веке», было найдено деревянное изваяние медведя, обитое листами железа.

Позднее я перечитал эту статью. Я прочитал и другие близкие по теме работы. Но уже тогда, дивясь языческому идолу, как я воспринимал медведя, любуясь выставленной здесь же деревянной резьбой, я понял вдруг, что передо мною не просто хозяйственная утварь и украшения деревенского дома и не только произведения крестьянского искусства, но и дошедшие через века свидетельства о внутреннем мире людей, живших в те баснословные времена, когда — «в Древленех свое княжение, а Дреговичи свое, а словене в Новеграде свое... А на Белеозере седять Весь, а на Ростовском озере Меря...».

Епифаний, кроме упомянутой истории с медведем, приходившим к Сергию, рассказывает еще и «о видении святого ученик своих», которые будто бы являлись ему в виде «множества птиц зело красных, сидящих не токмо в обители святого, но и округ обители и въспевающимъ несказанно ангельския песни». Быть может, у Епифания это своего рода литературный прием, подумал я, когда прочитал об этом, но могло быть, что Сергию и впрямь вообразилось подобное, потому что трудно представить себе сейчас психический склад человека, жившего шестьсот лет тому назад, пускай интеллигента, но с определенной настроенностью, нисколько не сомневающегося, конечно, в возможности чудес.

Но однажды в начале лета в деревне под Радонежем, выйдя среди ночи погулять, я увидел курившуюся косматую землю, черные остроколючие ели и смутно белевшие стволы берез, непропорционально большой оранжевый месяц в плоском прозрачном небе; услышал несметные голоса ночной земли, среди которых различил соловьиное пение в черемуховых оврагах над Вореи и доносившееся откуда-то с сырых лугов то ослабевавшее, то снова звучавшее во всю свою грубую силу скрипучее дерганье дергача; и вообразил вдруг, как это все было сотни и сотни лет

тому назад, когда и волк, и медведь, и рысь наполняли ночь своими голосами, и птицы беспечно перепархивали во множестве.

Я понял, откуда пошли фантастичные древние поверья.

«Веруемь в поткы», то есть в птиц, с гневом говорит автор некоего «Слова», обличая жителей здешней округи: «Коли где хочешь пойти, которая переди пограет, то станем послушающе правая или левая». Должно быть, он хорошо знал обычаи тех, к кому обращено его «Слово о злых дусех», потому что он как бы от их имени принимается рассуждать, что если-де в пути что-либо дурное стрясется, то мы говорим, почему не воротились, не зря птица предупреждала, а мы не послушались.

Воронин, в статье которого я нашел приведенные строчки из древней рукописи, связывает их с известным местом из «Слова о полку Игореве», когда перед походом Игоря «ночь стонуши ему грозою птичь убуди; свист зверин въста; взбися див, кличет врѣху древа...».

Звери и птицы, какими их видели современники Игоря или Сергия, мне представляются родственными диковинным существам, которыми я люблюсь в отделе народного искусства Загорского музея.

На выставленных здесь досках — деталях деревенского дома — вырезаны мягко изогнувшиеся львы и пардусы. Возможно, был некий смысл в том, что именно пардуса, как бы олицетворение рыцарской отваги, послал в подарок Юрию Долгорукому, домогавшемуся киевского престола, новгород-северский Святослав. О воинственном предке Юрия, киевском Святославе, летописец говорит, что он легко ходил в походах, «аки пардус».

С иных досок, распушив хвосты и подняв узорчатые крылья, глядят птицы с человеческими лицами, кажется, готовые кликнуть по-дивьему. Обольстительно обнажившиеся девы с рыбьими хвостами изображены на других досках. Этих последних называют обычно фараонками, потому что, как объясняли жители тех мест, где имела распространение домовая резьба, фараон, когда он потонул в Черном море, преследуя евреев, то стал наполовину человеком, наполовину рыбой. Название это, однако, я думаю, довольно позднее; известно, что так объясняли его грамотные мужики, хорошо знавшие библию. Грубо вырезанные широколицые сирены со свисающими чуть ли не с плеч грудями представляются мне берегинями и русалками древних славян. Они наводят на мысль о языческих русалиях в честь обновляющихся весной дожденосных духов. Веселый этот праздник в христианскую эпоху заменен был троицей и духовым днем.

Самое название досок — причелины — свидетельствует о временах, когда фасад избы уподоблялся лицу, верхняя его часть, то есть лоб, соответственно именовалась челом, ну а доски «при челе» — причелинами.

А на гребень тесовой крыши, чтобы связать оба ее ската, клали длинное бревно — охлупень, корневые ответвления которого были обработаны в виде крутогрудого коня, рвущегося в поднебесье вместе со всем домом, и это, возможно, отвечало представлениям о небе как о некоем цветущем луге. Я смотрю на срубленное всего лишь в прошлом веке дерево, выпуклый комель которого держит над собою изогнутую конскую шею с маленькой головой, и мне кажется, что передо мною первобытный бог.

Мир «блаженных гиперборейцев», как называли древние греки обитателей неведомого Севера, исполнен был чудес и фантастики. Культура античного и первохристианского Юга встретила здесь с лесным баснословием.

* * *

Произошло это задолго до Сергия и его преемника Никона, однако в их время, когда троицкие монахи с усердием читали и переписывали книги, когда, как любит говорить художник Н. В. Кузьмин, из Москвы в Троице-Сергиев монастырь на «вернисаж» съезжались любители живописи, поклонники преподобного Андрея, радонежского иконописца прозванием Рублев,— даже и в ту пору лешие перекликались в окрестных лесах и домовые сидели по запечьям. При всем том, что христианство уже лет четыреста было государственной религией, народ, выражаясь фигурально, продолжал молиться пенькам в лесу, придав им лишь форму креста, и хотя церковь жестоко преследовала все, что ей представлялось языческим, он как бы обмял ее, приспособил к своему обиходу, понятиям и воззрениям,— или это она приспособилась? — в результате чего появилась исполненная поэзии смесь древних обычаев, суеверий, производственных правил и установлений с внешней церковностью, мало что общего имеющая с христианскими догматами,— народный земледельческий календарь с его приметами-поговорками, святочные, масленичные и троицкие игрища и обряды, легенды и побасенки о богородице и пономаре Юрыше, о Николе, про которого — не знаю, правда, когда это сложилось,— говаривали, что он, когда бог помрет, будет богом.

Своеобразным свидетельством одновременного существования книжной и, я бы сказал, «лесной» культуры мне представляется то, что «самые книги не на хартиях писаху, но на берестех», как отмечает Иосиф Волоцкий. Я прочитал об этом в статье ученого секретаря Загорского музея И. И. Бурейченко, который пишет, что в описании книг Троице-Сергиева монастыря действительно значатся «свертки на деревце чудотворца Сергия». Мне тут же вспомнилось, что любимыми авторами основателя лавры и его сотрудников, как об этом говорится в упоминавшихся мною записях покойного искусствоведа, были писатели, которых следует считать поэтами среди церковных писателей, и я вообразил листочки бересты со стихами Григория Богослова, питомца Александрии и Афин, или витиеватыми аллегориями синайского отшельника Иоанна Лествичника.

Произведения этих и подобных им авторов, написанные в эпоху, освещенную недавним светом эллинизма, спустя восемьсот или даже тысячу лет переписывались и читались в глухом северном лесу. Будучи по форме своей религиозными наставлениями, они, однако, не содержали в себе какого-либо догматизма или высокомерного обличения пороков, свойственного позднейшим христианским писателям, но учили тому, что самое существо человека устремлено к источникам высокого творчества, к царству любви, и это позволяет понять нравственную среду, созданную Сергием, состояние духа близкого к нему круга людей.

Можно с уверенностью сказать, что к этому кругу принадлежал Андрей Рублев, называвшийся Радонежским если не по месту рождения, то потому, возможно, что в Троицком монастыре определилось его призвание,— впрочем, могло быть, что он и родом из Радонежа и здесь же учился живописи. Известно, что троицкий постриженник Федор, племянник Сергия, был иконописцем. Рублев, пожалуй, единственный из людей Сергиева круга, кого мы и сегодня воспринимаем как нашего современника, потому что произведения его для нас не исторические реликвии или музейные редкости, но живое, волнующее искусство.

Среди молодежи, окружавшей Сергия, был и его крестник, второй сын Дмитрия Донского — Юрий Звенигородский. В облике молодого князя, пятнадцатилетним мальчиком переехавшего в свой Звенигород, есть нечто рыцарственное. Он был талантливым полководцем и в возрасте двадцати одного года во главе московского войска, как рассказыва-

ет об этом летопись, «взя город Болгары Великие и град Жукотин и град Казань и град Керменчук и всю землю их повоева и много Бесермен и Татар побиша, а землю Татарскую плениша». При всем том, что поход этот носил характер средневекового военного набега, — победители вернулись с «многую корыстью», — цель его была благородной, так как предпринят он был в защиту терпевших притеснения нижегородцев.

Юрий был не только удачливым воином, но и образованным человеком. Основатель знаменитого Белозерского монастыря Кирилл, утешая Юрия по случаю болезни его жены, писал ему как равному: «Слышу, что божественное писание сам вконец разумеешь, читаешь и знаешь. какой нам вред приходит от похвалы человеческой...» Свои права на старшинство после смерти брата, великого князя Московского Василия, Юрий доказывал не одними ссылками на завещание отца, но и летописями. «Князь же Юрий Дмитриевич... — говорит Татищев, — летописцы, и старые списки и духовную отца своего великого князя Дмитрия показа».

Война из-за великокняжеского престола, которую в течение многих лет вел Юрий Звенигородский со своим племянником Василием Темным, а после него продолжали его сыновья — Василий Косой, Дмитрий Шемьяка и Дмитрий Красный, — по своей жестокости и опустошительности, как пишет об этом Д. С. Лихачев, напоминает современную ей войну Алой и Белой розы в Англии.

Однако война эта происходила позднее, а в ту пору, которую Лихачев так неожиданно и выразительно называет русским предвозрождением, — в ту пору для Юрия Звенигородского характерна близость с людьми Троице-Сергиева монастыря, который, по словам того же Лихачева, был центром названного предвозрожденческого движения.

Юрий испытывал сыновние чувства к своему крестному отцу — Сергию Радонежскому, с которым его связывала не только любовь, но и душевная близость. Он часто бывал в Троицкой обители, щедро одаривал ее. Здесь сблизился он с новым игуменом Саввой, учеником Сергия, стал его духовным сыном и пригласил к себе в Звенигород, неподалеку от которого, на горе Стороже, тот основал Саввино-Сторожевский монастырь.

Скорее всего здесь же Юрий познакомился и с Андреем Рублевым. Во всяком случае наиболее ранние из известных работ Рублева были обнаружены в Успенском на Городке соборе в Звенигороде, построенном Юрием в конце четырнадцатого или в самом начале пятнадцатого века, когда он вернулся из похода на Волгу «с великою победою и с мною корыстью». Существует предположение, что изображенные на фресках собора царевич Иосаф и обративший его в христианство старец Варлаам как бы символизируют отношения Юрия и Сергия Радонежского, у которого он искал наставлений и руководства. Не лишено вероятия, что и Рождественский собор монастыря, фрески которого погибли, расписывал Рублев, едва ли оставшийся в стороне от предпринятого князем Юрием строительства.

Кроме этих двух соборов, Юрий Звенигородский ревностно участвовал в сооружении своего рода мавзолея над гробом Сергия — Троицкого собора, постройка которого осуществлялась «помоганием христоролюбивых князей», причем его рука «прострена к строению паче всех беаше».

Мне приходилось слышать и даже читать сомнительного происхождения легенды о князе, ослепившем зодчих, построивших ему в одном случае храм, в другом — хоромы, и выдавались они чуть ли не за исторические факты, в числе других, столь же достоверных, характеризующих дикость Древней Руси. И хотя у меня для этого нет достаточного

количества сведений, я надеюсь, что не погрешу против истины, если назову князя Юрия Звенигородского, который, будучи средневековым воином, как свидетельствует историк, «не запятнал свое имя ни вероломством, ни излишней жестокостью», — если я назову этого поклонника Сергия и возможного друга Рублева рыцарем-меценатом. Он был, я бы сказал, русским Лоренцо Великолепным, о котором я где-то прочитал, что свойственные его эпохе нравственные недостатки возмещались до известной степени его природным благородством, и то, что имя звенигородского князя наше сознание обычно не связывает с покровительством наукам и искусствам, как это мы делаем в отношении Медичи, объясняется не одним только различием между Москвой пятнадцатого столетия и Флоренцией, но и отсутствием привычки считать Древнюю Русь частью Европы.

* * *

Есть немалый смысл в том, что Лихачев, например, говорит о «русском предвозрождении», сравнивает усобицу времен Василия Темного с войной Алой и Белой розы, а Воронин называет крепостные укрепления и княжеские палаты в Боголюбове — замком, или часовню — капеллой. Общеευропейские эти слова и понятия, привычные для нас, поскольку мы знаем их с детства, будучи употребленными применительно к явлениям и фактам древнерусской истории, закрепляют в нашем сознании давно уже установленную наукой истину, что культура Древней Руси является частью великой общеευропейской культуры.

Мне представляется естественным, что Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр, когда они увидели Спасский собор в Переяславле-Залеском, построенный в 1152 году, в один голос воскликнули: «Роман... роман!» Они узнали черты стиля, при всех его местных особенностях, в свое время распространенного в Европе, как это было позднее с барокко, классицизмом, ампиром...

И я не понимаю, как это можно, любя и уважая культуру своего народа, утверждать, что литературный его язык был «испорчен» иноземными влияниями; или же презрительно отзываться о современной, будто бы «заокеанской» архитектуре, считать необходимым возвращение к национальному зодчеству, наивно полагая, что какой-либо отошедший в историю стиль, будучи подделанным, обретет силу живого искусства.

Искусство, конечно, всегда национально, но оно же всегда и современно, иначе сказать, связано с духом времени, с господствующими идеями эпохи, и лишь в тех случаях, когда какой-либо народ, на беду его, почему-нибудь бывает выключен из творящейся всем человечеством культуры, его искусство становится экзотичным, хотя бы это был респектабельный академизм. Экзотикой, напомню, называют все то, что свойственно отдаленным, малоизвестным странам, что представляется необычным, причудливым, чуждым.

Мне нравится, когда я бываю в Загорске, в Троицком соборе, размышлять, например, о том, что рублевская «Троица», было бы это благозвучно, могла называться «Троицкой Троицей», подобно тому, как Рафаэлевская мадонна называется «Сикстинской» — по имени храма, для которого была написана. Как известно, Рублев написал «Троицу» по повелению Никона Радонежского, преемника Сергия, «в похвалу отцу Сергию», причем произведение это, самое совершенное из всего, созданного Рублевым, венчает собою долгий творческий путь художника. Точно так же и Рафаэль лет сто спустя, конечно, тоже «по повелению», написал для алтаря святого Сикста в церкви бенедиктинцев знаменитую свою

мадонну, я бы сказал «в похвалу папе Сиксту II», и этим алтарным образом, по общему мнению, увенчивается искусство Рафаэля.

Я хочу этим только лишь напомнить, что обстоятельства, в каких работали художники всего христианского мира, в общем-то, были одинаковы.

Впрочем, если взять такие определения, как «великолепный оптимизм», «спокойное равновесие», «нежное очарование», встретившиеся мне в книге иностранного искусствоведа, то едва ли кто отважится сказать, к кому они относятся — к Рублеву или Рафаэлю, которого имел в виду автор.

«Русский Рафаэль», как величали его наши деды», — прочитал я о Рублеве у И. Э. Грабаря и подумал, что дело не только в той популярности, какою пользовался в те времена Рафаэль, но еще и в приведенных мною определениях особенностей его творчества, свойственных и Рублеву.

Сам Грабарь считает, что в наши дни было бы правильнее назвать Андрея Рублева «русским Беато Анжелико», если уж прибегать к итальянским сравнениям. «Они не только современники, — пишет он, — не только оба были монахами и за одним народная память сохранила прозвище «преподобного», а за другим «блаженного», но в самом их искусстве, в его чудесной внутренней гармонии и обаятельности, в легких линиях и нежных красках есть отдаленное духовное родство, не вполне стираемое даже глубочайшим различием италианского и русского художественного миропонимания».

Но я не искусствовед, меня занимают не художественные анализы.

«Италианские сравнения», к которым, подобно дедам, прибегнул и Грабарь, лишний раз напоминают мне, когда я бываю в Загорске, насколько этот центр русского предвозрождения, имея основанием своим чуть ли не к каменному веку уходящий материк народной культуры, одновременно состоял в духовном родстве с культурой общеевропейской.

* * *

Многое здесь счастливо соединилось для процветания искусства.

Поэтические воззрения народа, существование которого определялось суровой северной природой, сплелись здесь с утонченным вкусом, воспитанным греческой образованностью. «Византийские рукописи для Древней Руси, — считал Ф. И. Буслаев, — были проводниками не только древнехристианских идей, но и античных форм, выражающих эти идеи». Мне представляется не случайным, что едва ли не первое письменное упоминание о русском человеке, наслаждавшемся живописью, имеет в виду Андрея Рублева и его друга Даниила Черного, которые, «на седалищах сидя и перед собой имея божественные и всечестные иконы», взирали на них, «исполняясь радости и светлости». Будучи средоточием учености, монастырь был и эстетической школой.

Однако искусству необходимы еще и материальные средства.

Троицкий монастырь вскоре после смерти его основателя, ставшего обителем не царскую милостью, не крестьянским потом, но трудами монахов, стал обладателем больших, с течением времени все возрастающих материальных ценностей отчасти благодаря князьям-меценатам, в значительной же степени благодаря труду монастырских крестьян.

Была здесь и нравственная основа, без которой нет искусства.

Когда я задумываюсь над тем, сколько выдающихся деятелей и блестящих умов собралось вокруг Сергия Радонежского, и в моем воображении встают все те, кого воспитал он сам или его ученики — Роман Киржачский и Андроник Спасский, Мефодий Песношский и Авраамий

Городецкий, Федер Симоновский и Афанасий Высоцкий, Савва Сторожевский, Павел Обнорский, Дмитрий Прилуцкий, Нил Сорский, Зосима и Савватий Соловецкие, Кирилл и Ферапонт Белозерские и другие основатели монастырей,— я понимаю, конечно, что деятельность их была связана с теми огромными сдвигами, какие происходили в пору завершавшегося объединения русских земель в единое государство, и все же, пускай это покажется искусственным, они представляются мне похожими на прославленных в героических легендах благородных рыцарей короля Артура.

Они так же красивы своим единодушием, своей верностью.

Дружба между Сергием Радонежским и Стефаном Пермским была так сильна, что однажды, когда Сергей с братией сидели за трапезой, он будто бы почувствовал, как Стефан, направляясь из Перми в Москву, приближается к монастырю, и обратился к нему со словами приветствия.

Конечно, это характеризует литературную манеру автора жития, выдавшего за достоверное названный случай, его склонность к преувеличениям, к возвышенным описаниям, что было свойственно литературе того времени, но это же свидетельствует и об эмоциональной атмосфере, в какой жили Сергей и его друзья, к которым, кстати сказать, принадлежал и автор, о развитом здесь ощущении близости друг другу, об отзывчивости и впечатлительности этих людей.

Они и мужественны, как подобает рыцарям.

Шестидесятилетним стариком пришел Кирилл со своим другом Ферапонтом на гору Мауру в Белозерском крае, куда и сейчас не во всякое время года проедешь на автомобиле. Мне случилось однажды летом, в тихий и жаркий час, пройдя километров пять от Кириллова, стоять на вершине этой горы в высокой цветущей траве, среди редких сосен.

Отсюда было видно на все стороны, и я одновременно любовался синевшим впереди Сиверским озером с белыми крепостными стенами монастыря на его берегу и широко разлившейся справа, за темной полосой лесов, меж лугами, подпертой плотинами Шексной, за которой снова темнели простершиеся до самого горизонта леса.

Пароход отваливал от пристани за монастырем. И Шексной, празднично белея, не то в Череповец, не то из Череповца, я еще не разобравшись в этом, шел дальний красавец теплоход. Над Кирилловом, едва дымя, чернели тонкие трубы каких-то местных предприятий. Впереди города, левее озера, тянулись заборы и длинные крыши всякого рода баз и складов.

В лугах уже круглились стога. Хлеба еще стояли необранные.

По дороге, огибая Мауру, бежал в гору зеленый «газик».

Все вокруг являло следы человеческой деятельности, все было обжитое, хотя в рельефе полей, желтевших между лесами, в обширности самих лесов, в цвете озерной воды и даже неба угадывалась первобытность.

Я представлял себе, как пятьсот восемьдесят лет тому назад стояли здесь оставившие Москву два инока Симонова монастыря, оглядывая открывшийся им лесной край — темную, слегка кудрявую, приподнятую в местах, где ее подпирали холмы, бескрайнюю поверхность лесов с синевшими в разрывах озерами и реками в зеленых берегах. Ферапонт уже бывал здесь, и теперь он привел своего друга Кирилла, мечтавшего, как и он, по примеру Сергия Радонежского основать в каком-либо пустынном крае свой монастырь.

Они спустились к Сиверскому озеру, возле которого, выкопав в склоне холма пещеру, поселился Кирилл, а Ферапонт отправился дальше и обосновался на берегу другого озера, отстоявшего в восемнадцати верстах.

Мне пришло вдруг на мысль, что «пещера», в которой жил Кирилл, или Нил Сорский, постриженник Кириллова монастыря, основавший здесь же неподалеку отшельнический скит, — что пещера эта есть не что иное, как извечная землянка русского устроителя земли, в какой он обитал и при Владимире Мономахе, когда на месте мерянского поселения строил крепость в Суздале, и восемьсот двадцать лет спустя, когда обживал Магнитную гору.

В устроенности, которую я видел вокруг, был и труд Кирилла.

Когда академик М. Н. Тихомиров говорит о громадной культурной работе, какую проделал русский народ, освоивший пустынные места, вековые леса и непроходимые топи в условиях суровой зимы и жаркого, порой знойного лета, то здесь, я думаю, надо вспомнить и Сергия Радонежского с его сподвижниками и последователями, основавшими более тридцати пустынных монастырей.

В современной науке существует суждение, что монастыри эти обновлялись в местах обитаемых, однако нужно ли доказывать, что монастырь, будучи феодалом и, следовательно, эксплуатируя окрестных жителей, одновременно был и средоточием культуры, что с монахами в дикие лесные дебри приходили грамотность, искусство, архитектура, медицинская помощь, более совершенные методы ведения хозяйства...

Не требуется ни особенного ума, ни знаний, чтобы отнестись к этим людям с высокомерием человека, которому случилось родиться лет на пятьсот позже, высмеять их за то, что они думали не так, как думаем мы. Однако не одной только справедливости ради, хотя и этого достаточно, а для лучшего понимания жизни, мне кажется, следует знать то хорошее, что было в людях Сергиева круга.

Круг Сергия составляли и ветераны Куликовской битвы.

Душевный склад всех этих людей, нравственное состояние и энергия народа, освобождавшегося от татарского ига, закладывавшего многие начала, — это и была та сила, думается мне всякий раз, когда я бываю в Загорске, какая дивно явила себя здесь и собрала все прочее, из чего складывается искусство.

* * *

Случилось так, что мне представилась возможность размышлять на подобные темы довольно часто. Начав эти заметки в Москве, я продолжал их невдалеке от Загорска, в деревне под Радонежем, где жил осенью 1965 и летом 1966 года. Приезжая в Загорск, любясь крутостенной и многобашенной, круглящейся золотыми и синими главами и сияющей крестами лаврой, я не уставал дивиться тому, как труд, фантазия, чувства и мысли многих поколений людей, даже несчастья, подобные, например, войне и вызванной ею необходимости возводить оборонительные сооружения, — как все это чудесным способом преобразилось в единое и совершенное произведение архитектуры.

Уже Сергей, по словам автора жития, едва у него появились к тому средства, «монастырь больший распространив, келии убо четверообразно устроити повеле, посреде же церковь болшую въздвиже, отвсюду видима яко зеркало». Иначе сказать, еще в ту пору, когда вокруг шумел первобытный лес, здесь явила себя архитектурная мысль, распределившая в пространстве части композиции и утвердившая ее центр — церковь Троицы, отовсюду видимую «яко зеркало», причем в этом последнем мне слышится тот смысл, что она связана с остальными зданиями монастыря, как зеркало со своим отражением.

Мне доставляет удовольствие, прогуливаясь лаврой, думать о том, что все это на первый взгляд случайное, однако удивительно гармонич-

ное соединение зданий, столь разных по объемам своим и формам, от самых строгих, суровых и до прихотливо, с некоторой даже изощренностью украшенных, о которых Теофиль Готье, приезжавший сюда в середине прошлого столетия, говорил, что они похожи на выросшие без всякого порядка растения, появившиеся на том клочке земли, где каждое из них нашло для себя благоприятную почву, — что весь этот как бы сам собою возникший чудо-городок основанием своим имеет сложившийся чуть ли не шестьсот лет тому назад градостроительный план, в котором некий центр подчиняет себе окружающие его постройки.

Сама по себе ясность планировочной мысли, даже если оставить в стороне художественные достоинства зданий, посредством которых она приобретает материальную форму, мне всегда представляется выражением высокой поэзии. Здесь же, в лавре, я наслаждаюсь еще и некоей нравственной атмосферой, происхождением своим обязанный такту и художественному чутью, с каким каждое последующее поколение зодчих отнеслось к работе своих предшественников, — исключение составляют ремесленные поделки, производившиеся и в восемнадцатом и в двадцатом столетиях по указанию лаврского духовенства, во многих случаях, впрочем, устраненные советскими реставраторами.

Церковь Троицы — пускай не та, деревянная, что возведена была Сергием, а каменная, сооруженная на ее месте князем Юрием, хотя монастырь и распространился и она уже не стоит посреди, хотя впоследствии были построены более высокие здания, — все же продолжает оставаться центром ансамбля.

Я не столько знал это, сколько чувствовал, быть может, потому, что к площади возле нее сходятся все здешние пути, или же из-за того, что она ниже отстоящих от нее на известном расстоянии зданий.

Но однажды я прочитал книгу И. В. Трофимова «Памятники архитектуры Троице-Сергиевой лавры», из которой узнал, что архитектурная мысль нескольких поколений строителей, стесненных рядом практических требований, сумела, следуя в этом за древнегреческими зодчими, самую необходимость превратить в выгоду и выработала композицию, напоминающую солнечную систему, где солнце является центром для планет, а планеты — для своих спутников.

С тех пор, бывая в Загорске, я испытываю удовольствие еще и оттого, что мне известна закономерность, согласно которой каждое большое здание контрастно сопоставляется здесь с малым: Успенский собор — с Надкладезной часовней, трапезная — с Михеевской церковью, колокольня — с церковью Одигитрии. Это как бы спутники, подчеркивающие значительность сооружения. И только Троицкий собор не имеет спутника именно потому, что он — центр, в отношении которого спутниками являются все остальные здания.

И хотя мне все здесь знакомо, я радуюсь тому, как постепенно и неожиданно раскрывается передо мной архитектура, причем каждая последующая картина прекрасней предыдущей, а под конец возникает Троицкий собор.

Автор названной книги сравнивает постепенную подготовку заключительного эффекта в лавре с эффектом неожиданности в постепенном раскрытии архитектуры в афинском Акрополе. Этот же самый эффект мне знаком по моим прогулкам в окрестностях деревни, где писались настоящие заметки, когда, обойдя дремучий, заросший ельником овраг, я выходил вдруг на обширное, выпуклое, цвета гречишного меда, спелое пшеничное поле, огибал его, а за ним оказывалась речка с нависшим над нею узколистным ивняком, за речной излучиной — плоский светлый лужок и село с белой церковью на крутом берегу.

* * *

Однажды, будучи в Загорске, я шел мимо Духовской церкви, построенной псковичами при Иване III и восстановленной реставраторами в ее первоначальном виде, со звонницей под барабаном купола, служившей в древности дозорной вышкой. Я любовался слегка вытянутым объемом храма, при котором три алтарных выступа походили на тесно сдвинутые колонны. Здание было устремлено вверх, и это его движение усиливалось полукруглыми, с острием посередине завершениями стен, кокошниками звонницы, в несколько уменьшенном виде повторяющими тот же рисунок. Голубая маковица с золотыми звездами и ободом на выпуклых боках венчала церковь.

Стройностью своей она подчеркивала приземистость Троицкого собора. При всей моей нелюбви к подобным сравнениям, я увидел в соборе кряжистого Илью Муромца, а в Духовском храме — статного Алешу Поповича.

Сооруженное более полувека спустя, здание это как бы переняло у собора его высотное, господствующее над всеми другими постройками положение, однако при этом нисколько не заслонило собор, не подавило его собою.

Я взглянул на отстоящий в не столь уж большом отдалении Успенский собор, законченный постройкой в 1585 году, и убедился, что величественный этот храм с мощными его пятью главами, через сто шестьдесят три года после Троицкого собора и сто девять лет после Духовской церкви в свою очередь ставший господствующим в высоте зданием монастырского ансамбля, при всей своей громадности, не закрыл и не прижал к земле двух соседних храмов.

После этого естественным было перевести взгляд на уходящую уступ за уступом в поднебесье прозрачную от сквозных пролетов колокольню, возведенную по проекту Д. В. Ухтомского к концу шестидесятих годов восемнадцатого века, и восхититься тем, как все главенствовавшие до нее в воздухе храмы ансамбля, передававшие один другому это свое главенство, вовлечены колокольней в некое стремительное и одновременно застывшее движение вверх.

Ученый-архитектор назвал все это работой единой мысли, в течение трехсот с лишним лет руководившей зодчими в их поисках высотной доминанты, которая гармонически сочеталась бы с окружающим архитектурным ансамблем. Нисколько не оспаривая подобного определения, я хотел бы только сказать, что здесь нам снова явился пример того, как мастер, почтительно отнесясь к труду предшественника, тем самым выигрывает в своем мастерстве.

Лавра в Загорске всегда представляется мне произведением множества художников, на протяжении чуть ли не пяти веков, из поколения в поколение, исполнявших этот свой коллективный труд. Я вспоминаю, как Епифаний Премудрый, рассказывая о Рублеве, счел необходимым сообщить не только то, что Рублев был «иконописец преизрядный», но и то, что он всех превосходящ «в мудрости зелне, седины честные имея», этим последним, на мой взгляд, подчеркнув тесную связь мастерства с нравственным обликом художника. И я хочу думать, что еще в ту далекую пору здесь сложилась некая особенная, свободная и естественная художественная среда, благодаря чему при одном лишь упоминании о Загорске в нашем воображении встают исполненный Рублевым с товарищами Троицкий иконостас и грубо вырезанные из дерева фараонки, похожие на языческих тотемов; строгие плоскости соборных стен и расписная «в шахмат» трапезная; мерцающий узор серебряной скани и пестро раскрашенные деревянные игрушки, первые из которых будто бы резал здесь еще Сергей, даривший их крестьянским детям.

К художникам, создававшим Загорск, следует прибавить и тех, кто изображал его. Существует Загорск Юона — то рождественский или масленичный, с крестьянскими дровнями и купеческими возками на полозьях, запряженными мохнатыми лошадами под расписными дугами; то весенний или летний, с проталинами в снегу, с зелеными оврагами, с выбежавшими на крылечко девицами, с галками и голубями в небе, вспугнутыми колокольным звоном, — Загорск начала нашего века, исполненный очарования крутосклонной, заросшей бузиной русской провинции.

Существует Загорск Мавриной — сегодняшней, но как бы увиденный послами князя Владимира, заметившими, что волжский болгарин, совершив поклон своему Бохмиту, «сядет и глядит семо и овамо, яко бевен», или же тем мастером, который резал из дерева идола-медведя.

Маврину принято называть сказочницей, что вообще-то верно, однако слово это за последнее время стало чуть ли не синонимом национального, его употребляют не только применительно к русскому народному искусству, но и к древней живописи, даже архитектуре, и от умеренного, чаще всего без основания на то, употребления оно утратило всякую материальную нагрузку, отзывается слащавостью, красотой...

Между тем, при всей ее фантастичности, сказка всегда содержит реальную, земную основу, — даже богов и демонов люди создавали по образу своему и подобию, только лишь преувеличивая человеческие добродетели и пороки, потому что склонность к преувеличению, к подчеркиванию характерного — отличительная черта народного искусства.

Маврина изображает природу, архитектуру и уличные сценки с тем коренным, изначальным реализмом, каким отличаются вылепленные из глины, раскрашенные мексиканские женские фигурки, относящиеся ко второму тысячелетию до нашей эры, и современные нам росписи по дереву из села Полховский Майдан Горьковской области. Когда на мексиканской выставке я разглядывал древних глиняных человечков, мне представился праотец, вылепивший однажды из глины собственное подобие и объяснивший этим свое происхождение. А цветы с полховско-майданских матрешек и коробочек побуждают вообразить эдемский сад.

В картинках Мавриной архаика народного искусства с его непосредственностью и верностью основному в природе сочетается с современной живописной культурой, ведущей свое происхождение от импрессионистов, и это все та же связь «лесной» культуры с культурой книжной.

* * *

Как-то я приехал в Загорск под вечер в Успенье.

Пожилые мужчины и женщины, от которых пахло немывтым телом, толкаясь, поднимая высоко над головами бидоны и бутылки, под непрерывное дребезжание и звяканье, какие издают, сталкиваясь, жель, стекло и эмалированное железо, пробивались к дверям Надкладезной часовни, теснясь, исчезали в ней, затем выдирались оттуда со святой водой.

Невдалеке от Успенского собора, куда уже нельзя было войти, так тесно стояли там люди и таким жарким был воздух, сидела в кресле на колесах молодая девушка с красным горячечным лицом, укутанная одеялами, хотя был еще только конец августа, вечер ожидался теплый. Она бессмысленно улыбалась и по временам говорила что-то невнятное, к чему внимательно прислушивались окружающие ее женщины. Прикашившая кресло щеголеватая девица в драповом пальто, пестрой косынке и скрипучих, блестящих лаком ботинках, полуживая семечки, объясняла слова прорицательницы, попутно рассказывая, что они с этой девочкой вовсе не сестры, приехали из-под Курска, ночуют на вокзале.

Мимо меня прошли, разговаривая, тощий темнобородый мужчина в пропыленном синем плаще и болезненный на вид юноша лет двадцати, отец и сын скорее всего, и я расслышал, как старик сказал: «С утра и окунись».

Об этом же заговорили позади меня в толпе, теснившейся в ожидании выноса плащаницы перед западными дверями собора. Я оглянулся и увидел нескладную девку в коротковатом розовом платишке, — таких девок я не встречал по меньшей мере лет тридцать. Сложив под грудями руки и переступая с ноги на ногу, словно ей было холодно, она хвастливо сказала каким-то старухам, что уже «окунулась», и с некоторой неуверенностью добавила: «Говорят, помогает», — в какой она нуждалась помощи, догадаться было трудно.

Одна из старух заметила, что кто верует, тому помогает.

Девка поспешно сказала, что она верует, на ней «хрест».

Вдруг послышался высокий, истерический вскрик. На каменных ступенях широкого крыльца колокольни, в часы праздничных зрелищ обычно уставленного народом, но сейчас еще пустого, одиноко сидела нестарая женщина, обхватив голову руками, быстро и коротко кланялась, время от времени, остановившись, озиралась по сторонам и вдруг, словно от внезапного приступа боли, вскрикивала.

Стоявшая рядом со мной старуха сочувственно сказала: «Кликуша».

Пенсионного вида плотный мужчина, в силу того, должно быть, что он был среди старух единственный, пользовавшийся у них авторитетом, наставительно проговорил, что это болезнь такая, называется «бесноватая».

«Веруем в поткы», — подумал я о всех этих людях.

Мысль эта приходила мне и раньше, в ней не было ни поспешности, ни сознания собственного над всеми превосходства, в подобных случаях не то что неумного, а просто-таки безнравственного, но только жалость. В большинстве своем сюда приезжают несчастные люди.

Болезни, неустроенная старость, семейные неурядицы, смерть близких, обыкновенная бедность и бедность повседневных впечатлений привели сюда этих людей, ищущих утешиться, отвлечься, а то и развлечься, и если взять во внимание, что все это совершается здесь чуть ли не шестьсот лет, причем число нуждающихся в утешении было неизмеримо больше, потому что и горя было больше — достаточно назвать хотя бы татарские набеги или моровые поветрия, — и терпит всякую беду по преимуществу простой народ, — если вдруг вообразить, сколько слез было пролито в Загорске в течение полутысячи лет, то место это и впрямь следует почитать святым, заповедным.

Здесь нельзя не думать о том, как необходимо человеку хоть какое-нибудь счастье, хоть какая-нибудь духовная жизнь, нельзя не мечтать о времени, когда не будет ни страждущих, ни обремененных и у каждого достанет крепости духа, чтобы не утраститься разверзшейся вдруг перед ним бездны.

Таким образом размышляя, что случается всегда, когда попадаешь в какое-либо историческое место, потому что таково уж свойство древних камней, что они задают работу мысли, прогуливаясь я в тот предвечерний час между храмами и палатами лавры, стены которых, то гладкие, белые или красные, едва тронутые резным узором, то в украшенных лепниной колонках, пестро расписанные, освещены были садящимся солнцем.

Шум автомобильной дороги скорее угадывался, чем достигал сюда.

Жизненный центр страны давно переместился с горы Маковец, но история тоже ведь жизнь, потому что прошедшее, как и будущее, суще-

ствует в настоящем, и все те люди, какие когда-либо прошли по этой земле, если я хоть что-нибудь о них знал, существовали рядом со мной.

Вот здесь, в Троицком соборе, заперся в страхе Василий Второй, тогда еще не называвшийся Темным, то есть слепым, а воинство Дмитрия Шемяки, прискакавшее сюда во главе с Иваном Можайским, «яко на лов сладок», повсюду искало великого князя, и он, не надеясь на свое укрытие, догадываясь об ожидавшей его страшной участи, стал кричать: «Брате, помилуйте мя, не лишите мя зрети образа божия», обещая остаться в монастыре, постричься в монахи.

Великий князь лежал ниц у гроба Сергия, «слезами себе обливая и вельми въздыхая, кричанием моляся, захлипаяся», но Можайский, двоюродный его брат, приказал одному из своих людей: «Возьми его», — и пошел из церкви.

Василия, рассказывает летописец, посадили «в голыи сани», бояря его, ограбив, «нагих попушаше», после чего, «яко же некоторыи сладкыи лов уловивше», победители отправились в Москву, куда прибыли в понедельник на ночь. «В среду на той же неделе на ночь ослепиша великого князя».

Где-то здесь последний раз взглянули на небо Никон Шилов и Слота, крестьяне села Клементьевского, находившегося неподалеку.

На серой от пыли чугунной доске в воротах лавры, поставленной «тщанием Московского отдела Императорского Русского Военно-Исторического общества», мимо которой обычно проходят, не останавливаясь, тогда как находящиеся по соседству баснословные картины из жития Сергия привлекают всеобщее внимание, я прочитал однажды, что «9 ноября 1608 г. во время достопамятной осады Свято-Троицкия Сергиевы Лавры польскими и литовскими отрядами, вражеский подкоп, веденный под Пятницкую башню, был геройски уничтожен Клементьевскими крестьянами Никоном Шиловым и Слотою, тут же в подкопе и сгоревшими».

Были они скорее всего нестарые мужики. Слота — судя по тому, что этим словом в старину называли непогоду, ненастье, — был, надо думать, человек хмурый, суровый, и едва ли будет ошибкой предположить, что мысли его и его товарища относительно монастыря, за стенами которого они укрылись со своими семьями, не были столь отчетливы, как в приговоре Священного Собора, заявившего, что если Троицкий монастырь будет взят, то и «весь предел Российский» погибнет.

Просто, представлялось мне, оба они, вызвавшись охотниками, как это в течение последующих столетий не раз делали в подобных обстоятельствах русские мужики, пошли неспешной, вперевалку, походкой, какой ходят пахари и землекопы, и, взглянув на мглистое осеннее небо, потому что нельзя не взглянуть, когда спускаешься под землю, скрылись в подкопе, который велся навстречу вражескому.

Сюда, в лавру, выскочив из дому не одетым, прискакал ранним августовским утром из села Преображенского семнадцатилетний Петр, смертельно испуганный, поднятый с постели известием, что стрельцы, собранные Софьей в Кремле, замышляют идти бунтом в Преображенское.

Образовалось как бы две столицы. Народ в ужасе ожидал новой смуты, а в высших кругах мучительно решали, оставаться ли в Москве или ехать к Троице. Но вот сюда прибыл патриарх, посланный Софьей для переговоров, и не захотел возвращаться. Вслед за патриархом, повинувшись царскому указу, стали прибывать и стрельцы. Два месяца спустя после ночного бегства, заточив Софью в монастырь и казнив ее припешников, Петр уезжал из лавры единовластным государем.

Гора Маковец плотно населена во времени.

Есть места, прошлое которых пустынно, здесь же стоит великая теснота, вместившая крестьян и царей, монахов и воинов, строителей и художников... Однако не внутри этих стен, а за ними продолжается завязавшая некогда в этом месте история, как это случается с рекой, прорывшей новое русло.

Мое внимание привлек молодой монах, уединенно сидевший с книгой в опущенной на колени руке. Он сидел, откинув обнаженную голову в золотистых, чуть вьющихся кудрях, вперив взгляд в пространство, не замечая ни любопытствующих, ни умиляющихся прохожих, словно беседуя с богом. В этой его позе, пускай не нарочитой, отвечающей истинному состоянию его духа, в черной шелковой рясе, подпоясанной широкими и пестрым бисерным кушаком и ниспадающей свободными складками, — во всем этом была известная картинность.

Монах показался мне актером, исполняющим роль, и не только оттого, что церковность чужда мне, но еще и потому, я думаю, что он был несовместим с нашим по преимуществу рационалистическим, склонным к естественности временем, в равной мере свободным от сентиментализма и аффектации, как, скажем, был бы несовместим с ним юноша, с которого Гёте писал своего Вертера.

Между тем стемнело.

Перед Успенским собором, стены которого, смутно белея за деревьями, уходили вверх и постепенно сливались с тьмой, а в распахнутых дверях горячо блестело золото и пылали огни, тесной толпой стоял народ, и со стороны казалось, что собор как бы вырастает из этой плотной черной массы. Время от времени толпа освещалась вдруг огоньками свечей, поспешно зажигавшихся одна вслед за другой. Потом оказывалось, что плащаницу еще не несут, и свечи с тою же поспешностью гасились. Это повторялось все чаще и чаще, выдавая нервное напряжение, с каким все ожидали зрелища.

Должно быть, тоже томясь ожиданием, вскрикивала кликуша.

Луны, кажется, не было. На всем был ровный сумеречный свет.

Наконец размеренно и однотонно зазвонили колокола. Мгновенно зажглись тонкие свечи в руках людей. В дверях собора возникла толчея. И вот с большим выносным фонарем впереди, с крестами и хоругвями, с носилками, покрытыми черным, вышитым серебром покрывалом, стала медленно выходить процессия.

Покамест она огибала собор с севера, я поспешил к южной стене.

Освещенная выдвигачным светом фонаря и острыми огоньками свечей, процессия выдвинулась из-за мощных округлостей алтарных апсид, башнями поднимавшихся к дымчатому небу. Черные одежды монахов придавали шествию общий траурный тон. Свечи, утвержденные в сложенных горстью руках, освещали каждое лицо снизу, и поэтому все лица как бы светились и у всех одинаково блестели глаза. Мелкие одновременные шажки, какими передвигались люди, создавали впечатление слитности и вместе с этим произвольности движения. Все сразу, согласно и нараспев, выговаривали: «Святой боже, святой крепкий...»

Процессия приблизилась, запахло горячим воском.

Под самыми носилками с плащаницей шествовал архиерей в серебряном облачении, распространяя вокруг сияние. Этим как бы утверждался центр процессии, к которому обращены были взгляды. В вышине плыл погребальный звон, и начинало казаться, что под черным покрывалом на носилках лежит покойник.

Я смотрел на все с ощущением, будто здесь совершаются похороны.

Архиерей, помещавшийся под мертвым телом богини, показался мне жрецом древней восточной религии. Возможно, еще в Ханаане, жители которого оплакивали осенью умершего бога урожая, сложился прообраз

этой процессии, или еще раньше, в Шумере, где богослужения Луне сопровождались шествиями жрецов в белых одеждах, быть может траурными, когда Луна исчезала. Я подумал, что первыми актерами и режиссерами человечества были жрецы, плясавшие впереди народа, когда у него были причины радоваться, и собиравшие его в скорбные колонны, когда он пребывал в печали.

Из лавры я выходил, как из театра.

Я щурился от света уличных фонарей и витрин магазинов. Как это бывает после талантливого спектакля, я некоторое время не мог установить связи с миром, существовавшим отдельно от искусства, власть которого только что испытал, не мог войти в ритм творившейся вокруг жизни.

Я постоял у перехода через дорогу, знакомую мне на всем протяжении ее пути от Москвы до северных городов, проводил взглядом дальний рейсовый автобус, запыленный зад которого грузно осел, вообразил, как по сторонам автобуса, освещенный фарами, будет бежать назад еловый лес, как неподалеку от Ярославля откроется весь в огнях фантастический городок из исполинских серебристых шаров и цилиндров, оплетенных решетчатым железом, выстроившихся рядами.

Мне вспомнились слова Ключевского о черной подготовительной работе цивилизации, на которую ушли века упорной борьбы с лесами и болотами, о том, что вслед за этим, не теряя приобретенной житейской выносливости, необходимо напряженно работать над самими собой, развивать свои умственные и нравственные силы, и я подумал, что в той задаче самоусовершенствования, которая постоянно стоит перед человеком, не обойтись без опыта, который содержится в истории народа, каким бы далеким и наивным, на наш взгляд, целям ни служили нравственные черты предков.

Двойная власть искусства и старины владеет мною в Загорске.



Н. МЕЛЬНИКОВ

★

ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ МЕНЬШЕ

Из записок корреспондента

Из коридора доносились голоса и возня. Спросонья я не разобрал, что к чему. По утрам в нашем коридоре мальчишки всегда затевали возню. Здесь, кроме нас, командировочных, жили целые семьи строителей. Но вдруг крик у самой моей двери:

— Помогите!

Я натянул штаны, сунул ноги в сапоги, накинул пиджак и — в коридор. Там на полу взрывник Алеша Мухин — невысокий крепыш — колошматил высоченного геодезиста Ваську Краснушкина. Звонкие пощечины Алеша сопровождал громким, удивленным шепотом:

— Ты ж себя другом ее называл, гад!

Краснушкин защищался, прикрывая ладонями лицо, и выкрикивал срывающимся голосом:

— А что я сказал такое?

В поселке ни для кого не было секретом, что взрывник Мухин приударяет за напарницей Краснушкина геодезисткой Таней. В столовую ходили вместе, поглядеть на Амур — вместе, а когда поселок укладывался спать, они усаживались на лавочке под моросящий дождь. Куда дальше!

По утрам перед работой Краснушкин острил:

— Смотри не подорвись, Таньку вдовой оставишь с малыми детьми.

Сегодня разговор принял явно другой оборот.

На помощь мне подоспел начальник милиции капитан Крюков. Он тоже жил в нашем коридоре. Общими усилиями мы оттащили Мухина, и капитан увел его куда-то. Васька встал взлохмаченный и пожаловался:

— Видели кретина? Я только спросил его — ты всерьез врезался в Таньку? А он окрысился. Тогда я и сказал ему, что пока он ей ручки гладит, я сплю с ней. Тут он и налетел на меня. Думал, убьет, а я ведь только хотел дураку глаза открыть. Ну, не кретин?

Выпалив все это, он вразвалочку направился в умывальню. Я поглядел ему вслед и подумал, что если бы и убили тебя, скотину, лично я много бы не дал — осудил бы за мелкое хулиганство.

В другом конце коридора кто-то громко будил геодезистку Таню:

— Вставай, твои подрались. Одного в милицию повели!

Я вернулся к себе. Сегодня первое мая. Лед на Амуре прошел еще вчера, завтра обещают первый катер, а это значит — конец моей командировке. Месяц я здесь. И весь месяц, не переставая, моросил дождь. Пальто до того отсырело, что не успевало за ночь высохнуть. Отяжелело и даже набухло, по утрам соскабливаешь с него засохшие комки глины.

С резиновыми сапогами легче. На крыльце кадушка с водой стоит. Окунешь в нее раз-другой — и, как новенькие, блестят.

В моем удостоверении в графе «убыл» поставлено: «30 апреля». Меня задержал ледоход, а то бы я был дома. Теперь я вроде только одной ногой в Москве.

В коридоре опять шум. Шумела комендантша нашего общежития старуха Прищепова. Это ее старухой окрестили в поселке, а зря. Младшему сыну ее Петьке всего шесть лет. Вообще у нее большая семья, поэтому и зовут старухой. Старший сын Виктор — плотник, как и отец. Есть еще двенадцатилетняя Катька.

Без стука старуха Прищепова ввалилась ко мне, плюхнулась на стул, заливаясь слезами.

— Ой, беда!

— Что случилось?

Она не ответила, мотала головой, платком утирала лицо. Наверно, я не первый, кому она успела рассказать о своей беде, и всякий раз начинала со слез. Хочешь не хочешь, а слезы сами льются при чужом человеке. Потом она высморкалась и рассказала. Виктор пришел с охоты и забыл разрядить ружье. Петька не только ухитрился оседлать его, но и нажать на крючок, и прошил колено Катьке. Главная врачиха Терентьева сказала, что рана пустяковая, но она, как на грех, на праздники отпустила хирурга к родным в область. Пришлось из райцентра вызывать другого хирурга.

— Сам Фомин в райцентре взялся за это дело, — рассказывала комендантша.

Фомин — начальник строительства комбината. Он тоже на праздник на бульдозере отправился к родным, когда еще тайгу не развезло вконец.

Неожиданно старуха Прищепова перестала сморкаться и плакать и строгим голосом спросила меня:

— Ты когда уезжаешь?

— С первым катером.

— А кто платить будет за койку?

Я ответил, что вчера мы с ней полный расчет произвели.

— Ты чего морочишь меня?

Я вытащил бумажник и протянул ей квитанцию.

Она замахала на меня руками и опять всхлинула:

— Ты уж прости меня. Я совсем с Катькой очумела.

Я так и не понял, зачем заявила она ко мне: рассказать о беде или не дать мне улизнуть, не заплатив за койку.

Сегодня дождь перестал, даже солнце выглянуло. На бараках флаги и лозунги, призывающие встретить Первомай перевыполнением плана. Весь поселок вдоль и поперек перерезан траншеями. В них укладывались подземные коммуникации будущего города строителей бумажного комбината. Самому комбинату место отведено в полутора километрах от поселка.

Попасть в столовую — событие, в контору — событие, в клуб — событие. Надо идти осторожно, прижимаясь к баракам. Утрапишь бдительность — и соскользнешь в траншею.

С утра в клубе крутили фильм «Знакомьтесь, Балуюев». Второй день поселок знакомится с Балуюевым. Даже на улице гремел его голос.

В столовой пусто, садись хоть за любой столик. Буфетчица Нюра по-праздничному — в белоснежном халате и такой же белоснежной косынке. В будние дни она без халата и косынки, а в ватнике и в ушанке.

— Чего брать будете? — спросила Нюра. — Винегрет, чай? Есть окулук.

Я взял все, что она мне предложила, и с тарелками направился к ближнему столику.

Посетителей сегодня — раз-два и обчелся, Нюра скучала, ее тянуло поговорить.

— Если с излучин лед не попрет, тогда хорошо. В прошлом годе попер, так катера только пятого мая курсировать стали. Слышали, что с Катькой Прищеповой приключилось?

— Слышал.

— Так я и говорю: если лед не попрет с излучин, тогда хирурга доставят. Своего-то по халатности отпустили.

Вошел верзила в ватнике и шапке-ушанке, хотя на улице май, а сегодня даже солнце выглянуло. Это Флягин, бывший уголовник. Его недавно показал мне капитан Крюков. При этом капитан сказал:

— Старый знакомый. По документам у него все правильно: свое отсидел, но глаз за ним нужен.

Я спросил, кто он по специальности.

— Вор-рецидивист.

— Здесь-то что собирается делать?

— Он на все руки мастер, только я не больно видел, чтоб он работал.

Флягин взял пять стаканов чаю. Два без сахара и три с сахаром.

— Вчера малость переложил в честь праздника, — объяснил он Нюре и с пятью стаканами на тарелке направился к моему столику.

— Разрешаете?

— Пожалуйста.

Флягин сел. Первый стакан осушил одним махом. В нем холодной заварки было больше, чем кипятку. Второй выпил с передышкой. Третий стал помешивать ложечкой.

Неуютно мне стало за столиком. Никогда еще не сидел в компании рецидивиста. Может, и сидел, да не знал. А тут знаешь, что человек воровал, может быть грабил, а сейчас вот этими самыми руками как ни в чем не бывало помешивает себе ложечкой в стакане. Волосы у него темные, еще не отросли. На висках седина. Не помню, где-то я читал, только помню точно, что читал про одного такого бандюгу, тоже бывшего: «...у него побивалась седина, как признак раскаяния...»

Опять заговорила Нюра:

— Если уж должна была беда стрястись, так хоть бы раньше или на пяток дней подождала.

— Ты это про девчонку? — спросил Флягин.

— О ком же еще, — отозвалась Нюра.

Слух о Катьке Прищеповой облетел уже весь поселок.

Флягин усмехнулся и сказал:

— Умна. По-твоему, несчастные случаи тоже по плану. Ты лучше скажи, почему дорогу перестали строить? Мы еще когда всем лагерем начинали ее.

Дорогу, о которой он говорил, я видел месяц назад, когда добирался со станции сюда. Аккуратная железнодорожная насыпь неожиданно обрывалась. В пятьдесят четвертом году лагерь закрыли, строительство поселка и комбината законсервировали, а когда снова стали строить, о дороге не вспомнили. Вернее, не то что не вспомнили, а не отпустили средств. Строить, мол, будете на Амуре, стало быть, летом водный транспорт обеспечен, зимой по льду ходить и ездить будете. Ну, а весной и осенью как-нибудь перебьетесь. Перебиться вставало в копейку. У полуторок и трехтонок летели подшипники. Три бульдозера стояли на приколе.

— Не приходилось бывать в этих краях? — спросил меня Флягин.

— Нет.

— Я, можно сказать, живой свидетель.

Наверно, он хотел сказать, что он живой свидетель не только дороги, но и чего-то другого, ждал, чтобы я начал его расспрашивать, но не дождался и заговорил сам:

— Мне говорили, что вы журналист, корреспондент — кто вас там разберет. Так я для вас подходящий экземпляр. Находка. Был вором, теперь свободный гражданин, как все.

Я еще не успел подумать, что ему ответить, как из-за своего буфета вступила в разговор Нюра:

— Что ж, тебе за это спасибо сказать надо?

Флягин ответил ей, а смотрел на меня:

— Другие, говорят, пишут.

Нюра не унималась:

— Выходит, если человек никогда не воровал, так ему за это памятник ставить надо.

На улице солнце прямо-таки стало припекать. Мелкие лужицы подсохли, большие подсохли с краев, а громадную, что перед конторой и парткомом, ничто не брало. Мутно-коричневая, она отливала на солнце жиром. Вчера водитель самосвала Сергей Прохоренко весь день сваливал в нее гравий, щебенку, а ей хоть бы что. Пришлось ее обложить дощатым настилом со всех сторон. Иначе улицу не перейти.

Сейчас в конторе много народу. Капитан Крюков сказал, чтобы остались только те, кто имеет «касательство» к данному делу. Имелась в виду Катя Прищепова, ее ранение в колено.

Народ стал расходиться, сокрушаясь, что беда стряслась именно в праздник. Я ловил себя на той же мысли. Казалось, что все мы были расстроены и удивлены не столько самим несчастным случаем, сколько тем, что он произошел в праздник, как будто, случись такое в будний день, это бы нас не так расстроило и удивило.

За своим столиком остался парторг Горшков. На лавочке у стены — Виктор Прищепов и его жена Нина. Виктор сидел, уперев локти в колени и обхватив руками голову. Была здесь еще врачиха Терентьева и я — представитель прессы, хотя в душе считал, да и по отметке в командировке выходило, что «убыл» еще тридцатого апреля.

Пока капитан Крюков детским почерком докладывал начальству о случившемся, я смотрел в окно. Там в громадной луже главный виновник Катькиного ранения. Петька Прищепов, деловито пускал кораблики — пустые спичечные коробки с воткнутыми в них горелыми спичками — мачтами. Петька отражался в луже, сверкал розовым, подстриженным к празднику затылком.

На столе парторга Горшкова зазвонил телефон. Горшков, еще не поднимая трубки, сказал:

— Фомин. Какой раз звонит.

— Тревожится, — вставил капитан Крюков.

По натуре Фомин оптимист, умел подбодрить людей самым неожиданным образом. Как-то в траншее к нему пристали девушки насчет сапог. Фомину негде было взять их, и он произнес речь.

— Когда мы откроем комбинат, — сказал он, — я расскажу народу, что ты, Валька, и ты, Женька, в тапочках прокладывали коммуникации. Пусть поклонятся вам в ноги. Поняли? Вам в ноги.

В другой раз две бабы заперли своих мужиков и не пустили их на работу. В керосиновой лавке не было керосина, не на чем было готовить. Мужики вернулись бы с работы — и подавай им есть. Бабы сговорились и не пустили их на работу.

К месту происшествия прибыл Фомин и толкнул речь:

— Ты, Митрофановна, и ты, Петровна,— герои! Без керосина семьи кормите. Клянусь, об этом вся страна узнает!

Мужиков выпустили из заточения.

Потом Фомин садился к телефону, звонил в райцентр и кричал:

— Где керосин, где сапоги? Тунядцы проклятые! Нет, говоришь, керосина, а сам, подлец, на чем яичницу жарить? Нет, говоришь, сапог? А сам в чем ходишь? Я из тебя такую дурочку сделаю!

Меня он называл не иначе, как спецкор.

— Ты что, спецкор, про наши недостатки писать будешь? Так мы и без тебя про них знаем. Ты напиши, как люди в тайге, по колено в болоте комбинат строят! И чего ты вообще такой бледный? Плохо, что ли, мы тебя кормим?

Он требовал, чтобы я под его диктовку записывал фамилии отличившихся. При этом грозился:

— Если хоть одну пропустишь — семь шкур спущу!

Затем он диктовал фамилии тех, кто, по его мнению, мешал стройке. Список выходил тоже довольно длинный.

Сейчас он потребовал к телефону Терентьеву, и уж не знаю, толкал он речь или нет, но трубка в руке врачихи трещала и трепыхалась, как живая. Терентьева сказала Фомину то, что уже, наверно, не раз говорила сегодня: что рана у Катьки пустяковая, ей накладывают жгут каждые два часа, а тут и хирург подоспеет, а что касается ее, Терентьевой, то она не имеет права братья за операцию, потому что она не хирург, а терапевт.

Горшков слушал, слушал, вздохнул и сказал, будто подумал вслух:

— Пилюли от головной боли и мы умеем давать.

А когда Терентьева положила трубку, Горшков спросил ее:

— Может, попробуешь?

— Не имею права. Теоретически еще кое-что помню.

— Вот и примени теорию на практике.

— Не имею права.

— А хирурга имела право отпускать?

— Кто знал, что такое случится...

Терентьевой не больше двадцати шести — двадцати семи лет. Она недавно окончила медицинститут. В Хабаровске у нее жених. Короче, она приехала сюда отработать положенное после института. Вчера у Горшкова мы праздновали наступление праздника. Была там и Терентьева, и капитан Крюков. В разгар вечера капитан, подвыпив, кивнул на врачиху и шепнул мне: «Приветливая фигурка». Даже в будни Терентьева одевалась так, будто собиралась в театр. Возможно, так казалось по контрасту с теми, кто ходил на земляные работы или кладку кирпичей. В поселке только и мелькали ватники, платки да сапоги, тут бросались в глаза красные или голубые с замысловатым узором чулки, ну а все остальное, по словам старухи Прищеповой, на Терентьевой было «жерсвое». Я никогда не видел ее печальной или в плохом настроении, вроде все в этой жизни, как говорится, ей улыбалось. Ну, а что касается тайги и непролазной грязи, так это ж временно.

Она и сейчас не унывала.

— Увидите,— сказала она Горшкову и всем нам,— все будет хорошо. Рана пустяковая, крови уйдет немного, а там катер с хирургом придет. От райцентра до нас и трех часов не будет.

— А ты ей влей кровь,— посоветовал Горшков.

— У нас аппарата нет.

— Почему?

— Известно, что сложных операций мы не делаем. Потом, сами знаете, как нас снабжают. Да и был бы аппарат, где я кровь возьму?

— Первая группа годится всем,— сказал Горшков.— У меня как раз первая.

— А чем я брать буду? Я же сказала, что аппарата у меня нет и большого шприца тоже.

Тут Виктор Прищепов прямо-таки взорвался:

— А что у вас есть, черт возьми!

— Вы не кричите на меня,— сказала Терентьева.

Виктор накинулся на Горшкова:

— Я вас тоже не понимаю! Вертолет вызывать надо.

— Это еще зачем? — спросил Горшков.— Катер вышел, через три часа придет.

— А если не придет? Если с излучин лед двинет?

— Ну вот, заладил. На всю область хочешь шум поднять. Незачем. И орать здесь незачем. Специалист больше нашего с тобой понимает. А главное — горлом тут не поможешь. Будем ждать хирурга.

Капитан Крюков кончил писать рапорт. Терентьева ушла. Виктор Прищепов опять сидел, уперев локти в колени и зажав ладонями голову.

— Ну а ты чего сидишь? — обратился к нему Горшков.— Наделал делов и теперь шумишь. Вертолет подавай тебе.

За Виктора заступилась Нина:

— Он что, по-вашему, нарочно ружье не разрядил? Петька, гад, виноват.

Горшков остановил ее:

— Тебя, Телятникова, не спрашивают.

— Была Телятникова, стала Прищепова, имею полное право.

С неделю назад мы целой гурьбой ходили в поселковый Совет регистрировать брак Виктора и Нины. Общими усилиями заполняли анкеты. Виктор вслух читал пункты, а когда нужно было подчеркнуть холост или вдов, а может, разведен, Виктор от волнения не знал, что подчеркивать. Вместе с анкеткой и паспортом он для авторитетности положил на стол и студенческий билет заочного строительного техникума. Но билет хладнокровно был отвергнут. Все шло хорошо, пока не спросили Нину, свою она фамилию оставляет или берет мужнину.

— Какую еще! — ответила Нина.— Свою.

— Стоп! — остановил дело Виктор.— Не согласен. Будешь Прищепова.

Тут вмешалась Валя, жена водителя самосвала Сергея Прохоренко:

— Ты с первого дня ни в чем не уступай ему! — науськивала она Нину.— Талдычь свое. Привыкнет, как шелковый будет. Разрешешь лишнюю стопку — на руках носить будет.

Нина послушалась и повысила голос:

— Была Телятникова и останусь Телятникова. Какая еще Прищепова!

Виктор выдержал паузу и отрубил:

— Будешь Прищепова!

Пришлось переписывать анкетку.

— Арестуй меня, капитан,— попросил Виктор Крюкова.— Я во всем виноват.

— На сегодня хватит,— ответил капитан.— Уже один сидит.

— Кто? — осведомился Горшков.

— Взрывник Мухин.

— По пьянке?

— Да нет. Подрался по личным мотивам. Сейчас выпущу пойду. Охладился, наверно.

— Иди,— сказал Виктору Горшков.— Специалист говорит, что рана пустяковая, так что нечего тут. Май на дворе... нехорошо, конечно, получилось. Только зря себя растравлять нечего.

Нина обрадованно подхватила:

— Слышь, вставай. Поправится Катька. Тебе что говорят?

Милицейская комната помещалась при райисполкоме, через несколько домов от парткома. Там же и кутузка, или просто сарай с отдельным входом со двора. На двери — висячий замок. Окон нет. Света и так хватало. Стены из досок, а между досками — щели с палец толщиной. Поселок только родился, опасных преступников еще не попадалось. Больше по пьяному делу капитан сажал, а эти долго не задерживались: проспят — и домой. Но все равно, какая там ни на есть, а тюрьма. Я пошел вместе с капитаном. Приятно человека на свободу выпустить.

Мы шли задами. Не доходя до райисполкома, увидели, что кто-то сидит у дверей кутузки на перевернутом пустом ящике. Это была геодестка Таня. Она сидела ссутулившись, вобрав голову в плечи. Капитан тронул меня за локоть и тихо сказал:

— На свидание пришла. Подождем маленько.

Нас разделяла канава с перекинутыми через нее досками. По скорбному виду Тани разговор у нее с Алешей Мухиным не клеился. Вот она поднялась, из разорванной пачки «севера» стала просовывать в щель папиросы.

Мы перешли по доскам канаву и услышали:

— Не хочешь разговаривать, так хоть покури. Без пальто замерз небось.

Она ушла, так и не заметив нас.

Капитан снял замок и распахнул дверь. На топчане из досок без пальто и шапки сидел Алеша Мухин. На полу валялось с пяток папирос.

— Выходи,— сказал ему капитан.— Посидел — и будет.

Алеша поднялся.

Капитан, указав на папиросы, спросил:

— Чьи?

— Не знаю.

Капитан передразнил его:

— Не знаю. А ну, подбери, тоже мне Пушкин.

Алеша подобрал папиросы, шагнул через порог и швырнул их.

— На опасной работе парень,— сказал капитан.— С характером.

Я не видел Алешу в работе, но взрывы, которые он устраивал каждый день, сотрясали тайгу и поселок.

Кончился очередной сеанс в клубе. Оттуда повалил народ и, точно сговорившись, направился к берегу, вниз по улице, к Амуру. Где-то в середине пристроилась гармонь. Хотя лед уже и прошел, но половодье начнется еще не скоро. С улицы было видно, что на берегу в разных местах жгут костры, поднимались дымки первомайских пикничков. Я тоже пошел туда.

У костров сидели кто на чем — на бревнышках, досочках, а кто и табуретки притащил. У одного костра расположился водитель самосвала Сергей Прохоренко с семейством — женой Валентиной и карапузом-сыном. К ним прилепился бывший вор Флягин. Я хотел пройти мимо, но Прохоренко остановил, пригласил, тут же вытащив из-под хвороста дос-

ку, припасенную, должно быть, для гостей. Здесь пекли картошку, лежали непечатые банки консервов, буханка, завернутая в газету. Вина не было. Вино вынимали в последнюю очередь, когда все готово, а пока прятали до времени.

Подошел Васька Краснушкин.

— Принимаете? — спросил он и отвернул борт пальто. Из внутреннего кармана торчало горлышко поллитровки.

Прохоренко усмехнулся и сказал:

— Раз пароль знаешь, садись.

Я заверил Сергея, что у меня «пароль» припасен дома, потом схожу. Сергей не возразил, а Валентина сказала, чтоб сгладить мужнину недогадливость:

— Вы гость, вам и без пароля можно.

Скоро наша компания обросла основательно. Лица вроде все знакомые. У другого костра затянули песню, стало быть, по одной уже пропустили, а может, и по второй.

Взрослые отдыхали в свое удовольствие, а вот мелюзге доставалось вовсю, знай бегай за сучьями и хворостом. Появлялись парни в пиджачных костюмах и белых нейлоновых рубашках, припрятанных до срока. Иные умудрялись прийти сюда в ботиночках с острыми носами. Каблуки и ранты сверкали белой засохшей глиной.

Пройдет не так уж много времени, и теперешние строители бумажного комбината станут производственниками. Не все, конечно, но многие. Поднимется город и корпуса комбината, по асфальту начнут курсировать автобусы. Сейчас в поселке одна средняя школа, скоро откроются вторая и третья, откроются техникум и всякого рода училища. Вон уже порт стали строить. Ну, а пока... пока лично Сергея Прохоренко заботило только одно: как бы не свернули строительство. В общем-то, по его словам, он везучий: строил Уфимский химический, Сумгаитский химический, так что должно и здесь повезти.

На эту его заботу огрызнулся Флягин:

— Ты знай себе крути баранку, а будет комбинат или не будет, работяг не должно касаться.

Прохоренко в амбицию:

— Каких таких работяг? Ты брось эти словечки. У нас, слава богу, не лагерь. Человек должен знать, что ждет его завтра.

Флягин ответил с нагловатой улыбкой:

— Конечная цель ясна, — сказал он, поглядывая по сторонам. — Коммунизм. С этим, надеюсь, спорить никто не будет.

Валентина Прохоренко потянула мужа за рукав и зашикала на него:

— Не спорь, слышишь!

Сергей и не думал спорить, впрочем, как и другие. А я подумал, что напрасно тревожится капитан Крюков, — бывшему рецидивисту Флягину здесь не разгуляться.

Появились другие банки консервов. Расширился и ассортимент вин: красненькое — для женщин. Я сходил домой и притащил свою белую поллитровку.

Ко мне подсел Васька Краснушкин.

— Встретил я сейчас Мухина, — сказал он, — идет, будто не видит. Я дурака спасти хотел.

— Врать-то зачем?

— Ей-богу.

Показались Виктор и Нина Прищеповы. Их увидели и заговорили о происшествии с Катькой.

— Мой тоже хотел ружье купить,— сказала Валентина Прохоренко.— Но я запретила.

Кто-то с ехидцей спросил ее:

— Сидеть-то не больно? Синяки прошли?

— А у меня и не было их,— ответила Валентина.

Незадолго до праздников в поселке объявился самозванный поп и подрядился крестить детей. О том, что он самозванный, это уж потом стало известно, а пока в одну из палаток кое-кто поторопился привести детей. Там самозванец раздевал их и сажал в громадный ржавый таз со «святой» водой. Притащила своего мальчишку и Валентина Прохоренко, но окрестить не успела — явился Сергей. Он вырвал мальчишку, а на улице при всем честном народе надавал Валентине шлепков.

Это и напомнили сейчас ей.

Я вспомнил, как Валентина науськивала Нину Прищепову в загсе ни в чем с первого дня не уступать мужу, что тогда он, мол, будет шелковым и за лишнюю стопку на руках носить будет. Не знаю уж, как там по части лишней стопки, только дальше, кажется, воспитательная работа не продвинулась. Оно и к лучшему, а то сидеть бы младшему Прохоренко в ржавом тазу.

Виктор и Нина Прищеповы тоже причалили к нашему костру. Виктору поднесли полстакана водки, и он осушил его одним махом. А осушив, повеселел и заговорил:

— Поверите, я до того перепугался, когда Петька, чертенок, произвел выстрел, а Катька закричала, что ноги как ватные стали и в глазах потемнело. Я двух уток влет с одного патрона, дуплетом. Второй патрон в стволе остался. Я и забыл на радостях, что двух враз дуплетом, и патрон оставил... Сейчас главное, чтоб катер с хирургом пришел. Он вот-вот придет. Из затона вышел четыре часа назад.

Кто-то спросил его:

— Ты каких уток взял? Чирков?

— Чирков.

Заговорила Нина:

— Он только сейчас с лица отошел.— Она повернулась ко мне.— Вы вот видели, какой он у Горшкова сидел полотняный. А уж как казнил себя, все Крюкова просил за решетку посадить.

Тут Флягин громко откашлялся, чтобы обратить на себя внимание, и, убедившись, что на него смотрят, высказался:

— За такое не сажают. Если б еще намеренно или преднамеренно. А это что? В кодексе, конечно, имеется статья, только я ее не помню.

Нина Прищепова встрепелась:

— Все-таки имеется?

— А как же,— продолжал Флягин.— Халатное хранение оружия. Если не ошибаюсь — до года впасть могут условно.

— Да ладно каркать,— сказал кто-то.

Виктор и не обратил внимания на слова Флягина. Он опять заговорил о том, что сначала его точно обухом по голове ударило, ну а теперь главное, что меры приняты. И еще он сказал, что в другой раз будет умнее. И никто ему не возразил. Все были согласны.

— Я, конечно, сказал Горшкову, пусть вертолет вызовет,— начал было Виктор, но его остановила Нина:

— Опять за свое?

— А что? — спросил Сергей Прохоренко.— Почему не вызвать? Письма и газеты сбрасывает. Всякие бандероли тоже.

У каждого костра пели свои песни. Сидели лицом к Амуру. Вода у него стального цвета с черным отливом. У берега торосы льда. Во время

ледохода его пригвоздило, да так, что придется Алеше Мухину подкладывать под него взрывчатку. Для судоходства торосы эти не помеха. Пристань свободна.

Прибежал Петька Прищепов и сообщил, что «дядя Коля, кажись, гроб готовит». Виктор опять как полотняный стал, рванулся было, но его удержала Нина.

— Ты слушай этого гаденыша! — закричала она и напустилась на Петьку: — Ты где это слышал?

— Я сам видел,— бойко ответил Петька.— Сначала топорщиком рубал, потом рубанком.

Дядя Коля, плотник из бригады Прищеповых,— конопатый крепкий мужичонка. Его еще называли «Сохатым», а по-научному — «Индивидуалистом», потому что дядя Коля любил выпить, но в одиночку, до того был прижимист. По вечерам он подрабатывал на стороне, промышлял нехитрой домашней утварью: табуретками, кухонными столиками. Словом, своего дядя Коля не упускал. Могло статься, и сегодня, прослышав о несчастье в семье Прищеповых, решил поспешить, как бы кто другой не обошел.

Кругом успокаивали Виктора: мало ли что проклятому индивидуалисту взбрендит в голову. Сказал и я Виктору, чтоб он сидел и никуда не ходил, а я сам пойду погляжу.

Столярная мастерская, как и слесарная, помещалась на главной улице. Еще не доходя до нее, я услышал посвистывание рубанка. Петька говорил правду. Дверь в мастерскую была притворена, но не заперта. Я вошел. Дядя Коля глянул на меня из-за верстака. На нем фартук, карандаш за ухом. Несколько штук обструганных досок уже лежали на полу. Летела серая, заляпанная стружка из-под рубанка. Доска становилась гладкой, кремовой, с желтоватыми прожилками. Я спросил Сохатого, что это он выдумал на праздник работать. Он ответил:

— Три дня праздник будет. Наотдыхаемся.

Я сказал ему, что это неуважение к празднику, и даже повысил голос, и даже пригрозил Сохатому: если он сейчас же не бросит это дело, ему несдобровать — пойду за Горшковым.

Подействовало. Он отбросил рубанок и снял фартук, проворчал:

— Ходят тут всякие.

Я дождался, пока он при мне не уйдет и не повесит замок на дверь.

Уже был вечер, и мы давно разбрелись по своим баракам, когда неожиданно потух свет во всем поселке. Думали, что авария с движком, а потом выяснили, что парторг Горшков приказал давать свет только в больницу. Катер с хирургом засветло так и не пришел. Но Горшков, видно, не терял надежды, поэтому и распорядился выключить свет в поселке, оставив только в больнице. Ведь на весь поселок один только движок. Сегодня праздник, никто рано спать не ляжет, гулять будут допоздна, и движок может не выдержать перегрузки, а тут понадобится свет в больнице.

В коридоре чиркали спичками и чертыхались. Я столкнулся с капитаном Крюковым.

— Флягина не видели? — спросил он.

— Днем на берегу видел.

— Он сейчас мне нужен.

— Что-нибудь случилось?

На вопрос не ответил, сказал:

— Погибает девчонка.

Мы снова с ним столкнулись уже на улице. Флягин был с ним.

— Заходите в гости,— сказал мне капитан.

В его комнате на столе горела керосиновая лампа. Флягин, развалившись на стуле, спросил:

— Какое у тебя дело ко мне?

— А ты торопишься?

— Да нет. Смех один, сегодня думал на берегу под солнышком выпить как человек, а тут нашармачка народу навалилось столько, что по два наперстка еле-еле хватило.

— Это дело поправимое,— сказал капитан и поставил на стол водку, принес колбасу, хлеб, соленые огурцы.— Как-никак старые знакомые. Вечер и скоротаем.

— Гитара есть? — спросил Флягин.

— Достанем.

— Доставай и девок тогда.

— Девки не будет. Ты давай режь тут хлеб, колбасу, а я стаканы раздобуду.

Я вышел вместе с ним в коридор, и он объяснил, чего ради надумал коротать вечер с бывшим рецидивистом: весь милицейский штат в поселке состоял из двух человек — он, капитан, и сержант. Тот дежурит на Молодежной, в палатках. Вечер праздничный, народ гуляет, а света нет. Флягин человек ненадежный, поэтому капитан и заманил его к себе.

— Для профилактики,— объяснил он.— За ним глаз да глаз нужен.

Я не стал коротать вечер в компании Флягина и пошел в партком. На улице ни зги. То тут, то там вспыхивали карманные фонарики. Только бы перейти улицу и не попасть в лужу перед конторой. Небо хоть и звездное, но безлунное. Спички лучше не жечь, долго не горят, а после них еще темней становится. Видно, не зря целый месяц по нескольку раз в день обходил я эту чертову лужу. Даже сейчас, в темноте, благополучно миновал ее.

В парткоме Горшков и супруги Прищеповы. Виктор и Нина на прежнем месте — на лавочке у стены. Горшков за столом. Большая керосиновая лампа стояла перед ним. Следом за мной прибежал кино-механик.

— Что же вы со мной делаете? — закричал он Горшкову.— Я думал, авария — оказывается, вы свет выключили! Я два сеанса недодал!

— Не ори,— сказал Горшков механику.— Завтра додашь. Запускай танцы под баян.

— В темноте?

— Керосин есть. Засветишь лампу. Не впервой!

— Мне-то что,— уже потише сказал механик.— Это вы в праздник людей удовольствия лишаете.

Старуха Прищепова металась между больницей и конторой.

— Помогите, голубчик,— просила она Горшкова и совала ему в руки школьный дневник Кати.— Одни пятерочки. За что же такое? Заступись! — Увидав Виктора, она погрозила ему кулаком: — Я тебя своими руками!..— Нина была начеку, только рот открыла, как и ей досталось:— Молчи, вертихвостка!

— За что оскорбляете?

Я остался один в парткоме. Все ушли в больницу. Горшков тоже пошел туда, а меня просил посидеть у телефона — на случай, если позвонит Фомин.

Начальник строительства не заставил себя долго ждать.

Скоро раздался звонок длинный — междугородный.

Я поднял трубку.

— Слушаю.

- Кто у телефона?
Я назвался.
— Ты, спецкор? Ну что там, катер пришел?
— Нет.
— Ну, а что слышать?
— Плохо.
— Что — плохо? Говори толком!
— Умирает девчонка.
Фомин посопел в трубку:
— Ты это точно знаешь?
— Точно.
— Ну, а если катер придет? Поспеют?
— Сомневаюсь.
— Ты подожди класть трубку. Давай еще поговорим. Где парторг? Горшков где?
— В больнице.
— Это хорошо. А ты что там делаешь?
— Горшков просил посидеть.
— Ты если что — звони. Телефон знаешь?
Я ответил, что знаю, что он передо мной под стеклом на столе у Горшкова.
— Надо ж такое. Да еще на праздник. Славная девчонка... Мать-то убивается?
— Убивается.
— А старик?
— Не видел.
— Как же вы там не сумели...— Он не договорил, бросил трубку. Пожаловал Алеша Мухин. Его пошатывало. Он выпил, кажется, изрядно — то ли с праздника, то ли, как бы выразился капитан Крюков, «по личным мотивам».
— Садись,— предложил я ему.
— Не хочу садиться. Я в больнице был. Плоха девчонка. Плоха. Я знаю, как надо жить. Надо жить так, чтоб каждый день тебе или орден или вышку. Скажете, хватил?
— Хватил.
— Пусть. Вы суть поймите. Например, я сегодня — сволочь. Поверил Краснушкину. А раз поверил — я сволочь и должен умереть. Без нее я все равно умру. Возьму и умру.
Явился и Краснушкин. Распахнул дверь и прямо с порога — ко мне:
— Скажите ему, нахалу, когда человек просит прощения, его надо прощать.
Алеша вышел и с силой захлопнул за собой дверь. Фитилек в лампе вздрогнул и чуть было не погас.
Краснушкин последовал за Лешей, но прежде сказал:
— Я себя ужасно ругаю. Когда у людей любовь — не надо встречать.
Теперь и мне можно уходить. Я затушил лампу и вышел. У крыльца стояли Горшков и Терентьева. Она без белого колпака, пальто внакидку. Терентьева куталась в него, захватив руками концы воротника. Я ни о чем не спросил, молчали и они. Я понял, что все кончено. Из клуба доносился баян. Там танцевали.
Первым заговорил Горшков:
— В Москве только гулять начинают... У нас тоже все танцуют. Пусть танцуют. Праздник.— И вдруг он громко матюгнулся, забыв, что рядом женщина. Однако тут же спохватился:— Прошу прощения. Я сего-

дня Виктора Прищепова ругал, а ведь он был прав с вертолетом-то. Эх! — Он махнул рукой, чтоб опять не выругаться, и ушел в партком.

Забрезжил свет в столярной мастерской. Теперь уж Сохотому никто не помешает. Сработал беспроволочный телеграф: к парткому стал стекаться народ. Выходили из клуба и из барачков, останавливались у крыльца, молча стояли. Подошел капитан Крюков, за ним Флягин.

— Ну и дела, — пробасил Флягин. — Челюскинцев спасали со льдины. Папанинцев тоже. В газетах пишут: скоро сердце из пластмассы вставлять будут, а тут девчонку упустили.

Кто-то поддержал его:

— Почку уже меняют!

Кто-то другой возразил:

— Сердце — это тебе не конечность какая, не вставные зубы. Вставные и те чувствуешь.

В окнах парткома и в окнах барака вспыхнул свет. На крыльце появился Горшков. Ходил, должно быть, звонить на станцию.

— Товарищи, — сказал он, — прошу продолжать праздник.

Прибежал киномеханик звать людей досматривать фильм.

Я смотрел на Терентьеву. Морщинки прорезали ей лоб. Странно, я раньше не замечал, что глаза у нее чуть-чуть косят.

— Идите домой, — сказал я ей. — Что ж теперь...

— Куда?

— Домой.

Она усмехнулась:

— Не домой, а в тюрьму.

— При чем тут тюрьма?

— А что же еще при чем? Не вам отвечать придется.

Разговаривать было бесполезно. Она еще ничего не поняла.

Я перешел через дорогу, чтобы идти домой.

Еще с улицы я увидел Флягина, он барабанил в дверь комнаты капитана. Она первая от крыльца. Видно, капитан, как только в поселке зажегся свет, бросил старого знакомого. Я тоже не хотел с ним встречаться сейчас, ведь наверняка пристанет. Пришлось повернуть от дома. Меня окликнул Горшков:

— Завтра, что ли, едешь?

— Если катер будет, уеду, — ответил я.

Постояли, помолчали.

— Да... — протянул Горшков. — Прав был Виктор с вертолетом-то. Ну пусть он о себе думал, а мы о чем думали? Я не хотел шум поднимать на всю область, думал, что обойдется без шума, да и молодой врач, а тоже о себе... погибнет человек от потери крови — одно, а на столе под ножом — другое. Зачем бралась не за свое дело. Так ведь?.. Нас с Фоминым называют сильными руководителями. А как же! В трудных условиях комбинат поднимаем. А почему в трудных? Да потому, что десять раз переигрывают проект, а мы ждем и на дорогу денег не требуем. Дерьмо мы, а не руководители. Кто Катькину жизнь переиграет? Случись, не дай бог, с моей дочкой такое или с твоей... у тебя сын или дочка?

— Дочка.

— Какое-то затмение нашло.

Он заговорил о том, что в нас самих живет беда, уйма бед под разными названиями: это и трусость, и равнодушие, это эгоизм, и безответственность, и что мы с легкостью готовы делить эти наши беды со своими ближними. Отсюда и результат: не о человеке сегодня думали, а о самих себе.

— Истинное затмение нашло... Ты-то где был? А-а, ты командировочный,— заключил он, что означало: с тебя, мол, и взятки гладки.

На это я ответил, что вертолет я тоже мог вызвать, так что затмение не только на него нашло, и виноват я не меньше, чем он, потому что дело не в должностях, а в том, что Катя погибла с нашего молчаливого согласия.

Горшков не слушал, перебил:

— Нет, ты не молчи, напиши, заклеи, чтоб другие умнее были.

Не так давно в одной из центральных газет я увидел снимок того поселка. Асфальтированные улицы, высокие дома с балконами. Да, это был уже город, о котором мечтал водитель самосвала Сергей Прохоренко, город, в котором одним человеком было меньше, чем могло быть.



БЕЛЬГИЙСКИЕ РАССКАЗЫ

Авторы публикуемых ниже рассказов Вард Рейслинк (р. в 1929 г.) и Иос Ванделоо (р. в 1925 г.) принадлежат к числу известных бельгийских писателей, пишущих на фламандском языке. Прозаик и поэт Иос Ванделоо является автором двух сборников рассказов, романа «Опасность» и сборника стихов «Шквал».

Вард Рейслинк — автор широко известного романа «Спящие выродки», сборника рассказов «Любители конины».

Произведения этих писателей, впервые публикуемые на русском языке, входят в сборник «Рассказы бельгийских писателей», который в скором времени выпустит в свет издательство «Прогресс».

ВАРД РЕЙСЛИНК

★

Любители конины

Мы видели, как строился дом Фогелей. Строили его два года назад, в очень трудное лето, когда яблоки падали с деревьев незрелыми, а налоги на землю росли. Мы видели, как он поднимался, кирпич за кирпичом, ряд за рядом. Видели, как его облицовывали, как крыли крышу. Видели, но помешать не могли. Стены не достигли еще и метровой высоты, когда моя жена заметила:

— Тут затеяли что-то особенное.

И она оказалась права. Дом построили в модном стиле коробки, с дорогой камышовой крышей, он походил на мечеть. Он был безобразен. Мы не могли помешать его строить, тем более ничего не могли сделать, когда здание уже было готово. Нельзя же ломать дома соседей, правда, есть законы о предприятиях, которые загрязняют воздух и портят людям жизнь, но там ничего не сказано об архитектуре. Говорят, тем, кто строит, виднее — им жить, но при этом забывают, что смотреть на дом приходится другим, а это тягостней, чем жить в нем. Вот о чем думали мы с женой. Мысль, что этот памятник дурному вкусу будет торчать у нас перед глазами до конца наших дней, угрожала нашему семейному покою. Большинство людей не обращает на уродство никакого внимания, но вид из окна вашего дома — вещь немаловажная. Он влияет на ваше настроение гораздо больше, чем принято думать. По утрам, раздвигая на окне штору, я сразу упирался взглядом в камышовую крышу. И я говорил жене, еще лежавшей в постели: «Все красуется».

К счастью, теперь уже это позади и прошлое можно вспоминать с усмешкой, с грустной усмешкой. А были дни, когда из-за этого дома мы не могли ни есть, ни спать. Он даже мешал нам любить друг друга. «Не смотри туда!» — говорила жена, и я плотно закрывал глаза, чтобы не ви-

деть крышу, под которой Фогели¹ свили свое гнездо. Вскоре жена забывала, почему я закрыл глаза, и начинала плакать, ибо нет на свете женщины, которая не сочла бы за оскорбление, когда ее ласкают, замурившись. Все это было очень неприятно. Понадобилось немало времени, чтобы притерпеться к дурному вкусу людей, с которыми мы не имели ничего общего. Нам было особенно тяжело, вероятно, потому, что мы никому не могли открыть свою душу. Нас заподозрили бы в зависти: ведь плотницкие работы в этой «мечети» поручили не мне. А что мне завидовать? Без работы я никогда не сидел — напротив, нередко отказывался от предложений. Но людям не втолкуешь. Недружелюбие и зависть им свойственны больше, чем любовь к прекрасному. Ну, да ладно, это все позади! Теперь мы подтруниваем над прошлым и нам уже все кажется смешным. Утром, когда я наблюдаю, как господин Фогель в восемь двадцать выводит из гаража свой «шевроле», проезжает через декоративную триумфальную арку, мимо часовенки с божьей матерью, которая с электрической свечой охраняет чистые нравы этой примерной католической семьи; когда вижу, как он поворачивает у кипарисовой изгороди и едет по дороге, которая, извиваясь по саду, делает ненужную петлю вокруг пруда, — я говорю жене: «Смотри, Филин расправил крылья». Мы называли наших соседей птичьим семейством. Каждый из них был назван птицей, на которую, нам казалось, был похож. Начала эту игру моя жена. Господина Фогеля — главу семьи — она окрестила Филином. Он часто возвращался поздней ночью.

Работал этот человек, как вол. Не знаю, чем именно Фогель занимался, но трудился он день и ночь. Из дому сосед выезжал в восемь двадцать — единственное твердо установленное время в распорядке его дня, а возвращался когда придется: в полдень, вечером, ночью. Нам долго не удавалось заглянуть за таинственную завесу, скрывавшую его деятельность, которая отнимала столь много времени. Жена моя очень интересовалась делами соседей, и я был уверен: она сумеет докопаться до истины.

Госпожу Фогель мы прозвали Цаплей: ходила она, как на ходулях, можно было подумать, что у нее нет колен. Вот жалость! Ведь, несмотря на это, Цапля была очень хороша собой. Такой женщине любой мужчина с радостью подарил бы виллу в полтора миллиона, даже если ему, как папаше Фогелю, не позволяли доходы. А что доходы Фогеля не позволяют делать такие подарки, мы знали совершенно точно. Мы, правда, еще не выясняли, каким путем он добывает средства к существованию, но давно поняли, что за пышным фасадом прячется нищета.

На столе у наших соседей было не густо. Брам, мой подмастерье, как-то здорово сказал о них: «Маслом они смазали себе зады, а хлеб едят сухомятку». Как мы об этом узнали? Очень просто: каприз судьбы и чуть-чуть нескромности... С Фогелями у нас оказалось двойное соседство. Их дом стоял напротив нашего, а мой склад лесоматериалов на Моленфелдлаан примыкал к саду Фогелей. То, что мы с Брамом слышали и видели через щели в заборе, лучше и не вспоминать. Мы были ошарашены, а для Брама, по уши влюбленного в дочь Фогелей, Шарлотту, это был настоящий удар. Ее, жемчужину образцовой католической семьи, мы прозвали Уточкой. Ей было семнадцать. Хорошенькая, своенравная блондинка, она, по достоверным сведениям, собранным Брамом, состояла членом всех клубов, имеющих какое-то отношение к воде: яхтклуба, клуба пловцов, клуба водно-лыжного спорта. Юная спортивная особа, которую не терзали никакие сомнения. Молодые повесы, заезжавшие за ней вечерами, по пути в клуб, тоже имели спортив-

¹ Фогел — по-голландски «птица»

ный вид: поджарые юнцы отличного телосложения, в отличных машинах, благовоспитанные мальчики из хороших семей. Брам сказал мне как-то, что они мажут волосы вместо бриллиантина жиром: по будням — маргарином, а по воскресеньям — сливочным маслом. Тут он, по-моему, хватил через край. Намасленные зады и намасленные головы?! Брам имел зуб на этих юнцов, которые лошадиными силами отцовских машин и карманными деньгами, что выдавали им мамыши, преградили ему дорогу.

Вот и сегодня в открытой спортивной машине подкатил один из поджарых петушков. Моя жена, видевшая из окна, как Уточка выпорхнула из дома и, охорашиваясь, уселась в двухместный автомобиль, ехидно заметила: «Опять сэкономили на обеде». Было двадцать минут первого, а обедали Фогели не раньше половины второго. Мы с Брамом давно это установили. Возвращаясь после перерыва в мастерскую в два часа, мы видели, что Цапля и Уточка еще сидят за столом. Обедали они обычно на большой застекленной веранде, выходящей в сад. Через нее все четыре или пять комнат просматривались насквозь. Я даже видел входную дверь своего дома, на другой стороне улицы. Иногда я замечал жену, стоящую у окна. А если бы не мешал забор, она тоже увидела бы меня, и мы могли бы через обеденный стол семейства Фогелей помахать друг другу рукой. Они сделали большую глупость, выстроив такую веранду, но еще большей глупостью было обедать на ней: сидят точно в витрине магазина. Даже без американского бинокля Брама было видно, с чем у них бутерброды. Чаще всего пустой хлеб. Но они, эти Фогели, держались невозмутимо. По совести говоря, мне и самому не пришло бы в голову, что соседи могут за мной шпионить.

Итак, в двадцать минут первого Уточка выскочила из дому к своему приятелю. Светило солнце. Дружок Уточки нажал на педаль «альфа-ромео», словно на педаль органа. Я еще сидел за столом, доедая вкуснейший ванильный пудинг с ромом и миндалем — пусть наш стол рассматривают в бинокль, мне краснеть не придется. — и настороженно слушал фугу «jeunesse dorée»¹: шум мотора, визг шин на повороте, пудок клаксона; в этой фуге звучали самоуверенность и беспечность поколения, которое мы помогли воспитать — я и моя жена, Филин и Цапля, а также папы и мамы спортивных юнцов. Ведь это мы раздули пожар войны и превратили в развалины дома, в которых они должны были вырасти и стать примерными гражданами. Это мы оставили им в наследство руины, трупы и ненависть, а теперь сердимся на то, что они больше не верят в любовь к ближнему и братство. Хоть я и не совсем понимаю нынешнюю молодежь, но не настолько глуп, чтобы ее осуждать. И никогда не стану винить молодых за то, что они не уважают старших. Они такие, какими мы их воспитали. Вот и сейчас мы опять готовимся воевать и злимся, что они с таким безразличием относятся к нашим войнам. Мы любим жаловаться на отсутствие у молодежи интереса к политике.

Я доел пудинг, скрутил сигарету и подумал, что после обеда надо зайти к Херкенрату за новой муфтой для станка. Жена возилась в кухне, а я, дремля в кресле, снова углубился в раздумья о нашей вине перед беззаботной, необузданной молодежью. Но не надолго — слишком плотно пообедал. И я незаметно уснул. В четверть второго меня разбудила жена.

— Ты кое-что прозевал, — сказала она, стоя на своем посту у окна.

— Да? Что же? — спросил я.

— Посмотри сам, — ответила она.

¹ Золотая молодежь (франц.).

«Ну что еще она там открыла?» Я нехотя поднялся и подошел к ней. Пока я спал, прошел небольшой дождь. На стеклах еще не просохли капли, но солнышко опять светило. Ничего интересного я не заметил. Жена показала на противоположную сторону.

— Видишь ту машину?

— Не показывай пальцем — это неприлично, — остановил я ее.

— Я спрашиваю, видишь машину? — повторила она.

— Не слепой, вижу.

У дома Фогелей в тени кипарисов стояло никелированное десантное судно на колесах из тех, что за неделю сожрет денег на бензин больше, чем хороший плотник заработает в месяц.

— Ну и что? — спросил я.

— Сейчас объясню. Машина стояла там в прошлую среду и в позавчерашнюю. Может быть, случайное совпадение, но этот тип всегда приезжает по средам, когда Уточка нет дома. Здесь что-то не то.

— Тип, говоришь?

— Ты что, не веришь мне? Я только что видела, как он вошел с черного хода. Уже в годах, волосы крашеные.

Я подумал: «И когда это она успела разглядеть, что у него крашенные волосы?» Но в делах такого рода женщины наблюдательней мужчин. Уж если старый повеса красит волосы — значит, дело нечисто, и хорошего не жди. Неужели наша Цапелка такая бессовестная, неужели она водит за нос милого господина Филина, который подарил ей дворец и работает ради нее день и ночь? Я высморкался и с интересом стал разглядывать «крейслер», этот десантный корабль, доставивший таинственного посетителя — пожилого мужчину с крашеными волосами, крашеной душой и крашеной жизнью. Человека, который малюет жизнь всеми существующими красками, словно он сам их изобрел, — всеми, кроме серой. Продавца радуги.

— Но... — начал я нерешительно.

— Что но?

— Да то, что это, может быть, совсем безобидно. Ну, зашел друг семьи, просто знакомый, отец или старший брат, — ответил я, считая, что не стоит торопиться с выводами, не то еще сам попадешь впросак.

Жена насмешливо улыбнулась.

— Да, да, конечно! И ему разрешается приходить только по средам, когда дочь выпроваживают из дому. Ну нет! Не такая я легковверная дура. В прошлую среду в половине третьего, когда этот тип уже торчал там, к дому подъехал пастор на своем корыте и поставил его у сада, рядом с той машиной. Ну и забавно было смотреть на шлюпочку пастора, пришвартованную к пакетботу крашеного. Пастор вышел из своего тарантаса, удивленно посмотрел на карету, повертелся возле нее, словно обнюхивая, а потом позвонил, но ему не открыли. Он позвонил еще раз, никто не вышел. Бедняга побрел, как лунатик, обратно. Надо было видеть его физиономию. Он был просто потрясен. Проходя мимо часовенки, он, как положено, снял шляпу перед божьей матерью, а сам все оглядывался на запертую дверь. Думай, что хочешь. Я рассказала только то, что видела собственными глазами.

Против такого аргумента возразить трудно. Я промолчал, взял скамина табак и скрутил сигарету.

— Все католики ханжи, — сказала жена.

Она была родом из протестантской семьи и никогда не упускала случая ругнуть католиков. Я давно порвал с церковью, и выпад жены меня не задел. Дерьмо верующих и неверующих воняет одинаково, это всякий знает. Сам я выскочил из поезда, едущего в Рим, не потому, что он слишком гроыхал или шел очень медленно, просто я вовремя разгадал,

что он идет совсем не в Рим. Если стрелки поезда переведены не на тот путь, куда надо, то не всегда по вине епископа, можете быть уверены, что тут приложил руки звонарь. И все же следовало возразить жене хотя бы для того, чтобы отвлечь ее от опасной темы.

— Почему ты считаешь Фогелей католиками? — спросил я. — Из-за часовенки или потому, что пастор обивает у них пороги? Положение обязывает. Если живешь в такой мечети, выбирать не приходится; за левых голосовать не станешь. Знаешь, может, и папа римский стал бы голосовать за левых, если бы не жил во дворце.

— Лео, ты невыносим, — ответила жена, — ты всегда хочешь казаться не таким, каков ты есть.

— А ты, милочка, злишься потому, что самой ни разу не подвернулся случай изменить мне, — рассердился я.

Она покраснела. Мне стало не по себе: зачем же я так нахамил ей? Я оделся, но все не уходил. Чего это я ляпнул? Может, я зря это сказал? Может, и у нее бывали случаи мне изменить, но она на это не шла — не решалась или совесть не позволяла. Такие дела были ей, наверное, не по нутру.

— Ну, пока, — сказал я.

— Ты уходишь?! — удивилась жена. — Только половина второго.

— Мне надо зайти к Херкенрату за новой муфтой для станка.

Я вывел из коридора велосипед, но, проезжая по Принсенлаан, передумал и решил свернуть на Моленфелдлаан. Мне захотелось все-таки хорошенько разобраться в этой истории с крашеным франтом. Уж таков я: не скажу, чтобы очень любопытен, во всяком случае не как моя жена, но считаю, что знать никогда не лишне. А если хочешь что-то узнать, то поневоле станешь бесцеремонным.

Брам был уже на месте. Его велосипед стоял в сарае. Обед он, конечно, проглотил наскоро, чтобы иметь время посидеть на складе и понаблюдать за своей зазновой. Я повесил пиджак на гвоздь, надел комбинезон и пошел в мастерскую. Надо бы навести порядок, столько опилок, что места проваливаешься по колено. Раньше опилки забирала кукольная фабрика в Бухоуте, но после войны она вылетела в трубу. Теперь кукол делают только из пластмассы. Я постоял немного, разглядывая заготовки и собранные двери. Вот уже несколько лет мы с Брамом только тем и занимались, что делали вторые двери. Просто удивительно, сколько людей вдруг захотело иметь прочные затворы, и особенно в домах побогаче. Мы с трудом справлялись с заказами. Казалось, холодная война и экономический кризис увеличили спрос на двойные двери.

Из мастерской я пошел на склад. Брам был там, он примостился на корточках у штабеля дров, разглядывая в бинокль двор соседей. Увлечшись, он не слышал моих шагов и вздрогнул от неожиданности, когда я шлепнул его по спине.

— Эх, дружок, опять охотишься за птичкой, а она тью-тью... улетела!

Брам поднялся. Я расхохотался, глядя на него. Парню нет и двадцати, а лицо старообразное и все в морщинах. Видно, таким измятым его вытащили из чрева матери. С годами он мало менялся. Только уши здорово выросли. Большие, подвижные, с розовыми просвечивающими мочками.

— Откуда вы знаете, что ее нет? — спросил он.

— Видел, как она уезжала из дому час назад с каким-то расфранченным павлином.

— Так я и думал, — пробормотал он разочарованно.

— Знаешь что, садись-ка на мой велосипед и отправляйся к Херкенрату за новой муфтой.

— Прямо сейчас?

— Да. В субботу надо сдать заказ Стокману. Поторопись, велосипед в сарае.

Я повертелся на складе, пока Брам не скрылся из виду, и схватил бинокль, оставленный им под навесом. Теперь уж я вел наблюдение через дыру в заборе. В саду никого не было, этого я не ожидал. На лужайке перед клумбой стояли два шезлонга, между ними валялся нераскрытый зонт от солнца. Лужайка напоминала картинку из модного журнала. Я не отрываясь смотрел в бинокль, казалось, протяни руку — и дотронешься до стульев, хотя на самом деле они были от меня метрах в десяти. Это местечко с яркой дачной мебелью — обычно здесь стоял и стол, но сегодня его, видимо, внесли в дом — было любимым уголком женской половины семейства Фогелей. Здесь Цапля и Уточка проводили все то нескончаемое свободное время, которое вместе с роскошным домом подарил им Филин. Здесь они загорали, курили сигареты, перелистывали журналы мод, купленные на деньги, сэкономленные на еде.

Сегодня только черный дрозд прыгал по лужайке. Я направил бинокль на веранду и увидел сквозь нее дверь собственного дома, но сейчас она меня мало интересовала. Я искал признаки жизни в доме Фогелей и очень разочаровался, никого там не обнаружив. Дом будто вымер. Непонятно. Ведь я сам видел машину в тени кипарисов. Тут мне пришло в голову посмотреть наверх, на второй этаж. И у меня дух захватило: окно в комнате над верандой было задернуто шторой. Конечно, это неспроста! Зачем задерживать штору средь бела дня?! Не знаю почему, мне стало обидно, как было обидно однажды в детстве, когда я увидел, что моя одноклассница Тилли, в которую я был влюблен, написала мелом на стене нашего дома: «Лео — гаденыш. Пристает к девчонкам». Позднее я понял, что обидя, которую я тогда испытал, была оттого, что я узнал: на свете нет людей, способных подняться выше житейских дрызг.

— Удалось что-нибудь разузнать?

Я испуганно повернулся и увидел морщинистое лицо Брама.

— А, это ты! — сказал я с облегчением и продолжал как можно естественнее: — Ничего особенного.

Я не хотел посвящать Брама в дела подобного сорта. Он был слишком молод и впечатлителен. Зачем тыкать его носом в такую грязь? Разберется сам постепенно. Ведь рано или поздно Шарлотта Фогель отрезвит его — пусть не словами, написанными мелом, а уничтожающим взглядом, — и он поймет, что в любви, как в торговле: хочешь получить редкую жемчужину — плати за нее.

— Что так скоро? — спросил я.

— Магазин закрыт. На дверях написано: «Летний отпуск».

— Черт возьми, об этом я не подумал. Что же делать? Ну, да ладно. Посмотрим. Как-нибудь выкрутимся.

Я протянул ему бинокль. Вид у Брама был жалкий, как у обломка корабля, выброшенного бурей на берег. Да, сегодня у него черный день. День, когда он не видел свою белокурую фею, приносил ему такую боль, как если бы с пальцев сдирали ногти. Но его страдания не вызывали во мне сочувствия. Нередко случалось, что, проработав с грустным лицом полдня, он шел на минуту в туалет и возвращался оттуда, навистывая. Можно подумать, что, избавившись от лишней влаги, он избавлялся и от любовных огорчений. Вот и на этот раз тучи неожиданно

рассеялись. Мы увлеченно работали, как вдруг он огорошил меня вопросом:

— Хозяин, что такое «консумация»?

Я смахнул со станка стружку и ответил:

— Значение этого слова, малыш, простое: потребление, использование.

— А вы не путаете с «консумцией»? Один мой кузен учится в семинарии, так он говорит, что без «консумации» брак недействителен. Не может быть, чтобы это слово означало потребление.

— Конечно, нет. Наверное, какой-нибудь религиозный обряд,— добавил я рассеянно.

Перед глазами все еще маячило задернутое шторой окно. Оно не давало мне покоя. Чем больше я думал, тем меньше верилось мне, что Цапля задернула штору на окне, принимая отца или старшего брата. Жене я решил не говорить. Как всякий мужчина, я не очень охотно признаю, что женщины лучше разбираются в людях. Но не удержался. Вечером, поужинав жареным картофелем с карбонатом, я рассказал жене о том, что увидел в американский полевой бинокль Брама. Я старался говорить как можно равнодушнее, словно речь шла о самых обычных вещах. Жена сидела и подпиливала ногти. В таких случаях в романах женщины обычно вышивают или вяжут, но мою фею я ни разу еще не видел за подобной работой. Не прекращая своего занятия, она иронически осведомилась:

— Ну, до тебя дошло? Все еще считаешь, что здесь чисто? Многие ведь задергивают штору, просто чтобы не выгорали обон.

Я не ответил, откашлялся, почесал затылок. В романах герою положено сказать что-либо значительное, от чего читателя бросит в дрожь, но я проглотил пилюлю молча. Положил в рот сливу, выплюнул косточку на тарелку и вспомнил со смешанным чувством грусти и почти исчезнувшей горечи о тех грубых словах, что написала Тилли на нашем доме вечером тридцать лет назад в то самое время, когда я, с нежностью мечтая о ней, блаженно лежал в постели. Интересно, кем бы я стал, если бы в тот день пошел дождь и я никогда не увидел бы этих грубых слов на стене? Возможно, я был бы добрей к людям. Всем известно: разочарования молодости оставляют неизгладимый след. Я взял еще одну сливу и выглянул в окно. Событие следовало за событием, как слива за сливой. К дому напротив подъехал голубой «шевроле» — вернулся Филин. Ничего не подозревая, он прилетел в свое загаженное гнездо. Вот он поставил машину в гараж, вышел оттуда, осторожно неся в руках пакет — подарок своей дорогой, верной супруге. Мне захотелось открыть окно и крикнуть ему что-нибудь ободряющее, ну, например: «Как дела, Альберт? Ты уплатил ссуду?» Или: «Альберт, дружок, приглядывай за домом!» Но побоялся, что он расценит эти слова, как вызов или вмешательство в его личные дела. Соседа звали Альберт — Альберт Фогель. Почтальон однажды по ошибке положил к нам в ящик письмо. Адресованное Альберту Фогелю. Это была повестка из ссудного банка.

Когда Альберт с пакетом скрылся за дверью, я включил радио, и мы с женой услышали конец проповеди:

— ...в смирении, полные любви и преданности, наши сердца обращены к богу, и потому мы вкусим вечное блаженство,— тянул елейный голос.

— Этот еще не выпрыгнул,— изрекла жена.

— Откуда? — поинтересовался я.

— Из поезда, идущего в Рим,— ответила она, не в силах отказать себе в удовольствии поиздеваться над моим объяснением, почему я отошел от религии.

По четвергам, раз в две недели, Фогели устраивали для своих приятелей прием — надо же поддерживать престиж. Забавно было наблюдать за возней, которая предшествовала столь важному событию. Послушали бы вы, как рассказывала об этом моя жена!

Приготовления начинались задолго до вечера. В два часа дня появлялось четверговое привидение — девочка-служанка. Мы назвали ее привидением не потому, что она была некрасива, а потому, что она появлялась только по четвергам и, словно дух, всегда в одно и то же время. Ее, видимо, нанимали специально на торжество. В другие дни привидение не показывалось. Роль этой девочки в фальшивом блеске дома Фогелей была более чем ясна — ее присутствие помогало держать марку. Никто из гостей не подозревал, что сразу же после праздника прислуга исчезает на две недели.

Жена неоднократно говорила, что ничуть не удивится, если узнает, что девочку берут на один день из Антверпенского сиротского дома. Но я не верю, чтобы в наше время происходили такие вещи и сироток за мизерную плату заставляли бы работать до седьмого пота в домах богачей. Нет, этот средневековый обычай сейчас не в ходу, хотя, положив руку на сердце, еще не скажешь, что социальная несправедливость искоренена.

Между тремя и пятью привидение управлялось с пылесосом, затем в доме один за другим появлялись поставщики вина, дичи, кондитерских изделий.

Продукты девочка принимала, надев соответствующий ее должности наряд — в белой наколке и белом переднике. Ей же надлежало получать письменные поздравления хозяевам и завернутые в шелковую бумагу цветы, которые между пятью и шестью приносили садовники. С половины седьмого до семи съезжались гости. Обычно к тому времени мы с женой уже успевали поужинать и могли без помех наслаждаться спектаклем.

Они подъезжали друг за дружкой на своих хромированных машинах. Виллемсы и Лауренсы, Питерсоны и Ван Схоорсы — все сливки общества с чванливыми физиономиями и притворной сердечностью. В кильватере следовали сыночки с квадратными плечами, зевая от предстоящей скуки. Молодежь не привыкла лицемерить.

Скрытые тюлевой занавеской, мы с женой наблюдали за происходящим из первого яруса. Я протягивал руку и говорил жене: «Разрешите программку». Она делала вид, что передает мне ее, а я, заглянув в воображаемую программку, объявлял: «Это пролог, пьеса еще не началась. Она называется «Насыщение пятью хлебами» и начнется, когда стемнеет». В доме зажигались огни, все было видно как на ладони. Что же они там делают? Ничего особенного: разговаривают, смеются, курят и с наслаждением вкушают — хлеб и вино. Светское времяпрепровождение — много болтают и мало делают. Молодежь, сидевшая на высоких табуретах вокруг бара, вроде бы не очень веселилась. Уточка исполняла роль хозяйки и, повернувшись оголенной загорелой спиной к старшим, курила сигарету, взятую из портсигара сидевшего рядом с ней высокого юноши. Время от времени на сцене появлялся призрак, маневрируя с подносом среди гостей. У бедного дитяти не было ни минуты отдыха.

В десять, самое позднее в половине одиннадцатого занавес опускался: ведь в празднестве принимала участие молодежь, поэтому оно не затягивалось за полночь. К тому времени мы с женой уже лежали в постели и, если еще не спали, слышали, как гости, чинно распрощавшись, отъезжали целой колонной. Не без сочувствия думал я о Фогелях, оставшихся после пира в своем роскошном доме в одиночестве, тупо разгля-

дывая обѣдки на столе и неоплаченные счета. В такие минуты во мне, видимо, сказывалось католическое воспитание, и суетность людей не сердила меня, а огорчала. Не знаю почему, но когда по четвергам я лежал в постели, я был совсем другим: более чувствительным, сердечным — одним словом, более человеческим. Возможно, это темнота так на меня влияла. Ведь не исключено, что сердечность боится света. А может быть, становишься добрее, если спокойно отдыхаешь, лежа в постели? Так вот, когда я лежал, прислушиваясь к голосам отъезжающих гостей, душу мою переполняла жалость. Мне было жаль не только Фогелей, но всех, кто из кожи вон лезет, стараясь произвести впечатление, что живет на широкую ногу. На другой день я, конечно, опять смотрел на них с презрением. Это чувство пробуждалось утром, как только я, поднявшись с кровати, отдергивал штору и говорил жене:

— Все красуется!

Полусонный, смотрел я на противоположную сторону, на этот образчик западного благосостояния, и, сразу же очнувшись, мысленно видел тысячи подобных монументов, поднимающихся на передней линии нашей цивилизации, словно чудовищная декорация человеческой комедии. Я без особого труда представлял себе оборонную сторону, голую закусную правду.

Будничная обстановка и трезвые мысли, вызванные ею, подготавливали меня к новому дню. И я вновь становился таким, каким был вчера, позавчера — героем собственной пьесы. Глядя в окно на камышовую крышу соседей, я тихо — так тихо, чтобы не слышала жена, — говорил: «Эх, люди, давайте подумаем о душе и вернемся к доброму старому времени, когда все жили бедно и были скромны в своих желаниях».

Что касается жизни Фогелей, она оказалась еще страшнее, чем мы предполагали.

Это открытие сделал Брам через несколько дней после того, как я посылал его к Херкенрату. Обычно по субботам мы кончали работу в двенадцать часов, но в тот день пришлось задержаться. Стокман начал проявлять нетерпение, на этой неделе он уже раза три звонил мне, а его заказ не был готов. Стокман — один из крупных антверпенских предпринимателей. Последнее время я регулярно получал от него заказы. Платил он хорошо, но был известен тем, что выжимал все соки из своих подрядчиков. Впрочем, таковы все удачливые бизнесмены, наживающиеся за счет национального строительного зуда. Им не терпится разбогатеть побыстрее.

Заказанные Стокманом семь дверей были готовы в начале второго. Я с удовольствием распрянул спину и сказал Браму:

— Ну, Брам, мы с тобой честно заработали воскресный отдых. В понедельник будем сдавать двери, смотри не опоздай.

— Хорошо, хозяин, — ответил Брам.

Его большие оттопыренные уши вдруг задвигались. Он схватил бинокль и побежал на склад. Я наблюдал за ним. Я сам некогда был молодым и влюблялся. И мне было понятно, почему в субботу Брам не может уйти домой, не подежурив у дыры в заборе. Он, как пьяница, хотел, чтобы хмеля хватило на все воскресенье. Заряжался любовью до начала следующей недели. Дни отдыха были для него тяжким испытанием. Брам жил в пяти километрах от меня, в деревне Хове. Голову даю на отсечение, для него это было все равно, что жить на другом конце света. Брам так втюрился в девчонку, что небось по субботам, когда он ехал домой, эти пять километров превращались в пятьсот. Зато в понедельник — в пятьдесят метров. Я его не разочаровывал. Будь что будет. Ведь от такой болезни нет лекарств. В один прекрасный день его любовь лопнет, как мыльный пузырь. Точь-в-точь, как было у меня с Тил-

ли тридцать лет назад, когда я утром вышел на улицу и прочитал, что она нацарапала на стене нашего дома.

Я снял комбинезон, положил заказ Стокмана в карман, чтобы вечером жена выписала ему счет, и немного постоял, рассматривая пестрый плакат, которым когда-то давно украсили сарай. На плакате велосипедист, увенчанный лавровым венком, совершает круг почета. Он едет не по арене, а по черным буквам, составляющим фразу: «Игло, чемпион любителей пива».

Мне до сих пор не совсем понятно, почему художник для рекламы предпочел велосипедиста, а не семейство эскимосов в чуме. Может быть, потому, что при виде пыльного, потного велосипедиста невольно захочешь пить. С эскимосским чумом такое, пожалуй, не удастся. Неглупо придумано. Мне тоже захотелось свежего пива.

Время обеда давно прошло, и я проголодался, как волк. Если я хочу в половине второго сесть за стол, то надо прогнать отсюда Брама. Не могу же я запереть мастерскую, пока он тут болтается.

Я пошел на склад и посвистел ему, но плутишка не обратил на меня никакого внимания.

— Слушай, ты что, есть не хочешь? — спросил я, подходя к нему.

Но он даже не шелохнулся, только тяжело вздохнул, как торфяник, страдающий ревматизмом.

— Сидят за столом. Ее отец тоже дома, — прошептал Брам.

Он никогда не говорил «Филин» или «Цапля», а всегда только «ее отец», «ее мать». Для Брама все крутилось вокруг Шарлотты. Она была центром вселенной. Когда речь шла о ней самой, Брам не осмеливался произнести ее имя и говорил «девушка». Было ясно, что он боится себя выдать, боится, что голос его дрогнет, когда он произнесет имя любимой.

— Да что ты! — буркнул я. — Вот интересно!

Я стоял рядом, не зная, как поступить: выпроводить его по-дружески или отругать. Пока я раздумывал, к ощущению голода в желудке примешался другой голод — любопытство. Но я понимал, что значат для Брама эти наблюдения, и мне стало совестно отнимать у него бинокль. Ведь он подсматривал, движимый любовью, а я — всего лишь злорадством. Поэтому я не взял у него бинокля, а только спросил:

— Ты видишь, что они едят?

На это он ответил как-то глухо, словно процедил сквозь зубы:

— Нет, не вижу. Да я и так знаю. Конину!

От удивления я вытаращил глаза.

— Как это так? Откуда ты взял?

— Ее мать специально ходит к нам в Хове, в лавку на церковной площади, где продают конину. Я сам видел ее там недели три назад, когда мы строили в Хове мостик. Постойте, когда же это было? Да, после вознесенья! Мы тоже покупаем мясо в лавке Арманда. Он нас хорошо знает. Я спросил его, часто ли она там бывает. Арманд сказал, что вот уже полгода она появляется у него раз в неделю. И знаете, хозяин, что спросил лавочник? — Брам отложил бинокль и продолжал, потупив взор: — Арманд спросил, держат ли они собак. Я ответил: «Нет! Почему вы так думаете?» Оказывается, иногда она покупает полкило обрезков и кости для собак. Какой ужас! Неужели они сами это едят?

Теперь уж я опустил голову. В голосе Брама не было и тени насмешки. Одна горечь. Я понял: он не простит Фогелям, что они кормят свою дочь, это неземное создание, обрезками и кониной. То, что «ее отец», «ее мать» обгладывают кости, не казалось ему ужасным. Но девушка — и такое мясо?! Нет! Чудовишно!

Новость ошеломила меня, и я только и мог выдавить из себя:

— Вот как!

Я тоже считал это чудовищным. Конина! И ради чего все это? Я еще раз убедился, что мы живем в сумасшедшем мире. Конечно, такой вывод не свидетельствует ни о глубине, ни об оригинальности мысли, но кто найдет более точное слово, более верное определение для таких странных поступков людей, которые по четвергам, широко распахнув окна дома, на виду у прохожих играют в скатерть-самобранку, а в субботу за закрытыми дверями обглаживают лошадиные кости, купленные в пяти километрах от дома, где не знают, что они живут в «мечети» с камышовой крышей. Как это назвать? Сами они, кто ест конину, наверное, называют это стремлением выбиться в люди, моя жена — чистейшим бахвальством, а другие, может быть, назовут гордостью или мужеством. Каждый объяснит по-своему. Я же считаю сумасшествием.

— Неужели Цапля ходит туда пешком? — расспрашивал я Брама.

— Не знаю, может быть, едет автобусом.

— И тратит на билет то, что экономит на мясе? Ну, нет! Пусть этому дурачки верят.

Я замолчал, потому что услышал в мастерской какой-то шум. Обернулся, но было поздно. Неожиданный посетитель оказался уже на складе. Я невольно попятился и от удивления даже рот разинул: к нам подходил пастор. Что он здесь потерял? Наверное, ошибся адресом? У нас ему делать нечего. Моя жена протестантка, я давно разделался с религией, и он прекрасно знает, что мы не принадлежим к его пастве.

— Убери бинокль и марш от дыры, — прошипел я Брам, сразу сообразив, какие последствия для моей репутации может иметь вторжение церкви в мою мастерскую как раз в тот момент, когда мы без зазрения совести подглядываем за почтенными Фогелями, этими ревностными католиками.

Пока посредник бога приближался к нам размеренным шагом, а Брам неуклюже прятал бинокль за спину, я, чтобы спасти положение, быстро вынул из кармана мел и принялся без разбора ставить на досках крестики.

— Эти возьмем на распиловку, — неестественно громко говорил я.

— Чтобы распилить? — заикаясь, поддержал Брам.

— Добрый день, — произнес пастор.

— Добрый день, господин пастор! — ответил я, глядя в сторону.

Пастор с вежливым интересом, но с затаенной усмешкой разглядывал мои ненужные пометки, заложив руки за спину, словно и он прятал бинокль. Заговорил не сразу, ничего не сказал даже о погоде, хотя это благодатная тема для того, чтобы завязать беседу. Он стоял и наблюдал, будто только для того и пришел, чтобы посмотреть, как мы тут управляемся и насколько нам это удастся. Наконец, все еще молча, он вынул руки из-за спины и сложил их на животе. Бог мой! Ну и лапы! Настоящие угольные лопаты. Я таких никогда не видел. Эти руки и лошадиная голова пастора напомнили мне дона Камильо¹. Да, такой знает, где и как защищать интересы церкви.

— Так-так, — нарушил я затянувшееся молчание. — Чем могу служить, господин пастор?

— Видите ли, я зашел, чтобы осведомиться, не могли бы вы принять заказ на молитвенную скамейку, — ответил пастор.

Он говорил степенно, но чересчур по-книжному. Некоторым излишек образования явно вредит.

— Молитвенную скамейку? — переспросил я. — Очень жаль, но уже

¹ Комический герой серии приключенческих книг современного итальянского писателя Гуареки.

несколько лет я делаю только двери, у меня специализированная мастерская.

— Да, я слышал, но подумал: дай зайду, может быть, вы все же сделаете.

Я не прочь был взять этот заказ, даже интересно для разнообразия. Таких вещей я еще не изготовлял. Но по ряду причин, а главное из-за жены, следовало отказаться. Не зная, как закончить разговор, я сказал:

— Если возьмешься за один заказ, то и от других не отвертись. А заниматься этим нет смысла. Невыгодно. Если специалист начинает размениваться на мелочи, это уже не специалист. Сами понимаете.

Да, пастор понимал. Во всяком случае он не настаивал. Я дал ему адрес мастерской, куда он мог обратиться, он ответил мне, что уже был там, но испугался цены.

— За такие деньги я позволил бы из своей задницы целый алтарь вырезать.

В устах пастора эти слова прозвучали ужасно грубо.

Заскрипели ботинки, промелькнула черная сутана, и пастор исчез так же внезапно, как появился.

Мы так и застыли на месте, разинув рты. Мне понравилось, что он не рядится в мирское платье, как некоторые его коллеги. По-моему, пастух должен чем-нибудь отличаться от своего стада.

Пастор ушел, но меня мучило беспокойство.

— Брам,— спросил я,— ты веришь, что ему действительно понадобилась эта скамья?

— С вашего разрешения, хозяин,— ответил плут,— я думаю, он приходил что-нибудь выведать.

— Точно, и я так думаю. Даю голову на отсечение, он — агент контрразведки.

Моя жена, когда я рассказал ей о пасторе, вспылила:

— Сколько раз я тебе твердила, не верь этим стервятникам.

Чтобы увести ее от щекотливой темы, я немедленно преподнес ей историю с кониной. И тогда произошло нечто удивительное: лицо ее опечалилось и она погрузилась в грустные мысли. Мы долго молчали. Потом она подняла голову и сказала:

— Мы частенько насмеялись над ними, но, если вдуматься, нельзя не признать: госпожа Фогель — мужественная женщина. Ей нельзя помочь, но и нельзя не уважать женщину, которая пытается спасти семью от краха. А вы, мужчины, считаете, что только вы и заботитесь о семье.

Я снял ботинки и молча стал разглядывать дыру в носке. Мной постепенно завладели два противоречивых чувства: злость и сострадание.

Семь дверей, заказанных Стокманом, нужно было доставить в разные концы города. На это ушло все утро понедельника. С Груненберггаллеи мы поехали на Берхем, затем на Дёрке и Ривиренхолфаллею. Странное дело: есть деревья или их нет, улицу теперь все равно называют «аллея». Более того, именно там, где вырубил лес, как грибы, выросли аллеи. И сразу же муниципалитет украсил их зеленой каемочкой — жидкой полоской из редких кустиков. Там, где разгулялся капитал, не остается места природе. Впрочем, какое мне дело? Я плотник и не могу обойтись без древесины, так что не мне жалеть вырубленные леса. И все же нельзя равнодушно смотреть на такое варварство.

Дом, куда мы доставили четвертую дверь, выглядел, как расфранченная уличная девка: пестрый фасад из цветных плит с большими лилово-голубыми и зелеными пятнами мозаики держался, как на каблуках,

на подставках из неотесанных глыб. Глядя на этого уродца, хотелось плакать.

— И куда только не швыряют деньги,— сказал я Брам.

Но он не понял, лишь взглянул отсутствующим взором. Мысли его были далеко. Фитилек любви медленно тлел, подбираясь к пороховой бочке страсти. Я попытался затоптать этот фитилек, вернуть Брама к действительности:

— Хватит дурака валять, поворачивайся. Дверь надо нести на балкон,— прикрикнул я на него.

Подняться на третий этаж с такой ношей было нелегко. Узкие крутые лестницы стояли еще без перил. Штукатурка на стенах не высохла. Дул резкий ветер, и на балконе сквозило, как в трубе. Дверь мы навесили быстро, но закрывалась она неплотно, и Брам занялся подгонкой, а я, подняв воротник, стоял на балконе и смотрел на улицу. Дом, где мы работали, угловой, и отсюда через незастроенный участок была хорошо видна соседняя аллея. Там находилась аптека, тоже, видно, недавно освободившаяся от лесов. С подоконника над витриной ветер сорвал листки герани. Они падали, кружась. Один из листиков опустился на плечо мужчины, стоявшего внизу. Но мое внимание привлек не листок герани, а этот замешкавшийся прохожий, я почувствовал, что нахожусь на пороге важного открытия. Там, у аптеки, засунув одну руку в карман и держа в другой яркий саквояж, стоял Филин. Сначала я подумал, что он смотрит в витрину, как в зеркало, проверяя, в порядке ли у него прическа и галстук, но потом заметил, что он поворачивает голову— видно, изучает образцы, выставленные на стеллажах. Мне стало ясно, что он сделает через несколько секунд. Я так разволновался, что не смог произнести ни слова и пихнул Брама ногой в зад. Тот перестал строгать и удивленно посмотрел на меня. Парень не привык к такому обращению, я никогда не пинал его. По рукам, правда, раза два шлепнул.

— Наконец-то мы все узнаем,— шепнул я ему.

— О чем вы? — не понял Брам.

— Посмотри, кто стоит там, внизу!

— Где?

Я кивнул в сторону аптеки. Брам раскрыл рот от изумления и побавровел.

— Ее отец,— хрипло выдавил он.— Что ему здесь надо?

— Сейчас увидим,— ответил я многозначительно, будто знал все заранее.

Альберт Фогель поступил так, как я и предполагал,— он открыл дверь и вошел в аптеку. Мы видели, как терпеливо он ждал, пока, оторвавшись от своих пилюль, к нему приблизился аптекарь. Они обменялись несколькими словами. «Ее отец» положил на прилавок саквояж и раскрыл его. Нам не было видно, что он оттуда извлек, да это и неважно. Мы уже знали достаточно. Из аптеки он вышел минуты через три. Я потянул Брама в комнату. Если бы старик Фогель случайно взглянул вверх, он, конечно, узнал бы нас. Мне было жаль его, и я не хотел, чтобы при встречах со мной он чувствовал себя неловко. Но как он ухитрился сколотить средства на постройку такой богатой виллы, продавая медикаменты?! Наше время полно чудес, но такого чуда я еще не встречал.

— Знаешь, Брам, брошу-ка я плотничать да пойду торговать пилюлями. Видно, на этом здорово зарабатывают,— пошутил я.

— А он что-нибудь продал? — спросил Брам с таким любопытством, будто и ему перепадало из кормушки Фогелей.

— Может быть, свою душу! — пробормотал я.

Два дня спустя я с ужасом узнал, что для содержания дома старик Фогель продал не только свою душу, но и свою жену. В среду, во второй

половине дня, по телевидению показывали интересный футбольный матч. Брам, ярый болельщик мадридского «Реала», еще утром притворился, что у него болят зубы. Я его видел насквозь. Никакая зубная боль не помешает ему примоститься у экрана телевизора, тем более что сегодня Шарлотты Фогель не будет дома. Брам хотел сразу поймать двух зайцев. Я не мелочен и, отпустив по его адресу несколько язвительных шуток, разрешил уйти. Работы у нас было немного, и я вполне мог справиться один. После обеда, часа в два, я пошел на склад, чтобы выбрать доски для двери. Небо сплошь затянули кудрявые облака, похожие на взбитые сливки.

Пронеслось звено истребителей, оставив за собой три одинаковые белые полосы. Я немного послушал удаляющийся шум реактивных моторов, потом взял метр, чтобы замерить доски, но меня остановили голоса, раздавшиеся из-за штабелей. Я так и замер, боясь шелохнуться. Вначале ничего нельзя было понять, но вот голоса зазвучали громче, раздраженно, и я стал разбирать все до последнего звука.

— Что с тобой? Ты больна? Почему не отвечаешь? — зло и нетерпеливо говорила Цапля. Не получив ответа, она продолжала с упреком: — Ты же никогда не бываешь по средам дома. Что случилось? Поссорилась с кем-нибудь в клубе? С Генри?

— Хм! Генри! Буду я сердиться на этого пустомелю! — Голос Уточки прозвучал резко.

— А почему ты отказалась с ним ехать?

— Потому что не хочу. Похоже, по средам меня выставляют из дома. Может быть, на то есть причина?

Осторожно, на цыпочках, я подкрался ближе к забору. Перебранка между матерью и дочерью? Как такое пропустить! Никогда не знаешь, что господь бог вложит в уста своих созданий в солнечный сентябрьский день.

— Шарлотта! Жизнь бывает иногда очень сложной. К счастью, ты многого не знаешь. Может быть, у меня есть причина удалить тебя из дома, но я не могу объяснить, ты не поймешь. Это огорчит тебя... Для твоего же счастья...

Она говорила уже другим тоном. Судя по голосу, можно было подумать, что она стоит на коленях перед дерзкой девчонкой. А эта дрянь молчит — упрямо, вызывающе. Цапля глубоко вздохнула. Видно, это молчание еще больше ее удручало.

— Почему ты делаешь мне больно?

Девчонка фыркнула и повторила три раза:

— Больно, больно, больно!

Я как наяву увидел ее в бассейне, на краю вышки. Приготовившись прыгнуть, она считает: «Раз, два, три» — затем прыгает.

И она прыгнула.

— Тебе больно?! Сама виновата! Говоришь, что жизнь очень сложна. А кто ее сделал такой? Жила бы с одним, а не с двумя, вот и не было бы сложно.

Повисла гнетущая тишина. Сердце у меня чуть не выскочило из груди. Нет, здесь не простая ссора. Это битва не на жизнь, а на смерть. Я страшно растерялся, хотел облокотиться на доски, но отпрянул, испугавшись, что любой шорох в этой мертвой тишине меня выдаст.

— Шарлотта! — задыхаясь, произнесла госпожа Фогель. — Как тебе не стыдно!

— Мне стыдно, — ехидно сказала дочь, — за тебя!

— Замолчи! Ты не имеешь права...

«...осудить свою мать», — мысленно добавил я. Но Цапля этих слов не произнесла, во всяком случае я их не слышал. До меня донесся лишь

стон и больше ничего. Я отважился заглянуть в щель и увидел страдальческое лицо мамы Фогель. Оно было похоже на проколотый воздушный шар, из которого медленно улетучивается газ. Цапля стояла под полосатой шляпкой тента-гриба и безмолвно смотрела на дочь, а та, сидя на стуле, с холодным вызовом красила ногти. На столике между ними стоял транзистор. «Qu'est-ce que c'est l'amour?»¹ — лился приглушенный голос Эдит Пиаф. Это было страшно.

Наконец Цапля медленно опустилась на стул. Белая, как мел, не в силах произнести ни звука, она лишь смотрела на дочь, которая завинчивала пробку флакона с лаком и дула на ногти. Ее глаза не были похожи на глаза счастливой, беззаботной женщины с картинки из журнала «Красивая жизнь», они больше подходили к измученному лицу женщины с рекламы таблеток от головной боли.

— Какая ты недобрая, — сказала наконец Цапля и опустила голову. — Почему ты так жестока со своей матерью? Я не заслужила этого.

Я видел только спину Шарлотты и ее светлые волосы, свободно падавшие на плечи. Лица я не видел, но очень хорошо представлял себе, что оно выражает, когда Шарлотта сказала:

— А папа заслужил твою жестокость?

— Не говори так, — тихо, с надрывом в голосе попросила Цапля. Она протянула руку и выключила радио. — Отцу все известно, Шарлотта. Но он понимает, так надо. Если бы ты знала, Шарлотта, как мы глубоко увязли. Иначе я ни за что на свете не пошла бы на это... Но если ты можешь избавить семью от публичного позора за счет своего собственного, который отяготит только твою совесть... Другими словами, когда приходится выбирать из двух зол...

Дальше я не понял. Она говорила очень тихо. Потом до меня опять стали долетать слова:

— Мы с отцом хотели уберечь тебя от унижения. И не только от унижения, но и от жестокости людей. Ты говоришь о жестокости, но ты по-настоящему с ней не сталкивалась. Жестокими бывают чужие, просто так, из недоброжелательства или зависти. Если у тебя все хорошо — тебе завидуют, если тебе плохо — злорадствуют. Таков мир. Ты еще все поймешь.

Она замолчала. Я увидел взгляд белокурой Шарлотты, обращенный на мать. Она повернулась ко мне профилем. Шарлотта смотрела на мать, как на чужую, неопрятную женщину, которая, не стесняясь ее, ищет в белье вошь.

— Если я правильно поняла, — заикаясь, произнесла Шарлотта, — ты еще и деньги берешь за это?!

— Не «еще и деньги», — спокойно поправила мать, — а только из-за денег я это делаю. — Она прикусила нижнюю губу, отвела взгляд в сторону и добавила: — Ради тебя.

Девчонка язвительно рассмеялась:

— Ради меня? Ради денег, хотела ты сказать!

— Одно с другим связано, — ответила Цапля. Теперь ее лицо напоминало гипсовую маску. — Разве ты жил бы беззаботно, как сейчас, если бы на дом и имущество был наложен арест?

— Я не просила вас переезжать во дворец, — грубо возразила русалка. — Зачем прыгать дальше своего шестка? Не понимаю, что за радость в нашей жизни. Конина и маргарин, подумаешь, экое счастье! А на клубы я выбрасываю двадцать франков в месяц. Ничего себе, а? *Dolce vita*².

¹ «Что такое любовь?» (франц.).

² Сладкая жизнь (итал.).

«Слушай, слушай,— сказал я себе.— «Sweet seventeen»¹ — манифест юности».

У нее была наготове еще целая куча упреков. И в то время, как дочь крикливо изрыгала всю эту мерзость в испуганное лицо матери, в саду, словно на сцене, появился еще один актер. Я затаил дыхание. Ну, конечно, это крашенный франт. Он остановился у террасы, но в сад не пошел. Жаль, хотелось разглядеть его поближе. Как только мамаша с дочкой увидели его, безобразная сцена оборвалась. Шарлотта растерялась, покосилась на мать: она просто не могла сообразить, что ей делать. Затем вскочила, схватила со стола транзистор, флакончик с лаком и бросилась из сада мимо ошеломленного посетителя. Как только дочь исчезла, Цапля поднялась и медленно пошла навстречу своему любовнику. Она ступала величаво, не торопясь, будто принимала участие в церемониальной встрече высокопоставленных особ. Вот она подошла к гостю, и тут произошло что-то очень странное. Крашенный господин — я буду называть его «господин», это слово ему подходит больше всего,— сделал движение, полностью гармонирующее с недавно разыгравшейся мелодрамой. Он сделал движение, какое я видел только в театре да еще читал про это в пухлых рыцарских романах.

Я не мог прийти в себя от изумления даже вечером, когда, лежа в кровати, рассказывал жене о том, что видел и слышал в саду Фогелей. Перед глазами все время стояла эта дурацкая сцена. Может, она мне приснилась?

— Он встал на колени и поцеловал ей руку, как «черный рыцарь»,— говорил я жене.— Смешно и нелепо, но мне было противно.

Жене эта сцена не показалась ни смешной, ни противной. Кажется, она растрогалась.

— Да! Ты на такое не способен!

— Я скорей поцеловал бы ей колени, ведь руку можно поцеловать стоя.

— А госпожа Фогель? Что она сделала? — спросила жена.

— Она? Ничего! Сказала что-то.

— Что?

— Не знаю, не слышал. Они были далеко от меня.

— А потом? В дом пошли вместе?

— Наверное, но я уже не смотрел. Не хотелось.

Мы молча лежали рядом, наблюдая за красными всполохами, прорезавшими небо. Они вспыхивали, как свет иных миров. Вспыхивали и гасли. Сентябрьская ночь. Сентябрь — месяц фейерверков, когда что ни день — праздничное гуляние и салюты.

— Диковинные вещи творятся в мире,— помолчав, начала жена.— Подумай только. Где-то ради развлечений бросают на ветер миллионы, а бедному Фогелю, чтобы выбраться из беды, может быть, хватило бы и полмиллиона.

— Видишь ли, дорогая, такое случается, когда хочешь прыгнуть дальше своего шестка,— сказал я и спохватился. Именно эту поговорку употребила Шарлотта в разговоре с матерью.

— Опять ты со своим шестком,— с досадой буркнула жена.

Я не понял, что она имеет в виду. Поговорку о шестке я приводил не очень часто. Может быть, она считала, что жизнь Фогелей не объяснишь ни поговоркой, ни поговоркой?

Я видел, как над крышей соседа вспыхнули красные и зеленые огоньки, похожие на мыльные пузыри,— взлетели, сверкнули и лопнули.

А по радио Пиаф пела про любовь — как раз подходяще для

¹ Название популярной на Западе песенки «Семнадцать лет — чудесная пора».

такой ситуации. Наверное, Шарлотта включила транзистор нарочно, чтобы досадить матери.

— Иногда я думаю,— сказала жена,— может быть, в наше время родители — жертвы своих детей? Или дети — жертвы родителей?

— Тебе лучше знать,— ответил я.— Недурно бы ученым организовать курсы для родителей. Только вот беда. Детям не навяжешь морали, в которую взрослые сами не верят. Они ее не примут.

— О, Лео! Взгляни, какая прелесть!

За окном в небе расцвел огненный подсолнух.

— Изумительно,— подхватил я.— На деньги, истраченные на этот цветочек, Фогели полгода могли бы покупать говядину.

— Какой ты злой,— сказала жена.

Но хотя фраза моя прозвучала ядовито, я не хотел этого. И чтобы успокоить жену, я взял ее руку и тихонько пожал.

— Нет, Лео! Не сегодня,— прошептала она.

Я закрыл глаза и улыбнулся. Она не поняла меня.

— Хорошо, сегодня не надо! — согласился я.

Мы лежали, держась за руки, а над домом Фогелей с громким треском взлетали разноцветные звезды.

В начале ноября Брам явился святой дух — не в образе голубя, а в образе дядюшки-миссионера,— который внушил ему, что в мастерской Сервуса Дея он заработает больше, чем у меня. В семействе Брама был явный избыток дядюшек и кузенов. Рассеявшись по всему миру, они щедро раздавали советы из любви к ближнему, а тем самым еще больше запутывали своих ближних.

— Надеюсь, что потом не пожалеешь,— сказал я ему, когда он зашел, чтобы получить причитающееся жалованье и взять свой бинокль.— Я слышал, что Сервус Дей имеет привычку не платить новичкам. Не меняешь ли ты хлеб на солому? Ты уверен, что там заработаешь больше?

— Я разговаривал с штукатуром, который там работает. Они платят хорошо. А подмастерья-плотники им сейчас позарез нужны,— ответил Брам.

— А что мать говорит? Она довольна?

— Да, хозяин. Ведь я принесу домой больше.

— Что ж, тебе видней, парень. Удерживать не стану.

Он наклонил голову, виновато и застенчиво улыбаясь, и вертел в руках бинокль.

— Бинокль тебе теперь вряд ли понадобится. По крайней мере так часто.

Брам вспыхнул. его большие уши задвигались.

— Нет! — подтвердил он с глупой улыбкой и внезапно протянул мне бинокль.— Возьмите!

— Ты даришь мне его на память?

Его порыв удивил и растрогал меня, и я чуть было не протянул руку за подарком, как вдруг он добавил серьезно:

— Возьмите, чтоб наблюдать за соседями.

— Хм, дружок, ты, конечно, не думаешь, что я...

Я закрыл один глаз и поглядел на него, как циклоп. Брам покраснел еще больше.

«Послушать людей,— думал я,— мир полон любви, а на самом деле он погряз в пороках, сладострастии и дурных помыслах». Я вздохнул.

— Знаешь, если бы я даже и захотел воспользоваться биноклем, то ненадолго. Фогели переезжают. Дом продается.

Я не собирался говорить ему об этом, но когда сказал, то подумал: «Может быть, ему теперь будет легче уйти?»

Брам удивился, но это известие не задело его глубоко. Он как будто окончательно порвал со всем, что связывало его со старой работой, двойными дверями, со складом, с «дамским уголком» и «агентами контрразведки». Как все просто, когда тебе девятнадцать. В этом возрасте неразделенная любовь причиняет неприятностей не больше, чем несварение желудка: вставил два пальца в рот — и можно начинать сначала. Брам смотрел на жизнь еще проще. Он мгновенно избавлялся от безнадежной грусти, неразделенной любви и несбывшихся желаний. Я уплатил ему за неделю. Брам подал мне руку.

— Всего хорошего, хозяин.

По тому, как он простился, я понял: Брам твердо решил чего-то добиться в жизни. Только не знал — чего. Это решат за него у Сервуса Дея.

Итак, «мечеть» продавалась. Фогели собирались переезжать. В «Газете», в том самом номере и на той самой странице, где было напечатано мое объявление о найме ученика, я прочел шесть строк, обведенных рамкой: «Прод. отличн. просторная вилла с камыш. крышей. Прекрасно оборудов. кухня, веранда, ванна, пять спален, гараж, подсоб. помещения, большой сад, пруд. Все удобства (центр. отопл.). Все в отличн. состоянии. Об осмотре договариваться по тел. 760581».

Весь блеск и нищета семейства Фогелей поместились в шести дорожно оплаченных строчках. За ними можно было видеть Альберта Фогеля, бредущего со своим саквояжем от одной аптеки к другой; Уточку, устремившую пустой взгляд на дорожные бутылки в домашнем баре; Цаплю, швыряющую неоплаченный счет за шкаф прекрасно оборудованной кухни, где на маргарине жарятся бифштексы из конины. Но все это видели только мы: я и жена. Другие нет! Другие видели роскошь, камышовую крышу, пруд, бар, пять спален (боже мой, и зачем столько?). Многим это нравилось. Мой дед, в доме которого повсюду были развешаны сочиненные им изречения, говорил: «Деньги и хороший вкус вместе не уживаются». У самого деда не было ни того, ни другого.

— Можешь не сомневаться, к концу года у нас будут новые соседи, — сказал я жене.

Но мое пророчество не оправдалось. Фогели не переехали и тогда, когда все помойки разукрасились порыжелыми, сослужившими свою службу рождественскими елками. Объявление, что висело на окне, тоже пожелтело, края стали отгибаться. Жена переставила на подоконнике фуксию, чтобы лучше видеть, как идут дела напротив. По ее словам, люди все еще ходят смотреть дом. Любопытных достаточно, только покупателей нет.

— Я бы не очень удивилась, если б услышала, что они запрашивают слишком дорого. Как ты думаешь, сколько они хотят? Миллион?

— Понятия не имею, но, наверное, больше.

— Больше миллиона? — Она, кажется, испугалась и с возмущением посмотрела в сторону соседей.

Но ничего особенного там не было. Дом стоял погруженный в темноту. С тех пор как Фогели начали экономить и на электричестве, мы не могли по вечерам наблюдать за ними. Не горела даже электрическая свечка в часовенке. Фогели, наверное, коротали время в кухне при свете двадцатипятисвечевой лампочки или ложились спать вместе с курами.

«Почему не позвонить? Сразу бы узнал цену», — вертелась навязчивая мысль. Но я раскрыл журнал «Строитель». На третьей странице

я прочел: «Кризис в стекольной промышленности». Были там и другие интересные статьи вроде: «Болезни древесины», «Оперение совы» и т. п.

— А что, если бы ты, Лео...

— Что? — спросил я, не отрываясь от журнала.

— Позвонил и спросил цену?

Я взглянул на нее, как на Брама, когда тот хотел подарить мне свой бинокль, — одним глазом.

— Считаешь, имеет смысл?

— Конечно! И совсем незачем называть свою фамилию.

«Недурно бы!» — раздумывал я, не решаясь. Мне это казалось нахальством, если не сказать больше. Нельзя же быть таким наглецом. Месяцами шпионили за ними, что само по себе уже некрасиво, а теперь еще раздумываем, не влезть ли в их личную жизнь анонимным звонком.

Мучимый угрызениями совести, я спросил жену:

— А почему ты сама не позвонишь?

— Покупка дома — дело мужское. Разговор со мной не примут всерьез, только насторожатся.

— Не болтай! — рассердился я. — Что ж, по-твоему, старая дева или вдова не может купить дом?

— Старая дева! Ты очень любезен, — обиделась жена.

— Я хотел сказать...

— Знаю, что хотел сказать. Нечего выкручиваться. — Она почти с угрозой посмотрела на дом соседей. Не на меня, нет. На дом напротив. На меня она не смотрит вот уже почти двадцать лет. Я ее больше не интересую.

— Ну, если ты боишься...

Ах, вот что! Боюсь! Это уже прямой вызов. Отступить, не потеряв перья из хвоста, нельзя. Я выпрямился.

— Если ты знаешь номер... У тебя сохранилась газета с объявлением?

Газеты нет. Она ее выбросила. Но такой пустяк уже не мог меня остановить. Я открыл телефонную книгу. Фламини, Флиербоом, Футс... ага, Фогель. Это он. А. Фогель. Набирая номер, я попытался сделать вид, что просто забавляюсь. В действительности на душе было мерзко. Это чувство не прошло, когда я услышал «алло», произнесенное мягким девичьим голосом. Я вздрогнул, услышав этот голос, звучащий совсем непохоже на тот, который выкрикнул: «Конина и маргарин — экое счастье!» Довольно долго стоял я молча, прислушиваясь к тихому гудению проводов. Провода бежали от моего дома к телефонной станции, стоящей в пяти или шести километрах от нас, а затем возвращались в дом соседа. И только для того, чтобы передать одно смешное словечко из двух слогов: «алло». Она еще раз повторила прямо мне в ухо, вежливо и терпеливо: «Алло!» С посторонними Шарлотта была воспитанной девицей. Я глубоко вздохнул и спросил:

— С кем я говорю? — и понял: так нельзя.

Надо быть осторожным в выборе слов, которые делают двенадцатикилометровый крюк. Не дав ей ответить, я поспешил:

— Простите. Вы уже нашли покупателя на виллу?

Я понял, что она колеблется.

— Насколько мне известно, господин, кажется, нет. — Затем она сказала: — Вы не подождете минутку? Я позову папу.

— Пожалуйста!

Она положила трубку. У меня сложилось впечатление, что Шарлотта тихо, на цыпочках, отошла от телефона и совсем не намерена звать отца. Родители, возможно, спали или лежали с сильнейшей голов-

ной болью, и они заранее сговорились для пользы дела держать на проворе, в прямом и фигуральном смысле слова, всех объявившихся покупателей.

Я прикрыл трубку ладонью и сказал жене, вопросительно поглядывавшей на меня:

— Это Уточка. Пошла звать отца. Во всяком случае сказала, что позовет. Но я думаю...

Шум в трубке не дал мне закончить.

— Алло! — раздался хриплый мужской голос, голос, который сильно разочаровал меня.

Я всегда думал, что у продавцов фармакологической продукции вкрадчивые, масляные голоса. Голоса, как паста. Но природа не всегда бывает последовательной. Альберт Фогель (это он беседовал со мной) говорил надтреснутым, хриплым голосом филина — да, именно голосом пернатого ночного хищника.

Я улыбнулся, снял ладонь с трубки и сказал, подмигивая жене:

— Добрый вечер, господин, извините, что беспокою вас. Я только хотел спросить — вы нашли уже покупателя на виллу?

Кашель на другом конце линии.

— Простите, вы спрашиваете по поручению другого лица?

— Нет, я заинтересован сам, — ответил я.

Кажется, он успокоился. Недоверчивость исчезла.

— Я предпочитаю не иметь дела с посредниками, — разъяснил он.

Я ответил, что нахожу его желание естественным.

— Видите, господин, — продолжал он, — дом пока, собственно, не продан. Правда, почти сговорились...

«Обычный трюк, — думал я, — хочет подогреть мой интерес».

— Да?! В таком случае...

Но он не дал мне договорить:

— А вы не смогли бы позвонить еще раз, послезавтра? Тогда будет ясней. Я буду иметь вас в виду. Если хотите, оставьте телефон, я позволю вам сам.

— О, вы очень любезны. Только я хотел бы узнать приблизительную цену. Собственно, из-за этого я и позвонил.

— Ну, об этом можно поговорить и позже, — уклонился от ответа Альберт Фогель.

Я был твердо уверен, что он стоял у телефона в халате или даже в пижаме. Я почувствовал свое превосходство и не отставал от него. Он был у меня в руках, и я продолжал настаивать. В конце концов он произнес несчастным голосом, будто стыдясь назвать эту сумму по телефону:

— Девятьсот тысяч франков.

От удивления я онемел. Сумма была значительно меньше той, что я ожидал.

— Сколько? — беззвучно, одними губами, спросила жена, но я отмахнулся от ее мимического вопроса. Она мешала мне сосредоточиться.

— Девятьсот тысяч франков, — повторил я вслух. Цена небольшая, но я не хотел, чтобы он понял это. — Ну, теперь я по крайней мере знаю цену. Я подумаю, господин Фогель.

Я видел, как жена в отчаянии вскинула руки, но не успел понять, почему она так реагирует, — Филин уже скрипел в трубку:

— Откуда вы знаете мою фамилию?

Меня словно окатили ушатом холодной воды. Я начал заикаться, но не придумав вразумительный ответ, рывком повесил трубку.

— Ну и болван же ты! — воскликнула жена.

Молча, как футболист, глупо потерявший выгодный мяч, я подтянул носки. Она проявила чуткость, ограничившись «болваном», могла бы выразиться и покрепче.

— Это ты виновата. Ты заставила меня звонить,— пробурчал я.

После небольшой перепалки мы пришли к выводу, что девятьсот тысяч франков — очень дешево.

— Просто не верится,— говорила жена немного грустно.

Мы взглянули друг на друга и сразу же опустили глаза. Чертовски надоело, но что поделаешь? Это неизбежно, если много лет проведешь вместе,— мы думали одинаково.

— Лео,— тихонько вздохнув, позвала меня жена, когда немного погода вымыла посуду и прибрала в доме.— Вот был бы чудесный выход. Не знаю, подумал ли ты об этом, но не надо было бы объезжать квартал. Мастерская находилась бы сразу за домом. С одной улицы вход в дом, с другой — в мастерскую. И совсем изолированы, с отдельными входами и выходами.

— Да, я тоже об этом думал,— сказал я,— было бы здорово.

Она присела на ручку моего кресла, и у меня не хватило сил и мужества сказать ей: «Встань, сломаешь».

— Мы могли бы продать свой дом, а чего не хватит — занять...— не успокаивалась жена.

— Конечно.

— Некоторое время спустя можно было бы подумать и о расширении дела. Места хватит. Сад за домом достаточно велик. Лиха беда начало. Будет собака — будет и хвост,— разошлась жена.

— Деточка, ты удивляешь меня,— сказал я, потом обнял ее и посадил себе на колени.— Я всегда думал, что ты ни за какие сокровища мира не захочешь жить в этом замке дракона. Чем же тебя вдруг привлекла эта безвкусица?

— Я никогда не утверждала, что не захочу там жить. Я только говорила, что ужасно целый день смотреть на такой дом. Но если живешь в нем сам, то уже нет этой помехи. Во всяком случае жить в нем не так противно, как смотреть на него,— сказала жена и прижалась ко мне.

«Каждый целует жену по-своему»,— подумал я и поцеловал ее за ухом. Мы ласкали друг друга. Прошло довольно много времени, как вдруг мне пришла в голову мысль, что Фогели, может быть, сидят и подглядывают за нами из своей затемненной «мечети». Я быстро вскочил и задернул шторы.

Итак, мы купили виллу. Дело сладилось одним махом. На наш дом нашелся покупатель через три недели — его купил брат Стокмана. А еще через три недели мы вместе с Филином и Цаплей сидели в маленькой, душной конторке нотариуса Нейта. Да, черт подери, компания была невеселая, кланяться, нет.

Госпожа Фогель держалась враждебно, она явно питала к нам отвращение. При встрече не подала руки и села как можно дальше, будто от нас исходило зловоние. Она старалась не замечать нас, а раза два, когда все же взглянула, смотрела, как на жуликов, нашедших деньги в подкладке старого пиджака.

Она подписывала купчую, сжав губы, и они стали тонкими и прямыми, как щель в копилке. Забрызгала бумагу чернилами, точно смертельно раненная карактица. Я представлял себе, что творится у нее в душе, но это ее не оправдывало. Из-за нее нам стало неловко, что мы покупаем дом. Альберт Фогель вел себя более учтиво. Не скажу, чтобы был очень приветлив — это нелегко в его положении,— но по крайней мере он не поворачивался к нам спиной. Распрощался он с нами за

руку, поздравил с покупкой и, отведя меня в сторону, поинтересовался, не куплю ли я и садовый инвентарь. Мне было так жаль его, что я без раздумья согласился, хотя цена за подержанную ручную косилку была непомерно высокой.

— Ты что, с ума сошел? — разозлилась жена, когда на улице я рассказал ей о новой покупке. — За такие деньги можно купить совсем новую.

— Но без мотора, дорогая, — оправдывался я. — Купил собаку — получи хвост. Ты ведь сама это говорила.

— Я совсем не это имела в виду.

Обычная ссора. Кончилось тем, что мы заплатили Фогелю за садовый инвентарь столько, сколько он запросил. И тогда Филин сделал жест, который заставил мою жену забыть о всех огорчениях. Он подарил нам гарнитуру дачной мебели: стол, стулья и большой зонт из полосатой, как на пижамах, материи. Комплект «дамский уголок» — даром. Очень любезно с его стороны. Никогда не думал, что он расстанется с этой мебелью. Может быть, просто хотел избавиться от всего, что могло вызвать грустные воспоминания?

Четырнадцатого марта Фогели тихонько уехали. Через день перебрались и мы. Нам не нужно было нанимать машину для перевозки. Мебель я перенес со своим новым подмастерьем Корнеелем. Это нетрудно было бы сделать, если бы газовую компанию не угородило именно в этот день прислать бригаду рабочих, чтобы вырыть канаву между нашим новым и старым домами. Весь скарб пришлось перетаскивать по узким мосточкам, кряхтя, истекая потом, под любопытными взглядами «газовых кротов». Управились мы только за полночь. Я так устал, что просто свалился среди узлов в одной из задних комнат. О сне нечего было и думать. Все знают — первую ночь в чужом доме не заснешь.

Мне казалось, что я все еще таскаю шкафы и ящики, спотыкаясь в темноте, осторожно ступая по узким дощечкам, проложенным через канаву. С каждым разом вещи становились тяжелее, а мосточки уже. Руки горели. Даже глубокой ночью я слышал голос Корнеела: «Ну! Взяли!»

Забрезжило утро, а я, так и не сомкнув глаз, лежал, прислушиваясь к шорохам в камышовой крыше (кто там — воробьи, летучие мыши?) и шуму в кухне, где жена распаковывала вещи. На меня вдруг напал страх: «Что мы затеяли? Что делать рабочим людям вроде нас в дворце с камышовой крышей?»

Вспомнилась сказка о японском каменотесе. И я был почти уверен: с нами произойдет, что и с ним, — в один прекрасный день мы опять проснемся в землянке.

Но наутро и в последующие дни ничего не случилось. Камышовая крыша прочно стояла над нашей головой. Мой страх исчезал по мере того, как в доме воцарялся порядок. И когда через неделю все стало на свои места, я не вспоминал больше сказку о японском каменотесе. Однажды, в прекрасном настроении, насытившаяся, я прогуливался вокруг дома, бродил по саду, вдоль кипарисовой изгороди и возле пруда, как эмир, осматривающий свои владения. Закрыв глаза, улыбаясь, я слушал шум фонтана. Через некоторое время к журчанию воды примешался рокот мотора и визг заторможенных шин. Удивившись, я открыл глаза и увидел, что возле сада стоит машина, из которой проворно, как молодая девушка, выскочил пастор.

Приветливо улыбаясь, он пошел мне навстречу, дружески протягивая руку. Я был в таком замешательстве, что моя рука повисла в воздухе рядом с «угольной лопатой» пастора. Но разве это может иметь значе-

ние в такую радостную минуту? Нас обоих переполняло чувство милосердия: его — небесное, меня — земное. Он засмеялся, я тоже. Так мы и стояли, смеясь, в двух метрах от загрязненного пруда, где я намеревался весной развести рыбку.

— Случайно проезжал мимо, смотрю — стоите вы, дай, думаю, взгляну, как они там устроились, — говорил пастор.

— Как видите, — улыбнулся я.

— Вижу, — улыбнулся пастор. Он посмотрел через мое плечо в сторону часовенки и отвесил почтительно-фамильярный поклон божьей матери. Поклон обозначал: «Мы знакомы, не так ли?»

Я извинился, что перед иконой не горит лампочка.

— Проводка не в порядке, — солгал я.

— Мне приятно узнать, что вы не предполагаете ломать часовенку, — произнес он.

Я притворно возмутился:

— Зачем же разрушать часовенку? Вы считаете нас такими варварами?

— Да, как иногда ошибаешься в людях, — произнес он с чувством и доверчиво взял меня за руку. — Иногда я спрашиваю себя: не являются ли неверующие самыми верующими?

Я спросил, не зайдет ли он на минутку в дом.

— Жена ушла в магазин и скоро вернется.

— Разве что ненадолго. У меня совсем нет времени, — ответил пастор.

Я провел его в гостиную. Сигар у меня не было, но, по счастью, пастор их не жаловал.

— Я не курю, — ответил он.

— А как насчет глоточка винца?

Он ничего не имел против.

— Тогда пошли.

Пока я шарил в баре в поисках рюмок, «Дон Камильо», развалившись на стуле, бесцеремонно осматривал комнату. На коленях у него лежал свиток, как у всех апостолов; единственно, чего не хватало для полного сходства — это агнца рядом. Любопытно, откуда он извлек бумагу? Наверное, как фокусник, вытянул из широкого рукава своей сутаны.

Между первой и второй рюмками речь зашла о Фогелях (с этой темой он был очень осторожен). Между второй и третьей я свел разговор к его просьбе, с которой он когда-то постучался, вернее прокрался, в наш дом. Оказывается, он до сих пор не нашел, кому заказать скамью. На улице светило солнце, а внутри было тепло от старого джина. Настроение у меня было прекрасное, и я сказал:

— Пришлите мне чертежи. Может быть, я между делом справлюсь и с вашим заказом.

— Бог наградит тебя за это, — ответил пастор.

Я был рад слышать такое, ведь бог не так часто награждает по заслугам.

Четвертую рюмку я не предложил, и тогда он решил, что пора уходить. Он ведь торопится. Он обещал навестить нас, когда дома будет моя жена. В вестибюле он задержался, и я уж подумывал, не сказать ли: «Отец, благословите меня». Но так явно притворяться я не мог, поэтому стоял молча. Пастор тоже. Но вот он нахлобучил на голову черную, похожую на миску для супа шляпу, протянул мне свою «угольную лопату» и вышел из ворот.

Услыхав шум отъезжавшей машины, я подумал, что он, наверное, ждал от меня конверта с небольшой суммой на дела общины или на ото-

пление церкви. Ничего, я могу загладить свой промах, выполнив его заказ бесплатно. Вернувшись в гостиную, я обнаружил бумажный свиток и развернул его — это был пасхальный плакат, не подлежащий гербовому сбору.

«За все воздастся на небесах», — прочел я и рассмеялся. Похоже, что можно заработать царство небесное.

Цель, с которой пастор оставил плакат, была более чем ясна. Немного поколебавшись, я взял клейкую ленту и прилепил плакат на окне. Тем временем вернулась жена. Она взглянула на рюмки и, ничего не сказав, ушла с покупками на кухню. «Пронесло», — подумал я и налил себе четвертую рюмку. Вскоре она вошла неслышно, как кошка, посмотрела на меня с презрением и сказала:

— Итак, ты опять вскочил в поезд, идущий в Рим.

— Да! Но ты забываешь о главном. Твоя душа будет гореть в вечном огне, — поддразнил я.

— Душа гореть не может. Ты просто пьян.

— Нет! Горит, если она сухая, — настаивал я.

— Ну, твоя-то не сухая, — рассердилась жена.

— Вот как?.. Думаешь, я от рюмок пьян? — Засунув руки в карманы, я добавил как можно более равнодушно: — Лучше скажи, где это ты пропадала все утро?

— Хове не близко! — ответила она.

— Хове? Зачем тебя туда понесло?

— Ходила к мяснику за кониной, — ответила она спокойно и начала убирать со стола остатки пиршества с «Доном Камильо».

Перевела с фламандского Е. Макарова.

ИОС ВАНДЕЛОО

★

Шутка

Они не имеют права держать меня под арестом. Нет оснований. Решительно никаких! Ведь это была шутка, невинная проделка. Разве не ясно? Что они ко мне привязались? Зачем меня посадили за решетку, как последнего проходимца? Они должны меня выпустить. Иначе быть не может. Вы только подумайте, это я-то — грабитель! Бандит с большой дороги. Головорез. Или что-то в этом роде. Ну, конечно, не надо было так шутить. Знаю, знаю. Попреки теперь ни к чему. Но кто мог предвидеть, что шутка так обернется? А уж они готовы меня обвинить в чем угодно. Зачем? Должны же они понять, что это недоразумение. Разве я похож на гангстера? Никогда в жизни я не нарушал законов. Ни приводов у меня нет, ни судимостей. Почему они этого не учитывают? Разве это мелочь? С какой стати меня вот так, здорово живешь, бросили за решетку? И даже не дают слова сказать. Если бы только я мог объяснить все как есть, дело сразу бы уладилось. Я еще вчера вечером попытался объяснить. Но полицейский стукнул меня резиновой дубинкой. Я замолчал. Момент для разговора был неподходящий. Они психовали еще больше, чем я.

Ах, черт побери, зачем я это сделал? Как такое случается? Как? Встречаешься с друзьями. Смеешься. Выпиваешь. А почему бы и не выпить? Все пьют. Для того и друзья. Обычное дело. Каждый день соби-

раются компании, и люди пьют. Ну и что? Никто никого за это не осуждает. А потом ты идешь домой. Паришь, как на крыльях. И плохо соображаешь. Глаза, руки, ноги тебя не слушаются. И разная чертовщина в голову лезет. Со мной во всяком случае всегда так. Стоит мне только выпить, как у меня разгорается фантазия. И я должен держать себя в узде, чтобы не натворить глупостей. Уж себя-то я знаю.

Так было и вчера, когда я шел домой, размышляя о всякой всячине. Думать и размышлять мне вредно. В самом деле вредно. И как мне это в голову взбрело? Не знаю, просто понятия не имею. Когда я увидел вдали огни бензоколонки — они казались чуть расплывчатыми в вечерней мгле, — меня вдруг одолел соблазн. У меня не было на уме ничего дурного, но я быстро оценил обстановку. Живу я в здешнем квартале всего две недели. Два раза уже я заправлялся бензином у этой колонки. Ее обслуживает хорошенькая девушка, совсем еще молоденькая, с пикантным личиком, в белом комбинезоне, на котором красными буквами выведено название фирмы. Мне нравилось с ней болтать. В последний раз мы так заговорились, что какой-то автомобилист стал нетерпеливо сигналить. Я даже не заметил, как он подъехал. Она тоже. В таких случаях ничего не замечаешь. А этот мерзавец устроил шум на весь квартал. Да еще ухмыльнулся, заметив, что мы вздрогнули. Сукин сын. По всему было видно, что она охотно со мной болтала. «Я заеду еще разок — насчет покрышек и масла», — крикнул я на прощанье. А вчера я выкинул эту дурацкую штуку. Глупость, конечно, чего уж тут говорить. Но в мыслях-то у меня ничего дурного не было. Да и кто не делал глупостей? Неужели за них всегда так тяжело расплачиваются? Впрочем, я зря тревожусь. Они скоро поймут, что это всего-навсего безобидная шутка. Но в девушке я ошибся. Кто-кто, а уж она-то должна была сообразить, что я пошутил. Хватил немного лишнего и решил слегка ее попугать. Ведь она же меня знает. Накануне мы с ней так долго болтали. Она-то должна была понять, что я не какой-нибудь злодей. Дурацкое недоразумение. Все, конечно, уладится, я ни секунды не сомневаюсь. Не может же суд принять это всерьез. Они распутывают куда более сложные дела. Настоящие убийства, нападения, изнасилования, грабежи — не то что мою шуточку. И все же странно, что меня так долго держат под замком. Может, лучше взять адвоката? Он бы сразу меня вызволил из беды. Черт подери, какая теперь нужна осторожность! Следи за каждым своим шагом. По малейшему поводу тебя могут упечь в тюрьму. Да и повод-то не нужен. Достаточно самой пустячной шутки. Вы скажете, неуместная шутка. Возможно. Для кого-то шутка всегда неуместна. Но разве на свете перевелось веселье? Имеем мы право смеяться? Или за несерьезное выражение лица полагается кутузка? Я все это непременно скажу, когда меня будут допрашивать. Могли бы уже, кажется, начать следствие вчера вечером или сегодня утром. Но они не торопятся. Работа здесь начинается в девять. Для низших чинов. Большое начальство приходит на час позже и поэтому уходит домой на час раньше. А я тут истомился. Мне это начинает действовать на нервы. Здесь даже не топят. Честно говоря, мне уже тошно. Они тут выдумывают бог знает что. Неужели им совсем делать нечего? Хватит, шутка и без того слишком затянулась. Я хочу домой. Скорее бы устроили допрос, чтобы я мог все толком объяснить.

(Инспектор ведет допрос)

В.— Вопрос. О.— Ответ.

В. Вы, конечно, не станете отрицать факты. Что побудило вас совершить нападение?

О. Я не совершал нападения.

В. А что это было? Детская игра?

О. Шутка.

В. Весьма своеобразная шутка. И часто вы так шутите?

О. Нет.

В. Послушайте, я пришел сюда не для того, чтобы зря терять время. Я рассчитываю услышать от вас правду. Только это и может внести в дело ясность. И предупреждаю вас: никакой болтовни. У меня нет времени для шуток. Ясно?

О. Да, господин инспектор.

В. Итак, я жду объяснений.

О. Я был слегка под мухой. Проходя мимо бензоколонки, я решил пошутить. Мне захотелось напугать девушку.

В. Вы сначала удостоверились, что она одна?

О. Да.

В. Вы были с ней знакомы?

О. Да.

В. Хорошо знакомы?

О. Да нет, мы виделись всего несколько раз.

В. Значит, вы позволяете себе шутить с людьми, с которыми почти незнакомы?

О. Два-три раза я брал у нее бензин. И болтал с ней.

В. Почему вы именно там заправлялись бензином? Ведь по соседству есть и другие колонки.

О. Верно. Но я всегда беру бензин именно этой марки. Да и девушка очень мила.

В. Бензоколонка расположена по соседству с вашим домом?

О. Да. Это одна из причин, почему я ею пользуюсь.

В. У вас были денежные затруднения?

О. Нет, особых не было.

В. Вам не нужно оплатить какой-либо крупный счет в течение этого месяца?

О. Нет. Мне по крайней мере об этом ничего не известно.

В. А разве с вас не причитались страховые взносы?

О. Ах, да, конечно.

В. Больше никаких платежей?

О. Нет.

В. Вы брали деньги в долг у приятеля?

О. Да.

В. Для чего?

О. На ремонт машины после аварии. Поскольку вина была моя, мне пришлось делать ремонт за свой счет.

В. Когда вы должны были вернуть деньги приятелю? Помните, что вы должны говорить правду.

О. Несколько дней назад.

В. И у вас были эти деньги?

О. Нет, но в конце месяца я получу жалование и верну весь долг.

В. Вам нужно уплатить за страховку и за квартиру, а также вернуть долг. Вашего жалования хватит на все это?

О. Думаю, что хватит.

В. Но останется немного.

О. Верно, но много мне и не надо.

В. Вам ведь нужны еще деньги на жизнь?

О. Да.

В. Вам случается выпивать?

О. Да.

В. И вы быстро пьянеете?

О. Нет.

В. Вы хорошо переносите спиртное?

О. Да.

В. Вчера вы были у друзей?

О. Да, я уже говорил вам это вчера вечером.

В. Совершенно верно. И вы там пили?

О. Так же, как и все. Время от времени мы встречаемся, чтобы выпить и поболтать.

В. Похоже, что на этот раз вы отправились домой несколько раньше обычного. Почему?

О. Раньше?

В. Да, обычно вы не уходите домой до полуночи. А вчера вы ушли часов в одиннадцать.

О. В самом деле? Я не заметил. Просто я почувствовал усталость.

В. Но у вас хватило сил напасть на девушку?

О. Это же была шутка! Только и всего.

В. А маскарад зачем?

О. Я хотел напугать девушку. Поэтому я обвязал шарфом рот и надвинул на лоб шляпу.

В. Девушка вас узнала?

О. Нет.

В. Значит, вы удачно замаскировались?

О. Не знаю.

В. Как она реагировала, увидев вас?

О. Она испугалась.

В. А вы что сделали?

О. Я схватил ее за руку — думал потом признаться, кто я такой. Но она сразу же начала кричать.

В. Вы что-нибудь ей сказали?

О. Нет.

В. А в самый первый момент?

О. Я что-то пробурчал.

В. Что вы сделали, когда она закричала?

О. Я отпустил ее и бросился бежать.

В. Почему?

О. Я увидел, что она приняла все это всерьез, и сам перепугался.

В. Почему же вы не сняли шарф и шляпу? Ведь тогда бы она вас узнала. Почему вы этого не сделали?

О. Я как-то об этом не подумал.

В. Почему вы побежали?

О. Я же вам сказал.

В. Как раз в это время к колонке подъехал бензовоз, чтобы наполнить баки. Вы видели?

О. Да.

В. Вот поэтому вы и побежали. А вовсе не из-за девушки.

О. Я побежал только потому, что девушка так испугалась. Бензовозка тут ни при чем.

В. Шофер утверждает обратное. Он говорит, что вы бросились бежать, когда он подъехал.

О. Не может быть. Я его сразу и не заметил. Он только вылезал из машины, когда я выбежал на улицу.

В. Что было потом?

О. Я продолжал бежать, а он погнался за мной.

В. Он нагнал и задержал вас.

О. Да, и к тому же избил.

В. Он говорит, что вы угрожали девушке.

О. Это ложь. Я только хотел ее испугать и поэтому схватил ее за руку. Ничего дурного я не замышлял.

В. Факты меня в этом не убеждают. Ваши ответы тоже. Если вы просто шутили, незачем было бежать. Почему же вы все-таки побежали?

О. Сам не знаю. Меня напугали ее крики, и я потерял голову.

В. Вы были пьяны?

О. Слегка.

В. Но соображать вы могли?

О. Думаю, что да.

В. Вы знали, где лежат деньги?

О. Это меня не интересовало.

В. Скажите — знали?

О. Я видел, что она держит их в сумочке. Но меня это не интересовало; я думал, что такая славная, умная девушка сумеет оценить веселую шутку.

В. Значит, вы утверждаете, что это действительно была шутка?

О. Да.

В. Что ж. Вы — подследственный, это ваше право.

Они и вправду спятили: все принимают всерьез! Неужели они не могут понять, что это была самая обыкновенная шутка? Не верю. Ведь мы живем в обществе, которое способно рассуждать трезво и судить справедливо. Мне кажется, я догадываюсь, в чем дело. Меня хотят проучить. Хорошенько припугнуть. Чтобы мне впредь неповадно было так шутить. Что ж, пусть не беспокоятся. Я о шутках и думать забыл. Конец дурацким проделкам — поставим крест на всех забавах! А раз в жизни с кем такое не случается. Ну и влип же я! А все потому, что хотел разыграть ту девчонку. Это же чистая правда. Я увидел, что она одна, тут меня и осенило. Я подтянул шарф повыше, спрятав лицо, а шляпу надвинул на лоб. Маскарад, говорят они теперь. Бандитский маскарад. Вот и получается: стоит честному человеку чуть-чуть надвинуть на лоб шляпу, а шарфом чуть-чуть прикрыть подбородок — и его уже объявляют уличным вором и бандитом. Неужели все так просто? Я всегда думал: нечестность, будь то сознательная или неосознанная, она у человека в душе, а одежда тут ни при чем. Но выходит, я ошибался. Из мирного прохожего — правда, я был слегка под мухой — я сразу превратился в преступника. Вот так, здорово живешь, без какой бы то ни было психологической эволюции. Ни с того ни с сего я стал опасным элементом. Неужели шутники опасны для государства? Или государство опасно для шутников? Поди разберись! Я во всяком случае тут ни черта не понимаю. А пока что я вот уже два дня сижу в одиночке, точно какой-нибудь смертник. А они там, видно, смеются надо мной. Конечно, они уже успели допросить моих друзей — это я сразу понял из разговора с инспектором. А друзья, наверное, дали показания в мою пользу. Что они могут сказать обо мне плохого? Я обыкновенный человек, без всяких выкрутасов. Может, немного замкнутый, не слишком общительный, но без каких бы то ни было причуд. И никаких патологических склонностей за мной не числится. Друзья, несомненно, объяснили инспектору, что он заблуждается. Они-то знают, что иной раз меня так и подмывает напраказничать. Уж, конечно, они это подтвердят. Ну что я беспокоюсь из-за какой-то ерунды? Недоразумение — и все тут. Мне нечего бояться.

(Д о п р о с д р у г а)

И.— Инспектор. *Д.*— Друг.

И. Вы дружили с подследственным?

Д. Да, господин инспектор.

И. Хорошо его знаете?

Д. Ах, не то чтобы очень...

И. Как это понять?

Д. У многих людей складываются такие отношения — довольно поверхностные. Мы были знакомы, изредка встречались. У нас были общие друзья. Этим все исчерпывалось.

И. Были у вашего приятеля какие-нибудь странности?

Д. Не знаю. Не думаю.

И. Стало быть, вы считаете, что он подготовил и совершил нападение совершенно хладнокровно?

Д. Этого я не берусь утверждать.

И. Считаете ли вы, что ваш приятель способен напасть на человека?

Д. Он это сделал — значит, способен.

И. Ничего не скажешь, ответ логичный и ясный. Поскольку он это сделал, он вполне мог совершить подобный поступок и раньше, не так ли?

Д. Этого я не говорил.

И. Но ведь по существу это так.

Д. Да, возможно.

И. Как вы думаете, зачем он это сделал?

Д. Не знаю.

И. Он был пьян?

Д. Пожалуй, не очень. Слегка под мухой. Был веселее, чем обычно.

И. Случалось ли ему и прежде вытворять глупости в пьяном виде?

Д. Не замечал.

И. Что вы думаете об этой истории?

Д. То же, что и остальные его друзья. Разумеется, его поступок нас поразил. Мы считали его порядочным человеком. Но, видно, мы в нем ошиблись.

А девушка? За нее я спокоен. Все обдумав и взвесив, она поймет, что хватила через край. Что все это была невинная шутка, просто озорство. Пусть только вспомнит наши разговоры и сразу это поймет. О чем мы с ней не говорили! О машинах и бензине. О путешествиях. Недавно она побывала в Венеции. О погоде и об отпуске в будущем году. О людях и о жизни. Даже о фильмах, книгах и джазе. Теперь, вспоминая наши беседы, я удивляюсь, сколько всего можно обсудить за такой короткий срок. Прежде я никогда этого не замечал. Стало быть, девчонка никакой мне не враг. Может быть, она уже дала новые показания.

А шофер? Вот это другое дело. Он, понятно, гордится, что задержал преступника. О том, что я не оказал никакого сопротивления, он, конечно, промолчит. И ни слова не скажет о том, что сам он пнул меня в живот и ударил в пах. У меня до сих пор там болит. Особенно, когда я мочусь. Нетрудно совладать с противником, если наносишь ему такой удар. А рожа у него, как у боксера. Ничего хорошего я от него не жду. Он, видите ли, поймал бандита! Да свершится правосудие. Представьте себе, что дело дойдет до суда. Как он будет доволен! «А это, господа присяжные заседатели, тот самый человек, благодаря бесстрашию и самоотверженному вмешательству которого было пред-

отвращено убийство. После тяжелой схватки ему удалось справиться с преступником». Звучит вдохновляюще. Хороший стимул для шоферов других бензовозов! Да и фирма не упустит случая сделать из этого рекламу. Фотография шофера во всех газетах. «Наш бензин придает водителям храбрость! Наши люди всегда готовы вам помочь». Боже, до чего нелепо! Есть ли предел глупости? Шутка подобна искре. Она может вызвать пожар.

(Д о п р о с д е в у ш к и)

И.— Инспектор. *Д.*— Девушка.

И. Я хотел бы задать вам еще несколько вопросов. Вы уже в состоянии спокойно разговаривать?

Д. Я очень испугалась, господин инспектор, но, слава богу, все кончилось хорошо.

И. Вы знаете человека, который на вас напал?

Д. Когда шофер его привел, я его сразу узнала.

И. А сначала, когда он пытался вас ограбить, вы его не узнали?

Д. Нет. Он закрыл лицо шарфом и надвинул шляпу на лоб. Узнать его было невозможно.

И. Он что-нибудь сказал?

Д. Он изменил голос и угрожающе что-то крикнул.

И. Что именно он крикнул?

Д. Не помню. Но мне стало очень страшно. Он бросился ко мне и схватил меня за руку. Я отскочила и начала кричать.

И. Да, вы мне уже говорили. Как, по-вашему, зачем он это сделал?

Д. Наверное, из-за денег.

И. А может быть, он хотел посягнуть на вашу честь?

Д. Не знаю.

И. Сколько раз вы виделись с ним до этого нападения?

Д. Два раза.

И. Где?

Д. Он заправлялся у нас бензином.

И. И сразу после этого уезжал или медлил?

Д. Нет, не сразу. Он всякий раз задерживался и болтал со мной.

И. Для чего?

Д. Наверное, он уже тогда задумал нападение и хотел разведать обстановку.

И. Он знал, где хранится выручка?

Д. Конечно, он видел, куда я кладу сумочку с деньгами.

И. О чем вы с ним болтали?

Д. Обо всем понемножку.

И. Он производил на вас хорошее впечатление?

Д. Он вообще не производил на меня никакого впечатления. Я была с ним приветлива, как с любым клиентом. А говорил он самые заурядные вещи. Автомобиль у него никудышный.

И. Могли бы вы влюбиться в этого человека?

Д. О нет!

И. Почему нет?

Д. Не знаю.

И. Когда он бросился бежать?

Д. Когда я закричала.

И. Он испугался?

Д. Да, очень растерялся, не знал, что делать. Поэтому я подбежала к двери и закричала еще громче.

- И.* И тут подошел бензовоз. Вы его увидели?
- Д.* Сначала я услышала шум мотора. А потом увидела, что он остановился.
- И.* Преступник тоже увидел?
- Д.* Думаю, что да.
- И.* И поэтому бросился бежать?
- Д.* Да.
- И.* Вы и тогда еще его не узнали?
- Д.* Нет. Ведь все произошло очень быстро.
- И.* А что было потом?
- Д.* Шофер выскочил из кабины и сразу понял, что приключилось. Он помчался за преступником.
- И.* А вы что сделали?
- Д.* Я позвонила в полицию.
- И.* И она быстро подроспела?
- Д.* Да. Но к тому времени уже вернулся шофер с этим человеком.
- И.* Как он себя вел?
- Д.* Кто?
- И.* Этот человек?
- Д.* Он стонал. От боли. Тут я и узнала его — он был без шляпы.
- И.* Он что-нибудь говорил?
- Д.* Да.
- И.* Что?
- Д.* «Ведь это же был розыгрыш,— сказал он.— Всего-навсего шутка».
- И.* Что вы об этом думаете?
- Д.* Я чуть не умерла от страха.
- И.* Что сделал шофер?
- Д.* Когда человек произнес эти слова, он его встряхнул.
- И.* И только?
- Д.* Он его ударил.
- И.* Куда?
- Д.* Не знаю.
- И.* Вы же видели. Я спрашиваю, куда он его ударил?
- Д.* По лицу.
- И.* А тот что?
- Д.* Застонал.
- И.* Сказал он что-нибудь?
- Д.* Да.
- И.* Что он сказал?
- Д.* «Пес паршивый,— сказал он,— за это ты еще заплатишься».
- И.* И тогда шофер снова его ударил?
- Д.* Возможно. Я не заметила. Мне было не по себе.
- И.* Дальше!
- Д.* Этот тип опять повторил, что ничего дурного не замышлял. Он, мол, только хотел меня испугать.
- И.* Вы этому верите?
- Д.* Разве можно этому верить?
- И.* Был ли там еще кто-нибудь до приезда полицейской машины?
- Д.* Да. Водитель грузовика. Шофер бензовозки все ему рассказал. А тот говорит: «Избей его до смерти» — или что-то в этом роде. Потом подроспела полиция.

Как медленно тянется время! Я здесь уже три дня. Не понимаю, что они замышляют. Где это видано, чтобы из-за какой-то ерунды человека так долго держали в кутузке? Смех один. Да только смеются,

к сожалению, надо мной. Еда здесь скверная, камера тоже. И никто меня не навещает. Я уж думаю: а знают ли там, на воле, куда я делся? Или никто даже не заметил, что меня нет? Может, и так. Наверно, меня уже забыли. Подумайте только: никто не знает, что я сижу в тюрьме. В наше время можно так и сгинуть без следа. Никому до тебя дела нет. Но друзья-то должны помнить. Всего несколько дней назад мы так здорово веселились на вечеринке. Ушел ли я домой раньше обычного? Видимо, да. Помню, что полиция забрала меня ровно в полночь. На вечеринке у меня разболелась голова. И я почувствовал какую-то усталость. Выпивка не доставила мне большого удовольствия. А фантазия разыгралась хоть куда. Но и подвела же она меня! Конечно, я зря преувеличиваю. Друзья скоро заметят, что я пропал, и сделают все, чтобы меня вызволить. Само собой, инспектор мне не верит. Это профессиональная подозрительность. Он привык иметь дело с преступниками и считает, что каждый врет, выкручивается и себя выгораживает. Но ведь ко мне это не относится. Я же не преступник. Просто дурака сваял, вот и все. Никому я не причинил вреда, только себе. Я жертва собственного проступка. Да и какой проступок? Безобидная шутка.

Попрошу тюремщика принести книги и газеты. Углублюсь в чтение и забуду о моих бедах. И так я скоротаю время в ожидании дня, когда меня выпустят. В чем в чем, а в одном я уверен: скоро они поймут свою ошибку и освободят меня из-под стражи. Я выхожу из камеры. Жму руку тюремщику. Улыбка. Киваю на прощание другим заключенным. Иду по коридору. Одни кивают в ответ, другие насмешливо восклицают: «До скорой встречи!» У выхода стоит директор тюрьмы. Извиняется: «Понимаете, мы были обязаны дождаться результатов следствия. Теперь мы знаем, что это была всего-навсего шутка. Извините нас: мы предоставили вам несколько дней вынужденного отпуска. И больше здесь не показывайтесь». Чудесный человек — директор тюрьмы. А-а, вот идет тюремщик. Я попрошу его принести мне что-нибудь почитать...

(Из газеты)

«Человек, совершивший нападение на девушку, обслуживающую бензоколонку, все еще находится под арестом. Он до сих пор ни в чем не признался, хотя факты говорят против него.

Преступник жил неподалеку от бензоколонки. Он уверяет, будто инсценировал нападение смеха ради. Эта версия, разумеется, чрезвычайно наивна, и полиция с полным основанием не принимает ее всерьез.

Между тем заслуживает внимания еще одно обстоятельство. Наши читатели, несомненно, помнят сообщение, которое мы опубликовали три месяца тому назад в связи с аналогичным происшествием в нашем городе. Как-то вечером на служащего бензозаправочной станции было совершено нападение с последующим ограблением. Служащий оказал ожесточенное сопротивление, и бандит в него выстрелил. На следующий день пострадавший умер, не успев дать показаний. В настоящее время полиция пытается установить, нет ли связи между этими двумя преступлениями.

У задержанного полиция не обнаружила никакого оружия, но вполне возможно, что он выбросил его во время бегства. Таким образом, отнюдь не исключается, что в руки полиции попал преступник, совершивший убийство. Дальнейшее следствие покажет, верно ли это предположение».

Сперва я лишился дара речи. Потом мною овладела ярость. Я кричал, буйствовал, проклинал все на свете. Затем разрыдался. Не с отчаяния, а от бессильной злобы. В длину моя камера — четыре шага, в ширину — два. Четыре шага вперед, затем два влево, четыре назад, два влево. Границы моего тесного мирка. Площадь моей хрупкой свободы. Ах, что там! Я живу в безумном мире, где шутников объявляют бандитами и убийцами. Ни с того ни с сего, без всякой причины. Где же ваши доказательства, господа хорошие? Или вам достаточно одних подозрений? Неужели вы можете вот так, здорово живешь, обвинить меня в любом преступлении? Защищаться-то я могу? Есть еще у меня права или же я теперь все равно что какая-нибудь безгласная тварь — бездомный пес, дойная корова или ломовая кляча? Я теперь уже всерьез сомневаюсь, что до меня вообще есть кому-то дело. Я не о переживаниях своих говорю и даже не о положении, в каком я очутился. Но хоть бы подумали о справедливости, о том, каково человеку под властью общества, которое во всем видит злой умысел и за все намерено карать. Как-то туманным вечером, слегка под мухой, я выкинул глупую безобидную шутку. Девчонка сдуру подняла шум. Скотина шофер избил меня и чуть не покалечил. Полиция решила, что я бандит. Газеты задались целью доказать, что я убийца. Так закручено, что и не распутаешь. Между тем истина куда как проста, а факты и вовсе ничтожны. Но все мои объяснения толкуют превратно или обращают против меня. Не могу же я примириться с тем, что меня объявляют бандитом и даже убийцей. Сегодня, когда всё против меня, я еще острее ощущаю свою невиновность, чем вчера. Меня можно упрекать в глупости, в легкомыслии. Но почему они силятся доказать, что я вор, бандит или убийца? К чему на меня взваливать все смертные грехи? У меня, пожалуй, и храбрости не хватило бы стать преступником. Ведь для этого нужны отвага, дерзость и злоба. Должен же в конце концов найтись человек, который меня поймет и поддержит. Да, конечно, кто-нибудь меня поддержит. Я все еще верю в разум людей, в логику. Не бросят же меня на произвол судьбы. Среди чужих найдутся люди без предубеждений, которые встанут на мою сторону. Да и знакомые будут меня защищать. Им ведь хорошо известно, что я не способен на преступление.

Да, конечно, беды мои скоро кончатся, скоро я выйду из этой камеры и вновь стану свободным человеком. Здравый смысл и тут восторжествует. Моя невиновность, а если хотите, мое легкомыслие или наивность станут очевидны для всех. Напрасно я беспокоюсь. А впрочем, кто мог бы сохранять спокойствие в моем положении? Меня гнетет мучительное чувство бессилия. Я смотрю, как другие люди играют моей судьбой, и ничего не могу сделать. Я знаю, что мельницы правосудия и бюрократии мелют медленно. А не то я уже давно был бы свободным гражданином. Надо вооружиться терпением. Ждать. Мое время придет, я знаю. Через несколько дней я снова встречу с друзьями, мы закатим пирушку и здорово посмеемся над этой историей. Да, задним числом над ней можно будет смеяться. И я снова буду болтать с девушкой у бензоколонки. И она мне признается, как сильно тогда испугалась. Я куплю у нее бензину, и она снова расскажет мне про Венецию. Или просто так будет стоять в своем изящном белом комбинезоне и улыбаться. Ах, как все снова будет хорошо! Никакого горя. Жизнь — как чистый лист бумаги, на который можно нанести любые знаки, любой узор. Солнечное утро, перезвон трамваев, продавец газет, полицейские, регулирующие уличное движение, зеленые огни, красные огни, гудки автомашин, женщины, спешащие за покупками, дети, бегущие в школу, девичий смех, выкрики молочника, разносчики со своими

колокольчиками. Негр у табачного магазина («Попробуйте сигареты нашей марки!»), старички в городском парке, неуклюжие пароходы на воде, крикливые чайки, городской шум, стоящий в воздухе, дрожь земли, дыхание домов и наконец черно-белый кельнер, застывший в ожидании у столика. День молод, люди улыбаются, все муки и страдания давно унес ветер, и только и есть место для вспышки светлого чувства, для страстной горячей радости, что носит великое имя — счастье.

Я больше не могу. Я должен отсюда вырваться! Я должен сам что-то предпринять, а не ждать сложа руки помощи от других — от тех, кто никогда не торопится. Они всегда откладывают все на завтра, оттого что у них полно мелких, несущественных дел. Я сегодня же свяжусь с адвокатом, чтобы он ускорил следствие. Его услуги мне, конечно, недешево обойдутся, но денег не жалко. Осточертело мне здесь. Временами кажется, будто стены наползают одна на другую, а потолок медленно опускается. Дышать нечем, грудь словно в тисках. А там, на воле, наверное, светит солнце. Кто знает, может, сегодня опять стоит чудесный день и все ясно и просто. Домашние хозяйки, болтая друг с другом, смывают все горести водой и мылом. А может, на улице дождь, мелкий моросящий дождь, который словно окутывает нас завесой, отгораживая от мира. Я вызову адвоката.

(Допрос ведет инспектор)

В.— Вопрос. *О.*— Ответ.

В. Мне нужно получить у вас еще кое-какие сведения. Предупреждаю: я жду правдивых и точных ответов. Что вы делали шестнадцатого мая этого года?

О. Когда?

В. Шестнадцатого мая этого года.

О. Не знаю.

В. Вы должны это знать.

О. Но ведь сейчас август.

В. Совершенно верно, но я хотел бы услышать от вас, что вы делали вечером шестнадцатого мая.

О. Не помню. Разве может человек вспомнить, что он делал в какой-то там день три месяца назад?

В. Это не какой-то там день.

О. Нет?

В. Нет. В этот вечер совершенно нападение на бензозаправочной станции. Служитель был ограблен и убит.

О. Так-так.

В. Что вы можете сказать по этому поводу?

О. К преступлению, о котором вы говорите, я не имею никакого отношения. Я видел в газетах кое-какие инсинуации на этот счет. Чистейший бред! Неужели вы сами всерьез считаете, что я имею отношение к этому преступлению?

В. Мы обязаны рассмотреть все возможности. Это наш долг перед гражданами, которых мы охраняем. Если вы ни в чем не повинны, это выявится в ходе следствия и у вас не будет никаких неприятностей.

О. По-вашему, я похож на бандита или убийцу?

В. У каждого человека бывают срывы. Вы не исключение.

О. Я ни в чем не виновен, слышите? Ни в чем не виновен. Я неудачно пошутил, но это вовсе не означает, что я вор или убийца.

В. Я не обязан принимать вашу версию, не так ли? Это была довольно странная шутка.

- О.* Но я же говорю правду, я только хотел пошутить.
- В.* Свидетели думают иначе. Я не очень верю в подобные шутки. Сколько гульденов вы прихватили шестнадцатого мая?
- О.* Гульденов? Да вы с ума сошли! Вы же не станете утверждать, что я убил этого человека?
- В.* Вечер шестнадцатого мая — представьте мне убедительное алиби.
- О.* Не могу.
- В.* Ну вспомните, как вы могли провести тот вечер? За работой?
- О.* Нет, я почти никогда не работаю по вечерам.
- В.* Тогда, может, вы были в кино?
- О.* Вряд ли.
- В.* Заходили к друзьям?
- О.* Возможно.
- В.* Нет. Это мы уже проверили. В гостях вы побывали на следующий день. А шестнадцатого мая — нет.
- О.* Вот как? Не знаю.
- В.* Что же еще остается? Автомобильная прогулка?
- О.* Возможно.
- В.* Итак, автомобильная прогулка. Вечер. Вы едете мимо бензозаправочной станции, расположенной немного на отлете. В портфеле у служителя — дневная выручка. Вы хотите его ограбить. Он защищается. Вы стреляете в него. Береге портфель. Уезжаете.
- О.* Замолчите, это подлая ложь! Ни одного слова правды!
- В.* Спокойнее. Я просто хотел вам помочь. Подчас достаточно небольшой помощи — и человек сразу вспоминает все, что нужно. Я очень хочу вам помочь. Это ускорило бы следствие.
- О.* Я не имею никакого отношения к этому делу! Ваши обвинения — подлость!
- В.* А может, шестнадцатого мая вы смотрели телепередачу?
- О.* Вполне возможно.
- В.* А что показывали?
- О.* Не знаю. Не могу вспомнить.
- В.* А я знаю. Пьесу Ионеско. Расскажите мне содержание.
- О.* Не помню я этой пьесы.
- В.* Значит, вы не смотрели телепередачу. Может быть, вы слушали радио? Брюссель, Хильверсум, Люксембург? Говорите же. Мы хотим вам помочь.
- О.* Не знаю. Может, я был дома и читал какую-нибудь книгу. Скорее всего так.
- В.* Какую книгу?
- О.* Трудно сказать! Я часто читаю по вечерам книги. И вполне возможно, что в тот вечер я читал газету. А может, я мыл машину. Или просто спал.
- В.* Мне надо точно знать, что вы делали шестнадцатого мая.
- О.* Но я же этого не помню. А если я, к примеру, заявлю, что весь вечер ничего не делал и только плевал в потолок, что дальше?
- В.* Тогда вам придется это доказать.
- О.* Как это можно доказать?
- В.* С помощью свидетелей.
- О.* Свидетелей нет.
- В.* Это только усложняет ваше положение.
- О.* Но нельзя же так! Я не помню, что делал и шестнадцатого июня, и шестнадцатого июля. Разве можно на этом основании обвинять меня в преступлениях, которые могли быть совершены в эти дни?

В. Мы же вас и не обвиняем. Но вы забываете о фактах. Вы совершили попытку ограбления бензозаправочной станции. Попытка не удалась, потому что девушка закричала и подоспел шофер. Еще немного — и вы, возможно, убили бы ее.

О. Ерунда. Чистейший бред. Я ни в чем не виновен.

В. Вы зашли в контору, замаскировавшись таким образом, что девушка вас не узнала и испугалась?

О. Да, но я же сказал, что это была невинная шутка. Ничего дурного у меня и в мыслях не было. Я только хотел ее напугать. А получилось черт знает что. Она начала кричать, а я, увидев, что шутка приняла скверный оборот, бросился бежать. А потом этот тип меня нагнал.

В. Это ваша версия. Согласен: звучит она неплохо. Но вы забываете, что три месяца назад примерно в том же районе и примерно в те же часы произошло другое нападение. И тоже на бензозаправочную станцию. Результат: ограбление и убийство.

О. Но я же к этому не причастен.

В. Это еще надо доказать. Я советую вам спокойно все обдумать. Может, завтра вы будете знать больше, чем сегодня.

Теперь уже я не на шутку встревожен. Они могут причинить мне еще кучу неприятностей. Не похоже, чтобы меня так просто отсюда выпустили. Надеюсь, адвокат скоро будет. Вчера я попросил прислать его ко мне, и он должен прийти сегодня утром. Последний допрос, который устроил мне инспектор, сильно меня напугал. Сначала я не мог застнуть — душила ярость. Я вертелся на узкой койке, и меня мучили кошмары. Я вдруг оказался в какой-то приемной. Час за часом я чего-то ждал. То листал журналы, то сидел задумавшись. Рядом со мной сидела хорошенькая женщина, но заговорить с ней не представлялось возможным. Она была надменна и неприступна. От нее веяло какой-то странной гордостью. Вместе с тем она казалась очень женственной и даже чувственной. Сидела она совсем рядом со мной. Я ощущал ее тепло, дыхание, каждое движение ее тела. Она была моя и в то же время совершенно чужая. Я должен был сдерживаться, чтобы не броситься к ней. От нее шел неповторимый, волнующий запах, которого я прежде не знал и не смог бы описать. Я не хотел задавать никаких вопросов. Я четко сознавал, что кто-то велел мне спокойно сидеть на скамейке и ждать. Скоро, наверное, откроется дверь, и все сразу прояснится. Но никакие двери не открывались. Всем существом я ощущал присутствие женщины. Она ждала так же терпеливо и напряженно, как и я, но не обращала на меня ни малейшего внимания. Мне вдруг показалось, что она — часть моего «я», донныне мне неведомая, своего рода тень. Я пытался прижаться к ней, но мне это не удавалось. Мы оба молчали. По той или иной причине разговор был излишним. Возможно, мы ходили на глухонемых, которым не нужны звуки, — у них вырабатывается какое-то особое восприятие. Мы были единственными живыми существами в комнате, но я вдруг ощутил присутствие кого-то третьего. Когда я спохватился, было уже поздно. Беззвучно, с жуткой неторопливостью на нас опускался гяжелый стальной потолок. Он надвигался бесшумно, словно механизм хорошо смазали маслом. Я первый почувствовал его приближение — верно, потому, что ростом я выше той женщины. Стальная плита была уже в нескольких сантиметрах от моей головы. Животные всегда мгновенно осознают опасность — так случилось на этот раз и со мной. Ощувив медленное неотвратимое приближение потолка, я с ужасом глядел, как надвигается на нас тяжелая сталь.

Я понял, что нас ждет страшный конец, и весь покрылся холодным

пóтом. Я схватил женщину за руку, сорвал ее со скамейки и изо всех сил ринулся к двери. Другого пути к спасению не было. Поначалу женщина изумленно упиралась, а затем стала тревожно следить за моими яростными попытками спастись. Я вопил, рыдал. Со всего размаху бился плечом о неподвижную дверь. А потолок бесшумно опускался, как поршень в гидравлическом прессе. Отчаяние овладело мной. Безграничное отчаяние. Я почувствовал в себе нечеловеческую силу. Но женщина теперь наблюдала мое буйство спокойно, чуть ли не равнодушно, с какой-то непреборимой убежденностью в роковом исходе. Даже теперь, в эти страшные мгновения, в этот последний миг нашей жизни, она продолжала смотреть на меня холодным, испытующим взглядом. И в это мгновение я понял, что мне так и не удастся взломать дверь и нависшая над нами махина раздавит нас. Грозная тайная сила, приведенная в движение незримым механизмом, сотрет нас в порошок. Роковая сила, от которой нам не уйти.

Кошмары, жуткие сны, пугающая тишина, и в ней проблески надежды, слабой и хрупкой, как гриб, крошащийся при первом же прикосновении. Взмокнув от пота и страха, я провел ужасную, нескончаемую ночь.

Снова день. Жидкий кофе немного меня подбодрил. Но сегодня мне хуже, чем вчера, чем в другие дни. Я знаю теперь, что ломлюсь в стальную дверь и что люди наблюдают за моей борьбой с любопытством, но без сочувствия. Они не проронят и слезы, если мои чудовищные усилия окажутся напрасными.

(Разговор с адвокатом)

А.— Адвокат. П.— Подследственный.

А. Дело обстоит не так-то просто. Можете вы дать мне какой-либо материал для защиты?

П. Я вам уже говорил, что я ни на кого не собирался нападать. Я ни секунды не помышлял об этом, я не преступник. Я только хотел пошутить. Глупая шутка — это я признаю.

А. Когда дело будет рассматриваться в суде...

П. Разве оно будет рассматриваться в суде?

А. А вы как думали?

П. Я полагал, что вы сможете все уладить, изложив факты в соответствии с истиной.

А. Об этом не может быть и речи. Полиция исходит из предпосылки: нападение с целью грабежа. За это при любых обстоятельствах полагается наказание. Я могу защищать ваши интересы на суде, но вы, с вашей стороны, должны честно и без обиняков сообщить мне все данные.

П. Какие данные?

А. Все, что имеет хоть малейшее отношение к вашему делу. Все, что я смогу использовать для защиты или привести в качестве смягчающего обстоятельства.

П. Я вам уже все сказал. Да и говорить-то почти не о чем. Все произошло в какие-то считанные мгновения: вздумал напраказывать, выкинул шутку, и она окончилась плачевно. Затем начались мои мучения. Меня без конца допрашивают и даже пытаются обвинить в убийстве.

А. Знаю. Я ознакомился с вашим делом. Поверьте мне, картина довольно безотрадная. В деле нет ни одного показания в вашу пользу.

П. А что говорит девушка?

А. Она дала свое объяснение фактов. Она считает, что у вас были, так сказать, нечестные намерения.

П. Но ведь мы с ней знакомы! Должна же она понимать, что я не гангстер и не грабитель!

А. Она сказала, что почти не знает вас. Вы раза два покупали у нее бензин, вот и все.

П. Так. А что говорят мои друзья?

А. Они немногословны. Во всяком случае они не сообщили ничего особенного. Кроме того, что вы были слегка возбуждены и ушли раньше обычного.

П. У меня разболелась голова, и в тот вечер мне было не по себе, вот и все. Это еще не значит, что я преступник.

А. Со мной вы можете быть вполне откровенны. Мы одни, и никто нас не подслушивает. Стало быть, вы можете сказать мне всю правду. Вы хотели украсть деньги?

П. Нет! Конечно, нет!

А. Не надо так раздражаться. Я должен иметь ясное и четкое представление о вашем деле. Иначе вам придется взять себе другого защитника. У меня хватает работы, и, если хотите знать, ваше дело не особенно меня привлекает.

П. Неужели я каждую минуту должен повторять, что я решительно ни в чем не виновен?

А. На это я отвечу вам вопросом. Неужели вы полагаете, что суд поверит вашей версии о неудавшейся шутке? Это наивно, и отстоять подобную версию невозможно. Члены суда разбирались в гораздо более сложных делах. Их так просто не проведешь, можете мне поверить. Нужны серьезные аргументы, чтобы их убедить. Ваши простодушные заверения не смягчат судей. Вы этим ничего не добьетесь.

П. Выходит, надо лгать? По-вашему, я должен сказать, что действительно хотел напасть на девушку или ограбить ее?

А. Будь это так, мне было бы легче вести ваше дело.

П. Но ведь это же неправда!

А. А кого интересует правда?

П. Каждого, всех людей!

А. Люди прежде всего смотрят на факты. А судья тоже человек. И я тоже. Все мы люди.

П. Но ведь факты можно толковать по-разному? Разве нет?

А. В самом деле. Это разумное замечание. Обвиняемый толкует факты в свою пользу, прокурор — как раз наоборот. А публика? Публика всегда жестока, мой дорогой. Вы переоцениваете людей. Они любят казни. Время от времени им нужно, чтобы кого-то приговаривали к смерти. Почему такие толпы стекаются на открытые процессы? Потому что их волнует судьба подсудимого? Отнюдь нет. Они хотят посмотреть, увернется обвиняемый от петли или, напротив, сам сунет в нее голову. Впрочем, я зря теряю время. Вернемся к делу. Вы что-нибудь слышали об этом убийстве?

П. Ничего.

А. Район вам знаком?

П. Конечно.

А. Замышляя свою шутку, вы не подумали о том, что совсем недавно при сходных обстоятельствах было совершено убийство?

П. Конечно, нет. Подумай я об этом, я сразу отказался бы от своей проделки. У меня были самые безобидные намерения. Нельзя же меня отдавать под суд за эту дурацкую шутку. А к тому первому случаю я вообще не имею никакого отношения. Запомните это раз и навсегда.

А. Хорошо. Но мы с вами топчемся на месте. Что я должен говорить судье? Как мне вас защищать?

П. Вам виднее. Вы же адвокат, а не я.

А. Это верно, но вы должны мне помочь. Я не хочу оказаться в глупом положении.

П. Я вам все честно рассказал, ничего не утаивая. Подлость какая! Они хотят меня угробить.

А. Зачем им это нужно?

П. Не знаю. Я сам все время задаю себе этот вопрос. Почему мне не верят? Ведь я говорю правду. Неужели у истины нет никаких прав?

А. Справедливость тоже имеет свои права. Вам надо немного успокоиться, а завтра я снова к вам загляну. Посмотрим, что мне удастся сделать за это время.

Дружба хрупка, как цветок. При первом же порыве ветра слетают лепестки и остается один голый стебель. Много друзей было у меня. Они хлопали меня по плечу и пожимали мне руку. А что теперь? Вот сейчас что? Вокруг — пустыня, а в душе — смутная горечь. Дружья опадают, словно листья, как только вас настигнет беда. Они хотят от нас одного: чтобы мы не выбивались из колеи. Не чуди и ничем не выделяйся. Не покидай стадо. Не забегай вперед, не отставай, не сворачивай в сторону, не поднимайся вверх, не спускайся вниз — не то ты сразу станешь чужаком. А на что может рассчитывать чужак? Нет ему ни понимания, ни веры, ни сочувствия.

О чужаке никто не скажет доброго слова, и все на него косятся... Конец рукопожатиям, конец похлопываниям по плечу, конец дружбе. Перемыты твои косточки, каждый твой шаг, каждое слово взвешены и осуждены. Оказывается, ты обманул доверие друзей; в сущности, ты никогда и не был хорошим другом. Оказывается, ты был необщителен и скрытен, капризен и неуравновешен. На такого человека нельзя положиться, и уж во всяком случае он не заслуживает глубокой привязанности. Таковы факты. Дружба — это вид радостного самообмана, туманная иллюзия. В конечном итоге у тебя остается один-единственный друг — ты сам. Один-единственный друг, и каждый день он терзает свою душу. Но в какой-то степени тебя успокаивает мысль, что ты наконец совсем одинок, что тебе не на кого рассчитывать, если нужна помощь. Сегодня я точно голое дерево, лишившееся теплого покрова листьев. Завтра придет весна, вырастут новые, зеленые листья и скроют мою страшную наготу. У меня снова появятся друзья, и я опять стану таким, как все. А послезавтра опять что-нибудь случится, и высохнет сок в моих ветках, и друзья — один за другим — с неприязнью или равнодушием покинут меня. Нет больше друзей. Нет человека, который бы в меня верил. Нет никого, кто стал бы бескорыстно меня защищать, поверив в мою честность. Я сам себе друг, нас двое в одном лице. Но оба мы сидим за решеткой и, бессильные что-либо предпринять, ждем приговора суда.

(Из нового допроса)

С₁ — Первый следователь.

С₂ — Второй следователь.

П. — Подследственный.

С₁. Не юлите. Сознайтесь, что вы хотели совершить ограбление. Так проще.

П. Я сказал вам правду. Мне нечего добавить.

С₁. Мы не так легковверны. Напрасно вы пытаетесь нас обмануть. Есть и другие способы докопаться до истины. Мы можем вытянуть ее из вас в два счета. Ясно?

П. Да.

С₂. Тогда бросьте рассказывать басни. Сначала вы совершили грабеж и убили человека. Затем, оставшись безнаказанным, совершили второе нападение. Ведь дело было так, не правда ли?

П. Нет.

С₁. Вы упрямы, приятель. А наше терпение имеет границы. Упорство только усложнит ваше дело и ухудшит ваше положение.

С₂. Нам придется принять меры, без которых, видно, не обойтись. Вы сами напрашиваетесь.

П. Я хочу только, чтобы вы взглянули в лицо правде.

С₁. Похожи мы на детишек, которые верят в деда-мороза?

С₂. Отвечайте, когда вас спрашивают!

П. Прошу без рукоприкладства! Я пожалуюсь моему адвокату.

С₁. Подследственные часто заявляют, будто на допросе их били. А доказать вы это сможете? Свидетели есть?

С₂. Зарубите себе на носу: за оскорбление полиции вы можете схлопотать дополнительное наказание. Мы бьем не для своего удовольствия. Мы рады бы получить признание без применения силы. Но если вы будете куражиться и лезть на рожон, мы не станем слушать ваши бредни до окончания веков.

С₁. Не вкручивайте нам шарики! А то вам не поздоровится!

П. Это не допрос, а пытка. Так было только в средние века!

С₂. В те времена таких, как вы, вздергивали без допроса. И весь город сбегался на это зрелище. А мы даем вам честный шанс. Можете сказать правду, но ничего другого. И не считайте нас идиотами.

П. Вам не правда нужна, а ложь.

С₁. Нам нужно признание.

С₂. Факты говорят сами за себя. Виновник второго нападения известен. А тот, кто совершил первое, не схвачен. Похоже, вы и есть убийца. В самом деле, почему убийцей должен быть кто-то другой?

П. Я не имею никакого отношения к убийству!

С₂. Тогда сознайтесь, что у вас были преступные намерения во втором случае. Мы хоть сдвинемся с мертвой точки.

Я сознался, что действительно хотел совершить нападение. У меня были преступные намерения. Я хотел ограбить девушку, но злой умысел мне не удалось осуществить из-за ее криков и вмешательства шофера. Я настоятельно подчеркнул, что не имею никакого отношения к первому случаю. Так и записано в моем показании. Я его подписал. Так теперь выглядит истина.

Разумеется, это ложь. Тут нет ни слова правды. У меня и в мыслях не было кого-нибудь грабить. Но меня допрашивали и мучали много часов подряд. На средневековую дыбу меня не вздергивали. Теперь существуют цивилизованные методы пытки. Час за часом одни и те же вопросы. Затем снова те же самые вопросы. Временами удар или пинок. Не слишком сильный, потому что не должно оставаться следов. Тебя бьют ладонью. Выкручивают уши... Жажда. Ни капли воды. Сами-то они пьют. И голод. Не дают есть. А они едят сэндвичи с сыром. Бутерброды с паштетом. Шоколад, сигареты, пиво. «Пить дайте». — «Сначала сознайся, сволочь! Тогда получишь, сколько твоей душе угодно. Сначала скажи правду, не морочь нам голову. А ну, выкладывай!» Адский день, долгий путь по раскаленной земле, по песчаной пустыне. Я совсем ослеп от снега — ах, нет, это лампа светит мне прямо в глаза. Истина? Как разобратся, где правда и где ложь, где кончается мираж и вырастает обман? Конца пути не видно. Я никогда не доберусь до конца. Надо сознаться, надо сделать все, что они хотят. «Хорошо, я сознаюсь, только дайте пить. За-

пишите мои показания. Да, я хотел совершить грабеж. Да, мне нужны были деньги. Да, я ушел раньше, потому что замыслил напасть на девушку. Да, все происходило именно так, как вы говорите. Да, я вам лгал. Где подписать? Все? Теперь мне дадут поесть и попить? Я смогу лечь спать?»

Какое облегчение! Теперь меня оставят в покое. Нечего опасаться, что все начнется сначала. Они получили все, что хотели. Дело будет передано в суд. Виновный признал все факты. Но есть смягчающие обстоятельства. Грабеж ведь не совершен, была только попытка. Попытка, которая, к счастью, сорвалась благодаря энергичным действиям жертвы нападения и вмешательству случайного свидетеля. Конец пыткам, конец допросам. Еще какое-то время я посижу в камере, а потом снова стану свободным человеком. Наказание будет легким. Все проходит, и это тоже пройдет. Останется лишь неприятное воспоминание. Случайный эпизод, о котором лучше не думать. От шутовства я излечусь навеки. Теперь я уже буду смотреть в оба, чтобы, упаси боже, никого не испугать. Никогда больше я не посмею прикрывать лицо шарфом и надвигать шляпу на лоб. Я стану образцовым гражданином, сознающим, что полиция делает важное дело. Каждое утро я буду славить свободу и наслаждаться ею больше, чем когда-либо в прошлом. Я снова буду счастливым человеком, легким и беззаботным. Кажется, самое плохое уже позади. И я могу с некоторой надеждой смотреть в завтрашний день.

(Еще один разговор с адвокатом)

А. Я слышал, вы дали другую версию происшествия. Почему же вы не сказали мне правду?

П. Правду я сказал именно вам, а не им.

А. Почему же вы сделали новое заявление?

П. Меня допрашивали и мучали много часов подряд. Я хотел вырваться из ада вопросов и ответов. К тому же меня били.

А. Вот как? Вы думаете, что я могу воспользоваться таким аргументом в суде? Нас, несомненно, обвинят в клевете. Ведь теперь при допросах не применяется рукоприкладство.

П. Да что вы?

А. Вы можете это доказать?

П. Нет.

А. Следы побоев есть?

П. Нет, об этом они позаботились.

А. Значит, били не слишком сильно. Вы, конечно, преувеличиваете. Заключение всегда преувеличивают.

П. А я нет. Я подписал то, что мне подсунули, потому что не мог больше выдержать эти муки. В конце концов мало что изменилось! Вы же все равно не хотели говорить суду правду.

А. Это невозможно. Смешно и наивно. Никто не поверил бы таким доказательствам. Да и я не верю.

П. Значит, у меня были все основания пойти на заведомую ложь и сознаться, будто я хотел совершить ограбление. Теперь вы можете меня защищать... Я признаю себя виновным. Раскаиваюсь в том, что сделал... Никогда больше не буду так поступать. Готов понести наказание. Правильно я держусь? Это вас устраивает?

А. Вы этим не шутите.

П. Я и не шучу. Просто констатирую факты. Анализирую ситуацию.

А. А на допросе не было речи о первом нападении и убийстве?

П. Была речь. Я упорно отрицал, что имею какое-либо отношение к

первому случаю. Они этого не оспаривали. Тем самым дело для меня исчерпано.

А. Да.

П. Почему они добивались от меня признания, будто я хотел ограбить девушку? Разве это так уж необходимо?

А. Не знаю. Вероятно, полиция хотела иметь полную ясность, прежде чем передавать дело в суд. И потом есть еще одно обстоятельство.

П. Какое?

А. В последнее время газеты то и дело отпускают шпильки по адресу полиции. Оттого что многие преступления остаются нераскрытыми. Полицейские чиновники встревожены. Само собой разумеется, они хотят реабилитировать себя перед прессой и общественным мнением. Ваш случай дает им возможность посадить на скамью подсудимых настоящего преступника. Таким образом, престиж полиции снова поднимется. Газеты перестанут смеяться над ее промахами. Улавливаете ситуацию?

П. Да, улавливаю. Я доставлю им это удовольствие. Для меня дело исчерпано, мне не надо больше бояться допросов, и я только позволю себе выразить надежду, что вы будете умело меня защищать. Тогда я еще дешево отделаюсь. Моя участь будет не слишком тяжелой. Хотя, по правде говоря, ничего этого я не заслужил. За мою шутку я и так уже дорого заплатил, поскольку меня лишили свободы. Но раз уж так все сложилось, мне остается только смириться.

А. Хорошо. Я подготовлю все для защиты. Убежден, что наказание будет умеренным. За вами не числится никаких преступлений в прошлом, и уж я отыщу смягчающие обстоятельства. Буду держать вас в курсе дела, а пока — мужайтесь!

Я долго размышлял и понял, что всей нашей жизнью управляет страх. Что заставило меня дать ложные показания и приписать себе намерения, которых я вовсе не имел? Сколько бы я ни думал об этом, вывод всегда один: мне было страшно. Я испугался допросов. Я боялся голода и жажды, слепящего света, побоев, мучений, боли. Страх управляет нашими поступками. В конечном счете все наше общество держится на страхе. Отсюда дисциплина, отсюда покорность. Страх начинается еще в детстве. Боишься рассердить мать, боишься отцовских тумаков, ребячьих насмешек. Боишься учителя, боишься наказания, боишься, что схватишь двойку и провалишься на экзамене. А уже взрослым боишься хозяина, который решает, будешь ты прозябать или жить в свое удовольствие. Боишься происков своих коллег и врагов. Солдат боится начальства. Верующий боится ада. Неверующий боится своих же ошибок. Все боятся сборщика налогов, домовладельца, кредиторов. Все боятся страданий, болезней, старости. Все боятся непонимания, одиночества, богадельни. Страх висит над нами, как дамоклов меч. Наш строй только им и держится. Страх перед тюрьмой заставляет нас уважать законы. Выходит, в основе всего — страх. И все же всякий раз, когда я подолгу размышляю над этим — а времени мне хватает, — я спрашиваю себя: неужели так будет всегда? Думаю, что нет. Наступит время, когда обществу уже не нужен будет страх как связующий материал, как цемент. Люди, которые придут вслед за нами, будут лучше и разумнее нас. Они иначе устроят свою жизнь, а как — мы не можем предугадать нашим жалким, незрелым умом. Много еще воды утечет, пока этот ум созреет. И подобно тому, как мы смеемся теперь над глупостью наших предков, над казнями ведьм, поясами целомудрия и суевериями, так и наши потомки назовут нас дикарями и осудят наш образ жизни. Предки всегда варвары. Они оставляют нам свое искусство, какую-нибудь урну, картину.

ратушу или собор. Но искусство тоже иной раз оплачено кровью, и мы не забываем того, что творилось в прежние времена. И так же со временем осудят и нас. Обвиняемых и обвинителей, их друзей и врагов, как и тех, кто стоял в стороне. Для людей будущего все мы варвары. Дикие, невежественные, жестокие.

Но что поделаешь. Для всего нужно время. Старое умрет — родится новое, завтра — это уже не то, что вчера или сегодня. Мы многого не замечаем, перемена идет подспудно, век за веком. Порой история совершает скачок, потом, глядишь, снова замедляет ход. Вот только остановок не бывает: война — и та движение, а иной раз — резкий скачок.

Мне остается лишь ждать исхода — я мелкое, ничтожное существо. Сто лет назад меня бы повесили. А сейчас мне грозит просто наказание — может, даже совсем не строгое. Государство научит меня уму-разуму, так полагается в нашем обществе. От этой науки мне не уйти, я понимаю. Но когда я снова выйду на свободу, все глубокомысленные размышления будут забыты. Останется только жизнь, ее надо прожить вопреки всему, что случилось. И она стоит того. Я жду теперь суда и умеренного приговора. И свободы, которая мне так дорога, что я готов все ради нее отдать.

(Новый допрос)

С1. Ваше дело отложено, так как следствие продолжается. Для этого мы вас и вызвали. Второе преступление полностью раскрыто. Теперь вернемся к первому. И о нем вы нам тоже скажете правду. Надеемся, что это не займет столько времени, как в прошлый раз. Иными словами: мы ожидаем быстрого признания...

С2. Итак, расскажите нам все об убийстве. Ясно?

П. Вы сошли с ума. Я не имею никакого отношения к убийству. Я невиновен!

С2. Мы не желаем слушать эту болтовню! Либо вы сознаетесь сразу — и это было бы весьма благоразумно, — либо вы сознаетесь завтра! Но тогда кое-кому не поздоровится. Не нам — о нет! — не нам, конечно, а вам.

С1. Мы же вам не желаем зла. К чему упрямиться? Скажите сразу, что вы убийца, — и дело с концом. Облегчите свою совесть. Вы должны сознаться...

И опять все сначала.

И опять...

Перевел с фламандского Е. Островский.



ЛУИС СЕРНУДА

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С испанского

В «Новом мире» были уже напечатаны произведения некоторых прогрессивных поэтов современной Испании — Х. Л. Пачеко (№ 3, 1965), Глории Фуэртес (№ 10, 1965), Анхелы Фигера (№ 11, 1965).

Посетивший редакцию «Нового мира» известный испанский писатель Хуан Гойтисоло обратил внимание редакции на творчество поэта Луиса Сернуды (1904—1963), «почти неизвестное не только иностранцам, но и многочисленным кружкам испанских эмигрантов и ставшее к тому же объектом систематического бойкота со стороны франкистского режима...».

Хуан Гойтисоло предоставил нам возможность ознакомиться со своей статьей — глубоким исследованием творчества Сернуды — и порекомендовал несколько стихотворений поэта для перевода на русский язык.

Х. Гойтисоло считает Л. Сернуду «самым подлинным из испанских поэтов того поколения, которое сформировалось приблизительно к 1925 году».

Он пишет в своей статье: «Гражданская война, резко изменившая направление испанской истории, оставила неизгладимый след на всей жизни и литературной работе Сернуды». Она «настолько потрясла его впечатлительную натуру, что породила в нем сложную и богатую гамму переживаний и чувств, чья подлинность и глубина не имеют соответствия во всей нашей современной поэзии. До 1936 года развивались прежде всего технические стороны поэзии Сернуды — он в основном осваивал наследие прошлого. После гражданской войны его творчество обогащается новой координатой — это исторические обстоятельства, обрекшие его на изгнание, уже не только духовное, и сообщившие его творчеству ту удивительную насыщенность, которая нас так покоряет...»

Сейчас более чем когда-либо поэзия Сернуды кажется нам живой (и насуточно необходимой). Поэтому долг всех нас, не понимавших прежде его творений во всей их полноте (или понимавших превратно), состоит в том, чтобы сделать их нашим достоянием, проявив любовь, равную той, с которой они создавались...»

Ниже мы печатаем стихотворения Л. Сернуды в переводах М. Ваксмахера и М. Самаева.

Родная земля

Свет, словно сон, невесомый,
С детства знакомая ласка света,
Прикосновение нежных красок
К чистым формам предметов.

Очарованье равнины —
Простертой к небу ладони,
И лимонное дерево над ручьем —
Тяжесть плода над водою.

Стена, где цветок повилики
Раскрывается под вечер среди веток

И куда к гнезду возвращается
Ласточка каждое лето.

Воды-кормилицы бормотанье —
В тишине беззвучная музыка,
Мечты, еще не разбитые жизнью,
И чистой страницей — будущее.

Все это, временем унесенное,
Во мне оживает безжалостно
И в сердце мое вонзает
Воспоминаний кинжалы.

Молодые корни — кому их вырвать?
Первая любовь — кто совладеет с нею?
Мечты о тебе — кто их развеет?
Земля моя, чем дальше ты, тем роднее.

1936

Вспомни сам и другим напомним,
Когда им тошно от низости человеческой
И душит гнев от черствости человеческой,—
Вспомни всего лишь об одном человеке,
О его жизни, о его вере.
Вспомни сам и другим напомним.

Год шестьдесят первый, город чужой
Спустя четверть века.
Самая будничная обстановка.
Измученный встречами с читательской публикой,
Ты беседуешь с ним, с тем человеком —
Со старым солдатом
Из бригады Линкольна.

Четверть века тому назад,
Не зная твоей земли, для него далекой,
Для него совершенно чужой,
Он поехал туда, чтобы жизнь за нее отдать,
Потому что правым считал ее дело,
Потому что сражаться хотел за свою веру.

То, что дело потом проигранным оказалось,—
Это неважно.
То, что многие, кто утверждал свою веру,
Лишь себя в расчет принимали,—
Еще менее важно.
Важно другое: вера одного человека.

Вот почему сегодня снова
Это дело видится тебе высоким и благородным,
Достойным того, чтобы жизнь за него отдать.
Вера солдата пережила поражение,

Пережила эти долгие годы,
 Когда дело казалось погибшим.
 И нет ничего на свете
 Важней этой веры.

Спасибо тебе, товарищ.
 Ты мне говоришь примером своим,
 Что человек благороден.
 Пусть благородными были не все — это неважно.
 Достаточно одного человека —
 Он станет свидетелем непреклонным
 Человеческого благородства.

Испанец говорит о своей земле

Дремлющие под солнцем
 Выжженные плоскогорья,
 Луга, побережья,
 Овеянные покоем,

Фермы, часовни,
 Монастыри и замки,
 Жизнь с историей рядом —
 Сладостно мне вас помнить.

Ликующие победители —
 Вечные кайны —
 Меня от вас оторвали,
 Обрекли на изгнание.

Земля моя, ты вселилась
 В сердце мое и тело
 И подарила голос,
 Чтоб твое молчание пело.

Только в тебя я верил,
 Был я всегда с тобою,
 Имя твое ночами
 Меня наполняет болью.

Горькими были годы
 Жизни, которую прожил
 В ожидании долгом,
 В воспоминаньях упорных.

Земля моя, день настанет —
 Отвергнешь ты лживые речи,
 Ты звать меня станешь. Что же
 Тебе я мертвый отвечу?

Перевел Морис Вацмахер.

Прозрачная вода

Напиши это. Легкою кистью и краской,
 Полной воздуха утреннего. Напиши
 Воду ясную, света прозрачную ряску
 И на дне погруженные в сон голыши.

Купы вязов и ветер, ласкающе свежий,
 Отдающийся дрожью в их каждом листке,
 Тучку, словно забытую в синем безбрежье,
 Тень холма голубую на донном песке.

Той минуты, что будет последним ответом,
 Ты с улыбкою ждешь. На душе тишина.
 Словно кроткий пейзаж в водах дремлющих, в этом
 Ожиданье вся жизнь твоя отражена.

Сирены

Никто не знает наречья, на котором поют сирены,
 И мало кому из внимавших чьему-то полному пенью
 (Не в море, как встарь,— на земле, в сонной озерной глуши)
 Поверилось, будто пред ними возник в таинственном мраке
 Знобящий горестный призрак и пел ту самую песню,
 Которую некогда слушал привязанный к мачте Улисс.

Но вот иссякает ночь исполненных ожиданий
 И видевшие сирен возвращаются к шуму дня,
 К его безобманному свету; но песня в них оседала,
 Щемящим слезным настоем пропитывала их душу,
 И, точно далекий отзвук, в них жило очарованье
 Печальногосого пенья состарившихся сирен.

Внимавшие так напряженно-самозабвенно, они
 Уже не могли жить прежним и новой жизни искали;
 Томящий слезный осадок им кровь лихорадил ночами.
 Одной-единственной песней перевернуть всю жизнь?
 Пускай, лишь раз отзвучав, голоса сирен умолкали,
 Но кто их слышал, будет вдов и безутешен навек.

Перед уходом

Мир зла, мне от тебя
 Не нужно ничего —
 Лишь синевы кусок
 От неба твоего.

Другим — успех и власть,
Весь рай твоих сует,
А мне оставь любви
Во мне поющий свет.

Перевел М. Самаяс.

Чайки в парках

Хозяин фабрик, баров, заводов,
Весь в хмуром камне под сырым небосводом,
Ночами молчащий, зевающий по воскресеньям,
Он — город-ханжа, добропорядочный греховодник.

Но порой в монотонность сиротскую камня
Вкраплена грязная зелень парков,
И за решеткой дождей, на клочке прирученной природы
Вдруг видишь: безумными хохолками — чайки.

Почему, крылатые, пришли они к дыму в гости,
К мутным ручьям городского парка, к деревянным мостикам?
Какая рука, какой непопутный ветер
Унес их из родного порта, на чужую землю забросил?

Среди зимних штормов, среди летних штилей
В далеких морях их гнезда остались.
Крику изгнанника подобна их жалоба.
Даны им крылья. Отняты у них дали.

Боярышник

Гору одел боярышник
Зеленью свежей.
Гора в трепещущем воздухе
Стала пурпурно-снежной.

К тебе приходил боярышник
Весною каждой.
Весна всегда на свиданье является,
А ты не придешь однажды.

Пока над тобой сгустится
Мгла не успела,
Впитывай счастье, гляди на боярышник
В красном и белом.

Опускается вечер

Опускается вечер. Густеют
За окнами тихие тени.
Мальчик смотрит на ливень.
Фонари проявляют на черном фоне
Белизну дождевых линий.

Мальчик один. Теплая комната
Окутывает мальчика лаской.
И облачко занавески
Колышется и нашептывает
Мальчику сказку.

Забыты уроки и школа.
Час мечтаний бездумно смелых.
Под лампой раскрыта книга
С картинками. Время
Ускользнуло от контроля стрелок.

Он живет еще в теплом лоне
Собственной нежной силы.
Он еще не знает стремлений.
Он не знает, что за окнами время
И жизнь затаились в засаде.

В нем — во мгле — жемчужина зреет.

Перевел Морис Ваксмахер.



О ЧИ Е Р К И И Н А Ш И И Х Д Н И Е Й

И. ОСИПОВ

★

МАРШРУТЫ ИСКАТЕЛЕЙ

Когда нефть была найдена в Башкирии и Татарии, этот новый нефтеносный район стали называть Вторым Баку.

Если продолжать эту традицию, то теперь у нас оказались бы и Третье Баку, и Пятое...

Но мы произносим «Тюмень» или «Мангышлак» и знаем, что редко какой из старых нефтеносных районов мог бы с ними поспорить.

У разведчиков нефти я бывал на протяжении почти двадцати лет и обо многом увиденном рассказал на страницах «Нового мира».

Эти записи сделаны в разные годы на трудных маршрутах искателей — за Уралом и на полуострове Мангышлак.

СЫН МАНГЫШЛАКА

За окном гудела пыльная буря. Тревожно дребезжали стекла, во все щели сочился песок. К утру ураган еще не исчерпал своей силы. Пыль, поднятая до самых небес, поглотила и двухэтажные дома поселка, и ближние буровые вышки. Цистерну с питьевой водой вкопали в землю посреди поселка, не просто было дойти к ней и вернуться с двумя полными ведрами.

В такой обычный мангышлакский день я познакомился с главным геологом структурно-поисковой партии Адилем Нурмановым. Он стоял около грузовика, следя за тем, как двое рабочих укладывают в кузов бумажные мешки с цементом. Когда управились с этим, Нурманов спросил:

- Как думаешь, Сорокин, успеем до вечера сделать еще один рейс?
- Если буря позволит, — ответил водитель, захлопнув дверцу кабины.
- Позволит, — убежденно сказал Нурманов.

Машина ушла с зажженными фарами на буровую и сразу пропала из виду, словно растворилась в клубящейся жаркой пыли. Нурманов зашагал против ветра в свою конторку. Он шел, не пригибаясь, не прикрыв лицо ладонью. Только его глаза были прищурены чуть больше, чем обычно. Низкорослый, коренастый, он уверенно ступал по накатанной до блеска дороге, как бы и не замечая вовсе, что вытворяет пыльная буря. Мне подумалось, что ему сейчас даже доставляет удовольствие показать свое над ней превосходство.

В конторке геолога было так же душно, как и на дворе, хотя крылышки вентилятора вращались безостановочно, вежливо поворачиваясь то в мою сторону, то к Нурманову. Не в пример другим, находившимся здесь, он сидел, не растегнув воротника сорочки, не вытирая поминутно лицо. Окно здесь дребезжало так же громко и назойливо, как и в гостинице, но это не мешало ему сосредоточиться и обстоятельно рассказать приезжему, что сделала на Мангышлаке структурно-поисковая партия и каким образом оказался он сам в ее рядах.

Структуристки движутся впереди, они ведут рекогносцировку, прощупывают только верхние пласты, сверлят узкие скважины, поднимая образцы пород, чтобы определить верный маршрут наступления, узнать, где выгоднее бурить на боль-

шую глубину. Видимо, свое дело они выполняют неплохо: на Мангышлаке открыты богатейшие запасы нефти и продолжается такой же успешный поиск новых нефтяных и газовых месторождений.

— В общем, интересно здесь работать, — коротко резюмировал Нурманов рассказ о всех «продуктивных горизонтах», найденных при участии структурно-поисковой партии.

В отличие от других специалистов Мангышлака Адиль Нурманов не покинул где-то насиженное место, чтобы отправиться в пустыню у предгорий Каратау. Он вернулся к себе домой с дипломом геолога, полученным в Алма-Ате. Вот здесь, около поселка, в песках, ненадолго покрывающихся зелеными кустиками верблюжьей колючки, родился он в юрте колхозного учителя. Не было еще тогда, в тридцать четвертом году, ни этого поселка на берегу Каспийского моря, ни других селений, появившихся лишь с приходом разведчиков недр. Не было тогда и самих разведчиков. Была пустыня — пески, барханы, зной и кочевья животноводов.

Отец Адиля — Мулдаш Нурманов — обучал грамоте детей в своей юрте. Когда сходились сюда, в прохладный полумрак, школьники, мать Адиля собирала в дальнем углу просторной юрты своих малышей — их было десятеро — и приказывала не шалить. Подрастая, они поочередно присоединялись к школьникам. Дождался этого и Адиль.

Он учился читать и писать, не оставляя в стороне и другие важные заботы. Каждый в кочевье должен знать, как развести костер из верблюжьего помета, как вытянуть с помощью того же верблюда-кормильца бадью из глубокого колодца, где отыскать лучшее место для выпаса овец.

С детских лет Адиль привык видеть вокруг себя неласковую землю пустыни, но, так же как и его сверстники, не отвернулся от нее, когда подрос.

Выпускник Алма-Атинского университета Адиль Нурманов попросил направить его в поисковую партию на Мангышлак, где геологи в то время уже стали искать нефть.

Многие тогда впервые услышали названия Узень, Жетыбай. Нурманов мог бы им рассказать о причудливых скалах, стерегущих узеньскую впадину, о том, как весной ложится красный ковер тюльпанов на жетыбайское пастбище...

Давно уже в небольшом селении Таушике в каменном доме, не в юрте, жил состарившийся отец Адиля, разбрелись по белу свету его братья и сестры. Там, где кочевала шксла, где водил он овец и верблюдов, теперь выростали железные вышки, но нефти еще не нашли, не потекла она еще из скважин. И неизвестно было, увидят ли ее разведчики.

Собираясь домой, Нурманов не обольщался радужными надеждами. Уж кто-кто, а он хорошо знал, что Мангышлак мало изменился с той поры, когда Тарас Шевченко, изнывая в царской ссылке, писал отсюда на волю: «Настоящая пустыня... Песок да камень. Хоть бы травка, хоть бы деревцо — ничего нет. Смотришь, смотришь, да такая тебя тоска возьмет — хоть давишься...»

Нурманов знал, что новую жизнь на пустынном полуострове надо будет утверждать нелегким трудом.

Поиски нефти привели разведчиков в Карагиё. На дне этой глубокой впадины возле высохших озер ставили вышки. Структурщики, как и в других местах, пришли сюда первыми, и среди них лишь сын учителя да еще двое-трое буровых рабочих из местных видели когда-то мертвую белизну солончаков, змей и черепах, выживших в испепеляющем зное.

— Тот, кто поработал в Карагиё, — говорит Нурманов, — не забудет Мангышлак.

Он запомнил не только безжизненную котловину Карагиё, но и буйный фонтан шестой скважины. Черное загустевшее озеро около нее и сегодня еще напоминает об июльском дне шестьдесят первого года, когда разведчики впервые увидели большую нефть Мангышлака. Нурманов работал неподалеку и успел прибежать до того, как обуздали вырвавшийся на волю фонтан.

— Я тоже, как и все, на радостях зачерпнул руками нефть, весь перемазался...

Радостно было убедиться, что первый и такой отличный фонтан получили там, где он совершал рекогносцировку перед походом буровых бригад.

— Видели, как здесь все начиналось? — спросил вдруг Нурманов. — Пойдемте, покажу вам...

Он привел меня к песчаному холму на окраине поселка. Все склоны холма были покрыты врезанными в затвердевший песок землянками с почерневшими дощатыми кровлями. Здесь жили разведчики восемь лет назад, задолго до того, как ударил первый фонтан. Тогда еще скупно отпускали деньги на разведку, потому что никто с уверенностью не мог сказать, возвратят ли их недра Мангышлака.

Мы поднялись на холм. Тем временем ветер немного присмирел, улеглась пыль и можно было увидеть отсюда весь поселок, раскинувшийся от побережья Каспия до этого песчаного бугра с его покинутыми землянками. На рейде стояли два парохода, прибывших вчера из Махачкалы, — буря помешала пристать к берегу. Сейчас там, наверно, готовились причалить к портовой эстакаде и выгрузить оборудование для нефтяников. Из гаража, расположенного под открытым небом, вытягивалась на дорогу длинная колонна грузовиков. Нурманов проводил ее взглядом.

— Идут на новую площадь, в Тасбулак. Завтра и мы туда двинемся...

Теперь, когда открылось небо над поселком, были видны ближние и дальние вышки. Их поставили в несколько рядов на равном расстоянии друг от друга, как это делают обычно при разработке уже исследованной нефтяной площади.

Спускаясь с холма, Нурманов поглядел на часы.

— Не поверил мне Сорокин, а я знал — непременно успеем сделать еще один рейс до вечера...

СЕВЕРНАЯ СОСЬВА

Полтора месяца я провел на маршрутах тюменских геологов, открывших огромные залежи нефти и газа. Они найдены там, где не ступала нога человека, — в тундре Заполярья, в приобской тайге, среди непролазных болот, за тысячи километров от человеческого жилья.

Тюменская нефть уже бьет из скважин, наполняет цистерны, плывет в баржах по рекам. Самое время позаботиться сейчас о том, чтобы эти сибирские фонтаны не вступили в конфликт с живой природой.

Прежде всего нужно иметь в виду, что такое столкновение не обязательно, хотя и кажется на первый взгляд неизбежным.

Всякий раз, когда заходит речь о судьбе лесов, озер и рек в районах бурного развития индустрии, вспоминается мне деревня Бавлы.

В конце сороковых годов были открыты в Татарии девонские залежи нефти. Богатейшая находка прославила безвестную деревню Бавлы. Вскоре здесь вырос крупный промысел. К деревне проложили шоссе, привезли вышки. В короткий срок все вокруг приобрело обычный облик быстро развивающегося очага индустрии, и старые бревенчатые избы бавлыньских крестьян выглядели на этом фоне чем-то чужеродным.

Разведчики проникли и в сосновый бор, расположенный неподалеку. Здесь тоже нашли нефть.

— Погибнет наш бор, — говорил старый лесничий. — Нефтяники быстро управятся с ним...

На протяжении многих лет довелось мне наблюдать, какой урон наносят живой природе нефтяные фонтаны. Лесничий из Бавлов высказал, в общем-то, справедливое опасение. Искатели нефти безжалостно рубят лес, заливают все вокруг мазутом, грязным глинистым раствором, такой же грязной грунтовой водой. Так случается всюду, где мы берем полной пригоршней богатства недр и

нисколько не стараемся сберечь то, что украшает землю. Что поделаешь — не отказываться же, в самом деле, от миллионов тонн черного золота ради сохранения какой-то рощи, озера, речки!

А нельзя ли оставить в неприкосновенности и эту «мелочь» без особых затрат и без ущерба для драгоценной нефти? Ответы на такой вопрос не отличаются разнообразием, всегда они сводятся к одному: игра не стоит свеч. Слишком много пришлось бы, дескать, потратить денег, чтобы по-прежнему шумели на ветру сосны или отражались облака в чистой реке. На этикие деньги знаете что можно понастроить!

Я уехал из деревни Бавлы, навсегда простившись с ее мажорными соснами. «Газик» начальника нефтепромысла взобрался на придорожный холм, исполосованный тракторными гусеницами, и мы увидели позолоченный солнцем густой бор. Сосны были ростом выше разведочных буровых, между ними затерялись вырубленные кое-где просеки, и могло показаться, что никто еще не замахнулся на рощу. Слово бы подтверждая такую догадку, вышел на дорогу лось, постоял немного, спокойно глядя на нас, и неторопливо удалился в свои владения.

Вдоль шоссе лежала большая труба, протянувшись к соседнему холму, где белели цистерны тысячетонных резервуаров. Слышно было, как шумит в трубе быстрый поток.

Его называют животворным, и это не противоречит истине. Он действительно питает кровеносную систему промышленности. Трудно представить себе современный мир без всего, что дает нам нефть.

Все это так, но, помнится, в тот осенний полдень, слушая, как шелестит в железном русле животворный поток, я подумал о другом. О том, что он погубит бавлынский бор. И как ни убедительно выглядело сопоставление ценности девонской находки и бронзовых сосен, не хотелось примириться с тем, что их дни сочтены...

Через десять лет я вернулся в эти края. По дороге из Бугульмы в Бавлы пришлось несколько часов ждать на обочине, пока бульдозер расчищал занесенное снегом шоссе. Уже стемнело, когда машина одолела крутой подъем у въезда в поселок. Отсюда видны были впереди огни вышек, а справа от дороги, на том месте, где показался тогда лось, по-прежнему стоял лес. Нельзя было разглядеть отдельные стволы, но их строй как будто не поредел.

Еще не веря, что сосны в Бавлах уцелели не только у дороги, что их не истребили за минувшие годы, я отправился рано утром на нефтепромысел.

Бревенчатая конторка диспетчера стояла на прежнем месте, у развилки дорог. Здесь, на лесной опушке, и всюду, насколько хватал глаз, снег был удивительно чистым. Не верилось, что в двух шагах отсюда бьют нефтяные фонтаны.

Сосновый бор не погиб. Бавлышцы применили новейший способ добычи нефти с помощью воды, нагнетаемой в землю. Вода выталкивала нефть, позволяя уменьшить количество скважин, так как давление в подземных пластах сохранено, и всем фонтанам гарантирована долгая жизнь. К тому же здесь заковали потоки нефти в непроницаемое русло и не загрязняют территорию промысловой водой, отправляя ее обратно в глубокие скважины, в землю.

Вот что спасло бавлышскую рощу. Обнаружилось, что техника способна не только вступать в конфликт с живой природой. Техника в умелых руках может сохранить в первозданной красоте все, что радует глаз и приносит, кстати сказать, немалый доход.

Роща в Бавлах уцелела еще и потому, что не опоздали позаботиться о ее судьбе. Самое важное в подобных случаях — не откладывать на завтра то, что надо сделать сегодня. Как трудно, а подчас и невозможно вернуть утраченное, возродить погубленное! Чтобы вырастить в Бавлах такую же рощу — если бы ее не убергли, — понадобилось бы лет сорок—пятьдесят.

Часто вспоминал я на тюменских маршрутах давнюю поездку в Бавлы.

На обрывистом берегу Оби, возле поселка разведчиков Усть-Балык стоят большие резервуары. У причала швартуется самоходная баржа. Подали ей с бе-

рега брезентовый шланг. Вскоре помощник капитана сигнализирует: взяли триста тонн. Шланг сброшен с палубы, и черная струя оставшейся в нем нефти потекла за борт.

Стоит ли придавать значение этой мелочи? Ну, пролилось немного. Так здесь ведь триллионы тонн! Невелика потеря...

Велика, очень велика беда от этих пролитых в реку килограммов, от капелек нефти, оставляющих радужный след за кормой баржи, от брошенной в воду маслянистой жижи из катеров и буксиров, когда промывают трюмы. Сведущий человек говорил мне, что кружка нефти, выплеснутая в реку, — это тонна потерянной рыбы. Там, где маслянистая пленка покрыла речную гальку, не выживет рыба икра.

Никто не взялся подсчитать, сколько мы уже сегодня теряем рыбы на Оби из-за нефтяных караванов и какое зло причиняют только что построенные здесь заводы, которые не очищают сточных вод перед тем, как сбросить их в реку.

Зато известны некоторые потери на других реках. Ну хотя бы на Волге. В июле шестьдесят пятого года Волгоградский химический завод однажды сбросил «залпом» неочищенную сточную воду. Люди, охраняющие рыбные богатства, подсчитали, что тогда погибло огромное количество осетров.

Можно надеяться, что подобные катастрофы минуют Обь с ее осетрами, севрюгами, белугами? К сожалению, то, что видишь сегодня за Уралом, внушает серьезную тревогу.

Богатства тайги, сибирских рек и озер кое-кому кажутся неистощимыми. И вот к чему приводит это опасное заблуждение.

Отряд разведчиков высадился на берегу Мулымьи. Здесь впервые нашли тюменскую нефть. Мулымья, петляющая в лесу, среди болот, оказалась единственной на первых порах транспортной артерией для поисковых партий. И река добросовестно выполняла все, что ей поручали, — несла на себе тяжелые баржи с оборудованием, пропускала к верховьям буксирные катера. шлюпки.

Вскоре плавание по Мулымье стало очень затруднительным. То и дело баржи, буксиры застревали в самых неожиданных местах. Часто волей-неволей приходилось впрягать трактор в прицепные сани. Для того, чтобы он не увязал на болотах, к его гусеницам, расширяя их сколько возможно, приклепывали дополнительные «башмаки». Эти ухищрения не спасли от аварий. Сколько раз вытягивали из трясины потерпевших бедствие! Сколько погибло времени в этих рейдах! Да и труб ушло немало в торфяные топи...

Почему же люди обрекали себя на такие испытания в летнюю пору, когда лучше всего пустить груз по воде? Потому что река становилась «непроезжей». Как это произошло?

Лесорубы облюбовали Мулымью для сплава. Всю зиму к реке везли по санному пути заготовленную древесину. А в предвесенние дни, когда трудно таскать стволы издалека по раскисшей колее, рубили деревья у самой реки, в запретной зоне. Уж кто-кто, а лесники хорошо знают, что это совершенно недопустимо. Оголенный берег превращается в болото, река мелеет. Лесников наказывали штрафом. Но и взывали за недорубленные кубометры: план есть план.

Из двух зол обычно выбирают меньшее. Но такая логика не всегда в дружбе с разумным отношением к народному добру. Выбирали как раз то зло, что приносит больший вред. Отделяясь штрафами («казна выдержит!»), лесорубы нажимали на план и рубили всюду, где можно до ледохода перетаскать древесину к реке.

Плывут по Мулымье тысячи и тысячи стволов молевого сплава. Кора с них отваливается и гниет, отравляя воду. В долгом пути тонет множество бревен. Упадет одно, уткнется в него другое, третье — и возникает в этом месте «деревянное дно». Можно назвать его и мертвым, потому что здесь рыба никогда не положит икру. Затонувшие стволы — неодолимая преграда для речной флотилии. Губительный молевой сплав сделал Мулымью непроезжей.

Скажет кто-нибудь: «Ну стоит ли шуметь из-за какой-то речки! Вон сколько этого добра в сибирской тайге... Хватит на наш век».

Что ж, нам с вами, пожалуй, хватит. А что останется потомкам?

Вторые сутки поднимаемся по Северной Сосьве на «Спутнике». Это плоскодонное суденышко чуть побольше обыкновенной шлюпки. Его мотор соединили не с винтом, а с насосом, он заглатывает речную воду и с силой выталкивает за корму. «Спутник» движется наподобие ракеты, оставляя позади широкий пенистый след.

Мы вышли из Березова студеным августовским утром. Осень высоких широт уже зажгла красные факелы в темной хвое по обе стороны реки. «Спутник», идя налегке, часто обгонял буксиры с двумя-тремя баржами. Поисковые отряды спешили опередить заморозки, перебросить водой в тайгу походное снаряжение — станки, вышки, трубы.

Северная Сосьва, как и Мулымья, стала помощницей геологов, но не вышла из строя, ее не погубило «деревянное дно». Можно довериться фарватеру, отмеченному справа и слева пучками еловых веток, привязанных к тонким колыям. С наступлением темноты плавание не столь безопасно, потому что нет светящихся бакенов, но опытный капитан, зная наизусть все «меляки», пройдет и ночью к верховьям Северной Сосьвы.

Непохожи ее берега на то, что видишь вдоль Мулымьи. Нетронутая, поистине девственная тайга стережет реку. У самой воды выстроились кедры в два обхвата, мохнатые лиственницы попеременно с елью и березой. На поворотах низкие берега впереди как бы смыкаются, и тогда кажется, будто тайга перехватила Сосьву, спрятала свою красавицу от постороннего глаза.

Что спасло ее от топора и электропилы, от лавины бревен? Видимо, здешние лесники хозяйничают разумнее. А может быть, крепче одергивают тех, кто выбирает из двух зол большее и думает, что не стоит поднимать шум из-за какой-то лесной речки.

Так или иначе, но Северная Сосьва живет, принимает на себя весь груз поисковых отрядов, пропуская тяжелые караваны в самую сердцевину тайги. И не перевелась в реке прославленная сосьвинская сельдь. Скромные уловы здешних рыбаков, конечно, не идут ни в какое сравнение с богатствами, найденными по соседству в нефтяных и газовых пластах. Но радует также и попытка сохранить единственное на земном шаре сельдяное стадо.

«Спутник» причалил к пристани поселка Игрим. На крутом берегу среди изб с резными потемневшими наличниками стояли приземистые бараки рыбного завода. Только что привезли из-под Березова утренний улов, и можно было увидеть, как укладывали в маленькие, трехкилограммовые бочки серебристых рыбок. Они были, как на подбор, совершенно одинаковые — в каждой тринадцать сантиметров от узкого хвостового плавника до головы. Весь улов маринуют, и в цехах завода никогда не выветривается пряный запах гвоздики и лаврового листа.

Уникальное сельдяное стадо Сосьвы за последние десятилетия поредело и, наверное, вовсе исчезло бы, как это произошло с иными столь же незащитными породами, если бы человек не позаботился о его судьбе.

В чем эта забота? Прежде всего сельдь спасают от прожорливых хищников. В реке расплодилось щуки, нельмы, ерши, налимы, окуни. В брюхе крупного налима находят три-четыре сеledки. У других охотников полакомиться жирной рыбкой тоже аппетит немалый. Теперь объявлена им война.

На Сосьве проводят биологическую мелиорацию: и летом и зимой на всем ее течении вылавливают хищную рыбу. Чем меньше будет в реке прожорливых, живучих щук и налимов, тем вероятнее станет увеличение сельдяного стада. При этом, полагают ученые, нисколько не нарушится общее биологическое равновесие — не пострадают другие ценные обитатели реки.

Из Игрима «Спутник» пошел к верховьям Сосьвы. Долго не было дождей, но фарватер оставался вполне надежным, убеждая, как полезно избавить реку от пагубного молевого сплава и варварского уничтожения водозащитной зоны.

По-прежнему охраняли ее кедр, лиственница, ель. Лишь кое-где на перекатах чернели выброшенные на песок половодьем корневища.

На пологом берегу показалась вышка, и оттуда донесся к нам приглушенный расстоянием грохот бурового станка. В этих местах геологи нашли нефть, и где-то рядом в тайге проложен трубопровод от газовых скважин к заводам Урала.

Индустрия включила в свой конвейер, но не губит Северную Сосьву. Сегодня вода в ней еще не отравлена гниющей корой и пролитой за борт нефтью. Хочется верить, что и завтра положение не изменится к худшему и газовые, нефтяные фонтаны так же, как в Бавлах, не вступят в конфликт с живой природой. И уцелеют для нас и для потомков красота и богатства этой тихой реки Северного Зауралья...

ПЕРВЫЙ САД

Ежедневно, кроме воскресенья, около дома, где я живу, останавливается автомобильная цистерна с крупно выведенной белилами надписью «Молоко». Шофер опускает шланг в железный бочонок, поставленный перед окном. Надпись на автоцистерне сохранилась с тех недавних времен, когда машина бегала по улицам Махачкалы. Теперь доверили ей груз, еще более важный для полуострова Мангышлак.

Воду привозят в наш поселок из колодца Жарма. Продолав стокилометровый путь под палящим солнцем, она сильно нагревается, но за ночь остывает. Рано утром все сходятся у поселкового водохранилища, прикрытого от пыли и зноя толстой бетонной плитой.

В железном бочонке вода не успевает остыть. Ее вычерпывают тотчас же, как уходит цистерна, и всю до капли выливают в круглые неглубокие лунки, выкопанные на огороженном участке позади дома для приезжих.

Нужно подойти вплотную к ограде, чтобы увидеть за нею чуть приметные бледно-зеленые стебельки. Они торчат из каждой ямки на равном расстоянии друг от друга. Если всмотреться, то видно, что у многих набухли почки и вот-вот проклюнется лист. Тогда станет понятным, что это за растеньица отважно потянулись к свету из земли, на которую нигде не падает тень дерева.

На Мангышлаке многое недолговечно. Высадившись первыми на пустынном безводном полуострове, искатели нефти не имели ни времени, ни денег, чтобы все с самого начала ставить на прочный фундамент. Не до того, как говорится, было отрядам разведчиков недр. Они должны были любой ценой удержаться на этой мертвой земле, устоять под ударами пыльных бурь и зимних буранов — десантники, обязанные подготовить плацдарм для широкого наступления.

Еще не ясно было, чем вознаградит их Мангышлак. Сбудутся надежды найти богатства под барханами и толстой броней ракушечника — никто не взывает за то, что потратились на времяни. А если геологи уйдут с пустыми руками — что ж, значит, и не стоило затевать фундаментальное строительство.

Поэтому видишь здесь землянки и бараки, сколоченные из неотесанных досок. Бок о бок с ними встают каменные дома, покрываются асфальтом дороги, тротуары. Мангышлак не обманул разведчиков, и теперь на каждом шагу видны ощутимые признаки того, что люди останутся тут надолго.

Сад, заложенный в поселке разведчиков, напоминает о том же. Человек обычно сажает дерево там, где и он пускает корни. Мне еще нигде не довелось встретить командированного с лопатой и лейкой около дома, где ему предоставили ночлег. Но я помню сады, выращиваемые вот так же, как и здесь, наперекор всем стихиям.

Далеко отсюда, на штормовом берегу Татарского пролива, стелются по земле яблони Мысника. Он приехал на остров Сахалин из черниговской деревни Турец и после недолгих раздумий решил поселиться в Александровске.

У себя в деревне Терентий Федорович привык видеть за окном куст сирени, вишню и яблоню. В Александровске никогда не получали своих, сахалинских фруктов, никто не пробовал поспорить с охотскими туманами и вьюгами.

Мысник привез на пароходе с материка, из Сучанского заповедника, тщательно отобранные саженцы, опустил их в неласковую почву, пригнул к земле, привязав стволы к колышкам, чтобы не повредило яблони бурей. Зимой над тонкими стволами, прижатыми к земле, намело высокие пухлые сугробы. Под ними яблони не замерзли, и летом каждая зацвела. Стелющийся сад на Дуйской улице стал достопримечательностью Александровска.

Давно похоронили старика Терентия Федоровича, но сад живет, разрастается, приходят школьники, туристы, и вдова Мысника угощает их сахалинскими фруктами.

Неподалеку, в узкой тихой долине реки Тымь, по примеру Мысника его земляки создали плодово-ягодный питомник. Отсюда сахалинцы получают выносливые саженцы для своих садов.

В музее Александровска можно увидеть портрет пожилого человека в косоворотке с украинским узором. Он сфотографирован около цветущей яблони, которой дал имя «сахалинка».

Инженер Емельян Евдокимович Нуйкин стал жителем Небит-Дага, когда этот город был самым молодым в республике. Нуйкин переселился в столицу туркменских нефтяников с полуострова Челекен.

И там, на каменистой, солончаковой земле, и здесь, у порога пустыни Каракум, все вокруг было враждебно человеку. Горячий ветер, не встречая заслона, врывается в Небит-Даг, и стены домов, сложенных из пористых белых блоков, накалялись, как в печи. Многие хотели прикрыть их от солнца тенью дерева, но не верилось, что в этом пекле уцелело бы самое выносливое, неприхотливое растение.

Живя на Челекене, Нуйкин посадил у крыльца несколько деревьев. Тополь и клен засохли, как ни оберегал их Емельян Евдокимович. Карагач и акация не погибли. На полуострове всегда не хватало воды — не только для того, чтобы поливать деревья. Воду везли сюда из-за моря, наполняя в Баку железные баржи. Очень редко поливал Нуйкин свои саженцы, и все-таки, когда покидал Челекен, они поднялись вровень с крышей его дома.

Не увидев ни одного дерева в Небит-Даге, он решил повторить челекенский опыт. Акация и карагач перед домом Нуйкина были такой же редкостью, как и яблони Мысника на Сахалине. А спустя десять лет на всех улицах Небит-Дага лежала тень густой листвы.

В городе нашлось достаточно энтузиастов озеленения, они привезли из Ашхабада, Фирюзы, Кизыл-Атрека, Мары тысячи деревьев и кустарников. Два раза в неделю пускали воду в арыки, выкопанные вдоль тротуаров, после того как ее использовали в цехах заводов, на электростанции. Деревья не отказались от нее, хотя она была мутной и распространяла неприятный запах.

Позднее Небит-Даг уже не испытывал нужды в питьевой воде, и более щедро поливали молодые сады. Город у порога пустыни прикрыт зеленым щитом от зноя и пыльных бурь.

Я вспомнил о Мыснике и Нуйкине, глядя на тонкие прутья за оградой нашего поселка. Здесь еще труднее, пожалуй, чем на Сахалине и в Небит-Даге, вырастить каждый стебель. Мангышлак ожесточенно сопротивляется любой попытке привить на его безводной почве переселенцев с Большой земли.

Каждый день видишь одно и то же в центре поселка. Девушка в белом платке, повязанном ниже бровей, склонилась над ростками. Поливальщица Валя приходит сюда до появления автоцистерны, но только сейчас, получив воду, может заняться самым главным.

Сегодня в тени сорок два градуса. Никто не измеряет температуру воздуха на солнцепеке. Наверно, там, где работает Валя, больше пятидесяти. Ветер бросает в лицо острые песчинки. Валя еще ниже опускает платок. Присев на корточки, она кладет в лунку горсть древесных опилок. Прежде чем ветер успел выбросить их оттуда, Валя плеснула на опилки воду. Конечно, совсем недолго они останутся мокрыми, но под верхним высохшим слоем все же сохранится немного влаги, и она проникнет к корешкам.

В борьбе за жизнь стебля самое важное — напоить его до того, как жадное солнце выпьет воду до последней капли. Опилки служат не только защитой от зноя. Смешавшись с землей, они кормят растение, удобряя скудную почву Мангышлака.

Навстречу Вале идет с противоположной стороны садового участка поливальщица Ольга. Она тоже «колдует» около каждой лунки, опережая ветер. Валя приехала из Полтавы. Ольга сажала цветы и деревья на улицах Куйбышева.

— Только бы ветер их не подрезал,— говорит она, укладывая возле ростков акации пригоршню древесных опилок.— Это самый злой наш враг. И еще жуки...

Цепляясь за каждую неровность почвы, ползут, наступают на сад черные жуки с жесткими крыльями. Их так много, что в некоторых местах песок потемнел и словно бы шевелится.

Оберегая свои саженцы, поливальщицы пытаются отпугнуть черные полчища ядовитым порошком. И действительно, жуки сперва обходят росток, посыпанный дустом. Но не зря называют мангышлакский ветер злейшим врагом первого сада. Вот уже выдуло из лунок порошок, и жесткокрылые воины атакуют ростки. Не трогая стебель, они сгрызают почку.

— Не успеешь управиться с одной бедой,— жалуется Валя,— а другая уже тут как тут. Уйдут жуки — спасайся от пыльной бури...

В те дни, когда над Мангышлаком — от земли до неба — клубится удушливая пыль, сад подвергается наибольшей опасности. Кажется, ничто живое не уцелеет за проволочной оградой. Вскоре после поливки песок вокруг саженцев становится таким же твердым, как утрамбованная земля в аллеях. Еще не стоят здесь скамьи, да кому они нужны на солнцепеке! Но наступит время, и ляжет тень на садовые скамьи, несмотря на то, что буря срывает сейчас листья с крохотных деревьев. Они закаляются в единоборстве с пустыней.

Никому не пришло бы в голову года два-три назад затевать что-либо схожее с тем, что видишь сейчас в поселке. Валя Овчаренко и Ольга Милованова работали в общежитии холостяков, убирали комнаты, кипятили титан, стирали белье. Мало кто знал, что уборщицы умеют еще сажать деревья и цветы. Да и сами они стали забывать об этом. Подобно другим, приехавшим на полуостров Мангышлак, не сразу решили они остаться здесь надолго. Нужно было привыкнуть к вещам, какие неведомы живущим в Куйбышеве и Полтаве. Ну, хотя бы к тому, что после изнурительной жары ночью в палатках под двумя одеялами не согреться. Нелегко было свикнуться и с тем, что в столовой слишком часто готовили обед из надоевшей тушенки, а зеленый лук или помидоры, доставленные на самолете из Махачкалы, такая же редкость в продуктовой лавке, как заморские лимоны. Понадобился известный срок и для того, чтобы перестали огорчать многие иные мангышлакские условия существования: и вода с привкусом железа, оставляющая на стаканах желтый налет, и перемолотая колесами рыжая пыль, от которой нигде не укрыться, и, конечно, утомительный зной. Со временем все вокруг стало если не столь уж привычным, то во всяком случае не таким тягостным, каким казалось в первый день. Удивляло сперва, например, как можно в жару пить горячий чай, а теперь старинный казахский способ утолить жажду и остудить тело стал таким же обычным, как и умение разжечь костер из пересохших верблюжьих «каштанов».

Валя и Ольга, выйдя из общежития, могли уже безропотно, не пригибаясь, не кланя песчаную бурю, прошагать через весь поселок с полными ведрами в руках и не расплескать воду, прикрыв ведро плавающей дощечкой. Они уже не

рассказывали в письмах домой, что поминутно стряхивают песок со скатерки, с одеяла, хотя окна наглухо закрыты и каждую щелочку заткнули ватой. Письма из дому шли долго, гораздо дольше, чем в Сибирь или на Дальний Восток, потому что связисты не поспевали за движением разведчиков недр.

В единственном кинотеатре под открытым небом часто прерывали демонстрацию узкоплечного фильма потому, что электростанция не справлялась с возросшей нагрузкой. В таких случаях киномеханик заводил радиолу, обещая показать фильм до конца, когда возобновят подачу электроэнергии.

Как правило, фильмы были старые, все знали, что сделают и скажут герои в последней части, и потому никто не возражал против «внепланового» танцевального вечера за те же тридцать копеек, уплаченные при входе в кинотеатр.

Позади невысокой побеленной стены, служившей экраном, дремали верблюды плотника вышколмонтажной бригады Камысбая Каримова. Он слепил себе хибарку еще перед тем, как построили кинотеатр, и на лето ставил рядом с ней юрту, в которой было не так душно. Валя и Ольга покупали здесь «шубат» — прохладное верблюжье молоко, всегда поражаясь, как ухитрялась остудить его в юрте жена Камысбая.

Ранней весной, задолго до того, как в Куйбышеве и Полтаве появился зеленый дымок на тополях, вокруг поселка пылали маки. На короткое время пустыня меняла обычный облик. Через месяц все опять становилось однотонно-бурым, и только почерневшая, высохшая трава, похожая теперь на спутанную ржавую проволоку, напоминала о возникшей здесь и быстро угасшей жизни.

В эти весенние дни девушки приносили в общежитие полевые цветы. В комнате Вали и Ольги всю зиму лежали в шкафу высохшие букеты. Не поднималась рука выбросить их за окно.

Заместитель начальника геологоразведочной экспедиции, человек весьма хозяйственный, третий год живший безвыездно в поселке, получил «добро» на закладку сада, и две уборщицы были возведены им в ранг поливальщиц садовой бригады.

Включили в эту немногочисленную бригаду еще Сансызбая Сабилова, шестидесятилетнего сторожа конторы экспедиции. Составили смету, дали денег на «посадочный материал» и оплату регулярных рейсов автоцистерны по дороге воды — так называют путь от поселка к колодцу Жарма. Присмотрели участок — пустырь примерно в три гектара, — обнесли проволочной изгородью от верблюдов и овец. По совету агронома из Гурьева, навестившего как-то наш поселок, купили саженцы в бакинском заповеднике.

Так началась история первого сада на полуострове Мангышлак. Первого, если не считать тутовых и вишневых деревьев, давно выращенных в Форту Шевченко. Отбывая здесь царскую ссылку, опальный кобзарь посадил возле солдатской казармы вербу; говорят, ту самую, что и сегодня дает спасительную тень тихой улице в центре городка.

Сансызбай взялся за новую роль садовода со всей серьезностью, свойственной его почтенному возрасту. Затемно являлся на участок и, старательно орудуя кетменем, копал лунки, очищал площадку от камней. Когда же привезли саженцы, он уступил первенство девушкам.

За годы кочевий в пустыне старик приобрел немало полезных навыков, но никогда не пришлось ему укладывать в землю нежный стебель так, чтобы не повредить тонкие корешки. Валя и Ольга делали это гораздо искуснее, чем бывший чабан, и он только приносил воду и древесные опилки да еще отгонял черных жуков.

Бурильщики и плотники вышколмонтажных бригад приходили поглядеть, как сажают деревья на пустыре. Спрашивали, где достают саженцы, какие выбрали сорта. Сансызбай показывал охотно: вот здесь, вдоль ограды, приготовлено место для карагача, тополя и акации. Они крепче, выносливей других пород, пусть прикрывают от ветра виноградную лозу, вишню, грушу и цветы — настурцию, резеду, петушки.

За оградой громыхали самосвалы, перемалывали песок тракторные тягачи. С утра до поздней ночи через поселок катились тяжело нагруженные машины экспедиции, и этот придорожный пустырь под волнами пыли, с торчащими из окаменевшей земли, казалось, обреченными на гибель стебельками выглядел по-прежнему безжизненным. Надо было обладать кое-каким воображением, чтобы представить себе на этом гиблом месте сад с цветущими вишнями, с кустами малины и смородины, с гроздьями винограда и клубникой.

Недоверчиво слушали геологоразведчики Сансызбай.

— Думаешь, не сгорят саженцы?

Старик обычно отвечал:

— И меня с тобой еще переживут.

В подтверждение своих слов он осторожно приподнимал поникший от жары стебель, чтобы можно было увидеть набухшую почку или только-только прорезавшийся, еще клейкий листок. Старик убеждал каждого, кто останавливался здесь по дороге в общежитие, что саженцы уцелеют, и не забывал похвалить Валу и Ольгу.

Девушки тем временем таскали на грядки навоз. Они высадили полтора ста кустов смородины, клубнику и спешили подготовить их для первого полива.

Почти два месяца я провел в дальней поисковой партии и возвращался в поселок разведчиков, когда Мангышлак уже утратил все, чем могла порадовать его зная весна. Под крылом самолета распростерлась верблюжья бурая шкура, прошитая тонкими шнурками полевых дорог. Кое-где белели на ней круглые и овальные пятна высохших соляных озер. В открытое окошко кабины ворвался горячий ветер: самолет снизился.

Вечером я увидел сад на пустыре возле кинотеатра. Вдоль проволочной ограды выпрямились тонкие стволы. И можно было угадать, где какое деревцо, по листьям, не сгоревшим в июльском зное. У калитки сидел Сансызбай в овчинном полушубке, накинутом на плечи.

За выделенной стеной кинотеатра не дремали верблюды, и там, где летом ставили юрту, ганцевала на дощатом помосте молодежь. Умолкла хрипловатая радиоло, все покинули танцевальную площадку и заполнили аллею сада. Деревья были ниже ростом, чем прогуливающиеся возле них молодые люди. Но уже слышно было, как шелестит листва, тронутая прохладным ветром.

Две пары сидели в снимку на скамье. У Вали и Ольги в руках еще не увяли цветы — синие петушки и белая резеда.

ТРАССА

«МИ-1» взлетел и повис в воздухе, будто летчик еще не решился покинуть ровную поляну, хорошо прикрытую от ветра всех румбов густым ельником. Мне показалось, что Женя Кучеренко в последнюю минуту действительно передумал и не пойдет в рейс. Слишком низкой была в это морозное утро сплошная облачность. Метеосводка не обещала лучшей видимости до конца дня. Но вертолет не спустился на утрамбованную площадку. Экипаж отправился выполнять задание.

Накануне ночью буровой мастер Феоктист Андреевич Тимофеев разбудил начальника геологоразведочной экспедиции.

— Вот какое дело... Пропали трактористы, — сообщил он по радио. — Ушли за продуктами и двое суток — ни слуху ни духу. Звонил на базу — не дошли туда...

Лагерь буровой бригады Тимофеева находился на реке Тромаган, в семидесяти километрах от базисного склада. Расстояние по сибирской мерке совсем небольшое. Буксирный катер спустился оттуда за полдня. Зимой тракторы шли напрямик, не петляли по реке, сокращая путь, но каждая метель заставляла наново прокладывать колею в тайге и через скованные морозом болота.

Начальник экспедиции спросил мастера:

— Как думаешь, что с ними?

— Теряюсь в догадках, — ответил Тимофеев.

— Теряюсь, теряюсь, — раздраженно сказал начальник экспедиции. — Кого послал? Коншина?

— А кого же! В такой рейс другого непустишь... На подмогу посадил моториста Лопатьева. Тоже сибиряк.

— Горючего дал в оба конца?

— И еще полбочонка про запас.

— А целый пожалел? Смотри, Феоктист Андреевич, если не хватило солярки — ты ответишь за все, что с ними случилось...

Где-то в пути людей настигла беда. Каждому было понятно, что значит в сорокаградусный мороз оказаться в глухой тайге, далеко от человеческого жилья.

Перебирая все вероятные причины аварии, начальник экспедиции отдал предпочтение самой распространенной в здешнем бездорожном краю. Он вызвал кладовщика и велел погрузить на вертолет запасные звенья для тракторной гусеницы и бочонок с горючим.

Только рассвело, бортмеханик прогрел мотор, и вот уже серая вата нависшего над головой облака прилипла к окошку. В кабине стало темно. Кучеренко сидел слева от меня в кожаном шлеме, меховой куртке, оленьих унтах. Мои валенки недавно выдержали испытание в шестичасовом пути на тракторных санях. Теперь я с некоторым беспокойством ожидал, не подведут ли они в этом полете. Бортмеханик сидел на ремне, протянутом через порог, позади него лежали в кабине стальные суставы тракторной гусеницы, бочонок и два мешка с продуктами.

Слабый ветер дул нам в спину. Нельзя было надеяться, что он опередит нас и расчистит воздушную трассу на всем ее стокилометровом протяжении.

Мы долго летели, не видя земли. Когда до лагеря Тимофеева оставалось километров десять, пилот снизился, сколько было возможно, чтобы, как он выразился, «не промазать разведчиков».

Вертолет шел на такой высоте, что можно было разглядеть любую сосну и пересчитать по-зимнему оголенные березы.

Вскоре показался впереди конус буровой вышки. На выкорчеванной небольшой площадке возле белой петли Тромагана стояли в два ряда палатки с дымящими трубами. Тонкое удилице самодельной антенны отмечало палатку мастера, где однажды нашлось место и для моего спального мешка.

Нас здесь ждали. Задрав головы, буровики стояли на деревянных мостках вышки. Бортмеханик открыл дверцу и столкнул через порог тяжелый узел с консервами и хлебом. Он упал на мохнатую ель и, ломая ветви, свалился неподалеку от буровой. Трое разведчиков побежали туда, а Тимофеев, стоявший около своей «штабной» палатки, помахал нам рукой.

Полет продолжался. Мы старались все время держаться у нижней кромки облачной завесы, чтобы не терять из виду узкую просеку, проложенную от лагеря на северо-восток. К сожалению, этот единственный ориентир вскоре исчез.

Потом лес расступился, открыв заснеженное болото. Кучеренко опустил машину еще ниже, надеясь увидеть след трактора, но ветер разгладил белое полотнище, не оставил на снегу ни одной колеи.

В кабине опять потемнело. Вертолет ввинтился в облако, и невозможно было вести наблюдение за трассой.

А что, если сейчас под нами люди, потерпевшие бедствие?

Пилот двинул вперед, от себя, полукружье штурвала, сбавляя высоту, но не дождался, пока посветлело в кабине. Стрелка альтиметра грозно напоминала, что машину отделяет от земли только пятьдесят метров. Летчик потянул к себе штурвал.

Рискуя задеть колесами дерева, несколько раз он тщетно пытался пробить облака. Не помню, сколько прошло времени после того, как мы сбросили «по-

сылку» Тимофееву. Наверно, больше часа, потому что легчик крикнул, наклоняясь ко мне:

— Еще пятнадцать минут, и пойдем назад!

«Жаль, — подумал я, — что у «МИ-1» не очень вместительные баки для горючего».

Трудно было примириться с мыслью, что наш полет оказался безуспешным и Кучеренко напрасно рисковал, стараясь отыскать след трактористов, и сейчас повернет назад, лишенный возможности продолжать рейс.

По мере того как стрелка на приборной панели отсчитывала последние минуты, оставшиеся для поисков пропавших, тревога за них возрастала, и уже нельзя было отделить себя от их участи, и в сознание вошло горькое чувство собственной вины за все, что с ними случится после нашего отступления.

Может, Кучеренко был излишне осторожным в этом полете?

Я провел десятки часов на борту таких же трехместных «стрекоз» и мог бы в случае нужды засвидетельствовать, что Женя не упустил ни малейшей возможности найти людей, ожидавших его помощи. Два с половиной года работы с геологами в приобской тайге — немалый срок для летчика. Перед тем он служил в парашютно-десантном отряде лесной охраны, тушил пожары в тайге. Если ему не удалось сегодня выполнить задание — значит, и никто другой не сделал бы больше.

Тем временем он еще раз прорвал обступившие нас облака и опять прижался чуть не вплотную к лесу. Какое-то время мы шли в опасном соседстве с вершинами деревьев, но и теперь не увидели между ними на рыхлом снегу тракторную колею.

Прошло пятнадцать минут, но курс был прежний. Перехватив мой взгляд, брошенный на стрелку компаса, Кучеренко крикнул:

— Иду на базу, там подзаправимся!

Я отыскал на штурманской карте среди зеленых и голубых пятен, обозначающих болота и озера возле черной нитки Трсагана, деревню Горенку. Сюда, к единственной на двести километров пристани, все лето везли в самоходных баржах станки, трубы, моторы, продовольствие. Базисный склад питал геолого-поисковые отряды, ушедшие далеко в тайгу.

— Заночуешь? — спросил начальник базы, когда наполнили опустевшие баки вертолета.

— Нет, пойду еще раз по трассе, — ответил Кучеренко, залезая в кабину.

— Маловато осталось светлого времени, — сказал бортмеханик.

Пилот сделал вид, будто не услышал его. Когда мы заняли свои места в кабине, он сказал:

— Смотри, над трассой вроде посветлело...

Облака над Тромаганом действительно поредели. Между ними проглянуло небо, подсвеченное косыми лучами солнца.

Мы пошли над зимником — здесь, возле базы, его еще не погубила поземка. Отчетливо виднелась глубоко врезанная в снег тракторная колея.

Потом мы увидели ту часть трассы, которую не могли разглядеть, когда шли в облаках. Нигде не обнаружился трактор. Никто не махнул нам снизу рукой.

Впереди снова показалась вышка Тимофеева.

Трактористы, наверно, сбьлись с дороги, если можно назвать так снежную колею «где-где уцелевшего зимника».

Пилот обернулся к бортмеханику:

— Куда пойдем?

— Давай вон к той сопке, — посоветовал бортмеханик, — может, за нею найдем их.

Вертолет направился к небольшому холму, склоны которого поросли реденьким лесом. Набрал высоту, мы прошли над ним, потом повернули на восток, удаляясь от прямой линии, соединившей на штурманской карте лагерь Тимофеева

с базой. Солнце уже снизилось над Трзмаганом. В потемневшем небе прорезался ледяной серп.

Пять часов — с небольшим перерывом на заправку горючим — провели мы в воздухе. Кучеренко здорово устал. То и дело он снимал перчатку и протирал глаза.

Пора было возвращаться. Не могло быть и речи о том, чтобы посадить вертолет на землю. Не хватило бы ни сзетлого времени, ни горючего до Корженца. Решили сесть на базе, в деревне Горенке. Когда наша «стрекоза» обогнула холм, взяв курс на северо-восток, и уже не было никакой надежды найти сегодня пропавших трактористов, Кучеренко вдруг крикнул:

— Вот они!

Только тот, кто каждый день ходил в патрульный рейс, охраняя леса от пожаров, мог заметить этот зыбкий дымок, поднимавшийся над тайгой.

Ни я, ни бортмеханик не увидели его на расстоянии десяти—двенадцати километров. Но Кучеренко уверенно повторил:

— Это они.

Позабыв, что летное время на исходе, он направился туда, где вскоре и я различил дым костра. Не знаю, на что рассчитывал летчик: надеялся ли где-нибудь неподалеку найти полянку, чтобы посадить вертолет, или думал сбросить трактористам груз и до темноты вернуться на базу.

Так или иначе, но вертолет шел к дыму костра, и через несколько минут мы увидели трактор, стоявший на краю болота. Даже с высоты полтора метра метров видно было, почему он не мог бы двинуться с места. Всем своим грузным корпусом «С-80» ушел под лед, и только накренившаяся кабина чернела на снегу.

Экипаж машины, видимо, не пострадал при аварии. Два человека побежали от костра навстречу нам. Они махали руками, словно опасаясь, что с вертолета их не увидят.

Кучеренко отодвинул плексигласовую створку окошка и тоже помахал рукой, давая знать, что их заметили. Но вертолет не опустился возле костра. Нельзя было совершить посадку там же, где лед не выдержал трактора.

Солнце ушло за зубчатую кромку тайги. Пока мы искали по соседству какой-нибудь пятючок для безопасного приземления, сумерки сгустились, и не оставалось ничего иного, как вернуться к ярко пылавшему костру и сесть на это же болото.

Посадку мы совершили с предельной осторожностью. Подбежавшие трактористы горячо убеждали нас — и жестами и выкриками, которые заглушались мотором. — смелее сажать машину. Кучеренко высунулся из кабины и всматривался в заснеженные кочки, придерживая «стрекозу» в нескольких метрах от болота. Потом поднял ее и увел в сторону от трактора, резонно полагая, что здесь, наверно, подстерегла его незамерзшая «продушина». Двое, следившие снизу за вертолетом, видимо, подумали, что мы уходим, и тогда Кучеренко, желая успокоить их, бросил за борт свой планшет с картой. Трактористы, наверно, смекнули, для чего он это сделал.

Мы так осторожно прижались к земле, что не удалось заметить, как колеса коснулись замерзшего торфяника. Лопасти винта все еще вращались, в любой момент можно было подняться в воздух.

Обрадованные трактористы устремились к нам, увязая по колено в рыхлом снегу. Когда Кучеренко вылез из кабины, они бросились его обнимать.

Мы провели ночь у костра, не смыкая глаз. дождались рассвета и полетели с двумя трактористами в Горенку, предварительно освободив кабину от всего, что не понадобилось бы в пути.

В тот же день Коншин и Лопатьев на гусеничном тягаче вернулись к предательской «продушине» и вытащили из болота свой трактор.

Докладывая об этом происшествии начальнику экспедиции, буровой мастер Тимофеев не преминул сообщить, что горючего действительно хватило в оба конца.

Никто не проявил интереса к трудным обстоятельствам нашего рейса, потому что на снежных грассах приобской тайги с каждым может такое приключиться, и любви, надо думать, поступил бы так же, как Женя Кучеренко.

СИБИРЯК

— Так вы, значит, бывали в Баку? Сейчас там теплее... На Приморском бульваре девушки гуляют без пальто. А у нас в Шамхорах убирают виноград. Фарман Курбанович Салманов сидит на поваленном стволе кедра. Его срубили, видимо, не так давно. Хвоя зеленой макушки, упавшей на землю, еще не пожухла. Не потемнела и дощатая стена домика — его поставили на бревенчатые полозья около вышки.

Ночью выпал иней, тайга побелела и словно бы замерла в преддверии долгой зимы. Тишина опустилась на выкорчеванную площадку у берега ручья. Слышно, как потрескивают в костре черные ветки валежника.

Вот уже два часа, как мы вышли из кабины вертолета, приземлившегося неподалеку, на лесной поляне, и ожидаем мастера Василия Петелина. По радио сообщили, что он скоро вылетит из Ханты-Мансийска. Сегодня здесь испытают пласт на глубине двух тысяч метров, и можно будет узнать, есть ли в нем нефть.

Салманов, как и многие земляки азербайджанцы, не утратил на сибирских маршрутах то, что с первого взгляда непременно выдаст его происхождение. На смуглом его лице еще не остыл южный загар. Это человек порывистый, жизнерадостный, щедрый на шутку. Через минуту после знакомства с ним чувствуешь себя так, будто встретил старого друга.

— Меня называют коренным сибиряком, — говорит он, вспомнив давнюю студенческую практику. — Профессор Абрамович, соратник Губкина, посоветовал: «Хочешь стать настоящим разведчиком — поезжай в Сибирь». Это было еще в пятьдесят первом году. Я провел летнюю практику в Тюменской области. Впервые увидел тайгу. И, конечно, «заболел Сибирью». Наверно, на всю жизнь. Это со многими случается. Вернулся в Баку, привез интересные материалы о геологическом строении юга Тюменской области. Показал моему профессору. Он потребовал: «Давай готовь доклад в научном студенческом обществе». Так вот получилось, что с третьего курса стал я сибиряком.

В то время были еще «белые пятна» за Уралом. И очень соблазняло побродить с геологическим молотком и компасом там, где мало кто побывал. Пришел срок готовить дипломную работу, и я вернулся в Сибирь.

Тогда только-только заговорили о сибирской нефти. Никто еще не увидел ее, но всем хотелось верить, что Губкин не ошибся и она ждет нас к востоку от Уральского хребта. В дипломной работе о нефтеносности Среднего Приобья я тоже, как говорится, горячо проголосовал за нее.

Долго не давалась она в руки. Два года поработал я в Кузбассе. Думалось — здесь, возле угля, поймем и нефтяной пласт. Не поймали. Ну, сами понимаете, настроение было невеселое. Когда буришь скважины одну за другой и все впустую, это, знаете, не прибавляет бодрости.

Ушли из обжитого района. Потящали станки и трубы на Обь, в сургутскую тайгу. Узнал я, что значит вести разведку там, где никто до тебя не бывал...

Что такое полгода для буровой бригады где-нибудь в Татарии или, скажем, у нас в Баку? Это не меньше трех-четырех скважин. А в тайге мы полгода ухлопали на одну-единственную! Подняли отличные образцы пород. Все говорило за то, что здесь должна быть нефть. Именно в таких песчаниках всегда находят ее. Но мы промахнулись, не попали в нефтяной пласт. Попробовали еще раз поймать его. И опять — промах. Третью, четвертую скважину бурим. Положение не меняется. Пошли разговоры, что наша поисковая партия зря тратит деньги. Пора, мол, сворачивать бесполезную разведку.

Надо вам сказать, были основания для таких разговоров. Ближе к Уралу, в Шаимском районе, тюменцы получили несколько фонтанов. Правда, не очень больших. Но это была нефть. А у нас что ни скважина — вода.

Приезжали консультанты. Говорили: «Сургут — дохлое место. Уходите отсюда, хватит бросать миллионы в болота». Тут подоспела передача сургутской экспедиции в Тюменское геологическое управление. В Тюмени признали, что ни в коем случае нельзя закрывать Сургут.

Через несколько месяцев мы получили богатейший фонтан. Ну, как бывает в таких случаях, все повернулись лицом к Сургуту. Двинули на Обь технику. То, бывало, не выключишь какой-нибудь тракторишко, а теперь — и вертолеты, и тягачи, и вездеходы. Только давай проходку! Давай новые фонтаны! За этим дело не стало. Прогремел Мегионский фонтан, Усть-Балык заявил о себе, можно сказать, во весь голос.

И не видно было еще, где кончаются эти уникальные залежи.

А работать в тайге по-прежнему трудновато... Кончили как-то проходку разведочной скважины в феврале, в самые лютые морозы. Не помню уж, сколько в тот день показывал градусник, кажется, больше сорока. Глинистый раствор в яме весь вымерз, а тут нужно стрелять скважину — пускать в забой перфоратор, пробить отверстие, открыть дорогу фонтану. Перед этим сверху донизу скважину заподняют тяжелым раствором, иначе — авария. Представляете, с какой силой рванется вверх нефть, если ее вытолкнет из пласта давление более двухсот атмосфер! Глубина-то скважины две тысячи пятьдесят метров. И неоткуда в тайге взять воду для раствора.

Что делать? Пошли на риск. Пустили в забой снаряд, хотя ствол наполнили только на одну треть. Включили ток, перфоратор сработал. Тут же потянули его наверх. Спешим, потому что скважина забурлила, обливает нас раствором с головы до ног. Вот-вот ударит открытый фонтан. А это большая беда. В последнюю минуту, когда уже выплеснуло почти весь раствор и пошла нефть, мы успели выдернуть перфоратор и закрыли задвижку. Испытали пласт — тысячу восемьсот тонн дал в сутки!

Не забуду, как досталась первая нефть в Усть-Балыке! Осенью пробилась к пласту. Решили — дадим фонтан к открытию XXII съезда партии. Катер «Ломоносов» пошел за компрессорными трубами.

Как назло, именно в этот день резко похолодало, выпал снег, на Оби появилась шуга. До Сургута — сто восемьдесят километров. Капитан Скрипальщиков, человек бывалый, и тот приуныл: «Как бы не затерло нас льдом». Это в октябре! Вот что такое сибирские маршруты...

Стою на палубе — ветер гудит, снегом все занесло. Шуга по борту скребется. Прямо Арктика. Восемнадцать часов шли до Сургута. Ночь, темень, не вижу — подвезли ли пристани трубы? Капитан прожектором осветил — на душе полегчало: трубы лежат на причале. Разбудил грузчиков: «Выручайте, ребята, времени в обрез!» А сам думаю: только бы не перехватил обский лед на обратном пути.

Вышли из Сургута на рассвете. Ярославцы, спасибо им, построили крепкий катер. «Ломоносов» выдержал трудное испытание. Немного помяло ему правый борт льдинами, но в Усть-Балык прибыл без посторонней помощи. Здесь и остался на зимовку — обратно уже не мог уйти.

Усть-Балык порадовал нас — не зря мы бросили в скважину бутылку шампанского. Шестьсот тонн в сутки отличной нефти выдала первая усть-балыкская. Наша телеграмма не опоздала, делегация Тюмени получила ее к открытию съезда...

Фарман Курбанович Салманов вдруг умолк, шагнул к домику, где стояла походная радиостанция, и предупредил сидевшего здесь бурильщика:

— Скажите Петелину, что я полетел в Горно-Филенки. Через два часа вернусь.

И вот уже мы садимся в кабину «МИ-1», вертолет покидает посеребренную инеем полянку, оставив на траве пустой бочонок из-под бензина. Летим к Иртышу, в село Горно-Филенки, куда Салманов скоро переедет из Усть-Балыка, чтобы возглавить новую геологопоисковую экспедицию. На берегу Иртыша построят город Правдинск, а в тайге, там, где мы только что сидели у костра, поднимутся салымские вышки.

Все это непременно сбудется, потому что нефть Салыма найдена, и прикинули даже, сколько миллионов возьмут здесь за десять, за двадцать лет.

Фарман Салманов охвачен нетерпением: скорее бы на Иртыш, развернуть салымский «фронт». И говорит, пересиливая гул мотора, о Салыме с тем же увлечением, как и о недавних открытиях на Оби. И такой же азарт загорается в его глазах.

Перелет из салымской тайги к широкой излучине Иртыша продолжался минут сорок. Нельзя было разглядеть внизу в густых зарослях, ни одной просеки. Казалось, сюда «еще не забрались даже лесники. Но это впечатление было обманчивым. От Иртыша до Оби давно прошагали сейсмоки, топографы, геодезисты. На карту легли их трудные маршруты. Салымскую тайгу основательно «прощупали», перед тем как начали глубокое бурение. Поэтому, наверно, здесь не промахнулись.

Слушая Салманова, я подумал, что профессия искателя, разведчика недр придает сходство людям разного облика, роднит их вот такой же, как у этого бакинського сибиряка, не остывающей с годами одержимостью своим делом, стремлением пробиться вперед, пройти через все и всяческие преграды к той цели, ради которой стоит многое перетерпеть. Я встречал таких истинно самоотверженных искателей в якутских снегах, на каторжном когда-то Вилюе, где они «поймали» газ и не оставляют попыток найти нефть. С таким же мужеством геологи и буровые мастера Туркмении развели мертвую котловину у порога Каракумов, и гиблое место, которому дали имя Барса-Кельмес («Пойдешь — не вернешься»), стало нефтяным промыслом. В пустыне полуострова Мангышлак, на дне глубокой впадины Карагай, где выжили только змеи и черепахи, поисковый отряд день и ночь сверлил землю, открывая дорогу нефтяным фонтанам...

У каждого разведчика — геолога или бурового мастера, геодезиста или топографа, сейсмика или строителя вышек — бывает отрадный час, какой сегодня запомнится и Салманову. Смотришь на пустырь или на глухую, непролазную тайгу, зная, что здесь будет город. И построят его, заселят дома, вдохнут в них жизнь, зажгут на улицах огни лишь потому, что ты, придя первым, нашел тут богатства недр.

Можно позавидовать человеку, который вправе сказать так о себе...

Салманов выскочил из кабины, не ожидая, пока бортмеханик поставит стремянку. Сбросив еще в вертолете брезентовый плащ, он одним духом взобрался на крутой, почти отвесный утес, вымахнувший над Иртышом. Там, у самого края обрыва, вросли в землю избы села Горно-Филенки.

Проклинал себя за то, что согласился надеть в Усть-Балыке тяжелые геологические сапоги, похожие на мушкетерские ботфорты, я карабкался по рыхлому склону, обливаясь потом, и вскоре потерял из виду Салманова. Признаться, даже стало обидно: ни разу он не обернулся, словно забыв, что сам же позвал меня с собой в эту рекогносцировку... Думается, так оно и было. Начальник салымской экспедиции спешил увидеть свою новую резиденцию.

Я догнал его на улице, возле бревенчатого старенького здания школы Салманов заглянул в окно, постучался в дверь. Никто не отозвался. Двое ребят, привлеченных появлением незнакомого человека, вызвались найти сторожа.

Салманов с явным удовольствием осматривал классы.

— Очень хорошая школа, — констатировал он. — Это первый плюс. Не нужно строить школьное здание. Очень неплохо, — повторял он, осматривая классы.

За «первым плюсом» обнаружился еще один: пустующая, довольно простор-

ная изба. Жили тут геодезисты, недавно ушли в тайгу — можно занять избу для конторы экспедиции.

— Тесновато, но и за это спасибо, — сказал Салманов, направляясь к соседней избе. — Смотрите, и тут замок, — обрадовался он.

Но появился паренек в выгоревшем на солнце свитере и представился: техник-строитель изыскательной партии Симугин.

— Нас тут уже четверо, — извиняющимся тоном произнес он. — А вы надолго?

Узнав, что мы не ищем ночлега, техник приободрился и повел нас к берегу показывать, где будет построен железнодорожный мост.

Салманов с интересом слушал техника, хотя знал чуть побольше этого юноши и про то, когда начнут строить самый большой на Иртыше мост, и про то, что мост для железнодорожной станции будущего города Правдинска еще не выбрали, а пора бы уж это сделать. Деревянный колышек, вкопанный в землю на гребне утеса, обозначал место, где встанут бетонные опоры высоковольтной линии. А противоположный берег лежал так далеко, что с трудом можно было разглядеть там, в низинке, стадо коров.

— Красиво, а? — сказал Салманов, ни к кому не обращаясь, как бы про себя. — Рыбачите? — спросил он техника.

— Немного, — ответил тот, опять смутившись. — В свободное время.

— Стерлядь попадается?

Выяснилось, что в этом заповедном месте Иртыш еще не обеднел рыбой, ловится не только стерлядь, но и севрюга.

— А ягода? — продолжал расспрашивать молодого человека Салманов.

— Ну, этого добра тут невпроворот...

— Так я и думал, — улыбнулся Салманов и вдруг, как это часто с ним бывает, круто переменял тему разговора: — Когда кончаете съемку? Через неделю? И куда же? В Тюмень? Могу предложить хорошую работенку. Квартира есть, — оч кивнул в сторону избы с запертой дверью. — Невесту подберем. Ну как?

Паренек совсем смешался, не зная, что ответить.

— Подумайте, подумайте, я через недельку сюда перекочую всем хозяйством, — сказал на прощание Салманов, и видно было, что техник-строитель уже поддал под обаяние этого человека и, наверно, воспользуется его приглашением. — Как считаете — неплохое местечко для штаба экспедиции? — Это уже ко мне, на ходу, когда вышли за околицу и перешагнули через жерди поскотины, направляясь к палаточному городку строителей. — На моем веку это четвертая экспедиция. Не было за все время, честное слово, лучшего места. Всегда маялись в тайге, на болотах. А тут — раздолье, ширь, небо видишь над собой. Знаете, — обрадованно сообщил он, — здесь наверняка меньше комаров! Место высокое, ветром продувает. Все можно вытерпеть, все — только комаров не выношу. Если кто придумает, как очистить от них сибирскую тайгу, — поверьте, при жизни ему поставим памятник! Инициаторами будут, конечно, геологи.

Он помрачнел, увидев, что строители, едва придя на новое место, вырубili на красивом пригорке деревья. Разыскал десятника. Спросил:

— Сколько вам лет?

Тот удивленно поглядел на Салманова, с которым уже не первый год работал в разведке. Но все-таки, зная, что главный геолог не отступится от своего, ответил:

— Так вот, в тридцать четыре года, — продолжал Салманов, — человек должен разбираться что к чему и не махать топором без толку. Ну, скажите, Егор Тимофеевич, не жалко вам было это все вырубить? Отошли бы немного в сторону — вон сколько древесины. Здесь будет городок нефтяников. И парк рядом. А в парке вы уже повалили такие кедры...

К этой неприятной теме больше не возвращались, но, думается, Егор Тимофеевич запомнил простые, с душой произнесенные слова. И если ему передалась

хоть ястица искреннего огорчения, какое охватило Салманова, не будет он теперь «махать топором без толку».

Мы вернулись в деревню. Салманов заглянул в сельский магазин и дотошно расспросил продавца обо всем, что касалось торговли промышленными и продовольственными товарами. И те и другие лежали на прилавках в одном, изрядно запущенном, полутемном «павильсоне», как именовал продавец свой магазин.

— Так дальше дело не пойдет, дорогой товарищ, — решительно сказал Салманов. — Мы разлучим селедку и мыло. Как? Не возражаете?

Продавец быстро смекнул, что этот оживленный чернявый гражданин в ватнике и заляпанных грязью сапогах — лицо ответственное, и охотно согласился с ним: ну, разумеется, лучше бы именно так и сделать. Но — кто построит новый магазин? Да и хватит ли покупателей? Деревня — она деревней и останется.

— Э, нет, ошибаетесь, дорогой, — оборвал его Салманов. — Завтра придут нефтяники, и ваша деревня станет рабочим поселком. Так? Ну, вот про то я и говорю. А потом навалятся строители, город будем ставить на этом утесе. На сто тысяч жителей. У него уже есть имя — Правдинск.

Ему было приятно рассказать — пусть даже только одному этому сельскому продавцу — о будущем, о салымском «фронте», о железной дороге, которая врежется в иртышскую тайгу и свяжет Горно-Филенки с Москвой. Так обычно бывает, когда испытываешь необходимость поделиться своей радостью с первым же встречным, только бы он не поленился тебя выслушать.

Среди множества забот, обступивших начальника геологоразведочной экспедиции при осмотре новой ее резиденции, нашлось место и такому задушевному разговору с деревенским продавцом, и для обстоятельной беседы с двумя женщинами, работавшими на своем огороде, около магазина. Салманов узнал, что в Горно-Филенках вызревают и дают хороший урожай почти все овощные культуры.

— Еще один плюс, — сказал он, спускаясь чуть ли не бегом. — Непременно наладим подсобное хозяйство. Рыба будет, огурцы и капуста будут. Это вам не усть-балыкские болота...

Все, что открылось его зоркому глазу здесь, на берегу Иртыша, радовало и обнадеживало. То же самое, наверно, случалось и прежде, когда он создавал одну за другой три изыскательские экспедиции.

На пристани разгружали самоходную баржу «Баклан». По трапу, переброшенному на берег, поднимались грузчики с бумажными мешками, набитыми цементом. Еще одна баржа стояла на реке, ожидая, пока освободится место у причала.

— Давно пришли? — спросил Салманов шкипера «Баклана».

— Три дня, как ошвартовались.

— И долго еще торчать это вам здесь?

Шкипер пожал плечами.

— Сами видите — на причале трое пристанских да наших двое. Работы хватит на сутки.

Деревенскую пристань захлестнуло потоком грузов, и не было ничего неожиданного в том, что суда простаивают лишнее время.

Салманов попросил шкипера послать кого-нибудь в палаточный городок сказать десятнику, чтобы трое или четверо строителей спустились к причалу и помогли поскорее снять с баржи цемент.

— Да-а, речникам здесь хватит работенки, — говорил Салманов, возвращаясь к вертолету. — К весне нужно втрое расширить пристань, поставить транспортер на причале...

Вертолет набрал высоту, и можно было окинуть взглядом широкую плавную дугу Иртыша у подножья утеса, горстку рубленых изб на его крутом гребне, палатки около зеленой кромки леса, деревенское стадо на противоположном низком берегу.

Салманов прильнул к окошку кабины. Впервые увидел я начальника экспедиции спокойным, задумчивым, как бы отрешенным от забот, волнений, горестей и радостей, навстречу которым всегда открыто его сердце. Он смотрел и словно бы не мог насмотреться на землю Сибири — его второй родины. Вот уже пропала из виду, растаяла в дымке серая лента Иртыша, под нами лежала на все стороны света гайга, и снова не видно было в хвойном океане ни единого следа человека.

Мастер из Ханты-Мансийска опередил нас и уже заканчивал испытание подземного пласта. Когда мы поднялись на его вышку, здесь гудели моторы, струился из скважины мутный поток, вытесненный водой. Вскоре скважина «заговорила», давление в недрах совладало с облегченным столбом жидкости и вытолкнуло ее из скважины. Потом показалась нефть. Послышался скрежет — это пришел в движение газ, тоже устремляясь наружу, на свободу. Все быстрее катился маслянистый поток, еще смешанный с глинистым раствором. Когда пошла чистая нефть, скважину закрыли.

Следуя давнему обычаю, каждый зачерпнул рукой немного нефти. Салманов тоже пригоснул к ней.

— Хорошо пахнет! — сказал он.



ПУБЛИЦИСТИКА

А. КИРЮХИН

★

ЗЕМЛЯ И ВОДА

Земля и вода...

К земле всегда были обращены мысли народа — «земелька-матушка и кормит, и поит, и одевает». А о воде еще в древней индийской пословице говорилось: «Солнце — отец, а вода — мать урожая». Недаром на сухом, жарком Востоке земледельцы предупреждают: «Не спрашивай, сколько у меня земли, а спрашивай, сколько у меня воды». Данные Международного агентства по атомной энергии, собранные им в 1963 году, показали, что около пяти процентов населения нашей планеты живет в безводных пустынных и полупустынных районах, там, где много солнца, но нет воды. А ведь эти районы можно превратить в цветущие края, если вдоволь насытить их водой.

Пока из всех возделываемых земель орошается только четырнадцать процентов. Но даже эта малая часть земли кормит половину человечества.

Недостаток воды, засуха, а с нею недоедание и голодная смерть — вечные спутники земледельца старой России. Засуха и теперь наносит нашей стране немалый ущерб. По данным Центрального института прогнозов, за последние шестьдесят пять лет засуха в различных районах повторялась двадцать один раз. То там, то тут она случается почти каждые три года. Но ведь ряд очень важных зерновых районов (Целинный край, Поволжье, южные области Украины) как раз и находится в засушливой полосе. Колебания сборов зерна между благоприятными и неблагоприятными по климатическим условиям годами достигают более полутора миллиардов пудов.

Земледелец, к сожалению, еще не может заказывать погоду. И ни частнособственническое хозяйство, ни хозяйство коллективное не в силах пока предотвратить наступление засухи. Но если хозяйству единоличному засуха приносит «глад и мор», разорение и обнищание, то социалистическое земледелие, надежно охраненное щитом экономического могущества и силой советского строя, способно выдержать и даже отразить ее удары.

Не надо обладать большим воображением, чтобы представить грозные последствия засухи в таком злополучном, яростно-сухом году, как 1963-й, если бы она разразилась над двадцатью пятью миллионами единоличных дворов, которые насчитывались на нашей земле до коллективизации. Этот год многому научил нас, заставил снова и снова поразмыслить над тем, что стихийные силы природы слепы, и, чтобы управлять ими, мы должны быть всегда начеку, оснащенными самой передовой наукой, самой совершенной техникой.

И хотя мы не можем пока приказывать природе творить погоду по заказу, но в наших силах принять такие меры, которые способны обеспечить высокие и устойчивые урожаи в стране независимо от погоды.

Еще в первые годы строительства Советского государства В. И. Ленин выдвинул проблему борьбы с засухой путем орошения земель. С тех пор площадь орошаемых земель в нашей стране увеличилась в два с половиной раза и достигла десяти миллионов гектаров. Пятнадцать процентов всей сельскохозяйственной продукции страны дали

в 1965 году мелиорированные земли, хотя площадь их составляла всего лишь восемь процентов общей площади наших пахотных земель!

В мае 1966 года Пленум Центрального Комитета КПСС принял грандиозную программу орошения и осушения земель, их мелиоративного обновления, которая не имеет себе равной в истории страны.

Прошел год с этого времени. Огромная работа в разгаре. Для многих хозяйств дело это новое, неизведанное — естественно, перед земледельцами возникло много трудных проблем, нерешенных вопросов, о которых и пойдет разговор.

* * *

Огромный размах ирригационных и оросительных работ потребовал прежде всего применения новейшей техники.

К сожалению, общий уровень техники орошения у нас пока еще низок. Это в значительной степени объясняется отставанием экспериментальных работ. Научно-исследовательские и проектные организации, работающие в области сельского хозяйства, оказались недостаточно подготовленными, чтобы предложить колхозам и совхозам прогрессивные и высокопроизводительные способы полива для различных почвенно-климатических зон.

Одна из очень важных нерешенных задач в орошаемом земледелии — механизация полива сельскохозяйственных культур. Пока еще механизированный полив составляет всего лишь десять процентов. Правда, за последние годы площадь орошаемых земель, где применяется механизация, увеличилась с двухсот тысяч до миллиона гектаров, и это тоже немаловажный факт, тем более если учесть, что до коллективизации полив в среднеазиатских и закавказских республиках вообще производился первобытным способом — простым затоплением полей. И все же в стране ежегодно затрачивается не менее пятидесяти миллионов человеко-дней на проведение поливов вручную. С увеличением площади орошаемых земель эти затраты будут резко возрастать. Крайне важно повысить производительность труда. А для этого понадобится максимально механизировать и автоматизировать наиболее трудоемкие процессы. Тут нужны совершенные дождевальные и поливные машины.

Но как раз в конструировании и производстве этих машин у нас много недостатков. Существующие конструкции дождевальных установок устарели. «Мы ждем,— говорил на Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев,— от промышленных министерств, научно-исследовательских и конструкторских организаций как серьезных усовершенствований существующих, так и создания новых современных конструкций машин и оборудования».

Вы видели когда-нибудь дождевальные машины в работе? Издали кажется, будто огромная стрелкоза опустилась на поле и расправила свои крылья. Одно плохо: настоящая стрелкоза, когда захочет, может сложить свои крылья, а машина не может, вынуждена всегда таскать па себе растопыренные стальные трубы и фермы. Металлоемкое, громоздкое сооружение! А ведь для того, чтобы ускорить работу, хорошо бы иметь крылья пошире. Ведь тогда за один проход агрегата можно было бы оросить живительным дождем полосу земли шириной, скажем, не в сто, а в триста — пятьсот метров. Но это еще больше утяжелило бы машину.

Нельзя сказать, что наши конструкторы не видят этих недостатков и не принимают мер к их устранению. Нет, они сейчас усиленно работают над тем, чтобы облегчить вес машин, и одновременно добиваются их более высокой производительности. Инженеры увеличивают ширину захвата, надежность и экономичность агрегатов.

Украинский конструктор Д. А. Кузнецов, регулируя соотношение воды и воздуха, меняя давление, добился того, что современная дождевальная машина может давать капли дождя любого размера, удовлетворяющие самым строгим агротехническим требованиям. Новая пневмораспыляющая форсунка, предложенная инженером, кардинально меняет конструкцию всего дождевального агрегата и позволяет значительно сократить размах крыльев. А это резко улучшит проходимость агрегата.

А вот как выглядит опытный дождевальная агрегат, построенный на Бортической оросительной системе под Киевом. На высокие опоры установлены железобетонные корытообразные лотки. Они служат одновременно оросительными каналами, своеобразными рельсами для передвижения огромной металлической фермы и опорой для питающей ее электрелинии. Вода в каналы-лотки подается насосной станцией. Отсюда влага поступает к водораспылителям, смонтированным на движущейся ферме. Мелкораспыленная струя дождя не повреждает растений и не уплотняет почвы. Процесс дождевания полностью механизирован и автоматизирован. Агрегат имеет радиорелейное управление с центрального пульта. Но, к сожалению, техническое решение такой установки слишком сложно, да и экономически она вряд ли эффективна.

Научные сотрудники Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева Академии наук СССР и других институтов провели длительные исследования на чайных плантациях Азербайджана предложенного профессором И. И. Агроскиным импульсного метода дождевания на стационарной установке, действующей автоматически по заданной программе. В самые жаркие дни периодически, по четыре раза в час, она дает богатый дождик. Не успевают растения просохнуть, как дождь снова шуршит по листьям. При импульсном дождевании температура воздуха между чайными кустами снижается на несколько градусов, а потребность растений в воде уменьшается. Изменение физиологических процессов в растениях приводит к усилению роста и, как следствие, к повышению урожайности. При ежедневном прерывистом дождевании сбор чайного листа был в полтора раза больше, чем при обычном ежесекундном дождевании. Затраты на устройство системы и ее эксплуатацию небольшие. Диаметр трубопроводов и мощность насосов стали гораздо меньше, так как вода идет постепенно, небольшими порциями.

Институт физиологии растений рекомендует этот способ для орошения не только чайных плантаций, но и полевых, овощных и садово-ягодных культур. Подобные аппараты проектируются и испытываются также и в других институтах. Перед инженерной мыслью стоит задача — сконструировать совершенный дождевальная аппарат импульсного действия и испытать его в производственных условиях.

Идей много. Некоторые из них реализуются, но многие все еще остаются на бумаге. По-прежнему выпускаются дождевальная машины «ДДН-45», «КДУ-55» и другие, которые не вполне отвечают современному уровню развития техники орошения. Для дождевания на больших массивах они совершенно не годятся, так как малопродуктивны и требуют густой поливной сети каналов и трубопроводов на полях.

Новые образцы дождевальных машин создаются, испытываются и дорабатываются весьма медленно. Волгоградское головное специальное конструкторское бюро по дождевальным машинам должно было еще в 1961 году представить на государственные испытания дождевальная модернизированный агрегат «ДМА-200» с шириной захвата в два раза больше, чем у распространенных сейчас «ДДА-100М». Но лишь в сентябре 1963 года оно подготовило машину для государственных испытаний, и дело дальше опытных образцов не продвинулось. В 1966 году машина после государственных испытаний поставлена на доработку.

Опытные партии машин изготавливаются также крайне медленно. А объясняется это тем, что Министерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР все еще не проявляет достаточного интереса к работе конструкторов в этой области. Конструкторские бюро, занятые созданием новых образцов дождевальных и поливных машин, маломощны, у них нет квалифицированных кадров и хорошей экспериментальной базы.

После майского Пленума ЦК КПСС по решению правительства разработка и изготовление новых машин для механизации полива было возложено на Министерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. За это время научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации — ВИСХОМ, Волгоградское ГСКБ и КБ Херсонского комбайнового завода — успели создать дождевальная машины «ДДН-70» и «СДУ-25». Они уже рекомендованы к серийному производству. Разрабатываются новые конструкции и других механизмов. Но пока изготовление машин для

орошения — это как бы «довесок» к основному плану различных предприятий. В интересах же сельского хозяйства было бы сосредоточить производство дождевальных и поливных машин, насосных станций и другого поливного оборудования на специализированных заводах.

Успех дела зависит и от того, насколько быстро и хорошо наша промышленность обеспечит дождевальную и поливную технику запасными частями. Разве можно говорить о высокопроизводительном использовании этих машин, если хозяйства не могут приобрести запасных частей, чтобы отремонтировать их?

Большая часть земель поливается у нас и поныне самотечным (поверхностным) способом. Как выглядит самотечный полив? Идет по степи магистральный канал. От него расходятся ветви распределительных каналов, которые в свою очередь делятся на сотни мелких каналов, покрывающих землю паутиной разветвлений. Но вот канал подошел к полю. Тут воду направляют в борозды. Сначала она попадает в распределительную борозду и уже из нее по поливным бороздам подходит к растениям.

Уже в магистральном канале теряется пять—десять процентов, а в разветвленной сети каналов — до тридцати и более процентов оросительной воды. Производительность труда рабочего при самотечном способе полива низка — полгектара, самое большее гектар за день. Потому-то многим хозяйствам просто не хватает рабочей силы и полив производится несвоевременно, а это снижает урожай на орошаемых землях.

Однако возможности этого древнего, как само поливное земледелие, способа орошения далеко не исчерпаны. Чтобы сделать самотечный (поверхностный) полив более производительным и высококачественным, нужны, во-первых, правильная планировка, обеспечивающая оптимальную длину гона воды, и, во-вторых, простейшее оборудование для автоматизации распределения ее по бороздам и полосам. А с этим, к сожалению, у колхозов и совхозов дело обстоит неблагоприятно.

Конечно, у искусственного дождевания большие перспективы. Дождевальной технику, бесспорно, надо применять во всех случаях, когда по природным условиям или исходя из биологических особенностей растений необходимо давать частые поливы малыми дозами. Точно так же перспективен и способ подземного орошения. Наши ученые, инженеры и экономисты должны тщательно и всесторонне изучить каждый способ полива в самых различных районах страны и дать наиболее экономичные и научно обоснованные предложения относительно внедрения того или иного метода, его технологии и комплекса необходимых машин. А ведь результаты исследований, полученные сегодня, отнюдь не завтра смогут найти техническое решение, и еще больше времени потребуются, пока они воплотятся в новом технологическом процессе.

Дальнейшее развитие орошаемого земледелия требует создания новых специализированных машин и орудий. Потребуется комплекс мелиоративных машин — высокопроизводительных, экономичных, надежных, учитывающих специфику орошаемого земледелия, в полном соответствии с принципами земледельческой механики — науки, созданной академиком Василием Прохоровичем Горячкиным, к сожалению, иногда забываемой нашими конструкторами.

А сколько нерешенных вопросов в оснащении орошаемого земледелия ирригационной техникой! До сих пор в мелиоративном строительстве применяют машины и механизмы общестроительного и дорожного назначения — экскаваторы, скреперы, бульдозеры, грейдеры и т. д. Многие из них циклического (не непрерывного) действия, и после них требуется дополнительная доработка. Между тем нарезать оросительные каналы можно более приспособленными для этой цели высокопроизводительными роторными экскаваторами непрерывного действия с активными рабочими органами — роторами или фрезами. Они отрывают полный профиль канала на всю глубину за один проход, без обычных доделок. Производительность их в три—пять раз выше, чем у обычных одноковшовых экскаваторов, а работы обходятся вдвое дешевле. К сожалению, такими машинами водомелиоративные хозяйства еще не оснащены и порой доводка и внедрение новой землеройной техники длятся годами.

Понадобилось десять лет, чтобы Всесоюзный научно-исследовательский институт

землеройного машиностроения разработал новую конструкцию экскаватора марки «ЭМ-152А». Завод «Ирпенторфмаш» выпустил опытную партию, но до сих пор не довел машину до нужных «кондиций».

Заводы освоили производство крупных большегрузных скреперов. Однако на этой мощной землеройной машине, которая может работать более трех тысяч часов в год, поставлена устаревшая гидравлическая система управления, выдерживающая максимум двести часов работы. В результате многие машины, особенно в Казахстане и Узбекистане, подолгу стоят без дела. В крайнем случае их используют только как тележки для перевозки грунта.

Лишь в 1966 году начат серийный выпуск прицепного (к мощному трактору «ДЭТ-250») скрепера с ковшом емкостью в пятнадцать кубометров. Самоходных скреперов с ковшом такой емкости все еще нет. О более мощных скреперах и о крупных бульдозерах ирригаторы пока только мечтают.

Плохо и с механизмами для выполнения специальных работ. Даже дренаж-ладчиков для прокладки дренажа в зоне орошения промышленности: пока не выпускает.

На майском Пленуме ЦК КПСС сельскохозяйственные организации подверглись острой критике за неудовлетворительное использование мелиоративной техники. За пятилетие парк мелиоративных машин возрастет почти втрое. И очень важно, чтобы эти механизмы действовали с полной нагрузкой. Между тем огромное количество землеройной и дорожной техники используется на строительстве оросительной сети далеко не полностью. Машины часто простаивают. Причина обычная — недостаток запасных частей, особенно к дизельным двигателям.

На протяжении ряда лет запасных частей для землеройной техники производят все меньше и меньше. Используемая, как правило, в тяжелых грунтах, эта техника работает на износ. Характерно, что четвертая часть простоев экскаваторного парка вызывается отсутствием таких несложных деталей, как, например, тормозные колодки.

Сейчас масштабы простоев в стране во много раз увеличились. Если выполнять ирригационные работы с помощью существующих конструкций машин, то парк их пришлось бы увеличить в пять-шесть раз. Это означало бы необходимость затратить дополнительные сотни тысяч тонн металла, прибавить к занятым сейчас еще сотни тысяч рабочих, израсходовать дополнительно миллиарды рублей на капиталовложения. Избежать этого можно только одним — повысить производительность машин.

Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР совместно с Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения разработали программу создания новых высокопроизводительных машин для строительства оросительных и осушительных систем. Это будут совершенно новые машины, в основном непрерывного действия, с оригинальными рабочими органами. Их производительность будет в три-четыре раза выше, чем у современных механизмов.

Для осуществления грандиозной программы мелиорации земель, намеченной майским Пленумом ЦК КПСС, предстоит изготовить и поставить сельскому хозяйству в нынешнем пятилетии около ста тысяч разных мелиоративных машин.

Тут следует хоть коротко остановиться на таком немаловажном обстоятельстве, как неупорядоченность стпусных цен на новую землеройную технику. Рост стоимости новых машин значительно опережает рост их производительности. Например, производительность бульдозера «Д-384А» по нормам в 2,1 раза выше производительности старого бульдозера, а цена его больше в 6,3 раза. Производительность нового скрепера с ковшом емкостью в десять кубометров в 1,2 раза выше, чем у скрепера «Д-374», а цена его выше в 3,5 раза! В результате парадокс: земляные работы становятся не дешевле, а дороже, хозяйства терпят убытки, заинтересованность во внедрении новой техники падает. Вопрос этот настолько острый, что, на наш взгляд, им следует заинтересоваться Комитету цен Госплана СССР.

Так обстоит дело с машинами для ирригационного строительства. Но не лучше, а может даже хуже, положение с машинами для эксплуатации оросительных каналов

и сооружений. Чтобы обеспечить нормальную работу каналов, содержать в порядке пруды и водоемы, требуется периодически очищать их от наносов, ила и зеленых зарослей. Каналы приходится чистить ежегодно. Объем этих работ в целом по стране большой — свыше двухсот миллионов кубических метров в год, из них тридцать миллионов кубометров до сих пор еще выполняют вручную.

Во многих случаях гут было бы эффективно применение гидромеханизации. В водном хозяйстве страны сейчас используются на очистке оросительных каналов всего шестьсот землесосов различных марок. Но это явно недостаточно. А так как площади орошаемого земледелия растут, то в ближайшие годы количество их должно значительно возрасти.

* * *

А вот другая жгучая проблема, над которой ломают головы работники орошаемого земледелия,— это экономное и разумное использование воды.

Вода может быть другом человека, давать жизнь, но если ее неумело использовать, она становится врагом человека. Некоторые полагают, что стоит, мол, обводнить поле — и хороший урожай обеспечен. Это заблуждение. Вода приносит благо лишь тому, кто овладел мастерством и законами орошаемого полеводства.

К сожалению, коэффициент полезного действия существующих оросительных систем в стране, как уже говорилось, пока еще очень низок. Если собрать всю влагу, просачивающуюся из рек, каналов и водохранилищ, то ее хватило бы, чтобы оросить многие сотни тысяч гектаров земель.

Потери воды — это большой убыток государству. Если учесть, что один кубический метр воды стоит примерно две десятых копейки, то выходит, что наше народное хозяйство только от фильтрации теряет ежегодно около пятидесяти миллионов рублей.

Но это еще не все. Фильтрующаяся из каналов вода, просачиваясь сквозь почву, поспешно повышает уровень грунтовых вод и вызывает засоление и заболачивание земель. А порой превращает целые поля в мертвые солончаки.

Чтобы предотвратить потери воды, работники орошаемого земледелия все более ориентируются на применение бетонных и железобетонных защитных облицовок каналов. Брянский завод ирригационных машин сейчас создает комплекс машин для облицовки бетоном каналов глубиной до трех метров. В нынешнем году начнется их серийный выпуск. Для облицовки каналов глубиной до четырех метров готовит комплекс машин завод «Андижанирмаш».

В последнее время некоторые каналы уже оделись в бетон. Но бетонная облицовка все же дорога. И в тех случаях, когда строительство ведется без должной тщательности, облицовка не выполняет своего назначения и быстро выходит из строя. Причина — плохая подготовка земляного ложа канала, слабое уплотнение бетона, трещины в нем и т. д.

Тут на помощь, видимо, должна прийти химия. Уже с 1958 года в Голодной степи строятся оросительные каналы с противофильтрационными пленочными экранами. Для экранов применяется полиэтиленовая и полихлорвиниловая стабилизированная сажей пленка толщиной 0,2 миллиметра. Русло канала покрывается полотнищем пленки, сваренным из отдельных полос. Такое покрытие устраняет утечку воды в грунт, сокращает ее расход.

В лаборатории Атрекско-Копетдагского бассейнового управления оросительными системами (Туркменская ССР) недавно создан проект магистрального оросителя для колхоза «Сорок лет Туркменской ССР». Русло этого оросителя будет облицовано полиэтиленовой пленкой. А чтобы полимерное ложе не «пробила» растительность, грунт обрабатывается специальными составами. Два подобных канала уже действуют в колхозах Ашхабадского района.

У полиэтиленовой облицовки большое будущее. Она укладывается быстрее. При этом экономится цемент, сводится до минимума ручной труд. Но пока полимерные материалы еще дороги и производят их в стране мало.

Все шире используются теперь полиэтиленовые трубы для дренажа, различные сборные изделия из полистирола, переносные гибкие поливные шланги из полиэтилена,

синтетические смолы для противокоррозийной защиты. Применение полимерных материалов не только повысит коэффициент полезного действия оросительных систем, но и улучшит мелноративное состояние земель.

Однако при сооружении крупных оросительных каналов пластмассовые пленки не во всех случаях экономически выгодны. От применения их отказались, например, строители Каракумского канала. Они подсчитали, что ввиду больших размеров сечения канала, его длины, разливов, наличия озер с площадью в десятки квадратных километров применение пластмассовой пленки обойдется очень дорого. Вот почему ученые ищут сейчас и другие средства для предотвращения потерь воды при орошении.

Ученые задумываются: нельзя ли каким-либо способом сделать водонепроницаемым обыкновенный земляной грунт? Орошение имеет дело с громадными массами воды, и не всегда выгодно и технически возможно заключать эти воды в трубы, облицовывать каналы бетоном или выстилать их ложе синтетическим материалом. А нельзя ли грунту придать свойство гидрофобности, то есть водоотталкивания? Почва, как известно, пронизана запутаннейшим лабиринтом пор. Это своего рода «трубопроводы», регулирующие водоснабжение растений. В порах влага образует пленки. Общеизвестно, что жирные, или, как их называют, гидрофобные, вещества слабо взаимодействуют с водой. Если какую-нибудь поверхность покрыть жирным веществом, то вода не смочит ее, то есть на ней не образуется пленка влаги. Испарение воды с пористых поверхностей, обработанных жирным веществом, резко сокращается. Научные сотрудники института «Гипронефтемаш» нашли водоотталкивающие составы. Вода, вылитая на землю, пропитанную таким составом, словно бы собирается в серебристые шарики и, перекатываясь, как шарики ртути, совершенно не впитывается в почву. Грунт, покрытый таким защитным составом, превращает оросительный канал в водонепроницаемую чашу.

Но легко сказать: «Покройте поры жирным веществом, и испарение прекратится». А как это сделать в полевых условиях? Надо тщательно изучить теорию явления. Лишь после этого будет ясно, как надо вести работу на каналах. Инженеры, химики, агрономы сейчас усиленно работают над тем, чтобы быстрее решить задачу, как удержать воду в каналах, как избежать ее просачивания и испарения.

* * *

На помощь земледельцам приходит теперь такое эффективное средство, как автоматика. Автоматическое управление оросительными системами гарантирует своевременную подачу потребителю нужного количества воды, сокращает до минимума ее потери. Оно же способно регулировать водные запасы в хранилищах, своевременно направлять воду в оросительные каналы и по мере надобности перераспределять подачу воды на различные участки.

Автоматика уже применяется на некоторых орошаемых полях. Так, например, оросительный канал имени Кирова в Голодной степи (Узбекистан) протяжением в сто тринадцать километров переведен на автоматику и телемеханику.

Оригинальную систему разработал Институт автоматик Академии наук Киргизской ССР (Фрунзе). Это так называемая каскадная система подачи воды по каналу. Идея ее проста. Каждый канал разбивается перегородивающими сооружениями на отдельные участки — звенья каскада длиной в один-два километра. В таком звене поддерживается постоянный уровень, а потребитель на своем участке может в любой момент брать нужное ему количество воды, разумеется, в пределах норм.

Одна из «изюминок» каскадной системы — регуляторы. Энергию для работы этих устройств дает сама вода, перетекающая из верхнего звена в нижнее. Сооружение регулятора обходится недорого. Работает он надежно. И для ирригационных систем, особенно для мелкой сети каналов, где обычно нет рядом линий электропередач, да и само русло часто переносится, такие регуляторы незаменимы. Каскадная автоматика успешно прошла испытания на Атбашинской оросительной системе в Киргизии.

Пятьдесят тысяч гектаров засушливых земель плодородного Южного Приднестровья оросит Кушанская автоматизированная ирригационная система. Это одна из

крупных ирригационных систем Европы. Ее автоматизированная станция будет поднимать из Днестра на стометровую высоту около двадцати пяти кубометров воды в секунду. Девять других насосных станций погонят воду по железобетонным лоткам и асбоцементным трубам общей протяженностью около двух тысяч километров. На новой Приднестровской оросительной системе впервые в СССР в широких масштабах решено применить автоматический способ полива с программным управлением.

В недалеком будущем в телеавтоматических оросительных системах все операции, начиная от забора воды и кончая поливом, будут выполняться автоматически, по единой программе, вырабатываемой в счетно-вычислительном центре. Электронно-вычислительные машины учтут и водные ресурсы, и состояние орошаемых земель, и другие технико-экономические показатели.

Все это коренным образом изменит характер труда на орошаемых землях. Он станет в полном смысле слова индустриальным и высокопроизводительным.

* * *

Засоление — извечный враг орошаемых земель, бич сельскохозяйственного производства. Оно мертвит почву, губит растения, резко снижает урожай.

Засоление земель происходит в результате неглубокого залегания — до полутора метров — грунтовых вод, которые с растворенными в них солями поднимаются по почвенным капиллярам. Чем ближе подходят они к поверхности земли, тем больше соли начинают оседать в почве. Грунтовые воды могут подняться и в тех случаях, когда вода, идущая по оросительному каналу, усиленно просачивается в грунт — фильтруется. Вынос вредных солей может произойти и тогда, когда плохо организованы поливы и бесполезно утекает много воды.

В нашей стране из всех орошаемых земель (а их около десяти миллионов гектаров) до сорока процентов подверглись засолению. Были годы, когда из-за засоления и заблачивания общая площадь земель, выпадавших из сельскохозяйственного оборота, достигала восьмидесяти—ста тысяч гектаров. Это чаще всего случается на орошаемых территориях, не имеющих оттока грунтовых вод. Таковы некоторые приморские равнины, дельты рек (например, Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи), низкие пойменные и надпойменные террасы рек, сухие дельты (например, Теджена и Мургаба), подгорные равнины в межгорных впадинах (например, Фергана). Большинство наших орошаемых земель находится в зоне пустынь, полупустынь и сухих степей, где интенсивно природное соленакопление.

Чтобы использовать засоленные земли страны, необходимо вымыть из их корнеобитаемого слоя около двух миллиардов тонн соли. Сухой осенью, после уборки урожая, уровень грунтовых вод понижается. Если в этот период дать полю воду, можно промыть верхние слои почвы. Однако, неглубоко опресняя почву на одном участке, можно вызвать усиленное засоление соседних, более низких. Поэтому куда более надежное средство — искусственный дренаж. Если оросительные каналы, несущие свежую влагу на поля, можно сравнить с артериями в человеческом организме, то дренажные каналы, отводящие вредную соленую воду, — это вены. Так же как артерии не могут бесперебойно действовать без вен, так и оросительная сеть в большинстве случаев не может работать без дренажей. Еще далекие предки сегодняшних жителей Ферганы и Бухары знали этот способ. Они рыли узкие каналы, которые назывались заурами или закешами, и с их помощью отводили слишком близко подходившую к поверхности соленую грунтовую воду.

Разумеется, современная техника позволяет создавать более совершенные системы дренажа. К сожалению, в течение долгого времени у нас поддерживалось мнение, будто бы проблему засоления почв можно разрешить только посредством травопольной системы. Такой точки зрения придерживался ряд научных сотрудников Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова. В 1948 году вышел труд профессора В. А. Шаумяна «Научные основы орошения и оросительных сооружений». В основе этого труда лежит учение В. Р. Вильямса о травопольной системе земледелия.

В последние годы своей жизни В. Р. Вильямс рассматривал процесс образования засоленных почв в отрыве от геологических, гидрогеологических и климатических условий. Главная причина засоления по Вильямсу — ведение сельского хозяйства на бесструктурных почвах, а единственное универсальное средство борьбы с засолением — оструктурирование почвы через травопольную систему земледелия. Вильямс категорически отвергал при этом применение дренажа, считая его «экономически вредным мероприятием». Профессор В. А. Шаумян, развивая мысли Вильямса, также пришел к полному отрицанию дренажа

Эти неверные взгляды были опровергнуты практикой и отвергнуты решениями партий и правительства, а майский (1966 года) Пленум ЦК КПСС прямо указал, что оросительные системы должны сооружаться, как правило, с дренажной сетью того или иного типа.

Различают три типа дренажа: горизонтальный открытый, горизонтальный закрытый и вертикальный. Наиболее проста система горизонтальных открытых каналов — дренаж, по которым воды отводятся в специальный водоприемник. Однако открытые дренажи дробят поля и отнимают много полезной площади. Чтобы добиться рассоления земель с их помощью, надо либо углублять каналы, либо максимально сгущать их сеть. Но ни то, ни другое сделать нельзя, так как в первом случае будут оплывать стенки каналов, а во втором они займут слишком большую площадь. Поэтому удобнее горизонтальные закрытые дренажи — гончарные или асбоцементные трубы, уложенные по дну траншей. Грунтовая вода просачивается сквозь присыпку из гравия или битого камня в стыках труб и по ним удаляется.

Вертикальный дренаж — это ряд буровых скважин. Подпочвенную соленую воду откачивают из них насосом. Так снижается уровень грунтовых вод и создаются условия для промывки солончаков. Сооружение скважин менее трудоемко, чем прокладка подземных каналов, но для каждой из них необходимы моторы и насосное оборудование, а также постоянное наблюдение за системой и периодический ремонт.

Какой же способ дренажа лучше? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать местные условия. Горизонтальный дренаж может найти применение в районах с высоким уровнем грунтовых вод, вертикальный — на массивах, где на глубине имеются грунты с хорошими фильтрационными свойствами, а также там, где воды залегают на глубине десяти—двадцати метров.

Опыт совхозов «Пахта-Арал», «Малек», «Мирзачуль» (Узбекская ССР) говорит о том, что вертикальный дренаж дает возможность более эффективно регулировать режим напорных подземных вод; он позволяет полнее использовать площади орошаемых земель, шире внедрить комплексную механизацию на полях.

К сожалению, при определении того или иного типа дренажа часто не проводят необходимых исследований. Поэтому допускаются ошибки. Так, например, для зоны Южного Голодностепского канала вначале было предусмотрено устройство горизонтального дренажа протяженностью двадцать—двадцать пять погонных метров на один гектар. В дальнейшем же его пришлось увеличить до семидесяти метров. Но и сейчас еще нет гарантии, что такая густая сеть дренажей избавит земли ряда совхозов от засоления. Тревожное положение создалось на некоторых массивах, расположенных вдоль Каракумского канала, где вертикальный дренаж не предусматривается вовсе, а строительство горизонтального заметно отстает от темпов сооружения ирригационных систем.

Правильный выбор и наличие того или иного типа дренажа само по себе еще не снимает проблему засоления. Важно соблюдать рациональный режим орошения (техника полива, планировка полей и т. д.). Его следует строить так, чтобы на засоленных или склонных к засолению землях нисходящие токи воды преобладали над восходящими, то есть чтобы вода постоянно, из года в год промывала почву, освобождая ее от солей.

В борьбе с засолением почв земледельцы давно ждут активной помощи ученых и инженеров. Ученые в свою очередь тоже нуждаются в помощи — необходима база, чтобы расширить исследования. Экономия средств тут дорого обходится государству.

* * *

Хлопкоробы наших среднеазиатских республик накопили многовековой опыт ирригационного и мелиоративного строительства. Отдавая должное народной мудрости, смекалке ирригаторов и мелиораторов прошлого, мы, однако, обязаны в наше время строить оросительные сооружения, используя новейшие достижения науки и техники.

Нам вполне по плечу добиться устранения потерь воды на фильтрацию и испарение, ликвидировать очаги заболачивания и засоления, подавать воду на поля независимо от рельефа местности, повышать коэффициент использования земель, механизировать полив, автоматизировать водораспределение. Но тут необходим тесный союз науки и практики. Все эти проблемы могут быть разрешены только общими усилиями.

Как же обстоит дело ныне?

В нашей стране существует около двадцати научно-исследовательских институтов, изучающих проблемы гидротехники, мелиорации и орошаемого земледелия. Среди них такие крупнейшие научные центры, как Почвенный институт имени В. В. Докучаева, Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова, Среднеазиатский научно-исследовательский институт ирригации имени Д. Д. Журина и другие. Это внушительная сила! И тем не менее наша гидромелиоративная наука, как на это указал Пленум ЦК КПСС, еще не вполне отвечает нуждам социалистического орошаемого земледелия.

Научно-исследовательские институты гидротехники и мелиорации, институты водных проблем и водного хозяйства до сих пор не дали точных толкований по многим существеннейшим проблемам орошения. Поэтому не раз уже случалось, что конструкторские бюро заводов из-за отсутствия научных рекомендаций вынуждены были приостанавливать разработку той или иной машины и заниматься исследованиями каких-то процессов и явлений. В то же самое время научно-исследовательские институты часто вместо того, чтобы заниматься своим непосредственным делом — глубокими исследованиями, изучением и обоснованием технологических процессов, — берутся за конструирование машин, далеко не всегда успешное.

Предлагая для внедрения в производство ту или иную новую машину, институты, как правило, не дают серьезных экономических обоснований, подтверждающих выгоду рекомендуемых ими механизмов. А ведь комплексная механизация орошаемого земледелия потребует в ближайшие годы очень крупных материальных, денежных и трудовых затрат. Стало быть, надо уметь считать эти затраты. Лишь та система машин может быть признана прогрессивной, которая, отвечая агротехническим и эксплуатационным требованиям орошения, обеспечивает значительное сокращение затрат труда и средств на единицу сельскохозяйственной продукции.

Невольно поэтому напрашивается вывод, что, видимо, следует создать в различных природно-экономических зонах специализированные институты по наиболее важным разделам гидромелиоративной науки. А чтобы сделать возможным проведение единой технической политики, полезно было бы все научные институты по гидротехнике, мелиорации и водному хозяйству подчинить непосредственно Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР. Организация совместных работ ученых и производственников, широкая кооперация в научных исследованиях создадут условия для лучшего использования научных и инженерных сил и помогут поднять гидромелиоративную науку на уровень требований жизни.

Темпы научного прогресса зависят не только от квалификации ученых и совершенства их методик, но и от качества экспериментальных средств, измерительных устройств и приборов, которые применяются в исследовательской работе. Устаревшее лабораторное оборудование в научных учреждениях — это большой тормоз на пути прогресса. Экономить на лабораторном оборудовании — это значит оказывать медвежью услугу не только науке, но и практике. Однако Министерство сельского хозяйства СССР, да и Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР не всегда удовлетворяют эти нужды ученых. Но в то же время и многие научные работники слабо знакомы с современным отечественным и зарубежным оборудованием и сами не заботятся

об оснащении своих лабораторий. Нередко выделенные им средства так и остаются неизрасходованными.

Нельзя понять и того, почему в стране самого крупного механизированного земледелия Институт машиноведения Академии наук СССР, располагающий научными методами расчета конструкций и большим опытом применения новейших достижений науки для совершенствования ирригационных и оросительных машин, полностью устранился от их разработки. Нельзя, очевидно, согласиться и с тем, что Академия наук СССР вообще не имеет в своем составе институтов и лабораторий, занимающихся теорией сельскохозяйственных машин и рабочих процессов, научным обобщением земледельческой практики.

Столбовая дорога научных исследований в области мелиорации, орошения земель определена в решении майского (1966 года) Пленума ЦК КПСС. Задача состоит в том, чтобы сконцентрировать усилия ученых на решении конкретных комплексных проблем крупного народнохозяйственного значения. Важную роль мог бы сыграть специальный Научный совет по проблемам мелиорации при Академии наук СССР. Он мог бы координировать научно-исследовательские работы в области мелиорации, устранять ненужный параллелизм в работе академических и сельскохозяйственных институтов.

Многое сможет сделать в этой области и вновь организованный Всесоюзный научно-исследовательский институт механизации и техники полива (ВНИИМиТП) в городе Коломне, созданный на базе Московской опытно-исследовательской станции. Этот институт подчинен непосредственно Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР.

Серьезные задачи ставит развитие орошения перед сельскохозяйственной и биологической наукой. Обработка посевов в условиях орошения отличается многими особенностями. Наши ученые-селекционеры призваны создавать для орошаемых земель специальные сорта зерновых культур, способные давать высокие урожаи и легко поддаваться машинной обработке и уборке. Нужны поэтому скороспелые сорта с короткими и неполегаемыми стеблями, тогда бы открылась возможность получить с одной площади два урожая различных культур в год.

Земледельцы ждут от ученых и новых химических средств борьбы с сорняками и вредителями сельскохозяйственных растений на поливных землях. Ежегодно мы недобираем из-за них урожая на сотни миллионов рублей. Основным средством защиты посевов, как известно, служат гербициды и арборициды. Только одна Кубань просит обработать два с половиной миллиона гектаров. Важно активизировать разработку новых методов борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений, сделать их безвредными для растений, дать сельским специалистам обоснованные рекомендации по их применению.

Высокая культура земледелия на орошаемых массивах немыслима без рациональной системы удобрений и научно обоснованных севооборотов. Теперь, когда твердый план государства на поставки продукции помогает определить наилучшую структуру посевов, создается прочная гарантия соблюдения севооборотов и своевременного внесения удобрений. Решающее слово тут должно быть за агрономом, работающим рука об руку с гидромелиоратором.

И наконец науке предстоит решить проблему изыскания и правильного использования водных ресурсов. Это для нее основной вопрос.

По запасам водных ресурсов и гидроэнергетическому потенциалу наша страна занимает одно из первых мест в мире. Более двухсот тысяч рек общей протяженностью свыше трех миллионов километров покрывают ее своей разветвленной сетью. Поверхностный сток их в моря и океаны составляет в среднем 4.340 миллиардов кубометров в год, или примерно двенадцать процентов среднегодового стока рек земного шара.

Сток рек в СССР в полтора раза больше, чем в США, и в 1,7 раза больше, чем в Китае. Но самые крупные наши реки текут по малообжитым районам севера и северо-востока страны, а в густонаселенных областях, где развита промышленность и много земли, пригодной для сельского хозяйства, рек меньше, к тому же они не так многоводны. Почти семьдесят процентов стока рек во время весенних половодий и летних

паводков сбрасывается в моря, в Северный Ледовитый и Тихий океаны. Природа ухитрилась «обделить» водой такие важные в сельскохозяйственном отношении районы, как Поволжье, Кавказ, Средняя Азия, которые могут использовать в год триста тридцать кубических километров воды, а вынуждены расходовать сейчас только шестьдесят пять кубических километров. В недостаточно увлажненных зонах находятся две трети площади всех сельскохозяйственных районов СССР.

Подсчитано, что в связи с развитием орошаемого земледелия, а также промышленности и других отраслей народного хозяйства в ближайшие пятнадцать лет нам потребуется четыреста семьдесят пять кубических километров воды в год, то есть в два с половиной раза больше, чем теперь.

Откуда же ее взять?

Прежде всего необходимо улучшить использование вод, забираемых оросительными системами. Необходимо устранить потери, усовершенствовать технику полива, аккумулировать излишки воды в реках, накапливать и сохранять естественные запасы влаги в почве и т. д.

Регулированию речного стока, задержанию избыточных вод весенних паводков в многоводные годы и сохранению их на засушливое время поможет строительство гигантских искусственных водохранилищ. Но регулирование речного стока — это лишь часть решения водной проблемы. Ведь при этом не устраняется неравномерность территориального распределения водных ресурсов. Перераспределить речной сток, перебросить воду из районов, богатых водой, в засушливые — вот задача, которая в наши дни становится разрешимой.

Около девяноста лет назад русский ученый Я. Демченко высказал идею орошения безводных земель Арало-Каспийской впадины сибирской водой. Позже — в 1922 году — с новым вариантом этой идеи выступил инженер Д. Букинич, потом свои проекты выдвинули В. Монастырев, Н. Ботвинкин. Над проблемой поворота течения Оби и Енисея много лет работают инженер М. Давыдов и другие специалисты.

Намеченные масштабы орошаемого земледелия собственные воды Средней Азии и Казахстана не смогут удовлетворить уже через пятнадцать — двадцать лет. Между тем только одна Обь ежегодно сбрасывает в Северный Ледовитый океан четыреста кубических километров воды. Сооружение на Оби крупного водохранилища, проектируемого для Нижне-Обской гидроэлектростанции, создаст необходимые условия для переброса стока Оби в южном направлении.

На великих сибирских реках будут сооружены и другие огромные плотины, гидроэлектростанции, водохранилища. Вероятно, уже к концу нынешнего столетия придется перебрасывать в Среднюю Азию и Казахстан не менее ста кубических километров воды в год.

Предполагается перебросить воды северных рек Печоры и Вычегды, а также Сухоны и Невы в бассейн Волги. Великая русская река будет получать дополнительно около пятидесяти пяти миллиардов кубометров воды в год. Сеть многочисленных оросительных каналов покроются заволжские степи. Будет сохранен современный уровень Каспийского моря и восстановлен его водный баланс.

По подсчетам ученых и проектных организаций, наличие земельно-водных ресурсов позволяет довести площадь орошаемых земель в СССР до тридцати миллионов гектаров, а с переброской воды из северных и сибирских рек — до семидесяти — восьмидесяти миллионов гектаров.

Все эти планы — не фантастика. Они рассчитаны на двадцать пять — пятьдесят лет и будут выполнены.

Второй источник — подземные воды. В Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, в южной части Западно-Сибирской низменности, в Азербайджане, Армении, Дагестане выявлены целые подземные «моря». Общие запасы подземных вод исчисляются астрономическими цифрами. Правда, далеко не все эти воды могут быть использованы, но и пригодных было бы достаточно для орошения двух-трех миллионов гектаров засушливых земель или для обводнения сотен миллионов гектаров пастбищ.

Отдельные хозяйства Казахстана на опыте уже убедились в полезности использования подземных вод. Когда в совхозе «Шаульдерский», расположенном в пустыне

Кызылкум, в результате засоления и заболачивания вышла из строя ирригационная система, решили подать на поля артезианскую воду. Пробурили скважины. И теперь в совхозе из года в год поля дают хорошие урожаи, появились новые бахчи, огороды, фруктовые сады. Колхоз «Тридцать лет Октября» Павлодарской области страдал от частой засухи и эрозии почв, пока не стал использовать подземные воды. Сейчас с помощью артезианских скважин здесь орошается четыреста гектаров, с которых собирают богатые урожаи. В республике ныне обводняется подземными водами восемьдесят миллионов гектаров пастбищ и орошается всего тысяча двести тридцать пять гектаров полей. Но пока это крохотные участки — площадью от одного до двадцати гектаров. Это ничтожно мало!

Сейчас в Казахстане расширяют площадь земель, орошаемых из подземных источников. При этом размер каждого орошаемого поля составит двести — триста гектаров. Пятнадцать миллионов рублей будет израсходовано в нынешней пятилетке на добычу подземных вод, причем две трети этих средств пойдут на буровые работы. Для орошения полей подземными водами нужны трубы для скважин, моторы, электроэнергия для выкачивания воды на поверхность. Все это будет изыскано на месте. Для подъема воды многие хозяйства используют энергию ветра. В некоторых случаях не потребуются прибегать к глубинным насосам и энергетическим устройствам. Сооружение артезианских скважин, соединенных автоматическим управлением, предоставит возможность создать густую сеть пунктов водоснабжения.

Гидрогеологические исследования, уточняющие данные относительно запасов подземных вод и наилучших условий их эксплуатации, уже начаты во многих районах страны. Ведутся они в Голодной степи, в Зеравшанской котловине, в Центральной Фергане, в низовьях реки Ангрэн и в других местах. Эти исследования были бы куда продуктивнее, если бы гидрогеологи располагали общей всесоюзной схемой использования подземных вод.

Есть еще много и других нерешенных проблем, связанных с использованием подземных вод (гидродинамика артезианских бассейнов, управление гидростатическими напорами, применение солнечной энергии для вывода и подачи на поля подземных вод и т. д.). Вот тут-то потребуются совместные усилия ученых различных специальностей. Потребуются, видимо, и чисто организационные меры. Ведь пока использованием подземных вод занимаются разрозненные маломощные организации и группы, решающие лишь частные вопросы водоснабжения отдельных объектов или обводнения пастбищ. Им недостает кадров и техники, они не могут решить проблему комплексно, во всей ее полноте и сложности.

Есть еще один мощный, пока не тронутый резерв орошения. Это ледники. Сотни тысяч кубических километров — вот сколько воды собрала и заморозила впрок природа на территории нашей страны. И место для своих «холодильников» нашла она весьма рациональное: Средняя Азия и Северный Кавказ как раз нуждаются в запасах воды.

Эту «законсервированную» воду можно в засушливые годы частично «расконсервировать» и направить в оросительные системы. Заманчивая перспектива! В будущем для этого, видимо, используют могучую энергию ядерных и термоядерных процессов, но, конечно, в известных пределах. Если чрезмерно «эксплуатировать» ледники, то не исчезнут ли они совсем? Представьте себе, что случилось бы, если полностью растопить многокилометровый слой льда Антарктиды. Уровень мирового океана, как подсчитали ученые, повысился бы тогда на семьдесят метров и почти все крупнейшие портовые города мира были бы затоплены.

Возлагаются большие надежды и на опреснение морской воды — ведь мировой океан занимает более двух третей поверхности нашей планеты и объем соленой воды в нем оценивается более чем в миллиард кубических километров. Ученые многих стран ведут широкие исследования по опреснению. Пока что оно обходится довольно дорого. В нашей стране люди уже пользуются опресненной водой Каспийского моря в Форте Шевченко на полуострове Мангышлак. Скоро опресненная вода этого моря начнет поступать в отдаленные районы полуострова — вступит в строй мощный реактор, атом утолит жажду земли и людей.

Вот уже в течение пяти лет большой коллектив советских ученых трудится над составлением «Генеральной схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов СССР». О масштабах и значении этой работы можно судить хотя бы по тому, что в ней приняли участие более ста научно-исследовательских институтов, десятки организаций. Завершение ее будет важным вкладом науки в развитие орошаемого земледелия.

Организованное на научной основе и новой технической базе с учетом достижений передового опыта, орошаемое земледелие принесет народу великие блага.

В апреле партия и правительство приняли ряд важных и решительных мер по защите почв от ветровой и водной эрозии, борьбе с засолением и т. д. Перед работниками сельского хозяйства — учеными и практиками, перед местными органами власти поставлены конкретные задачи и выделены все необходимые материальные и технические средства для изучения, профилактики и лечения «больных» земель. Земля и вода — всенародное достояние. Беречь их и правильно использовать — большое государственное и общенародное дело.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ф. СВЕТОВ

★

О МОЛОДОМ ГЕРОЕ

1

В свое время — лет пять-шесть назад — в нашей критической литературе много писали о «молодой прозе», ее проблемах, путях, говорилось даже о новой «школе», литературном направлении, «четвертом поколении» (слова эти впервые вырвались у А. Макарова в статье «Серьезная жизнь»¹: «Жизнь молодого человека четвертого поколения» — а потом пошли гулять из статьи в статью). Началом «молодой прозы» было принято считать «Хронику времен Виктора Подгурского» А. Гладилина и «Продолжение легенды» А. Кузнецова, потом появились повести, романы В. Аксенова; перечень представителей «молодой прозы» пополнялся с явлением каждого нового писателя, возраст которого колебался где-то в пределах тридцати лет и чьей темой становилось формирование характера молодого человека, поиски им своего места в жизни и т. п. Среди множества произведений этого рода были вещи действительно талантливые, яркие, обещавшие многое, а были и проходные, авторы которых демонстрировали лишь определенный профессиональный уровень. Скоро у «основателей» новой «школы» появились и эпигоны, — они эксплуатировали модную тематику, стремясь компенсировать отсутствие глубины в изображении действительности мелодраматизмом ситуаций, экзотичностью жаргонного стиля.

Тем необходимым было подвергнуть внимательному критическому анализу эти произведения — очень разные по своему художественному уровню, по масштабам дарования их авторов. И во всяком случае едва

ли следовало торопиться объединять только начавших работать в литературе писателей в единое течение или «школу», вернее было бы сначала присмотреться к их писательским индивидуальностям. Но в большей части критических статей список «молодых» становился все более длинным и, так сказать, формальным.

Прошло пять-шесть лет. И вот в последнее время критика снова обратилась к проблемам «молодой прозы». Появился целый ряд работ (А. Макарова, Л. Аннинского, Ф. Кузнецова и других), в которых вниманию читателей вновь, уже «на новом этапе», предлагают горячо и шумно обсуждавшиеся некогда вопросы. Дистанция времени дает критику свою выгоду. Теперь уже можно спокойно разобраться в том, что осталось, отстоялось со временем, а что ушло вместе со злобой дня и представляет интерес разве что историко-литературный. Правда, об «истории вопроса» говорить, видимо, еще рановато, да и не всякий «вопрос» достоин того, чтобы стать историей. Поэтому и здесь интересней, пожалуй, взгляд не историко-литературный, а живой, критический. Насколько сегодня современна наша «молодая проза»? Изменились ли конфликты, обстоятельства, которые огорчали или радовали героев произведений, с которыми мы знакомимся пять лет назад? Изменился ли сам герой, как он теперь живет, наконец кто он такой?

И вот мы вчитываемся в эти статьи, они и верно стали более подробными и обстоятельными, порой они складываются даже в книги. К тому же они все время напоминают о, так сказать, принципиально новом взгляде, отличном от первоначального. Автор одной из нашумевших статей той

¹ «Знамя», № 1, 1961.

поры — «Четвертое поколение» (она была опубликована «Литературной газетой» в 1961 году) — Ф. Кузнецов публикует теперь статью «К зрелости» — о конце «четвертого поколения» («Юность», № 11, 1966; № 3, 1967) — и хотя пишет, что не отказывается «ни от одного из основных положений» первой, в целом утверждает, что сегодня для «молодой прозы» важно уже не то, что пять лет назад: «не общность, но различие, не судьба литературного поколения как такового, но перспективы писательских судеб». Эту трезвую переоценку следовало бы поддержать.

В книге Л. Аннинского «Ядро ореха» речь порой идет уже не просто о пересмотре позиции, порой его извинения становятся похожими на отречения. «Мы слишком свято любили и слишком горячо спорили», — извиняется Л. Аннинский в авторском вступлении к своей книге, очень характерной для критики «молодой прозы». «Многие оценки я пересмотрел с той поры», — пишет он чуть дальше. А потом уже и прямо переходит к самобичеванию: «аз многогрешный», «критик Ю. Барабаш гневно смеялся надо мной в «Литературной газете». Было это весной шестьдесят третьего года, и вот теперь, по здравом раздумье, я готов к нему присоединиться...».

Но, несмотря на этот пафос покаяния, в книге «Ядро ореха» нам предложена все та же старая, явно не выдержавшая испытания временем схема: «Дорога уходила ввысь, безусые паренки шли, мечта; они дружно шли осуществлять мечту» — так по Л. Аннинскому начинала наша молодая литература. А далее читателю предложен калейдоскоп имен (книга так построена) от Е. Евтушенко до В. Кожевникова, от В. Корнилова до И. Кобзева. В повести «Знакомьтесь, Балувев», пишет критик, нагромождая одну беглую оценку на другую, «сделано художественное открытие», «Войнович пишет — словно антивещество строит», «молодой, суровый поэт И. Кобзев», «неистовства... первых стихов» Вознесенского, «Dahin-dahin, — не правда ли, Сулейменов?». В чаду этого бойкого критического скороговорения утрачивается уже ощущение того, что речь все-таки идет о литературе, которая прежде всего познает какие-то важные закономерности времени, воссоздаст его правдивую картину. И коль нас интересует герой — цускай «безусый паренек», — то хотелось бы уз-

нать, что это за человек, что он несет в себе, откуда пришел и куда путь держит. И уж ежели через пять лет подводить итоги развития «молодой прозы», то не только (в который уже раз!) о джинсах, узких или широких брюках стоило критику вести речь, но предложить читателю конкретный разговор о вполне конкретном человеке — современнике...

Может ли, однако, такой разговор о реально существующих героях вестись абстрактно, вне художественной плоти произведений? Как ни странно, именно так поступает в цитируемой уже статье Ф. Кузнецов, остановившись, скажем, на романе В. Рослякова «От весны до весны» («Москва», №№ 7, 8, 1966): «Не вдаваясь в разбор романа (это могло бы стать темой отдельной статьи), сошлюсь на него как на документ, свидетельствующий о первой реакции студенчества на решения XX съезда партии».

«Не вдаваясь в разбор романа...» Но ведь вся беда критики «молодой прозы» как раз и состояла в том, что авторы статей о «четвертом поколении» не давали себе труда «вдаваться в разборы», а просто утверждали «общность судьбы» у писателей, у которых и с самого-то начала различия было больше, чем сходства. Не считать же общностью возраст вступления в литературу! Но больше ведь ничем не объединишь, скажем, Гладилина с Войновичем или Аксенова с Беловым.

Мне думается, что, подводя сегодня какие-то итоги жизни молодого героя в литературе последних лет, следует вести разговор вполне конкретный, а не продолжать и через пять лет множить старые недоразумения на сегодняшние «здравые раздумья»¹.

Нас будет интересовать молодой герой, его черты, зорко увиденные писателями в самой жизни, выразившие характерные для времени, существенные его стороны. Пусть не найдем мы в литературе последних лет удовлетворяющего нас вполне характера молодого человека. Довольствуемся и ма-

¹ Я не останавливаюсь здесь на статьях А. Макарова «Через пять лет» («Знамя», №№ 2, 3, 7, 8, 1966), в которых предложены, так сказать, монографические разборы объединяемых критиком все в ту же «молодую прозу» произведений А. Рекемчука В. Липатова, В. Семина, В. Аксенова. — они увели бы нас в сторону от нашей темы.

лым: будем собирать его черты по крупинам, невзначай брошенным деталям, репликам.

Быть может, в таком конкретном разговоре ясное станет и то ценное, что привнесла в нашу литературу молодая проза — писатели (каждый по-своему), пришедшие в литературу в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов.

2

В «Записных книжках» Ю. Тынянова есть рассуждение о смене литературных поколений: «Новый голос и новый рупор — это смерть старого литературного поколения». «Так умирают вживе авторы. Иногда при этом, — замечает Тынянов, — они умирают и не фигурально, а на самом деле, потому что литература — это не служба и не побочная профессия, а жизнь этих людей, счастье и несчастье».

Такой серьезный разговор о сути того, как сменяются литературные поколения, у нас в критике ведется редко, хотя о литературных поколениях, как уже говорилось, пишется бесконечно много по любому поводу и без оногo.

Впервые я подумал о том, что тем не менее разговор о литературном поколении — о «новом голосе и новом рупоре» — дело серьезное, 29 сентября 1966 года. Это было в Киеве, в Бабьем Яре. В этот день исполнилось двадцать пять лет — четверть века — тому, что произошло здесь.

Был ослепительный золотой осенний день. На огромном пустыре, намытом на том месте, где был когда-то Бабий Яр, за кладбищенской стеной, недалеко от пересекающего пустырь нового асфальтированного шоссе, стояла густая толпа людей. Тех, кто пришел сюда в этот день.

Было тихо и еще светло. За пустырем виднелась обыкновенная улица, современная застройка, магазины, городской транспорт. А тогда ничего этого не было.

Молча подходили новые группы людей. Многие разбредались по пустырю. Чуть в стороне, за кустами сохранилась часть самого Яра — отвесный обрыв метров сорок глубиной, как и написано в романе-документе А. Кузнецова. А дальше, внизу — Куреневка в легкой дымке, а еще дальше — Днепр с новыми мостами и вечной своей красотой.

На книгу А. Кузнецова я наткнулся в этот день в Киеве бесконечно. И здесь, в Бабьем Яре, я видел своими глазами десятки экземпляров журнала «Юность», раскрытых на первой странице, где портрет автора на фоне обшарпанной кирпичной стены. С журналом ходили здесь, как с указателем, как с документальным подтверждением того невероятного, что произошло здесь четверть века назад.

Хотя были и другие свидетельства. Я видел женщину — уже немолодую и усталую. Ту, которой в книге А. Кузнецова посвящена глава, называемая «Бабий Яр». Дина Мироновна Проничева — мать двоих детей, актриса Киевского театра кукол. А Кузнецов только записал то, «как она рассказывала, не добавляя ничего».

Д. М. Проничева пришла сюда через двадцать пять лет, и я видел, как незнакомые люди целовали ей руки.

Я видел здесь книжки того же журнала, раскрытые на другой странице, — там, где приказ в черной рамке: «Все жида города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и проч. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян...»

Это не литература — это документ, и журнал удостоверяет его подлинность в примечании: этот приказ хранится в ЦГАОР (ф. 7021, оп. 65, ед. хр. 5).

Да, на этом пустыре, бывшем когда-то огромным оврагом, в первые же дни, начиная с 29 сентября 1941 года, работал гигантский комбинат смерти, трупы казненных были сожжены перед отступлением немцев из Киева...

Роман-документ Анатолия Кузнецова начинается такими словами: «Все в этой книге — правда. Когда я рассказывал эпизоды этой истории разным людям, все в один голос утверждали, что я должен написать книгу. Да и сам я чем больше живу на свете, тем больше убеждаюсь, что обязан это сделать. Дело в том, что сам я родился и вырос в Киеве, на Куреневке, недалеко от большого оврага, название которого в свое время было известно лишь местным жителям: Бабий Яр. Как и прочие куреневские места, Бабий Яр был, как это

говорится, местом моего детства, местом наших игр и т. п.

Потом сразу, в один день, он стал очень известен».

А в конце этого небольшого «Необходимого объяснения» А. Кузнецов рассказывает о том, как он подобрал на дне Яра спекшийся кусок черной золы килограмма два весом, унес с собой и сохранил. «Уже тогда у меня была мысль, что надо бы об этом рассказать, с самого начала, как это было на самом деле, ничего не пропуская и ничего не вымышляя. Вот это я делаю, потому что чувствую, обязан это сделать, потому что, как говорено в «Тиле Уленшпигеле», пепел Клааса стучит в мое сердце. Таким образом, слово «документ», проставленное в подзаголовке этого романа, означает, что здесь мною приводятся только подлинные факты и документы и что ни малейшего литературного домысла, то есть того, как это «могло быть» или «должно было быть», здесь нет».

Как видим, эта книга не могла не быть написанной. Просто вырос мальчик, который все это видел. Вырос и осознал себя человеком, осознал себя гражданином. И услышал глухие удары в сердце...

Я хочу сказать, что поколения, в том числе и литературные, приходят не в тоге все разъясняющего резонера, холодно открывшего новые документы, скрытые от поколения предыдущего. И не в усыпанном блестящими костюме клоуна, весело смеющегося над тем, над чем плакали их предшественники. Поколение приходит тогда, когда вырастают дети, не умеющие забыть о своем детстве, когда они ощутят потребность вернуться к детским воспоминаниям — быть может, самым сильным и ярким в своей непосредственности, — чтобы, поверив их уже зрелым сознанием, понять и нерасторжимость своих связей, и всю меру собственной ответственности.

«Когда человек ощущает свое начало и свое продолжение, он щедрей и правильней располагает своей жизнью, и его трудней ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе». Так пишет ровесник А. Кузнецова — Ф. Искандер, вспоминая о своем детстве.

Писатель получает право говорить от имени поколения, когда он ощутит свое начало как свое богатство, когда он услышит, как стучит пепел в его сердце. Тог-

да-то и становится реальным его право судить о настоящем — о конфликтах жизненных и современных.

Но не будем пока говорить о «новом го- лосе и новом рупоре» — столь высокие слова предполагают появление произведений, которые художественно-органично выразили бы суть исканий нового литературного поколения. А — повторяю — успехи, достигнутые здесь, пока довольно скромны. Приглядимся хотя бы к стремлениям, тенденциям и, памятуя о том, что нам важны и крупницы правдивых наблюдений, штрихи, детали, обратимся к произведениям, в которых интересующая нас тенденция проявляется уже достаточно определенно.

Речь идет о поисках нравственной опоры, или, говоря словами Г. Успенского, нравственного фундамента. «Итак, где же добыть этой нравственности? — размышлял один из героев Г. Успенского. — Каким способом в душе подрастающего молодого поколения образовать тот прочный, нравственный фундамент, который выдержал бы то, что время воздвигнет на нем?..»

Задавался ли, скажем, Ф. Горенштейн в рассказе «Дом с башенкой» таким вопросом? Или В. Аксенов в рассказе «Завтраки 43-го года»? Или, скажем, Ф. Искандер в книжке рассказов о детстве, вспоминал деда, дядьев — всю свою многочисленную абхазскую родню?¹ Во всяком случае никто из этих писателей даже не пытался как-то публицистически формулировать эту свою мечту о прочном нравственном фундаменте. И тем не менее все они по-разному и с разных сторон ищут его и ищут там — в детстве, понимая, что художественное исследование настоящего, коль заниматься этим всерьез, надо начинать с начала, с истоков. А право на такое исследование получает только тот, кто связан с этой жизнью всеми своими корнями.

«...Я все чаще и чаще чувствую, что мне

¹ Я обращаюсь к этим произведениям прежде всего потому что одни из них вошли в сборник «Избранное», выпущенный к десятилетию журнала «Юность», в котором напечатаны наиболее интересные рассказы и стихи, публиковавшиеся в журнале в течение десяти лет, а другие как, скажем, «Завтраки 43-го года» или рассказы Ф. Искандера, напечатаны в недавних сборниках, в которых писатели собрали лучшее из того, что ими создано, и как бы подвели некоторые итоги своей работы.

не хватает дедушкиного дома,— пишет Ф. Искандер.— Может быть, потому, что дедушкиного дома уже нет — старые умерли, а молодые переехали в город или поближе к нему. А когда он был, все не хватало времени бывать там чаще, я его все оставлял про запас. И вот теперь там никого нет, и мне кажется, что я ограблен, что какой-то мой главный корень обрублен.

Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали, делал меня смелей и уверенней в себе. Я был почти неуязвим, потому что часть моей жизни, мое начало шумело и жило в горах...»

Но нет ли в этой весьма привлекательной тенденции — обращения к детству — и стремления уйти от настоящего с его реальными сложностями и кажущимися порой сегодня неразрешимыми конфликтами? К тому же возвращение к детским годам может быть иной раз продиктовано и отсутствием у автора какого-либо другого жизненного опыта: писатель, который так охотно делится единственным своим богатством, может быть, не столько щедр, сколько нерасчетлив. Что останется у него, когда этот драгоценный запас первоначальных впечатлений иссякнет?..

Но я имею в виду иной случай, когда по книгам молодых писателей о детстве можно понять, что способен обрести сегоднешний молодой герой в своих ранних годах, на что сможет он потом опереться во взрослой жизни, что даст ему эту возможность, научит его отличать добро от зла. Попробуем прочитать несколько произведений именно с этой точки зрения.

«Бабий Яр» был написан потому, что писатель твердо понимал невозможность для себя умолчать о пережитом — «обязан это сделать...». В этом был его нравственный долг перед прошлым. Но, кроме того, собирая факты и свидетельства о своем детстве, вспоминая прошлое, он понял необходимость этой правды и сегодня. «Ни одно общественное преступление не остается тайным,— пишет А. Кузнецов в самом финале романа.— Всегда найдется какая-нибудь тетя Маша, которая видит, или спасутся четырнадцать, два, один, которые свидетельствуют, а если не остается живых,— свидетельствуют мертвые. Но историю обмануть нельзя. и что-нибудь навсегда скрыть от нее невозможно».

«Бабий Яр» был написан и потому, что писатель знал, что историю обмануть нельзя, и потому, что он понял, что его собственное участие в восстановлении истины дает ему право говорить правду о настоящем.

Но ведь и рассказ Ф. Горенштейна «Дом с башенкой» возник по той же самой причине, хотя в нем не происходит никаких событий, способных войти в историю.

«Дом с башенкой» — это рассказ о военном детстве, вернее об одном дне из жизни мальчика. Все, что в этот день с ним происходит, мы видим глазами этого мальчика, хотя рассказ написан не от его имени. Но именно его глазами мы «плохо различаем лица», что-то плывет перед нами, зато отчетливо, как в кино — крупным планом, — возникают «разные предметы», неизвестно зачем оказывающиеся в поле нашего зрения.

Старый одноэтажный дом с башенкой и старуха в шерстяных чулках и галошах, торгующая рыбой на привокзальной площади, все время попадают нам на глаза. Это первое, что видит мальчик, выбежав из вокзала незнакомого города в поисках матери, которую сняли с поезда и унесли на носилках. Потом он будет попадать на эту площадь не один раз: и когда станет в очередь на автобус, которого все равно не дождется и побежит по чужим улицам, и когда вернется из больницы, и потом еще раз. И наконец в финале рассказа, ночью, на вагонной полке ему приснится все тот же дом с башенкой, старуха, торгующая рыбой,— последнее, что навсегда будет жить в его памяти из того, что связано с матерью.

И, несмотря на все ужасное, что запомнит в этом дне мальчик, он, увидев все это во сне, облегченно вздохнет и улыбнется, потому что за домом с башенкой и старухой, торгующей рыбой, увидит мать. И он, сорванный войной с места, покотившийся по ее дорогам, уже навсегда лишенный дома, сохранит в душе именно этот страшный день, но сохранит как нечто очень важное, как свою опору в жизни. Потому что в этот навсегда оставшийся в его сознании день он увидит и запомнит и пьяного инвалида в морском бушлате и черной морской ушанке, у которого вместо руки был пустой плоский рукав, а вместо ноги — протез («Граждане,— сказал он,— отцы и матери, надо довести пацана... Меня пацан,

граждане, боится...— Инвалид зубами растегнул ремешок часов и положил их на столик.— Довезешь, проводник?»; запомнит и проводника («Да ты что,— сказал проводник и придвинул все лежавшее на столике назад к инвалиду,— ты брось мотать... Довезем, чего там...»), и толстую женщину в вагоне («Он... все равно проплет... Лучше уж мальцу еды намять, скоро станция узловая...»), и «дядю» с его женой — кудрявой женщиной («Приблудился на нашу шею...»), и старика в рваном пальто и красивом пенсне с толстыми стеклами, с кусочком седой чистенькой бородки под нижней губой («Неужели это никогда не кончится?»). Люди разные, в чьей корысти или бескорыстии он еще не разбирается: ищет защиты у «дяди» и кудрявой женщины, но боится инвалида. Но в этом «воспоминании» уже реальный мир с его конкретным добром и столь же конкретным злом. Мальчик здесь уже не просто свидетель, он — действующее лицо, это его собственный опыт, начало нравственного представления о жизни, понимания того, что хорошо, а что плохо. Поэтому именно к этому воспоминанию он несомненно будет обращаться множество раз, черпая там и надежду и силу. Ощущая там — у дома с башенкой — свое начало.

Органичность этого рассказа и в психологической натуральности самого воспоминания, внешне привязанного к предметам, которые могли остановить именно детское сознание, и в совершенной естественности чувства, которое как бы разлито в атмосфере рассказа и потому с такой силой и искренностью передается читателю.

Это то самое нравственное чувство, которым так дорожит Ф. Искандер в своих рассказах о детстве, чувство, которое А. Кузнецов ощущает как стук пепла в сердце, а герой рассказа Ф. Горенштейна хранит как самое драгоценное свое богатство.

В. Аксенов другим путем приходит к пониманию важности именно нравственной опоры для своего инфантильного, внутренне неустroенного героя. Ведь даже в лучших его рассказах душевное состояние, психология героя не столько художественно осмыслены, сколько великолепно зафиксированы. Таков образ Сергея из рассказа «Папа, сложи!», вдруг заметавшегося, оглянувшегося на свою жизнь, которая «прошла, как веселый, неимоверно высокий школьник, по тренировочным залам и ста-

дионам, по партам и пивным, танцплощадкам, по подъездам, по поцелуям, по музыке в парке...», таков и образ героя «Катапульта», размышляющего на ту же тему, но очень литературно, «восклицательно»: «Никогда катапульта не выстреливала мной в разреженную жгучую атмосферу», и несколько экзотический характер Кирпиченко с его категоричным «все нормально. Нормально и точка!» («На полпути к Луне»).

А вот в рассказе «Завтраки 43-го года» В. Аксенов, обернувшись неожиданно (может быть, и для себя самого?) в прошлое — не столь уж давнее,— подводит читателя к осмыслению происходящего сейчас. Автор встречает в этом рассказе человека. антипатичного ему с первого же взгляда, встречает мерзавца, которого он разглядел за вполне респектабельной современной внешностью, холодным умом, спокойствием, за, так сказать, профессиональным умением организовать собственную жизнь. За всем этим он отчетливо, как при вспышке магния, видит начало этого человека. оно и в его, автора, собственном детстве. Это именно он, который был постарше и покрепче, вместе со своими друзьями издевался над ним — маленьким и беззащитным, ломал, гнул, стремился превратить в ничто: отнимал жалкие школьные завтраки, заставляя подчиняться, чувствовать себя ничтожеством. Он и сегодня убежден в своем «марсианском» праве жить именно так, как он живет, и получать за это то, что он получает, и с этой уже привычной для него высоты, которой — он в этом убежден — на его век хватит, он плюет и на тех, кто «внизу», и на попытку его как-то разгадать и вывести на чистую воду. Он даже не узнает своего собеседника. «Я понял, что Он меня никогда не узнает, как не узнал бы никого другого из нашего класса, кроме Леки и Казака. И я понял, почему Он не узнал бы никого из нас — мы не были для Него отдельными личностями, мы были массой, с которой просто иногда нужно было немного повозиться.

— Ну где уж мне вас понять! — неожиданно для самого себя грубо воскликнул я.— Понятно, для вас еда — это что! Ведь вы же прямой потомок марсиан!

Он осекся и смотрел на меня, сузив глаза. На пухлых его щеках появились желваки.

— Тише,— тихо произнес Он,— вы мне аппетита не испортите. Понятно?..»

Два человека — ровесники, школьные товарищи — встретились в поезде. Они разговаривают, потом обедают в ресторане. А между ними поистине, так сказать, «космическое расстояние» и «космический холод». И уже не просто оставшаяся неотомщенной детская обида движет автором в его разгадывании собеседника, но внезапно пришедшая трезвость. Детство на сей раз совершенно конкретно приходит на помощь — помогает уяснить: перед ним сидит не выдуманный в литературной игре оппонент, а живой, точно знающий свое место и цену этого места противник. И у него нет в прошлом головокружительного детектива, и его корни не идут так далеко, как у Грацианского. Вот он — голубоглазый и розовощекий, вот его начало — оно и в твоём детстве.

Но мысль рассказа не только в этом узнавании, она и в понимании самого себя, в совершенно реально возникающем здесь ощущении течения жизни, за которую ты сам несешь ответственность, за все, что в ней происходит, в том числе и за «марсианское» существование этого случайного попутчика.

3

Интерес писателя к прошлому его героя, художественный анализ своих собственных воспоминаний совершенно естественно вылился в этом рассказе В. Аксенова в попытку разобраться в настоящем, задуматься о своем месте в жизни и о своем долге перед всем, что человека окружает. Именно такая мысль естественно живет и в романе-документе А. Кузнецова, и в милах — ироничных и печальных — рассказах Ф. Искандера, и в трагическом рассказе Ф. Горенштейна.

Не беллетристический искус, не лежащий на поверхности драматизм ситуаций привлекали этих писателей к теме прошлого, к теме своего детства. Возвращение к прошлому здесь — и не бегство из настоящего, а попытка осмыслить современность, вернуться в нее, вооружившись знанием и пониманием предшествующего.

Впрочем, само стремление рассказать о прошлом героя всегда, казалось бы, уже свидетельствует о попытке найти для его характера «третье измерение», сделать изображение стереоскопическим.

В прошлом веке писатели в таких случаях поступали просто: на десятках страниц пространно излагали биографии героев. Современные авторы тяготеют к более сложной композиции. Прошлое вшивается в ткань повествования, когда читатель никак этого не ждет и еще долго не может понять, что же и когда происходит; потом прошлое исчезает и появляется вновь еще более неожиданно и фантастично — случайное переплетается с закономерным, вероятное с невероятным, герой не только становится «трехмерным», он обрастает прошлым, как елка в новогоднюю ночь, как снежный ком под руками...

Вот подобный случай: герой устал от повседневности, текучки,— он «уткнулся носом» в работу, у него нет времени посмотреть на нее со стороны — «видеть ее на расстоянии», ему нужно «нравственное оправдание», иначе все, что он делает, кажется ему «бессмыслицей или жестокой необходимостью», надо уехать подальше — «Можно было бы слетать на Луну...». И тогда его руководителю — академику Ржановскому — приходит в голову блестящая мысль. «Сядь в такси и позжай», — говорит он категорично. «Куда?» — спрашивает удивленно герой. И академик отвечает: «На Благушу». И вот герой, «зажав в кулаке нейлоновый берет «болонья», приближается к Благуше. в его голове уже вспыхивают позабытые названия из детства: Семеновская застава, Мейеровский проезд, Хапиловка, Божениновка... Герой подошел к Благуше вплотную: «Хуг! — шепотом вскричал я.— Бледнолицые перешли через Ориноко...»

Это восклицание несомненно остановит читателя, здесь, конечно же, захочется передохнуть, закурить, что ли, и я воспользуюсь случаем, чтобы кое-что объяснить: героя зовут Алексей Аносов, он талантливый физик, он бьется над сложной проблемой, ему кажется, что он зашел в тупик, и он понимает, что академик отправляет его на Благушу не просто погулять, он идет туда «с отчетливой мыслью, что обязан найти нравственный идеал эпохи». Происходит все это в романе М. Анчарова «Теория невероятности», напечатанном в журнале «Юность» (№№ 8, 9, 1955).

Тема, показавшаяся нам интересной и важной в разговоре о молодом герое, которую мы намеревались собирать по крупицам и крохам в немногих удачных рас

сказах, стала темой целого романа. Здесь она и «прнем» и, так сказать, содержание. Герой ищет в своих воспоминаниях детства «нравственное оправдание» и «нравственный идеал» (так на первых же страницах и сказано), он вызывает тени прошлого и для решения общих проблем, и для нужд самых насущных...

Происходит следующее: герой приходит к дому, где родился и вырос, садится на скамейку в бывшем своем дворе, достает блокнотик, черкает в нем; пишет разные цифры и набрасывает портрет приглянувшейся ему здесь девушки. Девушка нравится ему все больше и больше, потом у него «тревожно екает сердце», потом «сгаивается как-то странно и опасно», потом он «понял, что без нее жить не может».

Девушку зовут Катей, она тут живет, герой гуляет с ней вечером по улицам, приходит в свою старую школу на встречу выпускников и шаг за шагом рассказывает Кате про свою жизнь: про отца, который, вернувшись с гражданской войны, строил радиостанцию Коминтерна, про старика соседа, игрушечного мастера, про его внучку Шурку-певицу, влюбленную в отца героя, про другого соседа — австрийского коммуниста Крауса и его дочку Катарину, в которую он сам был влюблен; про то, как Краус уехал в Испанию и Катарину убили там фашисты; про то, как он прямо из десятого класса ушел на фронт и чудом остался в живых, а на его глазах в освобожденной Вене снаряд убил Шурку-певицу как раз в тот момент, когда она пела вальс Штрауса... Потом он рассказывает о других не менее удивительных совпадениях и встречах, и происходит самое невероятное: он произносит фамилию мастера игрушек и оказывается, что Катя — правнучка этого деда Филиппова, то есть она — Шуркина дочь. Далее выясняется, что коллега героя Митя, с которым он все время ожесточенно спорит о физиках и лириках, считает именно Катю своей невестой, что его — героя — ближайший друг Памфилий однажды сыграл в Катиной жизни решающую роль, что сказка деда — мастера игрушек — о «простой красоте», встреченной им когда-то ночью в снегу на Благущу, обрела «реальные» черты в образе базальтовой скульптуры, найденной где-то в Юго-Западной Африке, и, может быть, речь идет об Аэлите, прилетевшей когда-то

со звезды Бетельгейзе, а именно сейчас она может посетить нас еще раз...

Все это, естественно, ошеломяет героя, потрясает Катю, несомненно поражает и читателя, тем более что разговор «персонажей» переполнен рассуждениями о случайности, закономерности, вероятности, о любви, физике, лирике, астрономии, древней скульптуре... Даже о «правде факта» и правде «большого искусства», разумеется не в пользу пресловутого факта («произведение искусства отличается от факта на величину души автора»).

Несмотря на все эти невероятные совпадения и стечения обстоятельств или благодаря им, сюжет романа завершается вполне благополучно: герой решил свою задачу (оказалось, что когда он черкал разные цифры в блокнотике, сидя на скамейке возле своего дома на Благущу, то и пришел к выводу, над которым так безуспешно бился прежде), Кате не нужен Митя, она приходит к нашему герою, и «теория невероятности подтверждается во всех деталях».

Я не собираюсь здесь рассматривать все хитросплетения «случайностей», подстерегающие героев романа М. Анчарова буквально на каждом шагу. Нас привлекает этот роман продекларированным на первых же страницах вниманием к важной и серьезной теме — к поискам «нравственного фундамента». Но вот роман дочитан и на его последней странице возникает некое итоговое рассуждение: «Теория невероятности подтверждалась во всех деталях. Приблизился конец второго тысячелетия нашей эры. Никто из прохожих, правда, ничего не знал о Бетельгейзе, но уже пора было посылать человека на Луну, посмотреть там, как и что. И проверить, нет ли какой закономерной связи между влюбленными и Луной, между совестью и выдержкой, между революционерами и детьми, между физиками и лириками, между личным гороскопом и коллективными усилиями благородных и чистых помыслами».

О этот всеспасающий юмор! Автор отправил героя в трудную минуту на Благущу для встречи с детством, собираясь, казалось бы, внимательно и всерьез рассматривать его связи — внутренние и внешние — с предыдущим поколением, собираясь анализировать ответственность прошлого за будущее и настоящего за прошедшее. Но все это оказалось не более чем

литературной игрой, легким острословием: «связи между влюбленными и Луной, между совестью и выдержкой, между революционерами и детьми...» Это тот спасительный «современный» юмор, за которым чаще всего скрывается лишь равнодушные и неглубокие, отсутствие смелости перед лицом правды, подлинных жизненных конфликтов — их не решишь «поисками» закономерностей «между влюбленными и Луной». Прошлое героя стало в романе лишь литературным приемом, оно помогает только запутать, взвихрить сюжет, становится той самой сюжетной пружиной, которая дает возможность слегка интриговать читателя, но ни на шаг не способна продвинуть его в понимании «нравственного идеала эпохи», который герой, как мы помним, намеревался постичь еще с первой страницы романа.

Но это было в начале. А почти в самом финале, когда герой убежден, что потерял Катю, оставшуюся с Митей, что он так и не смог разрешить порученную ему физическую задачу, когда он впадает в отчаяние, мы слышим такой монолог: «Я вижу звезды, и тогда я оплакиваю Анюту и Толлича, потому что не знаю, что с ними будет, и оплакиваю Катю потому, что знаю, что с ней будет, и оплакиваю Вивьен Ли и ее партнера за то, что они не встретились и пропала любовь, одной любовью меньше на земле, и оплакиваю картину «Мост Ватерлоо» за то, что кинокартины идут несколько недель и потом уходят навсегда, и следующие поколения не знают, отчего плакали предыдущие поколения, и теряется мостик, и каждый раз надо начинать снова и искать новую тропку. Последним я оплакиваю Вильяма Сарояна, который придумал Вексли Джексона, который придумал оплакивать всех, кого он любил, а любил он всех, а я не могу любить всех, так как я не могу любить фашистов, хоть режь меня на куски, а Сароян не знает, что где-то в Москве плачет не очень молодой уже человек, который в тот момент, когда у него лопнула, словно шарик голубой, придуманная за один день любовь, вспомнил хорошего, человеческого писателя, когда отбирал себе книжки в дальнюю дорогу, который почему-то живет черт его знает как далеко, хотя все хорошие люди должны жить под боком, иначе разрывается сердце, и чтобы можно было сказать: хелло, Вильям, я не знаю английского, но

моя приятельница Катя знает английский, а мой сослуживец Газиев знает армянский, и они переведут все, что ты захочешь сказать, а остальное я пойму по глазам потому, что мне сорок лет, а уже изобрели телепатию, и Москва — это не название гостиницы для туристов, а мой родной дом, и у себя дома я все понимаю, кроме себя самого. И вот теперь я плачу от своей страшной вины перед всеми, кого я оплакиваю, оттого, что не успел сделать ничего фундаментального, что бы помогло понять человеку, на что он способен, если он очень постарается думать о других людях с добрым расположением».

Слезы здесь льются рекой, но дело не в слезах, пусть бы себе герой плакал, хотя в его возрасте мужчина мог бы и иначе выражать свое огорчение по поводу того, что «лопнула» его любовь (к тому же «придуманная за один день») и на работе у него неудача. Но если внимательно прочитать этот отрывок, то за всей этой архимодной интонацией мы неожиданно увидим вполне реальные черты конкретного человека. И дело, разумеется, не в Вивьен Ли, и не в красивом рассуждении о кинокартинах, которые уходят навсегда после нескольких недель (тем более что это и неверно), и не в литературных реминисценциях, не в бессмысленном сожалении о том, что все хорошие люди не живут «под боком», потому что нужно это было бы всего лишь для того, чтобы сказать Сарояну, да и то не лично, а через переводчика: «Хелло, Вильям!» — и не в осознании «страшной вины перед всеми». Вся эта пустая словесность, организованная модной интонацией, создает только своеобразный фон, маскирующий, повторяю, реальные черты совершенно конкретного человека. Он может и всплакнуть, коль это по ходу пьесы требуется, и знает красивые слова, и что надо говорить, когда спорят физики и лирики, и вроде бы Шекспира не даст в обиду, но и «факт» поставит на место. Он даже вроде бы огорчен тем, что «следующие поколения не знают, отчего плакали предыдущие поколения», что «теряется мостик, и каждый раз надо начинать снова и искать новую тропку». Но и за этой эффектной сентенцией ничего нет, потому что на самом деле ему мало дела и до поколений, и до «мостика», и до «тропок», и до того, что «Москва — это не название гостиницы для туристов, а мой родной дом», —

все это та же фраза, потому что главное в другом: «У себя дома я все понимаю, кроме себя самого».

Читателю морочили голову: бросали его в прошлое, снова возвращали к действительности, проделывали эту манипуляцию не однажды, обещая «нравственное оправдание» и «нравственный идеал эпохи», а дело, оказывается, всего лишь в организации личного комфорта (желательно внутреннего, но на худой конец можно обойтись и внешним). И все это путешествие на Благоушу с развернувшимся затем калейдоскопом «невероятных» воспоминаний нужно было, оказывается, не для понимания времени и связей прошлого с настоящим, с будущим («у себя дома я все понимаю» — счастливый человек Алексей Аносов!), а для того, чтобы разобраться только в собственных ощущениях, решить конкретную задачу, пощекотать нервы, изобразить красивую любовь! А речь между тем шла и о двадцатых годах — начале советской власти, и годах тридцатых — Испания, и о том, что весь школьный выпуск героя не вернулся с войны... И о многом другом, мимо чего услужливая память героя великолепно продефилировала, конструируя образ времени, которого никогда и не было на свете!

4

Кончилось празднество, разошлись гости, а утром с елки снимали все блестящие украшения, она осталась голой, никому не нужной, с уже осыпавшимися иголками, и ее вынесли на лестницу... Прошлое в романе М. Анчарова было только фейерверком, блестящим елочным «дождиком», заранее обусловленной литературной игрой. Во всяком случае оно не нашло своего естественного продолжения ни в одном современном конфликте романа, впрочем, быть может, и оттого, что ведь и конфликта-то подлинного в этом романе не было, — не считать же таковым пьяный спор героя с Митей о физиках и лириках или блистательное решение героем физической задачи, полученное в состоянии некоего транса на скамейке во дворе родного дома.

А между тем образ времени — настоящего или прошлого — писатель создает, конечно же, не для украшения и декоративности, а для того, чтобы в этой подлинной атмосфере жизни помочь реальным людям,

читателям понять себя, свою судьбу. Книга писателя — это рука помощи, протянутая им читателю, которому эта рука необходима. Сегодня — и через сто лет, коль речь идет о подлинной литературе.

Это личное, по-настоящему заинтересованное отношение автора к герою, мысль, пульсирующая в повествовании, необычайно для автора важная, и подкупает нас в романе В. Маканина «Прямая линия» (журнал «Москва», № 8, 1965), тематически очень близком роману «Теория невероятности». И герои в романе «Прямая линия» — тоже научные работники, математики, они работают в НИЛ (научно-исследовательской лаборатории), занимаются непонятными читателю расчетами, решают задачи, проверяемые потом на далеком полигоне; они тоже размышляют и спорят обо всем на свете, шутят, острят, разыгрывают друг друга, ищут любви и находят в ней некое утешение. И написан роман, как и «Теория невероятности», от лица героя, и герой этот так же, как Аносов, постоянно вспоминает свое прошлое. Правда, он не идет в это прошлое — «на Благоушу» — по указанию патрона. Прошлое постоянно сопутствует герою романа «Прямая линия», оно живет в нем — он никуда не может уйти от воспоминаний о голодном, тяжком военном детстве. Эти воспоминания звучат в романе словно бы на втором плане, нигде не пересекаясь с действием, во всяком случае сюжетно ничем с ним не связываясь. Но именно оно — это прошлое — и открывает в герое человека, дает возможность почувствовать и понять его.

На первый взгляд воспоминания героя кажутся странными. Сначала это какой-то дикий чеснок, охাপку которого нарвал однажды голодный первокурсник, мечтающий лишь о том, чтобы поест досыта, и размышляющий совсем как взрослый: «На маму нельзя положиться. Она только одно может — отдавать мне свой паек...» Или совсем «некстати» возникшее другое воспоминание — о том, как бесконечно усталая мать побила его полотенцем. Или сны об отце в горящем танке и его спокойное лицо. И бесконечные воспоминания о пище тех лет — супе из крапивы, студне из столярного клея, и то, как он воровал лепешки из картофельного гнилья у старого конюха, и то, как однажды застрял в трубе, пытаясь забраться в овощехранилище, и задохнулся

там от тьмы и одиночества; и про Серегу — главаря их мальчишеской шайки, и о его подлиплах, с готовностью чинивших над остальными жестокую расправу; и как он «стоял на шухере», пока остальные чистили погреб директора завода, и как сторож на бахче, выстреливший «для страху», убил хрупкого, гоненького Левика, забравшегося на дерево. И как он бегал к маме в больницу, приносил ей хлеб, а она отдавала ему хлеб обратно, и он «только однажды догадался, узнав ломоть, который мне дали в школе» («И я легко обманул себя, сказав, что ести это тот самый кусок, то, значит, мама достала еще — ей виднее. И я съел, смял, не жуя, кусок, не успев и додумать всего этого; я поскорее съел его...»).

Все эти воспоминания («мираж моего детства, моих полынных степей, голодных ночей и криков моей мамы») обступают героя на работе, под шум спорящих голосов, грохот счетной машины, во сне и уж совсем «некстати» — когда он ведет трудный разговор с женщиной, которую любит.

Но «Прямая линия» — роман не о прошлом и не о детстве героя. Мы встречаемся с Володей Беловым — только что окончившим университет способным математиком — уже в стенах научной лаборатории, следим за его успехами и огорчениями, но главным образом за тем, что в нем происходит. А он мечется и никак не может организовать и наладить свою жизнь, хотя внешне все у него словно бы и неплохо. Есть даже своя комната в Москве — его первый дом. Есть работа, которую он любит, друзья... Но что-то все не задается и какая-то горькая струна все время дрожит в Белове, и люди относятся к нему неровно, не могут понять, даже поверить в его искренность. А одна из сотрудниц лаборатории, Зорич, — строгая, властная женщина, убежденная в правильности собственной жизни и непрекаемости своих представлений о ней, — та просто ненавидит Белова и предупреждает всех о том, что он человек скверный и еще себя покажет. «Тебе придется переломить себя! — говорит Зорич Белову. — Я давно... очень давно к тебе приглядываюсь, с первого дня! И вот мое мнение: ты никогда не будешь стоящим работником, не будешь хорошим человеком. Я сужу по твоим замашкам и желаниям. Я сужу по твоей всеобъемлющей болтливости. Я сужу по твоим шуткам, похожим на издевки. Ты пришел

в мир, как поиграть в волейбол. Да? Почему для тебя нет ничего сдерживающего и святого? Почему ты как хозяин? Кто ты? Красив очень? Не сказала бы. Не урод, но таких много! Умен? Нет ведь!.. Ты самый обычный человек! Заурядность! И сиди смирно. Слышишь, сиди! Хуже того: ты подпорчен изнутри... Ты истрепан и издерган чем-то очень собственным, очень личным. И это, конечно, твоё дело.. Но какое право ты имеешь любить замужнюю, и главное — тыкать свою любовь всем в нос, чуть ли не гордиться этим и требовать сочувствия? Да я тебе не сочувствую ни на каплю, как ты меня ни жалобь! Будь ты что-то особенное, занимай ты необычное положение или что-то еще, и то... и то некрасиво кричать и требовать того, что всеми не принимается. А уж ты — сиди смирно и не высывай носа! И я говорю это не только об этой глупейшей любви, но и о всех твоих выходках. Слышишь? Сиди, и чтоб тебя не замечали!..»

Зорич очень точно говорит здесь о сути своего конфликта с Беловым. Этот молодой человек раздражает ее всем, что в нем происходит: какое право имеет он быть другим, не таким, как она? И думать иначе, и страдать от каких-то непонятных ей вещей! И даже любить замужнюю женщину! Ее раздражает и его искренность — она в нее не верит, и его бескорыстие — она подозревает за этим хитрый расчет. Но главное, ей нужно, чтобы он «сидел тихо», смирно, тогда б она его даже пожалела, помогла. Ей очень важно «переломить» его, заставить поверить в собственную заурядность, даже ничтожество. Кто он такой, чтобы... Для нее непостижима его самостоятельность, она чувствует какую-то опасность в том, что он «как хозяин». Самый обыкновенный и — как хозяин!

Зорич чувствует, что Володя Белов какой-то другой человек, к тому же требующий признать свое право быть другим человеком. Она не может согласиться с этим правом, потому что признать, что обыкновенный Белов — это целый мир, сложный, ранимый, взыскующий правды и права на свою собственную, иную жизнь, — для нее равносильно собственному крушению, перечеркиванию ее жизни, правду которой Белов отрицает. А ее собственная жизнь сложилась раз и навсегда. И все в ней окончательно установлено: именно это хорошо, а это плохо. И так не только для

нее — для всех. Она упорно ловит Белова на ошибках, ждет его провала, а дождавшись, даже не удосужившись выяснить меру его вины и ответственности, торжествует: «Я ж говорила!»

И когда Белов в очень трудную для него минуту приходит к Зорич — «учителю жизни», словно бы смирившийся и отказавшийся от самого себя, и спрашивает: «Как же жить мне? Вы все-таки прожили уже жизнь... Тяжелую, но для вас дорожную, близкую. А я?» — «Не знаю, дружок», — говорит Зорич, размягченная его раскаянием. «Не знаете...» — говорит, вздохнув, Белов. — А зачем же учите меня жить?.. Как жить — не смыслите, а учите. Вы хотели, чтобы я, другой и третий... чтобы миллионы стали ровными обструганными пешками? Вы ведь делали вид, что помогаете, учите, а помогли вы Георгию Борисычу? Или, может, вы помогли его жене советами? А мне? А вы, правда, хотели, чтобы я стал лучше? Хотели ли вы этого?..»

Жесткость, с которой Белов говорит все это, ему даже не свойственна — просто выдержки уже не хватает. А так он скромнен, даже чуть ли не робок, деликатен, готов всегда понять другого и уверить себя, что он скорее сам во всем виноват. И тем не менее его конфликт с Зорич не может кончиться миром, каким бы то ни было компромиссом, — это разные жизни, разное понимание вещей. Зорич инстинктивно боится внутренней интеллигентности Белова, глубины его природы, того, что она презрительно называет «чем-то очень собственным, очень личным». А Белов никогда не отдаст это собственное, личное. Никогда им не поступится.

А ведь есть еще в романе В. Маканина другой молодой человек — приятель, даже друг Белова, Костя Князеградский, «уверенный в себе арбатский мальчик» из благополучной семьи, человек блестящий, яркий, талантливый, удачливый и убежденный в своей всегдашней удачливости, которого все, в том числе и Зорич, любят, которым гордятся, противопоставляя его Белову. И Белов его любит, они друзья неразлей-вода, и все у них пополам: мечты и планы, работа и шутки. Но это только до тех пор, пока все катится, как по рельсам, с небольшими огорчениями, разрешаемыми «в рабочем порядке».

Но вот что-то случается: удача, как всегда, улыбается Косте и, как всегда, забы-

вает Белова. И Костя с легкостью оставляет приятеля. То есть формально его не упрекнешь. Что ж ему, отказываться от возможности перейти в другую лабораторию — «НИЛ — великолепную», отказываться от блестящего будущего? И ради чего — потому что у приятеля что-то сорвалось, не получилось? И Костя уходит — «так радостно он повернулся, отвалился в сторону, как самолет», — оставляет Белова одного з первый же вечер, когда тому особенно тяжело, даже берет у него ключ от комнаты. Белов может переночевать и на работе — все равно делать ему теперь нечего, а Косте в этот вечер хорошо, у него удача, ему так важно поделиться своей радостью с приглянувшейся девушкой («Ты, надеюсь, не в претензии, что я ухожу? Было бы очень глупо», — говорит Белову Костя).

В этой ситуации Костя еще острит, шутит, он даже постарается перед уходом из их лаборатории помочь Белову, выступит на собрании, будет расхваливать приятеля — он сделает это так же легко и талантливо, как и все остальное. Но вот случается действительное несчастье, беда: установка, сделанная по расчетам Белова и Князеградского, взорвалась; там, на полигоне, погиб человек, кто-то должен нести за это ответственность, кто-то виноват. Кто? Зорич убеждает всех в том, что здесь и сомнения быть не может, — конечно же, Белов! А Костя молчит. Он молчит, когда об этом заходит речь в их лаборатории и Зорич всячески ругает Белова («Это — страшный тип... он должен ответить за все!»), молчит, когда ему, Косте, только ему, от имени коллектива лаборатории дают реабилитирующую его «охранную грамоту» — письмо, в котором утверждается, что он, Князеградский, просто не мог ошибиться в расчетах. Он небрежно складывает эту бумагу, небрежно сует ее в карман и уходит «твердой походкой», не попрощавшись с Беловым, а тот думает: «Он был прав. Он не стыдился. Как можно, чтобы в его блестящей, предназначенной для великого жизни стряслось, случилось что-то опрокидывающее, несправедливое!»

Белов один уезжает на полигон за расчетами, он один будет отвечать за то, за что они должны были отвечать вместе.

Мы не рассматриваем здесь подробно сюжет романа «Прямая линия». Первое произведение несомненно интересного писа-

теля — книга неровная, с придуманным беллетристическим финалом: эффектной смертью измученного неудачами и несправедливостью героя, полностью тем не менее оправданного. Нас интересуют образы двух молодых людей — столь разных, демонстрирующих в то же время весьма характерные свойства. Откуда это: мягущаяся неуверенность в себе, обостренная ранимость, рефлексия, чистота, немедленная реакция на несправедливость — у одного, и самоуверенность, убежденность в своем праве на успех и удачу, полное равнодушие к окружающему, эгоизм — у другого? И это при прочих более или менее равных качествах: талант, ум, острота, образование. Ровесники, даже друзья, но до первого случая, оказавшегося жизнью, а не игрой.

Эти ребята росли трудно: военное детство, послевоенная юность, нравственные, гражданские проблемы недавнего прошлого, за которое ответственны их отцы, современность с ее темпами, за которую уже они отвечают, — все это легло на плечи молодых людей, мало к этому подготовленных, и трансформировалось в столь разных характерах.

Здесь, кстати сказать, видно и несовершенство романа В. Маканина: оно — в отсутствии художественного объяснения различия, даже противоположности этих характеров, а также в случайности, «придуманности» смерти героя. Ведь на самом-то деле неудачливый Володя Белов прочнее стоит на земле, чем преуспевающий Князеградский.

Князеградский пуст, за его внешней удачливостью ничего нет, потому что равнодушные, эгоистичные, незаурядная целеустремленность в достижении личного успеха — это материал, из которого даже подобия «нравственной опоры» не скроишь. Невозможно долго убеждать даже себя в важности собственного преуспеяния, наступает срок, когда кончается самообман и человек остается наедине с совестью. Правда, не нужно и преувеличивать значения диалога такого героя с собственной совестью: привычка к благополучию и преуспеянию вырабатывает защитную реакцию цинизма, а уж с самим-то собой Костя Князеградский как-нибудь договорится! (Так же, как, впрочем, и его родной брат — случайный попутчик героя в рассказе В. Аксенова «Завтраки 43-го года».) И тем не менее ни его успех, ни его карьера не принесут ему ощу-

щения прочности, год от году ее будет не хватать все больше и больше, и тогда придет зависть и страх перед теми, что идут следом...

А у Белова, при его неудачливости и неустроенности, есть несомненное преимущество: счастье для него не в преходящей карьере, а в страстном желании выразить себя в своем деле.

«Похоже, что совсем не удалась жизнь, — горько размышляет Белов, готовый к самому худшему, отправляясь на полигон. — Случайность ли? Так хочется, так просится думать, что случайность. И что будет, придет еще моя жизнь — надо только крепко стиснуть зубы и выдержать. Она придет светлой! С тишиной, дымным вечерним чаем, с минутами, когда забываются прошлые дни... Не повезло мне. Почему? Почему, мама?..»

Горечь этого размышления героя романа оправдывается лишь сюжетными обстоятельствами. Автор так и не сумел решить судьбу героя художественными средствами, а поспешил разделаться с ним. В только что цитированных горьких размышлениях Белова нет закономерности.

Белов страстно борется за свою внутреннюю личную самостоятельность. Он ни за что не отдаст ее. В этом «личном» и заключено, между прочим, нравственное богатство героя В. Маканина, и потому его смерть — свидетельство всего лишь литературной нескрупулезности автора, пошедшего по пути наиболее легкому — чисто сюжетной завершенности биографии героя. Его смерть на самом деле ничего не решает, а только смазывает обозначившийся в романе серьезный современный конфликт.

5

Как видим, есть много общего в рассмотренных нами произведениях: и в авторском «повороте» темы, и в сути конфликта, и в нравственных исканиях героев. В свое время критика, как уже говорилось, суммируя еще более внешнюю близость произведений писателей-ровесников, определяла «молодую прозу» как некое течение, направление, даже «литературную школу». А между тем речь шла только об общем круге интересов и пристрастий, некоем общим — несомненно, только внешне — облике героя: немного скептицизма, немного романтики; об определенном стилистическом

однообразии, модном и завораживающем, подразумеваемом слозно бы необыкновенную психологическую усложненность, а на самом деле лишь внешне напоминающем известные высокие образцы стиля крупных западных мастеров. Именно эта стилистика, призванная как-то организовать поверхностные, вторично-литературные конфликты, и создавала ощущение инфантильности, столь характерной для «молодой прозы».

Тема, которую мы рассматриваем в этой статье, открывает, несомненно, новые тенденции в литературе последней поры о молодом герое, во всяком случае мы уже были свидетелями «следующего шага» — попытки не просто живописать, зафиксировать состояние героя, но и понять его, обернувшись к истокам его короткой биографии и судьбы, к его военному детству.

Едва ли имеет смысл, подводя итоги нашим размышлениям, как-то суммировать открывшиеся черты и свойства характера молодого героя, воссоздавая некоего гомункулуса. Это в любом случае приведет лишь к замене одной схемы другой и все равно не даст нам возможности увидеть в полный рост реального молодого человека, живущего в наше время. Но что-то для него характерное, важное мы уже почувствовали, увидели: это и несомненный интерес к прошлому — началу, которое служит и материалом для внимательного анализа, и нравственной опорой, «землей обетованной»; и все более крепнущий сейчас интерес к нравственной стороне жизни, пока еще чисто непосредственное ощущение того, что нравственно и что безнравственно; это уже попытка (правда, еще очень робкая) объяснять нравственное с точки зрения гражданской, социальной.

Узнавая и понимая черты и свойства этого живого, вполне реального человека — нашего современника, мы в то же время не можем не видеть здесь и его, так сказать, литературной ограниченности. Он никак не выберется еще из круга тем и конфликтов, словно бы уготованных ему неким жанровым кодексом литературы о молодом герое. Даже Володя Белов в «Прямой линии», при всей его внутренней и подчеркнутой — и, пожалуй, чересчур подчеркнутой — освобожденности, подтверждаемой вполне серьезным столкновением с догматизмом Зорич, — даже он принужден вращаться в кругу все тех же, уже привычных, давно ставших литературными конфликтов. Прав-

да, здесь они словно бы в замысле: лаборатория, в которую приходят прямо с университетской скамьи Белов и Князеградский, встречается их и с радостью и с подозрением, но как детей, милых подростков, которых надо учить, натаскивать, поощрять, журить и ставить в угол. Ни у кого из «взрослых героев» В. Маканина не возникает и мысли о том, что перед ними сложившиеся люди, выросшие из коротких штанишек, думающие о жизни, даже имеющие «идею».

Впрочем, едва ли следует сурово обличать за это «взрослых героев» романа «Прямая линия». Инфантильность многих молодых людей в наше время объяснима тем, что «старшие» слишком долго не верят в их самостоятельность: отсюда затянувшаяся юность — «Все проблемы уже давно решены, не вашего ума дело».

Похоже, что только для назидания обращаются порой к примерам из классической литературы или отечественной истории, восхищаясь кругом интересов и гражданским темпераментом декабристов — людей весьма молодых, или еще более юного Герцена и его окружения, или молодых нарцодвольцев шестидесятых — семидесятых годов, или наконец большевиков — таких молодых в пору революции и гражданской войны...

«Повзросление», несомненно происходящее между тем в литературе о молодом герое, совершается необычайно медленно. Во всяком случае годы, прошедшие, скажем, между появлением «Звездного билета» и «Прямой линии», значительно глубже и радикальнее изменили духовный опыт нашего молодого современника, чем это отражено в последнем романе.

Слишком медленно! Слишком ощутим еще здесь разрыв между жизнью и литературой. А ведь молодой современник — человек, ищущий правды, ответственности, права на самостоятельность, образованный, внимательный к настоящему и все больше интересующийся прошедшим. Каждый день жизнь ставит его перед вполне «взрослыми», сложнейшими нравственными и общественными проблемами. Ему приходится сталкиваться не только с горением и энтузиазмом, но и с несправедливостью, ложью, чинопочитанием, равнодушием... И со многим другим, оставшимся нам в наследство от прошлого. А читателю предлагают в литературе в лучшем случае только робкий разговор о борьбе молодого человека за

право заниматься «взрослыми проблемами», о конфликтах, не выходящих за пределы чуть ли не школьных представлений о действительности. Это в русской-то литературе — с ее высоким гражданским, нравственным пафосом, бесстрашием перед лицом истины!

Наш читатель ждет встречи с героем умным, образованным, думающим интересно и своеобразно. Но сегодняшние литературные персонажи не балуют читателя глубокими размышлениями о жизни. В лучшем случае они, так сказать, практики — занимаются каким-то конкретным делом, счастливы или несчастны в любви. И когда они поступают честно, благородно, прогрессивно, мы удовлетворены. Что же касается духовного уровня, интеллекта — что ж, читатель привык обращаться за этим к классике, полагая, что в наше быстротекущее время такого и днем с огнем не сыщешь.

А ведь речь идет не об эрудиции, не о бессмысленном нагромождении познаний и сведений, но о сильном, ищущем интеллекте, о неприятии всего, что пытается регламентировать человеческую мысль, надеть на глаза шоры. О борьбе интеллекта, подлинного образования, порядочности с ложью и невежеством, которое еще Маркс называл «демонической силой», опасаясь, что оно «послужит причиной еще многих трагедий».

Впрочем, мечтая о следующем шаге литературы о молодом герое, не следует отбрасывать и того, что уже сделано сегодня. Мы начали наш разговор попыткой определить одну из тенденций этой литературы. Мы пытались понять пафос ее интереса к прошлому, к истокам характера, останавливались на некоторых чертах и свойствах молодого героя, имеющих социальное и нравственное значение. Правда, не было произведения, в котором бы все эти проблемы сплелись органично, в котором бы нам предложили художественно значительный разговор о жизни. А между тем читатель, и молодой читатель в первую очередь, ищет в литературе именно правды, ищет ответа на вопросы жизни, ему, как и героям, с которыми мы только что встречались, нужна (а порой необходима!) опора, чтобы утвердиться и в своей любви,

и в своей ненависти, вернуться к какой-то самой главной линии отсчета. И здесь он с несомненной пользой для себя и душевным волнением прочитает такие разные произведения, как роман-документ А. Кузнецова, рассказы таких писателей, как В. Аксенов, Ф. Горенштейн, Ф. Искандер...

И тем не менее наша мечта о встрече с героем мыслящим, духовно богатым и на сей раз не осуществилась. Литература о молодом герое решительно не делала — вопреки торжественным уверениям иных критиков — «мужественной попытки... разрешить сложнейшие проблемы человеческого духа». Впрочем, разговор в искусстве о столь глубоких проблемах несомненно требует высокого уровня художественности, мастерства, большого таланта. Здесь уже не обойдешься декларациями, модной стилистикой — здесь важны прежде всего верность правде жизни, создание реалистической ее картины, глубокий анализ душевного состояния героя, подлинная гражданственность.

Такая книга о молодом герое — а в том, что она может быть и будет написана, у нас нет сомнений — и явится документом времени. И герой ее — с его детством, юностью, взрослой ответственностью за настоящее — предстанет перед нами во всей своей прекрасной жизненной натуральности. Разумеется, критика этого так ожидаемого нами произведения начнет с разбора — внимательного, критического анализа его художественных свойств и качеств, оно и сделает возможным публицистически страстный разговор о жизни.

Нельзя продолжать в нашей критической литературе и дальше выстраивать списки писательских имен безотносительно к уровню их дарования, игнорируя реальную значимость написанного ими, а руководствуясь соображениями, не имеющими отношения к делу. У читателя утрачивается вера даже в справедливые слова и мысли, если они не основаны на анализе, если критический разбор заменяется бездоказательным утверждением, а рядом с книгой яркой, художественно сильной ставится произведение серое и конъюнктурное.



АНАР

★

«БОЛЬШОЕ ВРЕМЯ — ПОНИМАТЬ»

Сто лет тому назад на азербайджанской земле, в древней Нахичевани, родился Джалил Мамедкулизаде (Молла Насреддин).

За шесть веков до этого по многострадальному Азербайджану огнем и мечом пошлись полчища жестокого восточного завоевателя Тимура Хромого — Тамерлана И поныне в самой глухой азербайджанской деревушке можно услышать такой рассказ:

«Тимур позвал Моллу к себе во дворец. Тот пришел и увидел, что комната полна народу. Все сидят кругом на полу. Только Тимур сидит на высоченной тахте. Молла тотчас поклонился и сказал: «Здравствуй, боже!» — «Я не бог, — ответил Тимур, — я...» Молла не дал ему договорить: «Я готов за тебя жизнь отдать, святой Азраил!» — «Что ты говоришь! — сказал Тимур. — Какой из меня Азраил?» — «Я не понимаю, — ответил Молла, — раз ты не бог и не ангел, то слезай и садись, как человек, рядом со всеми этими людьми. Почему же ты залез так высоко, на самое небо?»

Молла, о котором говорится в этом анекдоте, — Молла Насреддин, главный персонаж азербайджанского народного юмора, балагур, шутник, мудрый и грустный насмешник.

Анекдоты Моллы Насреддина — общее достояние многих народов Востока. Под именем Ходжи Насреддина, Насреддина Эфенди, Эфенди он прошел по необъятной территории от Уйгурии до Сербии. Ему нипочем не только географические границы, но и временные. В приведенном выше анекдоте он современник Тимура. Другие анекдоты связывают его с другими историческими временами. Он всегда там, где народ чувствует

потребность выразить насмешку, сарказм, насолить власть имущим.

Революция 1905 года, по выражению Ленина, пробудила угнетенные массы Востока. Шагая по улицам старого Тифлиса, малоразговорчивый, погруженный в свои невеселые думы, сорокалетний Джалил Мамедкулизаде вдруг остановился, осененный счастливой мыслью: он нашел, пожалуй, лучшее из всех возможных названий для нового сатирического журнала, который собирался издавать: «Молла Насреддин» (позже это имя стало не только названием журнала, но и литературным псевдонимом самого писателя).

«Молла Насреддин» станет журналом, бросившим вызов всем тамерланам прошлого и настоящего, всем богам и мнящим себя богами от имени тех, кто «внизу». Он будет духовным потомком древнего и вечно юного народного насмешника, которого позже так часто сравнивали с Тилем Уленшпигелем, что само это обстоятельство могло бы стать поводом для одного из его анекдотов.

Седьмого апреля 1906 года вышел в свет первый номер иллюстрированного юмористического журнала «Молла Насреддин». С некоторыми интервалами он просуществовал двадцать пять лет. Дж. Мамедкулизаде объединил вокруг журнала лучших представителей азербайджанской культуры начала XX века. В журнале сотрудничали драматург А. Ахвердов, художник А. Азимзаде, великий поэт-демократ М. А. Сабир, журналист Омер Фаик.

Вокруг журнала создалось целое направление азербайджанской литературы, получившее впоследствии определение «школа Моллы Насреддина». За короткий срок жур-

нал получил широкую популярность во всех слоях населения. Простой, доступный, разговорный язык, броскость и меткость характеристик, острота и конкретность затрагиваемых проблем сделали журнал близким и понятным широким кругам народа. Известность журнала перешагнула далеко за пределы Кавказа. Он имел активных читателей, подписчиков, корреспондентов во всех странах Востока от Индии до Марокко. Журнал сыграл неосценимую роль в развитии демократических тенденций в литературах Турции и Ирана, Татарии, Узбекистана, Туркмении, Дагестана. Узкая, национальная локальность затрагиваемых проблем была чужда принципам «Моллы Насреддина». Он вскрывал язвы мусульманского мира в целом, бичевал пороки, присущие всему исламскому Востоку, не ограничиваясь только Востоком, боролся с западным колониализмом и, в меру цензурных возможностей, с колониальной политикой русского царизма.

В своей критике журнал никогда не был декларативным, не страдал болезнью приближенности. В Тбилиси в редакцию «Моллы Насреддина» шли письма со всех концов мусульманского мира, и благодаря связям с многочисленными корреспондентами журнал строил свою критику на конкретных фактах, причем писал о них с точностью и поразительной достоверностью деталей. Поэтому ему верили, поэтому его боялись. И поэтому у него были смертельные враги самых разных мастей и оттенков.

Его ненавидели царские сановники, «святые отцы» мусульманства, поэты, все еще воспевающие свидание соловья с розой. Тбилисский генерал-губернатор не раз запрещал издание журнала. Иранское правительство сжигало его экземпляры в пограничных таможнях. Мусульманский синклит принял специальную фетву (вердикт) о том, что тот, кто убьет нечестивца Мамедкулизаде, не подлежит наказанию. В Тбилиси был послан наемный убийца, и предупрежденный Дж. Мамедкулизаде скрывался и носил в кармане пистолет. Его проклинали моллы в Баку и представители секты беханидов в Ашхабаде. Ему писали угрожающие письма беки из Карабаха и фанатики из Дагестана.

Была у него и другая группа врагов — из числа пишущей братии. И если выпады газет, издававшихся в Калькутте и Тегеране, в Баку и Казани, в Уфе и Петербурге, в Крыму, в Иране, в Турции, носили в той или иной степени характер литературно-обще-

ственной полемики, то немало было и бульварных листков, печатавших нецензурные пасквили на великого писателя. Газета «Седá»¹ обвиняла его в оскорблении чести нации. Вообще за свою жизнь ему пришлось выслушать немало истерических оскорблений от ретивых «патриотов», которые успешно сочетали свой «патриотизм» с доносами в тайную полицию.

Царская цензура кромсала журнал, многие номера «Моллы Насреддина» выходили с совершенно чистыми или перечеркнутыми страницами. Но эти вымаранные страницы, соседствуя с достаточно острыми оставшимися материалами, приобретали мощную взрывчатую силу.

В такой атмосфере издавал Дж. Мамедкулизаде «Моллу Насреддина», понимая, что, при всех неизбежных уступках официальным предписаниям, его журнал является единственным источником света разума, истины во мраке угнетения, лжи, ханжества.

Друг и многолетний соратник Дж. Мамедкулизаде писатель А. Ахвердов вспоминает, что могущественные враги «Моллы Насреддина», такие, как, например, ереванские и нахичеванские ханы, карабахские и гянджинские беки, когда приезжали в Тбилиси, считали своим долгом нанести визит в редакцию журнала, чтобы выразить свое презрение к его редактору в лицо. Но после беседы с Дж. Мамедкулизаде некоторые из них круто меняли свое мнение и говорили так: «Да, конечно же, то, что пишет он, правда. Но нельзя же писать всякую правду!»

Такой гибкий подход к правде был глупо ненавистен Дж. Мамедкулизаде с его нравственным максимализмом. В этом и заключается принципиальная разница между эстетической и этической платформой «Моллы Насреддина» и его антипода — буржуазного журнала «Фюзат» («Благо»). Редактор «Фюзата» Алибек Гусейнзаде провозглашал: «Какой смысл писать о том, что мы видим, что есть, надо писать о том, что мы можем представить, домыслить». И «Фюзат» последовательно воплощал эту программу, формировал литературу, далекую от конкретных жизненных проблем, от реальных нужд и забот народа. Эстетское служение красоте, культ изысканного слова, переусложненность языка, снобистское тре-

¹ «Седá» — «Голос».

тирование демократической литературы — вот принципы «Фьюзата».

Дж. Мамедкулизаде апеллировал в своем журнале не только к чувствам своих читателей, но и к их разуму. Объясняя разницу между Моллой Насреддином и настоящими, истинными моллами религии, Дж. Мамедкулизаде писал: «Я говорю братьям мусульманам: «О мусульмане, откройте глаза, смотрите на меня». А вы, моллы, говорите: «О мусульмане, закройте глаза и смотрите на меня».

В дореволюционные годы в Азербайджане издавались десятки журналов и газет разных направлений. Издавались они различными журналистами, литераторами, левыми, и правыми, и такими, которые, как носки, могли быть и правыми и левыми — в зависимости от обстоятельств

Эти журналы в первых своих номерах печатали, как обычно, программные заявления, определяющие позицию и платформу будущего издания. Любопытно сопоставить манифесты таких журналов, как «Фьюзат», «Шелале» и другие, с фельетоном, открывающим первый номер «Моллы Насреддина». Все журналы старались обставить свой выход в свет с большой помпой, торжественно провозглашали свои принципы, декларировали громкие лозунги, искали своего читателя, свой круг единомышленников, нащупывали настроение. «Молла Насреддин» тоже обращался к своему читателю, но как?

«С думой о вас явился я к вам, о мои братья мусульмане! С думой о тех, кому речь моя не по душе и кто под разными предложениями убегает от меня — погадать у гадалки, натравить собак, послушать сказки дервиша, поспать в бане или заняться другими не менее важными делами. Но мудрецы изрекли: «Обращайся к тем, кто не внемлет тебе»¹.

Обращаться к тем, кто не внемлет, — это му кредо Дж. Мамедкулизаде не изменил до последнего дня своей жизни.

Умер он в 1932 году в Баку. Он жил и работал при царском правительстве, при Временном правительстве, при мусаватском правительстве, в меньшевистской Грузии, в шахиншахском Иране... За всю свою

жизнь Джалил Мамедкулизаде не написал ни строчки неправды. Не написал ни строчки для улажнения кого-либо, с целью кому-нибудь понравиться.

Он говорил горькие вещи и неприятные слова. Никогда не заискивал он ни перед властью имущими, ни перед временной конъюнктурой, ни перед собственным народом.

«Есть определенная порода писателей. Как только возьмут в руки перо, начинают сладко причитать: ах, моя прекрасная нация!.. Пока я жив, я готов пожертвовать ради тебя своей жизнью, о моя прекрасная нация. Ты краса всех наций! Но Молла Насреддин, клянусь богом, не может врать: мы говорим от всей души, что такой народ мы любить не можем (возможно, найдется среди него два-три хороших человека)».

Такие слова мог написать только настоящий патриот, до боли любящий свой народ, для которого преданность своему народу является органическим чувством долга, а не рекламируемой добродетелью.

Высокое достоинство писателя, журналиста, общественного деятеля Дж. Мамедкулизаде пронес через все соблазны и угрозы, через пустыню непонимания, через мрак невежества, фанатизма, ханжества, лжепатриотизма, колонизаторского произвола. И пришел в наше сегодня чистым и вечным.

Свои воспоминания Джалил Мамедкулизаде начинает горькой фразой: «Впервые в жизни открыв глаза, я увидел мир погруженным во тьму. Первое, что я услышал в этой темноте, было: «Аллаху-акпер, аллаху-акпер!» То были слова азана, который пел по соседству муэдзин».

Родина писателя Нахичевань, давшая азербайджанской культуре выдающихся поэтов, ученых, архитекторов, художников, просветителей, граничит с Ираном. «Иранские края, — с присущим ему сарказмом писал Дж. Мамедкулизаде, — прославившиеся на весь мир своей религиозностью, всегда были для меня источником особой гордости, я постоянно благодарил аллаха, что явился на свет по соседству с такой священной страной».

Из Ирана через Нахичевань шли потоки обездоленных, отчаявшихся людей, которые в поисках куска хлеба тянулись на бакинские нефтяные промыслы, где их ждала тяжкая участь изгоев, неопишумые страдания, издевательства, полуголодное, нищенское существование. Из Ирана же пере-

¹ Цитаты даются по книге: Джалил Мамедкулизаде. Избранные произведения. В 2-х томах. Азернешр. Баку. 1966. Составитель Аббас Заманов. Переводы Азиза Шарифа, Чингиса Гусейнова, Игоря Печенева и других.

правлялись через пограничную реку Аракс и религиозные шарлатаны, фанатические святоши, шло дремучее невежество, и это во многом определяло духовную атмосферу Нахичевани. Но здесь же, на этой земле, как естественный протест передового национального разума, формировался круг — небольшая, но могучая кучка — просвещенных единомышленников, получивших европейское образование. К этой группе примкнул и Дж. Мамедкулизаде после окончания горийской семинарии. Блестяще владея некоторыми восточными языками и русским языком (некоторые статьи написаны им на русском языке, сам он перевел и свой рассказ «Почтовый ящик»), Дж. Мамедкулизаде с помощью широко образованного нахичеванского литератора Эйнали Султанова приблизился к европейской культуре.

Долгие годы он преподавал в сельских школах Ереванской губернии и Нахичеванского уезда, работал в юридических учреждениях. Здесь он вплотную столкнулся с ужасающими условиями существования народа. Уже взрослым, обогатившим знаниями, культурой, пониманием, он встал лицом к лицу с тем самым мраком, который увидел, впервые открыв глаза. Жесточайший произвол царского колониализма, гнет исламского духовенства, ужасающие контрасты феодально-патриархального общества, безнаказанное самодурство сильных мира сего, начиная с сельского старосты, стоящего на самой низшей ступени власти, невежество масс, бесправие мусульманской женщины — все это писатель узнал не понаслышке, а видел своими глазами, пережил мучительно и лично.

Учителяствуя в селении Неграм в 1894 году, он написал свое первое прозаическое произведение — «Истории селения Данабаш». Данабаш (Телячья Голова) — такого селения нет на географической карте. Это обобщенный образ дореволюционной азербайджанской деревни. Это каждое селение на исламском Востоке и ни одно в частности. Как видно из «Легонького предисловия» к повести, автор имел в виду написать под этим заглавием цикл повестей и рассказов о жизни азербайджанской деревни конца прошлого столетия. Однако он написал лишь повесть «Пропажа осла» и начало повести «Школа селения Данабаш», которую уже при советской власти переделал в пьесу. Таким образом, «Пропажа осла» является единственной законченной по-

востью Дж. Мамедкулизаде, и, перечитывая это произведение, поражаешься, что вышла она из-под пера дебютанта в прозе.

Полемично уже название повести. Поэтика Востока веками культивировала систему изысканных образов с обязательными соловьями и розами (которые не перевелись и на страницах сегодняшней нашей поэзии) — и вдруг такое грубо-приземленное, броское в своей обыденности название: «Пропажа осла». Да, подтверждает Дж. Мамедкулизаде всей системой образов, всей художественной тканью повести, авторской мыслью. Это самая незатейливая и обычная история, это история о том, как бедный и предельно религиозный крестьянин Мамед-Гасан потерял своего осла. А осел ему был очень нужен, так как он уже несколько лет готовился, отказывая своей семье в самом необходимом, совершить паломничество в святые места в Кербале.

Совершить это паломничество он считает делом всей своей жизни. Как-то задумался дядя Мамед-Гасан о своей горькой жизни и понял, что в ней не было никакого просвета, разве что два-три счастливых дня в самом раннем детстве. И только в будущем в самых радужных мечтаниях видится ему как невозможное счастье длинный, изнурительный путь к святым местам.

Осел, которого ему удалось приобрести ценой невероятных лишений, — предмет особой гордости дяди Мамед-Гасана и его жены. И маленький сын их Ахмед тоже очень привязался к этому животному.

Есть еще в этом селении староста Худаярбек. Вот его портрет:

«Лет Худаяр-беку будет тридцать семь — тридцать восемь... Он высокого роста, с черными бровями и черной бородой. Лицо у него темное-темное, а глаза совершенно черные, и белков-то не видно. Бывает, когда Худаяр-бек надвигает папаху на лоб, получается прямо-таки жуткий вид: папаха черная, глаза черные, лицо темное, из-под надвинутой папахи зрачки так и блестят. Но все бы ничего. У Худаяр-бека на лице есть недостаток, большой недостаток: нос у него кривой. Не то чтобы немного кривой, нет. Бывают разные кривые носы. Я видел много красавцев с кривым носом. А у Худаяр-бека нос крив до безобразия: в верхней части носа выдвигается большая горбинка, а ниже нос, подобно петушину гребешку, идет круто налево».

История его карьеры:

«Два года как Худаяр-бек стал старостой селения Данабаш. Он не просто стал старостой, как другие старосты. Обычно старосту избирает население, а Худаяр-бек стал старостой иначе. Раньше, а именно два года тому назад, Худаяр-бек был рассыльным у главы. Случилось так, что тот вступил в брак-сйге с матерью Худаяр-бека. И в один прекрасный день население узнало, что старостой над ним поставлен Худаяр-бек»

Его нрав:

«Став старостой, Худаяр-бек сразу резко изменился. Начал с одежды. Обновив ее и вооружившись кизиловой дубинкой, он объявил, что отныне звать его не просто Худаяр, а Худаяр-бек. До тридцати человек Худаяр-бек посадил в кутузу только за то, что они по старой памяти называли его не Худаяр-беком, а просто старостой Худаяром».

Худаяр-бек — всесильный диктатор в деревенском масштабе. И вот он «одолжил» осла дяди Мамед-Гасана, чтобы поехать в город. А в город ему нужно ехать вот почему: был у Худаяра близкий приятель Кербелай-Гейдар. Умер Кербелай-Гейдар два года назад, оставив все свое богатство красивой и еще молодой вдове Зейнаб. На эти богатства и на красоту Зейнаб зарится Худаяр-бек — закадычный друг Кербелая-Гейдара. Впрочем, в этом нет ничего предосудительного по шариату. «Кто знает, быть может, если бы раньше умер Худаяр-бек, то Кербелай-Гейдар захотел бы жениться на его вдове».

Зейнаб — личность гордая, цельная — не хочет и слышать о Худаяр-беке. Но эта преграда не представляет никакой помехи для Худаяр-бека. Он едет в город, между делом продает осла Мамед-Гасана. На эти деньги без особых церемоний подкупает мусульманского судью-кази, ханжу и проходимца. Тот без зазрения совести регистрирует заочно брак Худаяра с Зейнаб. Ведь это тоже допускается по шариату: присутствие женщины необязательно, должен быть лишь свидетель — уполномоченный родственник вступающей в брак. Худаяр-бек выдает своего дружка Касимали за сына Зейнаб. А хорошо оплаченный кази охотно принимает его за такового. Обряд совершен. Круг замкнулся. Теперь уже Зейнаб, естественно, не признающая этого фиктивного брака, оказывается нарушительницей шариата, оказывается в оппозиции ко всей системе религиозного, государственного, морального пра-

вопорядка, и бороться ей приходится со всем миром, погому что ведь «весь мир» — это тоже не абстрактное понятие, а конкретные люди, образ жизни, тот локальный мир, в котором живешь, законам которого подчиняешься, и нет тебе выхода из него.

Две самостоятельные линии повести тесно переплетены между собой с помощью зловещего образа Худаяр-бека. Первая линия — линия дяди Мамед-Гасана — это страшная в своей трагикомической обыденности история подавленного религиозными догмами человека, который страдает, пытаясь служить этим догмам верой и правдой. Дядя Мамед-Гасан — раб той самой идеи, которая его давит и уничтожает. Он стремится только к одному — дотошному и прилежному исполнению всех ритуалов, завешанных всемогущим аллахом, но тот же аллах — ничто не происходит без его воли — сделал так, что, лишившись осла, он не может поехать на поклонение.

Неумолимо приближается день, когда группа таких же одурманенных людей собирается торжественно двинуться в далекий путь паломничества. Дядя Мамед-Гасан не может присоединиться к ним. Невозможно забыть страницы повести, описывающие прозоды паломников, отчаяние, иступленный крик заливающегося слезами дяди Мамед-Гасана: «Я не сумел поехать... не сумел... не пустили... помешали мне... похитили моего осла... съели... продали...»

Рушится и гибнет семья дяди Мамед-Гасана. «В прошлом году Ахмед заболел горлом и умер. После его смерти два месяца горевала по нем мать и тоже приказала долго жить. Дядя Мамед-Гасан каждый раз клянется, что и сына и жену его убила тоска по ослу».

Другая линия повести — линия Зейнаб — показывает, что получается, когда вся мощь феодально-мусульманского общества (религиозный кодекс, государственные законы, семейные условности, экономические неизбежности) обрушивается на беззащитную женщину. Ее уговаривают, ей советуют, угрожают, вокруг нее вырастает глухая стена невозможностей. «Какая нужна сила, чтобы выдержать весь этот натиск, эти страдания, позор, угрозы, чтобы выступить против всех — кази, чачальника, моллы, главы, свидетелей, всего народа. Этой силы не было и не могло быть не то что у Зейнаб, но даже у ее бабушки и прабабушки... И когда Касимали повторил свой вопрос, она собрала все

силы и, преодолевая отвращение, процедила сквозь зубы: «Согласна».

Человек сломлен. В нем убили самое ценное — личность, достоинство, гордость. Вот выдержки из финальных страниц повести:

«Худаяр-бек без конца изводил ее. Это был на редкость сметливый человек. Мучая ее, Худаяр-бек добивался одной-единственной цели — стать хозяином всего имущества Зейнаб и ее детей, после чего он мог отпустить их на все четыре стороны... Когда наконец Худаяр-бек овладел всем, что принадлежало Зейнаб... бедная женщина ушла от Худаяр-бека и поселилась в своем доме, где, правда, ничего не осталось, кроме пары старых циновок... Наконец Худаяр-бек сжалился над несчастной женщиной и, чтобы хоть немного облегчить положение Зейнаб, взял к себе Великули (сына Зейнаб.— А.) батракem, а Зибу (дочь Зейнаб.— А.) служанкой. Он назначил им такую плату, чтобы Зейнаб не умерла голодной смертью...»

Какая боль за поруганного человека слышна в этой повести, какой мрачный мир безраздельно господствующего произвола мы видим здесь! «Пропажа осла» — это глубоко трагическая констатация ужаса жизни азербайджанской деревни конца XIX века.

Но хотя здесь зло и всецело — оно вполне конкретно и воплощено в реальных его носителях, в реальностях общественной системы, идеологии, классовых отношений. Мечта дяди Мамед-Гасана абсурдна в силу реальных исторических закономерностей. Одиночество Зейнаб обусловлено конкретными нормами мусульманского кодекса морали.

Повесть «Пропажа осла» и по сей день остается замечательным образцом азербайджанской прозы и в чисто художественном отношении. Строгое, точное письмо, емкость и лаконизм в описаниях, в обрисовке характера, тщательность психологического анализа, ощущение щемящей грусти, создаваемое самыми простыми словами, сочность языка — обо всем этом можно было бы говорить и говорить. Кстати сказать, непереволимые языковые особенности Дж. Мамедкулизаде — одна из причин того, почему этот писатель еще не занял подобающего ему места в истории литературы XX века. Он принадлежит к таким мастерам сатиры, языковые принципы, языковое своеобразие которых являются важнейшими, если не главными, особенностями художественной образности.

В «Историях селения Данабаш» Дж. Мамедкулизаде поставил диагноз. Но мало поставить диагноз. Как пишет он в фельетоне «Микробы»: «Когда к больному приводят врача, тот первым делом слушает пульс больного, затем прикладывает ухо к его груди и говорит, что у тебя, мол, малярия или ангина. Но если врач ограничится лишь этими словами и покинет больного, не назначив ему лечения, то мы ему и ломаного гроша не дадим... Некоторые наши суесловные витии похожи на врачей, которые, прослушав пульс больного, тут же спешат откланяться и ищут, куда положили свои шапки при входе».

Дж. Мамедкулизаде ищет первопричины болезни, ее бактерии и микробы. Он пишет такие произведения драматических жанров, как «Мертвецы», «Сборище сумасшедших», «Школа селения Данабаш», «Книга моей матери», и другие, сотни фельетонов, десятки рассказов, в числе которых шедевры: «Почтовый ящик», «Уста Зейнал», «Конституция в Иране», «Беспокойство».

Одна из причин болезни общества — религиозный дурман. Борьбе с ним посвятил Дж. Мамедкулизаде много произведений, и самое яркое из них — трагикомедия «Мертвецы».

Сюжет «Мертвецов» (пьеса была поставлена впервые на сцене в 1916 году) строится на излюбленном приеме писателя, которым он пользуется и в ряде других произведений, — парадоксальной ситуации, доведенной до абсурда. Это гротеск в самой утрированной форме.

В некоем захолустном городке один из почтенных людей получает письмо из Хорасана. Письмо это... от почившего в Хорасане несколько лет тому назад брата. Брат пишет о том, что он воскрес из мертвых и воскресил его некий Шейх-Насрулла — святой человек и ученый муж, который успешно занимается этим редким делом воскрешения мертвых. Теперь этот самый «шейх намеревается остановиться по пути на несколько дней в нашем городе и, помолившись на кладбище, проехать дальше. Как только получишь это письмо, сообщи всем братьям согражданам нашим, чтобы в седьмой день месяца раджаба они вышли встречать благочестивого шейха и оказали ему достойные почести. Я и еще сто четырнадцать человек, вместе со мной воскресших и покинувших могилы, должны в течение недели возносить благодарственные молитвы... Если на то бу-

дет воля аллаха, через неделю я уже выеду на родину».

Почтенного гостя примет в своем доме Гаджи-Гасан, самый уважаемый человек в городе. События разворачиваются в его доме. Вскоре объявляется и сам «чудотворец» — Шейх-Насрулла и его сподручный Шейх-Ахмед, обыкновенные шарлатаны, которым, однако, не откажешь в смекалке и в даре перевоплощения. Они надменны и недоступны, строят из себя ученых святош, изъясняясь на премудром языке, обильно слобренном арабскими и персидскими словами. На самом же деле Шейх-Насрулла — это низменный эротоман и обжора, и единственная цель его маскарада — краткосрочные браки-сийге, допускаемые по шариату, — узаконенная проституция. И благочестивые гаджи и мешади поставляют шейху своих дочерей, мечтая приобщиться к вечному блаженству, став родственниками такого святого человека. Кульминация пьесы — сцена на кладбище, где наконец-то должно быть продемонстрировано невиданное умение шейха воскрешать мертвых.

Человеку, впервые знакомящемуся с пьесой «Мертвецы», остается гадать, как автор и его персонажи выйдут из этой предельно заостренной ситуации. Приходят горожане, главным образом зажиточные люди (бедняки тоже были бы рады воскресить родственников, да денег на это у них нет), по очереди записывают своих почивших родичей. Итак, все ждут чуда. И здесь Дж. Мамедкулизаде находит поразительный по своей неожиданности и силе поворот сюжета. Оказывается, дочь Гаджи-Гасана Сара, которую он «записал» на воскрешение, является женой Мир-Багира. А Мир-Багир отнюдь не хочет воскрешения своей старой жены, потому что собирается жениться на молодой. В отместку за Сару Мир-Багир бросает в лицо Гаджи-Гасану упрек: почему, если он честный человек, не записывает своего брата Гаджи-Рзу? В эту систему включаются другие персонажи, и оказывается — воскрешение любого из почивших кому-то невыгодно. Неласковый прием ждет воскресших. Двери их домов закрыты для них, имущество растащено, семьи разрушены.

Создается гротесковая ситуация: мир мертвых и мир живых, переплетаясь бесчисленными грехами, подлостями, предательствами, образуют страшную фантазмагорию —

мир, в котором одни могилы и живые трупы. На это, собственно, и рассчитывал Шейх-Насрулла — порождение этого мира и его циничный нахлебник.

Пьеса перерастает из памфлета, разоблачающего религиозный фанатизм, в произведение, бичующее фанатизм вообще. Потому что дело тут не только в религиозном экстазе. Шейх-Насрулла и тулая, аморфная масса живых мертвецов — это взаимозависимость стадного сознания и индивидуально-яркой активности, направленной в сторону зла. Поэтому пафос «Мертвецов» актуален не только в борьбе с религией. Эта пьеса злободневна всегда и везде, где индивид подавлен, где личность растворена в некой безликой массе, мысль лениво аккомпанирует общеутвержденным стандартам и шаблонам, сознание, оценка размыты в едином всеобщем мнении. Над такой толпой всегда будет господствовать, гнуть ее, делать с ней все, что хочет, «сверхчеловек», пусть хоть калиф на час или религиозный святоша, как Шейх-Насрулла.

Есть в этой пьесе и еще один важный мотив, связанный с образом Искандера — сына Гаджи-Гасана. Гаджи-Гасан не может простить себе, что, послушавшись лукавого, послал сына учиться в Европу. И вот вернулся Искандер, окончив свое учение, попал в этот неподвижный, уродливый мир и, оказавшись среди абсолютно чуждых ему людей, пристрастился к бутылке. Он получил прозвище Пьяница, на него смотрят как на неудачника, духовного блудного сына, в общем-то неопасного. Образ Искандера создан в русле традиций, существующих, очевидно, во всех литературах мира. При всех исторических, национальных, психологических различиях, во всех них возникает образ молодого вольнодумца, «белой вороны» в мире неподвижных, застывших понятий, норм, догм, «мыслящего тростника» среди наваленных штабелями мертвых бревен. Традиции этого образа в азербайджанской литературе идут от Меджнуна, бросающего вызов устоявшейся морали, понятиям своего времени. Вехи на его пути — герои М. Ф. Ахундова, Н. Везирова, А. Ахвердова.

Искандер противостоит отрицательным героям пьесы, однако применить к нему определение «положительный» герой можно только условно. Искандер весь в отрицании. Он не приемлет мира своего отца и видит насквозь Шейх-Насрулла, он возмущается, сокрушается, обвиняет, но не действует. Не-

смотря на все его умные речи, он бессилен и потому одинок, одинок и потому бессилён; одинок и бессилён и потому находит утешение только в водке. Пьянство Искандера — это и горе, и вызов, и отчаяние, и бессилие, и боль, — все, что хотите, но не тактика, подобная гамлетовскому безумию, позволяющая говорить правду, — так утверждают некоторые литературоведы.

В «Мертвецах» Дж. Мамедкулизаде ставит еще одну важную проблему — проблему ответственности интеллигенции, проблеме просвещения. В пьесе наряду с темной массой религиозных фанатиков действуют и два интеллигентных персонажа: Гейдар-ага — почтовый чиновник, и Али-бек — переводчик, получившие светское образование. Они всегда ходят вместе, очевидно, близки друг другу определенными навыками культуры, знаниями. Где-то за пределами пьесы они, возможно, тайком и выпивают и изливают друг другу души, ехидничают насчет слепой веры гаджи-гасанов в чудеса Шейх-Насруллы. Но на людях они почтительны к Шейх-Насрулле, восхищаются его невиданным даром, «лояльны» к иллюзиям непросвещенных. Это прирученные интеллигенты, приспособившиеся интеллигенты, предавшие души, совесть, логику своих знаний и культуру в угоду общепринятому заблуждению. И Искандер не может простить этим Гильденстерну и Розенкранцу (если допустить такую параллель) предательства по отношению к тому свету, который они должны были нести в темную массу, в инертное сознание. В современной азербайджанской поэзии есть стихотворение, посвященное герою «Мертвецов» Искандеру:

Да, Искандер, конечно, пил
и кличку «пьяница» носил.
Он видел, что вокруг него
живые мертвецы,
он думал день и ночь,
какой им жалкий жребий уготован.
И он ведь мог бы стать
чиновником почтовым,
не пил бы или пил бы в меру,
и жизнь его была бы —
тишь да гладь...
Не упрекайте Искандера.
Большое бремя —
понимать.

Дж. Мамедкулизаде ненавидел прирученную, приспособившуюся интеллигенцию, отказавшуюся от своего долга нести свет разума, мысли, бремя несогласия, бремя понимания

Писатель, всю жизнь борющийся за просвещение, культуру, всегда отмечал разницу между подлинной, жертвенной интеллигенцией — и интеллигенцией, усвоившей лишь внешний лоск. Эта мысль наиболее емко выражена в словах Искандера: «Все твердят: изучай науки, будь ученым, но ни один из этих балбесов не сказал: изучай науки, будь человеком».

Человек во всем величии своего разума, бескорыстной преданности своим убеждениям, истине, справедливости — вот нравственный идеал Дж. Мамедкулизаде.

Большое бремя понимания пронес Дж. Мамедкулизаде через все свои произведения крупных и малых жанров. Конечно, диапазон и масштабы понимания у Дж. Мамедкулизаде были неизмеримо шире и выше, чем у его героя Искандера. У Мамедкулизаде нет одноплановых героев, все его персонажи трехмерны, жизненны, достоверны в бытовом, эмоциональном, психологическом отношении. И что особенно хочется подчеркнуть: при всей своей яростной ненависти ко злу, писатель нигде не показывает, так сказать, априорных злодеев. У каждого, даже самого отрицательного и мрачного, персонажа есть объяснение его поведения. Это не смягчающие обстоятельства, а реалистическая мотивировка поступков. Его злодеи не считают себя таковыми, им не откажешь в определенной последовательности, в системе собственных оценок жизни, других людей, условий, они, эти отрицательные персонажи, действуют согласно собственной логике, согласно собственному нравственному опыту, собственному пониманию и объяснению правды.

Ни одно явление Дж. Мамедкулизаде не берет метафизически, изолированно от других. Он никогда не ставит каких-либо общеабстрактных проблем, занимающие его вопросы всегда конкретны. К просвещению, образованию призывали многие наши писатели. Но величие Дж. Мамедкулизаде в том, что он предвидел и «плоды просвещения», зорко различил и то отрицательное, к чему могла привести внешняя образованность.

Глубоко понимал Мамедкулизаде и национальные проблемы своего народа. Географическая участь народа, его исторические судьбы — повод для горьких раздумий Дж. Мамедкулизаде и в знаменитом фельетоне «Азербайджан», и во многих других произведениях.

В пьесе «Книга моей матери» эти пробле-

мы подняты с наибольшей силой. Эта пьеса — притча, в ее фабуле, построении, системе образов много от фольклора, от народной сказки.

У матери Зехра-бегим было три сына. Она послала их учиться — одного в Россию, другого в Иран, третьего в Турцию. И вот вернулись эти сыновья на родину каждый со своим багажом чужих культурных наслоений, идей, другим образом мышления, другими нормами поведения и понимания. Они не приобщились к другой культуре, а переняли ее, полностью отказавшись от своей национальной самобытности. Теперь они не могут найти общего языка в прямом и переносном смысле слова не только друг с другом, но и со своей матерью. Трагедия трактуется Дж. Мамедкулизаде и как семейная, и как национальная, и как классовая. Братья, не могущие найти контакта между собой, еще более отчуждены от простого народа, от его мыслей, дум, чаяний. И вновь Дж. Мамедкулизаде мучительно констатирует наличие пропасти между частью интеллигенции и народом, показывает несостоятельность той интеллигенции, которая путь к спасению видела лишь в абсолютном слиянии с другими народами, в подчинении чужим культурным традициям, идеологическим течениям, этическим и эстетическим нормам. Самое парадоксальное в том, что каждый из сыновей считает себя истинным патриотом. Но такие патриоты не опасны ни для кого, они вполне устраивают и царскую власть.

Глухая стена взаимного непонимания разделила трех братьев, олицетворяющих три тенденции в общественном сознании Азербайджана в начале XX века, три течения, которые условно можно было бы свести к русофильству, пантюркизму и панисламизму.

Стены, стены, стены... Они встают, окружают, давят в «Книге моей матери», как и в «Мертвецах», и в «Сборише сумасшедших», и в «Историях селения Данабаш». «Каждая стена есть ворота», — сказал, кажется, Эмерсон. И Дж. Мамедкулизаде тоже ищет брешь в этой стене. В каждом, даже самом мрачном, произведении у писателя есть светлая нотка, и связана она с детьми и детством. В «Мертвецах» это младший брат и сестра Искандера, в «Школе селения Данабаш» — малыши-школьники. Мотив детства как единственно счастливой поры проходит, правда очень глухо, и в «Пропаже ослы».

Детство человека и детство народа — фольклор, сказки наших бабушек, колыбельные матерей, бесхитростные прибаутки пастухов — все это противопоставляется Дж. Мамедкулизаде лживой и пышной литературе, ханжеской морали, уродствам и мерзостям рабского существования; в этом обращении к истокам, к простым и основным ценностям человеческой жизни видит писатель «ворота в стене» — пусть очень узкие, выход из тупика — пусть очень тесный.

Интернационалист до мозга костей, Дж. Мамедкулизаде осудил в «Книге моей матери» три тенденции, ведущие, на его взгляд, к потере основных ценностей азербайджанской нации — ее духа, языка, традиций. Но почему-то в нашем литературоведении этот вопрос нередко стыдливо замалчивается. Мы как бы смущаемся говорить, что Дж. Мамедкулизаде, будучи яростным врагом панисламизма и пантюркизма, был таким же непримиримым противником русификаторской политики царского режима, осужденной Лениным. Но именно потому, что он был противником русификаторства, он был искренним и настоящим другом и пропагандистом русской культуры. Он любил русский народ горячо и сердечно, но не как подданный Российского государства, а как человек, восхищенный гением нации, давшей миру Пушкина, Гоголя, Глинку, Толстого. В рассказе «Курбанали-бек» Дж. Мамедкулизаде вывел холопа в сане бека, раболепствующего перед царскими офицерами, жалкого и ничтожного в своем лакейском усердии. И, посвятив этот рассказ памяти Гоголя, как бы еще раз противопоставил купленную лояльность знати связям высокого гуманизма, культурных ценностей, литературного единомыслия.

Его перо, безжалостное ко всем курбанали-бекам прошлого и настоящего, было таким же жестоким и в отношении всяческих проявлений лжепатриотизма, дешевого базарного национализма, национального чванства. Любовь к родине — громкое гражданское чувство, но в то же время это одно из самых личных и интимных чувств на свете. Во времена Дж. Мамедкулизаде было видимо-невидимо «патристов», вещавших о своей любви к родине через громкоговорители, хотя, впрочем, в то время громкоговорителей еще и не было. Они делали это с большой безопасностью для себя и с не меньшей выгодой. Дж. Мамедкулизаде презирал этот патриотизм напоказ как источник политиче-

ского капитала, как средство популярности, как апробированный метод срывания аплодисментов.

Искренность и бескорыстие любви к народу часто доказываются парадоксально. Дж. Мамедкулизаде сегодня классик нашей литературы, его статуя возвышается на фасаде Музея Низами в Баку, среди памятников великим сынам Азербайджана, и сейчас никто не осмелится обвинить его в непочтительности к своему народу, в злопыхательстве и очернительстве. Но мало разве горепатриотов, которые, признав — в силу неизбежности и школьных императивов — носителя тенденции, саму тенденцию не признают. Не признают, что только великая любовь может продиктовать самые жгучие обвинения, самые горькие упреки.

При жизни Дж. Мамедкулизаде, когда он еще не был причислен к сонму классиков, такие обвинения бросались и ему. Обвинения в том, что он позорил свой народ, показал его в неприглядном свете. И эти лжепатриоты, заботящиеся о том, как бы подороже продать свой «патриотизм», могли выставить себя охранниками чести нации, защищать Азербайджан от Дж. Мамедкулизаде — одного из самых высоких носителей чести и достоинства своей родины. Разве могли эти люди понять ту простую истину, что народ, способный умом и сердцем своего сына-художника оценить свои пороки, — зрелый народ, народ, достигший высокой ступени самосознания.

Каждый азербайджанец может гордиться, что в нашей литературе был такой писатель, как Джалил Мамедкулизаде, еще по одной, и очень важной, причине. Он жил и творил в сложную эпоху обострения национальных отношений, взрыва национальных чувств. И ни в единой строчке, ни в едином слове не допустил ни одного выпада ни против какого народа. Книги Дж. Мамедкулизаде переведены на русский, английский, французский, чешский, турецкий, персидский, арабский, грузинский, армянский языки, и ни один из этих народов не может обидеться на какое-нибудь неудачное выражение или двусмысленный оборот. Ни в каком издании не нуждается он в купюрах, многословных смягчающих комментариях. Высокое чувство интернационального уважения ко всем народам пронизывает все написанное им — от политической статьи до частного письма.

В июне 1920 года волею исторических судеб Дж. Мамедкулизаде со своей семьей переехал в Иран. Очутившись в Тебризе, центральном городе Южного Азербайджана, Дж. Мамедкулизаде сразу же занялся организацией издания журнала «Молла Насреддин». В Тебризе писатель не чувствовал себя почтительным гостем, не вмешивающимся в чужую жизнь. Метким глазом определив объекты своей сатиры, Дж. Мамедкулизаде в первом же тебризском номере «Моллы Насреддина» опубликовал острые фельетоны, бичующие пороки иранской действительности, уродства жизни Тебриза. Первый номер журнала произвел впечатление разорвавшейся бомбы и был сразу же конфискован по приказу губернатора. Но писатель не отступил. Он опубликовал ряд программных фельетонов, вскрывающих самую суть проблем Ирана и Южного Азербайджана:

«В Иране, — пишет он в фельетоне «Нация», — нет слова «нация». В словарях, в тех местах, где должно стоять слово «нация», написано «личность». Именно по этой причине у нас национальные институты подменяются институтами личной власти, а вместо наших национальных предприятий осуществляются интересы отдельных личностей.

Поэтому в течение последних пятнадцати лет всегда, когда мы замыслили какое-нибудь предприятие для достижения свободы, неизменно выбирали из своей среды кого-нибудь в султаны, без разрешения которого мы не смогли даже пикнуть. И это мы называем свободой! Что же касается нации, она только безучастно взирает со стороны, ибо она тысячелетиями привыкла смотреть на все вот так, со стороны».

Каждый тебризский номер журнала удавалось издавать ценой неимоверных усилий, лишений, борьбы с цензурой, на этот раз шахской. За 1921 год в Тебризе было издано восемь номеров «Моллы Насреддина». В годы тбилисского издания, как говорилось выше, Дж. Мамедкулизаде объединил вокруг журнала передовую интеллигенцию. Сабир, Ахвердов, Орлубади, Гамкюсяр, А. Незми и другие выступали на страницах журнала под псевдонимами Хопхоп, Мозалан, Демдемекки, Мешеди Сижумкули, Лаглаги и другими. В Тебризе почти весь журнал от начала до конца писал один человек — Дж. Мамедкулизаде (Молла Насреддин). Но различные фельетоны, корреспонденции, письма он подписывал псевдонимами своих

старых друзей и сотрудников. Может быть, это давало ему иллюзию того, что и они здесь, что даже те из них, кого уже нет в живых, рядом с ним, в этом изгнании.

В Тебризе, как свидетельствует в своих воспоминаниях вдова писателя Гамида-ханум, Дж. Мамедкулизаде почти одновременно получил два приглашения — из Баку и Тегерана («Пришел Элеви (тавризский знакомый — А.)... Он передал, что получены известия из Тегерана — хотят предложить Мирзе Джалилу стать во главе просветительных учреждений»).

Так по иронии судьбы Мамедкулизаде предложили ответственный пост в министерстве просвещения два правительства — азербайджанское советское и правительство шахского Ирана, то есть общественный строй, за торжество принципов которого Дж. Мамедкулизаде боролся в течение долгих лет, и общественный строй, непримиримым врагом которого он был и остался.

Гамида-ханум пишет дальше в своих воспоминаниях: «Мирза Джалил говорил мне так. Из Баку Азревком приглашает меня на пост комиссара просвещения, но я не чувствую себя способным служить... Там я буду просить дать мне возможность по-прежнему издавать журнал «Молла Насреддин». Мое призвание — критиковать, осмеивать все достойное смеха. Надеюсь, что там ныне полная свобода печати, это более всего прельщает меня».

Двадцать четвертого мая 1921 года писатель со всей своей многочисленной семьей отправился из Тебриза в Баку. Он взял с собой около десяти тебризских детей для обучения в Баку.

Дж. Мамедкулизаде горячо приветствовал советскую власть в Азербайджане и начал служить ей в своем единственном и неизменном амплуа — обличителя недостатков. Но деятельность Дж. Мамедкулизаде как писателя и редактора сатирического журнала в Советском Азербайджане приобрела качественно иное значение. Если раньше в Тбилиси и Тебризе он обличал пороки всего общества, вел непримиримую борьбу с господствующей идеологией, с господствующим строем с целью их низвержения, то в советском Баку он ведет борьбу во имя утверждения социалистического строя, во имя торжества нового общества, новой идеологии, новых отношений, против всего того, что мешало их развитию. Как и раньше, сатирическое перо Дж. Мамедкулизаде остро

и беспощадно. Он метко прицеливается и разит пережитки прошлого в быту, в сознании людей, в их взаимоотношениях. Но писатель зорек и к тем недостаткам и болезням роста, которые возникают в процессе здорового в целом развития нового общества. Комчванство, рецидивы бюрократизма, догматизма, любованье звонкой фразой — все это не проходило мимо внимания писателя. Не оставлял в покое он и своих старых врагов — западный империализм, восточный деспотизм.

Советское правительство создало все условия для плодотворной работы Дж. Мамедкулизаде как писателя и для успешного издания журнала «Молла Насреддин». По решению ЦК компартии Азербайджана журналу была отпущена крупная сумма денег. 2 ноября 1922 года вышел первый в советское время номер журнала. Решено было также собрать деньги на создание самолета «Молла Насреддин».

Дж. Мамедкулизаде был избран кандидатом в члены Азербайджанского ЦИК. Он был активным членом Комитета нового алфавита, в составе правительственной делегации Азербайджана, возглавляемой председателем АзЦИК Агамали-оглы, совершил поездку в Крым, в Татарию, в среднеазиатские республики.

Творчество Дж. Мамедкулизаде было в центре внимания общественности. Издавались его книги, в Баку был проведен широкий общественный литературный суд-диспут над героями пьесы «Мертвецы», на котором присутствовал председатель Совнаркома республики Н. Нариманов.

Но при всем этом было бы нечестно умолчать и о тех горьких моментах, которые омрачали последние годы жизни великого писателя, о грубых и необоснованных выпадах против него. Его, художника слова, иные не слишком грамотные газетчики обвиняли в языковых погрешностях. Его, патриота своей страны до мозга костей, обвиняли в выпячивании темных сторон, в смаковании недостатков. Журнал «Ингилаб ве меденнет» («Революция и культура») писал: «В Советском Азербайджане издается либеральный и свободомыслящий журнал «Молла Насреддин». Для издания журнала отпускается достаточно средств. На самом же деле этот журнал является органом лишь только своего редактора. Надеемся, что этому будет положен конец...»

Последние годы писателя были омрачены тяжелым недугом и материальными затруднениями.

В январе 1931 года вышел последний номер журнала «Молла Насреддин». Джалил Мамедкулизаде пережил свое детище ровно на год. Умер он 4 января 1932 года.

Великие писатели — ровесники всех поколений. Джалил Мамедкулизаде был духовным ровесником поколения моего отца. Мое поколение тоже чувствует в нем ровесника

и мудрого брата, отвечающего на многие наши вопросы и проблемы. И я думаю о том, что вот умрем мы, уйдет наше поколение, а он останется, став ровесником моего сына. Сын всех времен, он спутник каждого поколения. И поколения, идущие вслед за нами, наши сыновья и внуки, откроют в нем своего современника и оставят его своим потомкам.

И я радуюсь счастливой судьбе человека, пронесшего через свою неласковую жизнь тяжкое бремя понимания.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Мих. Байтальский. Реки не текут вспять.— **Э. Кузьмина.** Испытание смехом.— **В. Кардин.** Дневник очеркиста.— **Я. Гордин.** Гипотезы и фанты.— **Л. Зонина.** Миф, именуемый комиссар Мэгре.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Логинов. «...Вождь исключительно благодаря своему интеллекту».— **Ю. Ефремов.** Лицо страны.— **В. Смолин.** В защиту истины.— **А. Ненрич.** Историк, публицист, борец.

Литература и искусство

РЕКИ НЕ ТЕКУТ ВСПЯТЬ

Алим Кешоков. Зеленый полумесяц. Роман. Авторизованный перевод с кабардинского Сергея Бондарина. «Дружба народов», №№ 9, 10, 11, 1966.

Двуглавый Эльбрус сияет над Кабардино-Балкарией,— однажды увидишь его, и твое сердце останется преданным ему навсегда.

В новом романе Алима Кешокова «Зеленый полумесяц» читатель открывает своеобразный мир, овеянный поэзией высоких гор. Это мир простых и ясных чувств, народной мудрости, народного юмора. Роман Кешокова можно поставить рядом со стихами Расула Гамзатова и Қайсына Кулиева, в которых критика не раз уже отмечала силу нравственного беспокойства, философскую насыщенность.

«Зеленый полумесяц» — как бы продолжение романа «Чудесное мгновение», в котором Алим Кешоков рассказал о первых годах революции и становлении советской власти в Кабардино-Балкарии. Но вместе с тем перед нами самостоятельное, цельное повествование. Новый роман изображает конец двадцатых и начало тридцатых годов в Кабарде: партийная чистка 1929—1930 годов, сплошная коллективизация, закрытие мечетей, ликвидация кулачества — и все это в особой, мало знакомой русскому читателю

среде небольшого горного народа, перед которым история поставила задачу — шагнуть из феодализма прямо в социализм. В подобной обстановке нравственные вопросы приобретают особое значение.

Действующих лиц в романе очень много, местами даже кажется — не слишком ли много? Но так уж построен роман: в нем речь идет о судьбах целого народа на резком историческом переломе, в нем естественно, по ходу событий возникает немало разных лиц и имен. На переднем плане — пять-шесть главных персонажей. На первой же странице появляется подросток Лю, сын учителя, «парнишка шустрый и толковый», — его глазами нам предстоит увидеть почти все, о чем дальше пойдет речь. «Лю окончил школу в родном ауле у отца, а теперь учился в новой школе в Бурунах, а его старший брат, Тембот, — второе лезвие одного и того же кинжала, — тот теперь учился в Москве, в военной школе».

Эта фраза могла бы показаться просто сухой справкой, если бы не характерное сравнение братьев с двумя лезвиями кинжала. Здесь одна из невывуанных дета-

лей, которые передают национальный колорит. Автор сразу вводит нас в быт и нравы народа, для которого кинжал — привычный, будничной предмет обихода. За этой деталью угадывается многое — и патриархальная цельность характеров и обычаев, и устойчивые пережитки, и сложность обстановки, в которой будут разворачиваться события.

Наряду с Лю среди главных действующих лиц — его родители, Астемир и Думасара, люди великой честности, из уст которых мы, случается, прямо слышим главную мысль романа. А в самом центре действия — две сильные натуры, Инал Маремканов и Казгирей Матханов. В их остродраматической нравственной борьбе воплощается основная идейная проблема, интересующая автора.

Инал, «головной журавль» Кабарды, пользующийся не только большой властью, но и авторитетом в народе, — человек резкого, непреклонного нрава. И он и его сподвижники работают в нелегких условиях. Тут и вековая приверженность горцев заветам шариата, нередко побуждающая их сопротивляться революционным новшествам, тут и весьма активно орудующая банда под предводительством бывшего князя — конокрада Жираслана: да, для благодушия время и впрямь не пришло. Но Инал по-своему понимает задачи, вытекающие из этих условий. Он поучает комиссара по внутренним делам Эльдара: «...Кто против меня, тот, значит, против новых порядков. Кто против новых порядков, тот против революции... Кстати, советую тебе, например, лично допрашивать Ахья и других политических преступников.. При этом хороши любые средства. Наша светлая цель все оправдывает, все просветляет».

Казгирей мыслит иначе. Ему, педагогу, борцу за новую письменность, издавна хотелось воспитать и сохранить в народе «любовь к мирному очагу, чуткость к душевному движению, понимание высокого слова». Однако его идейное единство с Иналом осложнено тем, что Инал пришел в революцию сразу и без колебаний, а он, Казгирей, стал коммунистом лишь после долгих внутренних мук и блужданий, вернувшись на родину из эмиграции. На чьей стороне правда? Алян Кешоков дает читателю подумать и избегает однолинейно-облегченных ответов.

Повествование о народной жизни то те-

чет свободно, как река в широко раскинутых берегах, то пенится и бурлит, когда непреклонная воля Инала бросает в нее свои тяжелые и твердые, как прибрежные скалы, решения. Роман начинается с красочных, полных юмора картин ликвидации безграмотности в кабардинском селе. Кампанию ведет бесстрашный учитель Астемир, а за его плечами стоит с винтовкой в руках преданная Думасара. Напряжение нарастает с каждой страницей — и вот свадьба Инала, поднимающая целую бурю откликов: Инал разводится со своей первой женой, дочь прославленного балкарского партизана Казмая, и женится на русской женщине. Тут же разворачивается ряд других важных в местном быту событий: организация первой школы-интерната, куда назначается руководителем Казгирей Матханов; первое в истории кабардинского и балкарского народов театральное представление, данное учениками интерната. Высшей точкой развития сюжета становится партийная чистка. Она происходит при удивительном, всеобщем и искреннем участии всего народа, который громко, с какой-то особенной простодушной непосредственностью обсуждает деятельность каждого коммуниста и всенародным открытым голосованием решает, может ли этот член партии остаться в ней или он ее недостоин. Эта сцена написана с большой силой, и главный интерес ее — в идейном поединке Инала и Казгирея.

Приведем характерные реплики.

Инал: «Кто вышел из темноты, у того долго темно в глазах... Уже растет город-книга, город-костер, костер ярко осветит пути, он будет светить для всех. Нет, товарищи, нельзя остановить колесо истории. А мы с тобой только спицы в этом колесе, и колесо не остановится, если из него выпадет гнилая спица. Мы едем, мы летим, мы скачем...»

Казгирей: «Социализм — произведение величайшее, произведение, создаваемое умом и талантом народа. Бить в душу кулаком — только повредишь делу... Человек предпочитает самостоятельно выбирать дорогу. Об этом говорится даже в сказках и легендах всех народов. Не нужно людям навязывать выбор, не нужно за жаждущего решать, когда ему пить воду, а когда вино, пресное или кислое молоко...»

Этот спор, то скрытый, то вырывающийся наружу, проходит через всю книгу. Исход

его трагичен. Роман кончается смертью Казгирея, гибнущего от бандитской пули. И хотя Казгирей умер, а Инал раскаивается (с опозданием и, быть может, не вполне искренне) в крутых мерах, которые он применял к нему, — а здесь и тайное чтение его писем, и незаконный арест, и изматывающие допросы, — но спор их вовсе не завершается на последней странице романа. Это спор между гуманизмом, составляющим нравственную ткань коммунистического мировоззрения, и грубым произволом, пережитками того, что Ленин называл словом «азиатчина».

«Азиатчина» исходит из непризнания разума народа, превращенного в толпу подданных всеведущего, всемогущего хана. Даже и к мудрецу хан обращается лишь для того, чтобы посрамить его мудрость вопросом: а знаешь ли ты свою собственную судьбу? — и тут же огрубить его голову.

В области идеологии «азиатчина» проявляется как самый свирепый вид фанатизма, а в общественной практике — как произвол властителя, как отрицание способности народа самому управлять собою.

Не стоит упрощать: Инал, изображенный в романе Кешокова, еще не утратил до конца связей с революцией. Но он на пути к тому, чтобы их утратить. Характерно его глубоко противоречивое отношение к знаниям, к книгам. С одной стороны, он покровительствует делу народного образования, отпускает деньги на создание школ. Но как высокомерно смотрит он на деятельность «джигита просвещения» Казгирея! Иналу просвещение масс нужно лишь в узкопрактических целях, да и о самом содержании его он имеет свое, особое мнение.

«— Ты, Казгирей,— говорит он,— человек книг. И это очень хорошо... Но и я пишу книги... Первая из них — это есть как раз агрогород. По этой книге люди наглядно увидят, поймут, что такое новая жизнь, как нужно жить по-новому в своем доме, в своей семье... Вторая книга — это совхоз, совхоз и колхоз. По этой книге люди научатся по-новому работать. А третья... Третья книга — это сила. Революционная сила.

— О какой силе ты говоришь, Инал?

— О самой настоящей, прямой силе, о силе оружия.

— То есть, о насиллии? — искренне удивился Казгирей.

— Да, о насиллии. Если нужно, о принуждении оружием. Если нужно, мы будем

стрелять из пулеметов и пушек. Бывает и так: только эта книга может научить людей.

— Научить? Чему научить? — опять удивился Казгирей.

— Новой жизни, — исчерпывающе пояснил Инал.

Инал называет себя борцом за счастье людей. Но этих же людей (именно этих — не врагов, не противников!) он считает возможным учить «из пулеметов и пушек». Как всякий фанатик, он по сути дела бесчеловечен. И как всякий фанатик, он слепо верит в усвоенный им тезис, не давая себе труда вникнуть в этот тезис, не задумываясь над тем, что насилие по отношению к врагам, эксплуататорам и по отношению к единомышленникам, трудящимся людям — вещи полярно противоположные.

В своем последнем письме к русскому другу Степану Коломейцеву, в письме-исповеди Казгирей Матханов пишет: «...Бойся несправедливой и беспощадной силы, присваивающей себе право поборника правды». Да, грубый произвол может присвоить себе имя поборника гуманизма, но то, за что он станет бороться, уже не будет гуманизмом.

Развернув картины жизни своего маленького народа на протяжении короткого, но полного важнейших событий отрезка революционного времени, Алим Кешоков сумел вместить в свое повествование большую мысль, выходящую далеко за рамки обычного рассказа о прошлом. Кстати сказать, не столь уж многие писатели находят в себе силу взяться за изображение того периода, который Кешоков так правдиво, не лукавя и не увликая, изобразил в своем романе. Художественная правдивость образов романа неоспорима, и этого достаточно, чтобы совершенно отодвинуть в сторону могущий возникнуть вопрос об историческом соответствии того или иного персонажа тому или иному действительно жившему политическому деятелю. Художественная литература выше подобных соображений, и это особенно верно для таких произведений, где так называемый «местный» материал перерастает в материал для размышлений над проблемами, имеющими общее значение.

Инал и Казгирей — это не только два этих героя. На стороне Казгирея не одна Думасара, не один Астемир, а весь народ — умный и добрый народ, полный чувства своего человеческого достоинства, но умеющий по смеяться и над собственными недостатками

не менее весело, чем над чужими. Кешоков не раз говорит о «кабардинской усмешке» — какое верно определение! Это усмешка мудрого, столетиями страдавшего, но не потерявшего своих душевных качеств народа. Не так уж много лет надо прожить в Кабардино-Балкарии, чтобы оценить ее народ.

И тут я хочу огдать должное Сергею Бондарину, который порадовал русского читателя превосходным переводом романа А. Кешокова. Перевести народную эпопею (а «Чудесное мгновение» и «Зеленый полумесяц» заслуживают этого названия), сохранив все особенности разлитого в ней самобытного народного духа, — серьезная и трудная работа. Этот чисто кабардинский беззлобный юмор, это неподражаемое снижение мусульманской религиозной высокопарности с помощью иронической интонации, это вну-

треннее, полусознанное, выраженное в намеках, в восклицаниях, в жестах сопротивление народного чувства несправедливости и злу — как это все перевести с одного языка на другой? Сергей Бондарин достойно помог Алиму Кешокову выполнить большое интернациональное дело — познакомить всех читающих по-русски не только с кабардинской литературой, но и с кабардинским народом, изображенным в одно из своих переломных, но поистине чудесных мгновений — в то мгновение, когда он взялся за жесткое ярмо пережитков «азиатчины», чтобы сбросить его со своей шеи.

Победа гуманизма неизбежна. Реки не текут вспять, хотя и прямо они тоже не текут.

Мих. БАЙТАЛЬСКИЙ.

Нальчик.



ИСПЫТАНИЕ СМЕХОМ

Ф. Кривин. Божественные истории. Политиздат. М. 1966. 183 стр.

В новой книге хорошо известный читателям юморист Феликс Кривин обратился к священной истории, к ветхозаветным и новозаветным сказаниям, к древним мифам.

Что может быть традиционнее, каноничнее библейских образов?

Но Ф. Кривин обладает способностью на любой предмет взглянуть с неожиданной, часто парадоксальной, стороны. Так он смотрит и на освященные веками образы. И тогда оказывается (и удивляешься, как это не приходило в голову раньше), что праведник Ной, который спасся от потопа, когда все человечество погибло, — это божий подхалим и самовлюбленный эгоист. Так он и беседует с Адамом — взахлеб только о себе, не слыша другого: «Ты как живешь? Я лично живу хорошо, слава богу, не жалуясь!.. Сейчас, понимаешь, начнется великий потоп.

— Потоп? — испугался Адам. — А как же я?

— Ты-то? Я скажу за себя... Вот сейчас я построю ковчег, посажу в него своих, и — после нас хоть потоп!»

Знакомые интонации, не правда ли? Ему хорошо — и плевать ему на человечество.

Или — что такое рай, пресловутый рай? Спит Адам — ему снятся райские кущи и реки, текущие молоком. Проснулся — и наяву то же самое. Так и сидели они с богом

вдвоем и «ничего, ничего не желали». Что делать? Все уже сделано, господь недаром поработал. Что же дальше? Дальше и желать нечего. Ску-учно! Не захочется в такой рай!

Так язвительно умеет Кривин вывернуть наизнанку самые незыблемые религиозные представления. Что же говорить о тех случаях, когда библия сама дарит сатирику готовый материал, — ведь ее бесчисленные противоречия, промахи и неувязки издавна были хлебом для ее остроумных противников (вспомним «Карманное богословие» Гольбаха, «Забавную библию» Таксиля и др.).

На таком почти готовом материале, переосмысливая лишь одно словечко, создает Кривин разящую миниатюру «Второзаконие»:

«Возлюби ближнего!» — гласит первый закон. А о том, что своя рубашка ближе ближнего, — это уже второй закон.

«Не убий!» — гласит первый закон. А о том, чтоб убивать всех инакомыслящих, — это уже второй закон.

Для людей бог создал закон, а для себя — второзаконие».

А вот — без нажима, без комментариев — цена религиозным посулам и обещаниям (Кривин так лаконичен, что многие миниатюры можно привести только целиком):

«А земля обетованная оказалась обычной землей, да еще вдобавок сухой и каменистой.

Соплеменники М-исея ковырялись в этой земле и с тоской вспоминали то время, когда они, голодные и босые, брели по безводной пустыне и впереди у них была земля обетованная...»

Впрочем, достается от Кривина не только богам и святым. Ведь богов и святых создали люди и щедро ссудили их собственными грехами и грешками. Кривин высмеивает и чисто человеческие слабости.

Авгий претендует на то, чтобы войти в историю, только потому, что у него когда-то работал Геракл. Нарцисс никак не поймет азбучные законы любви: ты любишь меня, а я тебя. «Зачем так усложнять жизнь?.. Пусть каждый любит сам себя — это гораздо проще».

А вот мирмидоняне — этот народ Зевс превратил в людей из муравьев. «Это были честные люди, исполнительные и трудолюбивые. Но по старой муравьиной привычке они ходили согнувшись, низко опустив голову, так, как будто над ними висел сапог. Зевсу было стыдно за них, и он гремел:

— Люди, будьте людьми!..

Но от этого окрика они пригибались к земле еще ниже... Можно превратить муравьев в людей, но сделать людей людьми — это богам не под силу».

В чем секрет Кривина? Как удастся ему делать эти миниатюры в несколько строк вещами содержательными?

Прежде всего благодаря насыщенной, напряженной, сжатой, как пружина, композиции, стремительному сопоставлению времен.

Вот идет диалог — фараон Хеопс торгуется с богом: «Я не хочу умирать!.. Я принесу тебе в жертву сто тысяч рабов. Только разреши мне мою, одну мою жизнь увековечить!» Столковались. И вдруг — умолкли голоса, звучит торжественный и бесстрастный приговор истории: «Никто не помнит Хеопса живым. Все его помнят только мертвым. Он был мертвым и сто, и тысячу, и три тысячи лет назад и всегда, всегда будет мертвым».

Пирамида Хеопса увековечила его смерть».

Кривин остро чувствует скрытые возможности слова, его двойные и тройные значения, связи со словами-родственниками, словами-соседами и словами-противниками. Каждая частица слова живет, движется

«Его мнение в силу вошло, уничтожило все сомнения».

Порой одно лишь столкновение слов высекает сильный образ: «По земле текла кровь: бог занимался текущими делами...»

Иногда эта игра словом получается у Кривина легковесной. Но, может быть, и легкие побасенки уместны в этой книжке, палитра которой так разнообразна.

Мы встретим у Кривина и сарказм, и гротеск, и пародию, где-то гнев, а где-то лиризм. Как неожиданно преображается и для нас Фома Неверный. Да, он сомневается, что Христос пройдет по морю, как посуху, и по воздуху, как по лестнице. Но ведь он жалеет его по-человечески: вдруг утонет, вдруг разобьется... Великий скептик оказывается воплощением самой трогательной любви и заботы. И наоборот, именно человечности нет ни на грош в восторженно верующих апостолах, которые дружной гурьбой провожают учителя на Голгофу...

Экскурсы в историю религии порой не смешны, а жутковаты. Вот знаменитая притча о том, как старушка сунула вязанку хвороста в костер, на котором сгорал Ян Гус.

«— О святая простота! — воскликнул Ян Гус.

Старушка была растрогана.

— Спасибо на добром слове, — сказала она и сунула в костер еще вязанку... Потом она спросила:

— Что ж ты молчишь? Почему не скажешь: «О святая простота?»

Ян Гус поднял глаза. Перед ним стояла старушка. Простая старушка.

Не просто простая старушка, а старушка, гордая своей простотой».

Чем нетерпимей сатирик к человеческим слабостям, тем, значит, выше его мнение о человеке, тем больше его уважение к человеку. Ведь сатира невозможна без нравственного идеала, с которым и соотносятся все отклонения от него. Эта позитивная основа сатиры очень отчетлива в миниатюрах Кривина. Вот как у нас на глазах проясняются истинные и ложные ценности в зарисовке «Дедал и Икар»:

«— Кто такой Икар?

— Это сын Дедала. Того, что изобрел крылья.

Мудрый человек был Дедал. Он знал, что нельзя опускаться слишком низко и нельзя подниматься слишком высоко. Он советовал держаться середины.

Но сын не послушался его. Он полетел к солнцу и растопил свои крылья. Он плохо кончил, бедный Икар!

А Дедал все летит. Он летит по всем правилам, не низко и не высоко, умело держась разумной середины. Куда он летит? Зачем? Это никому не приходит в голову. Многие даже не знают, что он летит — мудрый Дедал, сумевший на много веков сохранить свои крылья...

Дедал... Дедал...

— А, собственно, кто такой Дедал?

— Это отец Икара. Того, что полетел к солнцу».

В той форме, какая органична для сатирического жанра: отталкиваясь «от противоположного», автор всерьез ведет разговор о том, что в жизни важно, за что стоит идти на

смерть, что оправдывает любые жертвы. Именно с таких высоких позиций он судит, например, Тантала.

«Тантал бросил вызов богам, его соблазнили лавры Прометея. Но Прометей оставил людям огонь, а что оставит после себя Тантал? Только свои Танталовы муки?..» Так книжка пародий на библейские сказания и древние мифы поднимается до главных вопросов, которым посвящена «серьезная» литература: в чем смысл жизни, что ты оставляешь людям?

Многое в этой умной, иронической книжке имеет все права стать — помянем на прощанье еще раз Библию — «притчей во языцех», войти в обиход любителей нешуточного юмора.

Э. КУЗЬМИНА.



ДНЕВНИК ОЧЕРКИСТА

П. Ребри н. Тюкалинские страницы. «Сибирские огни», №№ 2, 3, 1966.

«Тюкалинские страницы» П. Ребрин а продолжают деловую реалистическую традицию современного сельского очерка с его пристальным вниманием к человеку-труженику и дотошным пристрастием к экономике. Не совсем обычные по композиции (давние дневниковые записи перемежаются здесь с сегодняшними мыслями о них), неровные по стилю, они охватывают без малого два десятилетия в истории одного из сибирских районов и в биографии самого автора.

П. Ребрин вынес на читательский суд свои журналистские записки, корреспондентские блокноты, где первые страницы помечены 1947 годом, а последние 1965-м. Он их определяет как записки-вопросы, записки-недоумения, записки-размышления.

Человек предстает в них таким, каким его увидел автор сегодня. Вчера он его не знал, каков будет завтра — не ведает. А следующая встреча — спустя месяц, либо год, либо десятилетие. Портрет создается методом почти моментальной фиксации — со всеми достоинствами такого метода и неизбежными его слабостями.

Мы стали уже забывать семью Горчаковых, с которой автор свел нас в самом начале записок. Сохранилось лишь ощущение чистоты и прочности, исходившее от молодых — Катерины и Василия, от ласковой бабки Александры Абрамовны. Запомнились

даже не столько сами Горчаковы, сколько редакционные споры (также страдившиеся в блокнотах) вокруг очерка, где они фигурировали. Борцы они или страдотерпы, герои или не герои? Редактор отрубил: не герои — и запретил писать о Горчаковых.

А время рассудило по-своему. И новая встреча спустя пятнадцать лет подтвердила: на таких, как Василий и Катерина, держится деревня. На их натруженных плечах, на их нерушимых нравственных устоях.

Споры о другой крестьянской семье, о Сажиных, тоже решили годы. Тогда, при первом знакомстве, молодой журналист рвался в бой, жаждал раскритиковать этих «приспособленцев», их «узкий мирок». Потом поговорил, посмотрел и остыл. Переубеждала жидкая похлебка на сажинском столе, горькие слова хозяйна: «Так вы вот мясо, масло едите, а я, который, значит, их произвожу, скус их забыл...» Через полтора десятилетия Сажиных уже не было на прежнем месте: продали дом, подались на шахты.

У П. Ребрин а нет постоянных, «сквозных» героев. Одни уезжают, другие приезжают, одних снимают, других назначают. Все эти «перемещения» не подвластны ни автору, ни сюжетным законам. Их трудно предугадать. Но подобная непредвиденность создает не меньшее читательское напряжение, нежели обычная литературная интрига.

Нам очень важно знать, например, как сложится карьера директора совхоза Марахина. Мы ведь помним Марахина в силе, самым аплодисменты, какими его щедро награждало районное начальство, весь зал большого совещания. Мы знаем также, что за время своего хозяйствования Марахин успел, как говорится, наделать дел. Долгим памятником ему осталась бесплодная «марахинская» целина. И когда наконец закатывается его звезда, мы чувствуем облегчение, какое испытываешь при виде наказанного порока.

Любовью, болью и раздумьями о деревне пронизаны «Тюкалинские страницы». Самоотверженный труд людей, вернувшихся с войны, — и малая его отдача. Потребность вчерашнего фронтовика работать по-хозяйски, с головой — и настойчивые призывы к «твердости» в руководстве сельским хозяйством. Как все это понять, совместить?

То там, то тут в «Тюкалинских страницах» натыкаешься на словечко «непонятно». «Барахтаюсь. Многого не понимаю», — записывает журналист. В этом «не понимаю» — недоумение, растерянность, горечь. Они достигают высшей точки, когда дневник подходит к травопольной эпопее.

Автор уже не новиком ни в газетных делах, ни в сельских. На дворе — весна пятьдесят шестого. А начинается опять нечто «непонятное». Конечно, — об этом нет спора — надо сокращать травяной клин. Однако почему в Вильямсе, еще недавно «великом ученом, одном из корифеев», нужно видеть врага? Почему слово «травы» становится чуть не ругательным?

Директор Тюкалинского совхоза Павел Захарович Кузнецов подводит печальный итог травопольным битвам: «Нет трав в районе. В прошлом году... прикончили. Вот как бывает... Наступали на травопольную систему, а наступили на травы».

С годами в привычном «не понимаю» все отчетливее звучат досада и гнев — казалось бы, практика так ясно убеждает в том, что нужно и что не нужно делать в деревне. Вот мартовская запись 1962 года:

«Позавчера вернулся от Хорошуна, а вчера присутствовал на агрономическом совещании. Происходит что-то непонятное. Одни люди из года в год получают высокий урожай, другие — спорят о том, как урожай выращивать. Кипят страсти! Совещания, совещания, «слова, мой друг, слова!». А казалось бы, зачем уж так много слов? Посмот-

ри, как он делается, этот урожай, как подходят к земле в тех хозяйствах, где научились получать урожай, покажи другим и научи этих других так же к земле относиться. Вот программа работы. Но в зале заседают, спорят, как получить хотя бы по 10 центнеров».

Ненадолго попадает в поле зрения очеркиста Елисей Петрович, но оставляет после себя четко оттиснутый — не спутаешь — след. В разглагольствованиях Елисея Петровича к правде примешана доля хитроумной полуправды, а за этой смесью — настойчивое желание во что бы то ни стало выродить, обелить себя.

Ход его мыслей таков: в сельском хозяйстве натворили немало бед — и в давние времена, и в недавние, но творили все и спрос со всех одинаковый. А коль так, нет виноватых, и он, в частности, ни в чем не виноват.

Система обороны не столь уж пассивная. Елисей Петрович не просто проповедует: кто старое помянет — тому глаз вон; он готов сокрушить несогласных. И полемика с Елисеем Петровичем, развернувшаяся на заключительных страницах записок, раскрывает смысл работы П. Ребрин. Разговор, который он ведет, продиктован властью владеющей им идей, которая хоть и не нова, но единственно справедлива: мы в ответе за все, что есть и будет. И это «мы» обладает отличительной особенностью — в нем не растворяется доля ответственности каждого, она двойным грузом ложится на плечи того, кто ее признал и исповедует.

Хотя здесь, на «Тюкалинских страницах», нам и довелось встретиться с директором совхоза Марахиным, с Елисеем Петровичем, с Сулимовым, страдающим «болезнью пункта» (с бездумной одержимостью он бросается выполнять любой параграф инструкции, даже разумное начинание доводя до абсурда), все же ясно чувствуется: П. Ребрин писал не ради подобных деятелей. О них уже немало говорилось в нашей «деревенской» литературе.

П. Ребрин имел мужество сказать о собственной ответственности и вине. Ну да, Марахин и марахины разоряли хозяйство, ломали природу, а иной раз и жизни людей. Но где же был ты, литератор?

Об ответственности литератора П. Ребрин говорит не походя, не между прочим. Он беспощаден в анализе, откровенен в самооценке.

После первого года деревенских коман-

дировок в блокноте появилось: «Вижу — трудно, но убежден, что это трудности временные. Сам то, однако же, не разделяю этих трудностей? Так ведь получается!..»

Рассматривая собственное газетное творчество той поры, П. Ребрин видит, какую дурную роль сыграла в нем цветистая напыщенность стиля. В таком ключе, разумеется, всерьез о жизни не скажешь. «Когда писал — нравилось приподнятостью стиля. Правда, было на душе ощущение благостной мути, но оно прошло, как только похвалили».

Идет время, наступает пора самоосознания и самокритики: «Я не замечал истинного положения дел в деревне, потому что был пропитан ложным пафосом, я требовал через газету жертвенности во имя высоких идей, требовал ее от других, сам-то, собственно, ничем не жертвуя».

Как бы славно было, если б вслед за подобными признаниями сразу же явилась му-

жественная зрелость, способность серьезно судить о происходящем. Но не так-то все гладко получается. И Ребрин в этом с болью признается...

Было время, когда подобная откровенность писателя вызывала в критиках раздражение: «самоковыряние», мол, или — для пущего посярмления — «интеллигентское самоковыряние». Между тем, если писатель по внутреннему велению идет на такой тяжелый, болезненный для него шаг, он поступает так неспроста. Иначе он не может. Не может двигаться дальше, держать перо. Настоящий художник всегда с суровым пристрастием рассматривает собственную жизнь в нерасторжимом переплетении с народной судьбой. Только так создается общественная атмосфера высокой ответственности каждого за свое дело, необходимая и литературе, и росту деятельной, сознающей свой долг личности.

В. КАРДИН.



ГИПОТЕЗЫ И ФАКТЫ

Д. С. Бабкина. А. Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность. «Наука». М.—Л. 1966. 362 стр.

Вторая половина XVIII века — чрезвычайно важный период для понимания дальнейших процессов, происходивших в русской литературе и общественной жизни. Поэтому каждая работа об этом периоде, построенная на новом материале, вызывает естественный интерес.

Книга Д. Бабкина «А. Н. Радищев» содержит материал не просто новый, но крайне важный. Так, автор книги впервые публикует устав и программу Общества друзей словесных наук. Чтобы понять серьезность этой публикации, следует помнить, что Общество это было одной из самых влиятельных литературных группировок в восьмидесяти годах XVIII века в Петербурге. Но исследователи русской литературы до последнего времени имели весьма туманное представление о структуре и задачах Общества. Теперь вопрос значительно прояснился. Публикация Д. Бабкина дает возможность, в частности, объяснить характер отношений между Обществом и целым рядом литературных деятелей того времени.

Например, существовала версия, согласно которой молодой Крылов, не будучи членом Общества, посещал его собрания и здесь по-

знакомился с Радищевым. Теперь мы должны признать эту версию несостоятельной, ибо по уставу Общества посещать его собрания имели право только члены Общества. Содержание же программы во многом объясняет причины вражды между «друзьями словесных наук» и группой Рахманинова, Крылова, Клушина.

Для изучения бурной и сложной литературной жизни того времени эти моменты имеют большое значение.

Благодаря публикации Д. Бабкина мы знаем имена учредителей Общества. Таким образом в поле зрения ученых попали многие неизвестные доселе общественные деятели XVIII века.

Несомненный интерес представляют и впервые опубликованные «Поденные записи» о деятельности Радищева в Комиссии составления законов. Мы представляем теперь характер ежедневной деятельности комиссии. И, что особенно важно, знаем круг конкретных вопросов, с которыми приходилось сталкиваться Радищеву.

Можно было бы продолжить перечисление документов, введенных Д. Бабкиным в научный оборот, — таких документов в кни-

ге немало. Но данная книга представляет собой не сборник материалов, а научное исследование, то есть попытку интерпретации документов. И вот тут, когда дело доходит до интерпретации, методы работы автора вызывают серьезные сомнения.

Книга Д. Бабкина принадлежит к достаточно распространенному типу исследований. Это тот самый тип, когда исследователь идет не от изучения фактов к обобщениям, а наоборот: берется готовое положение и доказывается всеми правдами и неправдами. Требуется доказать... И в жертву заранее заготовленному тезису приносится историко-литературная, историко-психологическая и какая угодно правда.

Изображая Радищева, Д. Бабкин исходит отнюдь не из реальных исторических условий и даже не из обнаруженных им материалов, а исключительно из априорных представлений о том, каким должен был быть этот замечательный революционер. Д. Бабкин считает необходимым улучшить Радищева, ибо, по его мнению, тот Радишев, которого мы знаем, недостаточно хорош.

Например, автор книги задается целью доказать, что Радишев, а не Сумароков, был лучшим русским лириком того времени. Как это делается? Очень просто. Сперва автор принижает Сумарокова, тематика стихов которого, оказывается, была «довольно однообразной», в них выражалась тоска, несчастная любовь... Напомним, однако, что крупнейший советский специалист по русской литературе XVIII века Г. Гуковский писал: «Поэтическое творчество Сумарокова поражает своим разнообразием, богатством жанров, тем, форм». Достаточно раскрыть том избранных произведений Сумарокова, чтобы убедиться в правоте Г. Гуковского.

Что же противопоставляет Д. Бабкин сумароковской лирике? Ранние стихи Радищева, стихи далеко не зрелые. Но Д. Бабкин считает необходимым поднять это несовершенное и ни на что не претендующее стихотворение на особую высоту: «В «Песне», — пишет автор книги, — затронут большой вопрос о взаимном непонимании, разобщенности людей» и т. д. Стихи эти таковы:

Нет, я ее люблю,
Любить вовеки буду:
Люблю,
Терзанья все стерплю
(Ее не позабуду)

И верен ей пребуду;
Терплю,
А все люблю.

Ах, может быть, пройдет
Терзанье и мученье;
Пройдет,
Когда любви предмет,
Узнав мое терпенье,
Скончав мое мученье,
Придет
Любви предмет

Такие стихи во второй половине XVIII века создавались в неограниченном количестве любым грамотным почтателем Сумарокова. И никакие «большие вопросы» в них, разумеется, не затронуты.

Не лишена интереса и фразеология, которой пользуется Д. Бабкин при разборе стихов: «Обращает на себя внимание поэтический образ ветра». Или: «...Здесь он (Радишев.— Я. Г.) изображает нежное чувство к любимой на фоне неисчерпаемой по своей красоте природы. Ликующему чувству любви как бы внемлет вся вселенная». К сожалению, подобный теоретический и стилистический уровень характерен для всей книги.

Но главным, что пытаются доказать Д. Бабкин, является мысль о наличии в России восьмидесятых годов XVIII века серьезной революционной организации, в контакте с которой находился Радишев. Автор исследует с этой точки зрения деятельность Общества друзей словесных наук, членом которого Радишев действительно был. Разумеется, чтобы превратить собрание молодых дворянских либералов-оппозиционеров в революционное общество, приходится отчасти поступиться исторической правдой. Но автора это не смущает. «Некоторые исследователи полагали, — пишет он, — что на деятельность Общества влияла масонская идеология... Однако в уставе Общества друзей словесных наук нет никаких следов религиозного, мистического мышления, свойственного масонам».

«Некоторые исследователи» были совершенно правы. В уставе Общества, кстати говоря, впервые опубликованном в данной книге, вполне определенно сказано, что Общество «будет в рассуждении своей цели составлять часть нераздельную Общества университетских питомцев...». Московское Общество университетских питомцев, основанное мартинистом Шварцем, было истово масонским. Таким образом, благодаря публикации Д. Бабкина пред-

положения «некоторых исследователей» подтвердились. Непредвзято и внимательно прочитав журнал Общества «Беседующий гражданин», автор обнаружил бы там сколько угодно религиозности.

Д. Бабкин приводит напечатанное в журнале стихотворение члена Общества С. Тучкова «Рондо» как доказательство его резких антиправительственных настроений и настроений всего Общества. «Рондо» действительно отражает оппозиционность автора, но именно оппозиционность, а не революционность. Д. Бабкин почему-то умалчивает о другом стихотворении С. Тучкова, тоже напечатанном в «Беседующем гражданине», религиозном стихотворении «Песнь Богу», переведенном из Эвальда Клейста, немецкого поэта середины века. Достаточно прочитать это стихотворение, чтобы разувериться в созданном Бабкиным представлении об С. Тучкове и об Обществе.

Два действительно оппозиционных произведения — «Рондо» и радищевская «Беседа» — были напечатаны в последнем номере журнала. Все предыдущие номера были в основном заполнены материалами, вполне безопасными для правительства. Более того, журнал имел ярко выраженную антисатирическую, антиобщественную направленность, что вообще характерно для русского масонства. Некоторые материалы его, например «Бредни праздного педанта», были направлены против Новикова и Крылова как представителей литературы обличительной. Радищевское «Путешествие», разумеется, отнеслось к той же литературе.

Общество друзей словесных наук было обществом весьма неоднородным. Но уж если говорить о нем в целом, то следует прежде всего сказать, что Общество это вырабатывало те неопределенно-либеральные идеалы, которыми ознаменовалось начало александровского царствования. Недаром один из основателей этой организации — Н. Новосильцев — стал ближайшим сподвижником Александра I.

С этим-то либерализмом и не смог ужиться впоследствии революционер Радищев.

В свете всего этого представляется в высшей степени странным утверждение Д. Бабкина, что Радищев читал на собраниях Общества «Путешествие из Петербурга в Москву» и что члены Общества одобрили книгу. Из этого следует, что они стояли на тех же революционных позициях, что и ав-

тор книги, что у Радищева были десятки сподвижников-революционеров.

На чем же основано столь ответственное утверждение? Ни на чем. Д. Бабкин и сам пишет: «Нет сведений о том, как проходило обсуждение «Путешествия из Петербурга в Москву...». Разумеется, нет. Ибо взяться им неоткуда. Член Общества С. Тучков довольно подробно рассказывает в своих «Записках», как Радищев читал «Беседу о том, что есть сын отечества», но ни единого слова не говорит о чтении «Путешествия». А он наверняка знал бы об этом чтении, даже если бы оно состоялось в его отсутствие. Записки писались через много лет, и ничто не помешало бы Тучкову рассказать об этом событии, коль скоро оно имело место.

Однако, не приведя ни единого аргумента в пользу своего предположения, Д. Бабкин тем не менее считает его доказанным. Он, правда, ссылается на устав Общества, который запрещал его членам публиковать свои произведения без одобрения Общества. Но из тех же записок С. Тучкова ясно, что устав этот выполнялся отнюдь не безусловно.

Итак, версия о чтении «Путешествия» в Обществе не подтверждается. А вместе с этим рушится и предположение о революционности «друзей словесных наук». Тем не менее Д. Бабкин утверждает, что Общество пошло по пути «пропаганды революционных идей».

Абсолютно произвольно трактуется Д. Бабкиным и «Дневник одной недели» Радищева. На том основании, что в «Дневнике» говорится о «доме, где обыкновенно бываю с друзьями моими» и что у Общества был дом для собраний, делается безапелляционный вывод, что в «Дневнике» речь идет о «друзьях словесных наук». Но это никак не доказано. Таким образом, повисает в воздухе и новая датировка «Дневника», предложенная Д. Бабкиным.

Сложность фигуры великого революционера тоже никак не устраивает Д. Бабкина. Он не может допустить, чтобы Радищев кончил жизнь самоубийством, — это было бы недостойно его героя. И вот без помощи сколько-нибудь убедительных аргументов он пытается доказать, что Радищев случаино (!) выпил стакан кислоты, что у него не было оснований для самоубийства. Я не хочу излагать здесь причины и обстоятельства смерти писателя. Все это достаточно известно. Хочется только напомнить о «теории

героического самоубийства», возникшей еще в античные времена и чрезвычайно популярной в XVIII веке. О том, как относился к проблеме самоубийства сам Радищев, можно, кстати говоря, прочитать в его «Житии Федора Васильевича Ушакова».

Д. Бабкин не придает значения тому, что одной из главных причин трагедии Радищева было именно его одиночество в русском обществе, тогда еще не доросшем до радищевской революционности. Политическая незрелость общества была характернейшей чертой времени и бедой всех прогрессивных русских деятелей той поры.

Напоследок хочется еще раз процитировать автора книги. «...Сегодня в некоторых работах, — укоризненно пишет он, — настойчиво подчеркивается трагизм жизни Радищева». Д. Бабкин против трагизма. Он предлагает другую формулировку — «жизнь

Радищева была нележкой». Но разве не звучат эти слова неловко, почти кощунственно?

Не будем останавливаться на частных ошибках автора. Я хочу сказать только об одной из них. На одной из страниц книги Д. Бабкин говорит о «тайном обществе» Ф. Кречетова. Чтобы назвать Общество Кречетова «тайным», нужно не иметь ни малейшего представления ни об этом Обществе, ни о деятельности Ф. Кречетова. Общество его было настолько явным, что сам Кречетов просил императрицу назначить великого князя Павла Петровича председателем Общества.

В работе Д. Бабкина, повторяю, немало свежего материала. Но, к сожалению, материал этот использован неудачно, и это серьезно повредило научной ценности книги.

Я. ГОРДИН.

Ленинград.



МИФ, ИМЕНУЕМЫЙ КОМИССАР МЭГРЕ

Жорж Сименон. *Неизвестные в доме. Повести и рассказы. Перевод с французского.* «Прогресс». М. 1966. 541 стр.

Я адресую эти заметки о комиссаре Мэгре серьезным людям, которые стыдливо прячут в ящик стола, в карман или под подушку детективный роман, полагая, что чтение такого рода литературы (они никогда не забывают оттенить в данном случае слово «литература» уничижительными кавычками) хотя и не преступление, но все же слабость. И помня, что для серьезного человека моих доводов, может быть, и не вполне достаточно, я нахожу нужным проинформировать, что во Франции Жоржа Сименона читают все — и не только в поездках, — что в критике о нем принято говорить как об одном из крупнейших современных романистов, что его сравнивают нередко (держись, серьезный человек!) с Золя и даже с Бальзаком. Ибо существует особый мир Сименона, в который погружается читатель любого его романа, и познание этого мира углубляет наше знание действительности, обостряет нашу нравственную чуткость и, кроме всего прочего, доставляет удовольствие.

Серьезные люди, читайте Сименона!

Афина Паллада вышла из головы Зевса в шлеме и со щитом, вполне сформировав-

шаяся, мудрая и нестареющая, подобно всем небожителям. Комиссар Мэгре вышел из головы Жоржа Сименона уже пожилым и, вопреки всем законам естества, будучи простым смертным, устойчиво закрепился в том десятилетии (между сорока пятью, по мнению критиков, и пятьюдесятью тремя, по признанию его создателя), когда в человеке все окончательно уложилось, осело, приобрело прочную структуру.

Крепкий мужчина ста восьмидесяти сантиметров росту, он даже не пошатнется, что называется, бровью не поведет, когда в роскошном баре отеля «Мажестик» сорокалетний, вполне спортивный американец мистер Кларк даст ему в челюсть по всем правилам классического вестерна. Руки у него сильные, из его железных тисков не вырваться, схваченный Мэгре юный Жерар Пардон («Смерть Сесили») не может сдерживать стоны. А уж если комиссар позволит себе не предусмотренную уставом оплеуху, то у его жертвы непременно хлынет кровь носом. Впрочем, в противоположность Бонду, Коплану, Нику Картеру, Юберу Бониссеру де ла Бату и прочим многочисленным литературным и кинематографическим звездам современного сыска и контрразведки,

комиссар Мэгре не любит демонстрировать мускулы или владение приемами джиу-джитсу. От этих неотразимых мужчин Мэгре отличается также полная асексуальность. Мужественность Мэгре не подлежит сомнению, но это мужественность отца, не любовника.

Читателям Сименона хорошо известно все, касающееся Мэгре. Его старомодное тяжелое пальто с бархатным воротником. Котелок — давным-давно никто во Франции не носит котелков. Трубки. Нелюбовь к паровому отоплению — кому сейчас придет в голову считать паровое отопление новшеством! Его квартира на бульваре Ришар-Ленуар, где терпеливая, спокойная, тактичная, заботливая госпожа Мэгре, столь же далекая от моды, как ее супруг, ждет его с обедом в любое время суток (а это немало для француженки, привыкшей к тому, что часы трапез священны) и легко, как это свойственно только очень преданным женщинам, приноравливается, не задавая лишних вопросов, к настроению, распорядку, привычкам мужа. Госпожа Мэгре вяжет, готовит, стирает, гладит, наводит чистоту в доме, напоминает комиссару, погруженному в свои дела, что нужно надеть шарф, или плащ, или ботинки на толстой подошве, она хозяйственная женщина, заботливая жена, но и она, как сам Мэгре, существо бесполое. Впрочем, это само собой разумеется; случись госпоже Мэгре обладать иным темпераментом, неминуемо произошла бы катастрофа, конфликт, раскол, драма. Возникло бы некоторое движение, в результате которого неизменность Мэгре была бы поколеблена. А этого быть не может.

Образ Мэгре в романах Сименона куда как реалистичен, а все же Мэгре — миф. И неизменность не только внешнее проявление этого его качества, свидетельство того, что Мэгре не просто смертный, но и глубокая сущность этого мифа. Мэгре — миф о патриархальной справедливости, ее воплощение. Патриархальной во всех смыслах этого слова. Отеческой. Покровительствующей слабым. Уходящей корнями в далекое прошлое. Основанной не на современном законодательстве, а на представлениях о добре и зле, впитанных с молоком матери.

Чрезвычайно личные отношения Мэгре с его подопечными совершенно не укладываются в рамки официальных инструкций. Мэгре случается добродушно делить бутер-

броды и пиво, принесенные из бистро на площади Дофина, с тем, кому наверняка предстоит отбывать несколько лет заключения за преступление, раскрытое комиссаром. Мэгре снисходителен ко многим человеческим слабостям, подсудным закону, но унылый пакостник Дандюран, проявляющий повышенный интерес к несовершеннолетним девочкам, вызывает в нем брезгливость, физическое отвращение задолго до того, как обнаруживается его причастность к убийству. Мэгре не может, да и не считает нужным подавить в себе бешеное желание дать по морде убийце Рамюэлю до того, как он сдаст его на руки правосудия, — «это, конечно, против правил, но уж очень приятно»... Он делает вовсе непрофессиональный жест, когда потихоньку вытаскивает из стола и сует наркоманке Жижипетке пакетик кокаина, отобранного недавно при обыске.

Если у Шерлока Холмса главное — интеллект, работающий с безукоризненной четкостью, то комиссар Мэгре обладает повышенной нравственной чувствительностью. В этом секрет заразительности его симпатий и антипатий. Читатель, склонный наслаждаться вместе с Уотсоном строгостью и изяществом дедукций Холмса, доверчиво веряется Мэгре и не столько следит за тем, как распутывается дело, сколько соприкасается с людьми, чья жизнь зависит от мудрости и интуиции тяжеловесного, медлительного, немногословного комиссара полиции. Сведенные к жестковатой логической конструкции детективные истории Конан-Дойля обрастают у Сименона пространными бытовыми описаниями, четкая графика — только самое необходимое, только данные задачи, подлежащей решению, — размывается, растушевывается, оплывает светотенью, из которой выступают с неожиданной яркостью портреты людей, не имеющих непосредственного отношения к расследованию, как его вел бы сыщик-ученый, позитивист с Бейкер-стрит, но необыкновенно важных для умудренного жизненным опытом вершителя патриархальной справедливости с бульвара Ришар-Ленуар.

Так возникают в повести «В подвалах отеля «Мажестик» добродушная толстуха Шарлотта, сентиментальная и верная, некогда танцовщица курортного кабаре, а ныне служительница при ватерклозете большого парижского ресторана, и ее приятельница Жижипетка, изъеденная кокаином, озлоб-

ленная, недоверчивая, или в «Смерти Сесили» — госпожа С-вашего-позволения, консьержка в доме убитой Жюльетты-Мари-Жанны-Леонтины Казенов, вдовы Буанэ, с ее свернутой набок шеей и пучками грязно-розовой ваты, торчащими из-под черного шерстяного платка, перевязанного крест-накрест на тощей старческой груди.

Так появляются в творчестве Сименона некие промежуточные разновидности жанра вроде повести «Неизвестные в доме», где еще присутствуют элементы детектива (убийство, судьба юноши, зависящая от того, будет или не будет найден преступник), но где главную роль играет психологическая эволюция героя, толчок к которой дает убийство, и критика общественных нравов, чреватых уголовщиной. Интересно, что угрюмый нелюдим, пьяница, не ведающий, что творится в его собственном доме, в душе его собственной дочери, адвокат Лурса, когда он пробуждается к общественной жизни, приобретает черты комиссара Мэгре, которого нет в этой повести.

Никому не придет в голову изучать нравы и нравственность англичан конца прошлого века по «Пляшущим человечкам», «Пестрой ленте» или «Собаке Баскервилей». Холмс может сколько угодно втолковать туповатому и безгранично преданному Уотсону, что чем преступление обыденней, тем интереснее и сложнее его разгадка,— занимается он по большей части делами необычайными. Мэгре имеет дело с повседневностью, бытом, зауряднейшими людьми в зауряднейших ситуациях. На преступление их толкает, как правило, корысть, страх, озлобление, неустроенность. Утрата тех самых моральных ценностей, иллюзорной консервацией которых и является миф Мэгре. В романах Сименона попадают гнусные личности вроде Дандюрана и Рамюэля, но в них нет злодеев. Преступления, расследуемые комиссаром Мэгре, куда более социальны, то есть в большей мере обусловлены общественной атмосферой, чем загадки, которые решает Холмс. Но именно поэтому они неискоренимы, пока существует эта атмосфера. Холмс может рассчитывать на то, что превращение сыска в позитивную науку снабдит общество мощным орудием в борьбе с преступностью, что разом восторжествует в ходе общего прогресса. Себя он ощущает предтечей логики будущего. Мэгре себя ничем не тешит. Неподвиж-

ность Мэгре исключает какие-либо радужные перспективы. Никаких надежд Мэгре не возлагает ни на развитие науки, ни на общественный прогресс. Если ему нужно почерпнуть силы, он скорее оглядывается на прошлое. Больше, чем кто-либо другой, Мэгре ощущает ограниченность своих возможностей, частный характер того мгновенного вторжения справедливости в мир неравенства, которое осуществляет он, Мэгре.

В противоположность Холмсу, который охотно рассуждает о своем дедуктивном методе — для этого ему и придан жадно внимающий Уотсон,— Мэгре не любителю выражать свои мысли вслух. Торанс, Люкас и другие инспекторы, подчиненные Мэгре, ему помогают, выполняют скучные филерские обязанности, мерзнут и мокнут под дверьми, роются в документах, но никогда не служат оселком для оттачивания метода.

В «Смерти Сесили» он, пожалуй, наиболее внятно формулирует свою убежденность в том, что преступники до преступления — «еще не преступники... В течение тридцати, сорока, пятидесяти лет, а то и больше, они ничем не отличаются от прочих...», и свое кредо — что раскрыть преступление можно, только «вжившись», проникнув в обстановку, привязанности, интересами обвиняемого и жертвы, атмосферой их существования,— и едва скрытое сожаление, что он, Мэгре, лишь на короткое время соприкасается с судьбами виноватых и невинных: либо передает преступника в руки судебных, либо отпускает невинного, которому предстоит продолжить свой неравный поединок с жизнью.

«Частный», ограниченный характер справедливости, вершиной Мэгре, роднит полицейского комиссара, как это ни покажется парадоксальным, с «благородным разбойником» народных легенд. С поправкой, разумеется, на наш скептический век, не верящий ни в бога, ни в черта, ни в то, что человек по природе добр.

Мэгре, однако, служит в полиции. Он не более как винтик сложного механизма, обеспечивающего определенный порядок. Механизма, издавна скомпрометированного, продажного (никого, к примеру, не удивило, что чины парижской полиции оказались соучастниками похищения Бен Барки и его убийства), издавна ненавистного, презираемого. Но тут опять проступает мифическая

природа комиссара Мэгре, к которому полицейская грязь не липнет. Представитель классового, кастового учреждения, он индивидуально не только не защищает порученные ему интересы правящего класса, но идет постоянно им наперекор, отстаивая Справедливость. Плебей до мозга костей, он всегда на стороне бедных против богатых, слабых против сильных.

Отношения Мэгре с начальством, с прокурорами и следователями, всегда натянуты. Его кабинет на набережной Орфевр — жарко натопленное логово индивидуалиста, из которого Мэгре крайне неохотно вылезает, когда звонок призывает его в начальственный кабинет префектуры полиции или смежного здания Дворца правосудия. Вообще-то не склонный к театральным жестам и хитроумным мизансценам, Мэгре никогда не упустит случая поглядеть против шерсти следователя Бонно, введя к нему в кабинет мистера Кларка в наручниках, после того как следователь специально рекомендовал ему, Мэгре, известному своей неотесанностью, держаться подальше от богатого американца, которому покровительствует посольство, или эффектно разоблачить убийцу Филиппа Делижара — одного из столпов провинциального общества — непосредственно в кабинете городского прокурора. Разумеется, ни Жорж Сименон, ни его читатель всерьез не верят, что в конфликте Мэгре — государственный аппарат благородный комиссар может взять верх, но всякий раз, как плебей Мэгре может наставить нос нобиям, он делает это с неизменным, почти мальчишеским удовольствием.

Детектив — это может показаться парадоксальным только на первый взгляд — самый дидактический жанр прозы. В нем обнажены и конкретизованы представления о должном и преступном, справедливом и подлом. В нем непременно присутствуют положительный герой — без страха и упрека, и герой отрицательный — злодей.

Его герой — в особенности если он приобретает мировую известность, перебравшись со страниц книги на экраны кино-

театров, — моделирует сознание, выступает в качестве эталона поведения.

Игра, разыгрываемая в детективе, всегда игра нравственная, но, как и в любой игре, в ней возможны жульничество, подставка моральных ценностей. Детектив, взятый в XX веке на вооружение буржуазной «массовой» культурой, выполняет тоже воспитательные функции, но, что называется, с обратным знаком. Джеймс Бонд агрессивно бездумен и бессовестен. Никто не ужаснется, что преступил заповедь «не убий», раздавив случайно муравья. Бонду человек — что букашка. Про Бонда, убивающего направо и налево, даже не скажешь, что он жесток, потому что жестокость подразумевает нарушение элементарной гуманности, а для Бонда жизнь человеческая не в счет, он ничего не нарушает. Джеймс Бонд неуязвим, огнеупорен, телеуправляем — идеальный человекообразный робот для уничтожения, подавления, устрашения. Герой Сименона — анти-Бонд, возникший в предчувствии надвигающейся катастрофы. Не приписывая Сименону пророческого ясновидения, приходится все же сказать, что человечность Мэгре, старомодная, наивная, отеческая его доброта тем выше сегодня в цене, чем редкостней она становится под натиском стереотипированной бонд-культуры, утверждающей силу и наглость как основные мужские и государственные достоинства.

Меланхолический колорит романов Сименона, дожди и туманы, почти постоянно сопровождающие расследования Мэгре, объясняются не столько дурным климатом Франции, сколько печальным сознанием тщеты одиноких усилий полицейского моралиста. Силы Мэгре несоразмерно малы, но у мифа о человеке, благородно защищающем малых сих, глубокие крестьянские корни. И хоть современная, возвращающая фашизм цивилизация с ее апологией цинизма и насилия рубит это дерево под корень, читатели и почитатели Мэгре, по-видимому, лелеют надежду, что старый корень даст новые ростки. Поэтому миф, именуемый комиссар Мэгре, имеет право на существование.

Л. ЗОНИНА.

Полигика и наука**«...ВОЖДЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ
ИНТЕЛЛЕКТУ»**

Письма В. И. Ленину из-за рубежа. «Мысль». М. 1966. 429 стр.

Крупным политическим фигурам, деятельность которых еще при их жизни признается современниками исторической, всегда сопутствуют легенды. Иногда легенды эти творятся не без участия самого героя, и люди принимают их, потому что иных данных, иной информации у них нет. Но гораздо чаще, и это бывает, когда речь идет о действительно великих исторических деятелях, легенды рождает обилие информации, в которой современники видят совпадение реальных черт героя с представлениями эпохи, народа о великом человеке.

Публикация архивных документов, мемуаров играет в этих двух случаях разную роль. В первом — они нередко полностью разрушают легенду, потому что фигура, которая встает из строк документов и воспоминаний, не имеет ничего общего с тем героем, которого представляли себе современники. Во втором случае каждый новый документ лишь дополняет новыми штрихами и красками уже сложившийся образ, вновь и вновь укрепляет его. Именно это и происходит каждый раз, когда мы сталкиваемся с новыми материалами о Ленине.

Издательство «Мысль» выпустило сборник «Письма В. И. Ленину из-за рубежа»¹. В этот сборник включено двести документов. Многие из них увидели свет впервые. Многие публиковались в различных изданиях ранее. Можно было бы поспорить с составителями сборника о принципе подбора тех или иных документов, о том, чьи и какие именно фрагменты из мемуаров стоило включать в него. Можно было бы указать и на некоторые фактические неточности. Но дело не в этом. Материалы сборника настолько интересны, что хочется лишь одного — чтобы как можно больше читателей внимательно ознакомилось с ним.

В сентябре 1958 года один из ораторов на Оксфордской «конференции современных деятелей церкви» с грустью признал, что произведения В. И. Ленина переводятся и распространяются во всем мире в большем количестве, чем библия, столетиями державшая эту монополию, и больше, чем какие-либо другие книги. На рубеже XX века Ленин был известен в лучшем случае лишь несколькими сотням его единомышленников и товарищей по борьбе. Прошло всего несколько десятков лет — и сегодня имя его, его идеи известны миллионам людей во всем мире. Чем объяснить это столь стремительное и глубокое распространение и влияние ленинских идей на судьбы человечества? Свой, хотя и далеко не полный, ответ на этот вопрос мы найдем в сборнике.

В 1922 году, размышляя над итогами первых десятилетий XX века, Ленин отметил одну из наиболее характерных особенностей новой эпохи — необычайное ускорение развития исторического процесса. «Основная причина этого громадного ускорения мирового развития, — писал он, — есть вовлечение в него човых сотен и сотен миллионов людей... За эти двадцать лет началась и выросла в непобедимую силу революция в странах с населением до одного миллиарда и свыше...»².

Начало положила первая русская революция 1905—1907 годов, оказавшая мощное воздействие на рост освободительного движения во всем мире. Она завершила так называемый «мирный» период развития капитализма и открыла период политических потрясений и революционных битв эпохи империализма. Октябрь потряс весь современный мир до основания, дал новый гигантский толчок, необычайно ускоривший эти процессы.

Пробуждаясь к сознательной политической жизни, к борьбе за свое освобождение, миллионы людей в различных частях земного шара спрашивали: к чему им идти? Чего добиваться? Во имя чего восставать? И перед их глазами вставало зарево русской революции, свет ленинских идей.

¹ Составители сборника К. Ф. Богданова и А. П. Якушина. Общая редакция В. В. Аникиеева и А. А. Соловьева.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 174, 175.

Ленин заглянул в будущее гораздо дальше, увидел суть происходящих процессов гораздо глубже, чем кто-либо другой из его современников-марксистов. Ленин выдвинул ясную программу революционного решения сложнейших социальных проблем, стоявших перед человечеством, создал пролетарскую партию, способную возглавить революцию, сплотившую вокруг своего знамени сначала тысячи, а затем миллионы людей.

«В буре страстей, разыгравшихся по окончании войны, в период прилива революционного вала имя Ленина было единственным ярким, неугасимым светом среди общей сумятицы и борьбы» — это пишет один из основателей итальянской компартии, Умберто Террачини (документ № 136). «Знает, что требуется и как этого добиться!» — говорит о Ленине лидер английских тред-юнионов Джек Таннер (№ 105). «Ленин произвел в политической области более мощный переворот, чем тот, который был вызван в промышленности изобретением паровой машины», — заявляет Жак Садуль (№ 92). «...Что меня в особенности поражает в его учении, в его интеллекте и воле — это его умение искать и отличать в огромной комедии человечества действительность от слова и фантома. Он дал современной мысли цель, привел на настоящий путь прежние попытки, действовавшие ощупью, дал чувство действительного творчества и позитивизма... Он показал, что отныне произойдет великая перемена в самом порядке вещей» — это пишет Анри Барбюс (№ 164). «Он так глубоко, так мощно направил руль своей воли в хаотический океан мягкотелого человечества, что борозда его долго, долго не изгладится в волнах; несмотря на все бури, корабль несется на всех парах к новому миру» — это Ромен Роллан (№ 166).

Но не только ленинские идеи, выдвнутая им программа преобразования мира, поражали современников, но и удивительная целостность самого Ленина — как личности, как мыслителя и вождя, человека и революционера. «Эпохи социальных переходов и потрясения старых форм производства и форм старого уклада жизни, — пишет хорошо знавшая Ленина голландская писательница Генриетта Роланд-Гольст, — всегда являются также эпохами внутренней разорванности личности. В такие времена имеется лишь очень немного людей вполне цельных и внутренне крепких. Ленин был таким человеком, он был вылит из одного цельного куска, и отсюда вытекает целостность его жизни» (№ 167). А вот мнение Д. И. Вайнкопа, знавшего Ленина более десяти лет: «В Вас я вижу соединенными несравненное чувство реализма русского сельского и городского трудового народа, как оно показано в его лучших литературных произведениях, и универсальность древних греков...» (№ 110).

В начале XX века, наблюдая суетность, мелкое тщеславие и политиканство государственных деятелей, многие вполне соглашались с Карлейлем, считавшим Наполеона последним великим человеком на земле. Русская революция внесла в эти представления свои поправки. Она выдвинула такую плеяду гигантов, которыми могла бы гордиться история любой страны и любого народа. Американец-полковник Робинс, которого трудно заподозрить в предвзятости, писал: «...Первый Совет Народных Комиссаров, если основываться на количестве книг, написанных его членами, и языков, которыми они владели, по своей культуре и образованности был выше любого кабинета министров в мире». И Ленин в глазах всего мира был признанным руководителем этого правительства.

Для многих выдающихся деятелей той эпохи его личность была неразрывно связана с революцией, с тем местом, которое он в ней занял. Но все они великолепно понимали, что он занял это место только потому, что был личностью гениальной. «Подобного положения нельзя достигнуть, не обладая из ряда вон выходящими умственными и нравственными достоинствами», — пишет итальянский коммунист профессор Антонио Грациадеи (№ 107). Бернард Шоу, для которого политические деятели всегда были лишь объектом насмешек, в 1921 году дарит свою книгу Ленину, как «единственному европейскому правителю, который обладает талантом, характером и знаниями, соответствующими его ответственному положению» (№ 165). Ту же мысль коротко формулирует и Джон Рид: «Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему интеллекту...» (№ 173).

Все это не просто мысли интеллектуалов, искренне радующихся появлению гениальной личности. Многие современники Ленина понимали, что в революции он видел не только решение тех проблем, которые стояли перед пролетариатом. Они воспринимали его не только как вождя и теоретика рабочего класса, но и как глубочайшего мыслителя века. Они могли не разделять всех его идей, они пытались по-своему бороться за идеалы мира, демократии, просвещения народов, но и им было ясно, что для достижения этих идеалов Ленин, коммунисты сделали гораздо больше, чем любые другие государственные деятели и политические партии, которых знала история.

Ромен Роллан писал: «Я не разделял идей Ленина и русского большевизма и никогда не скрывал этого. Я слишком индивидуалист (и идеалист), чтобы примириться с марксистским кредо и его материалистическим фатализмом. Но именно поэтому я придаю величайшее значение великим личностям, именно потому я питаю к Ленину чувство крайнего восхищения. Я не знаю другой, столь же могучей личности в Европе нашего века... Никогда еще человечество не создавало властителя дум и людей столь абсолютно бескорыстного» (№ 166).

Герберт Уэллс беседовал с Лениным в 1920 году. «Признаюсь,— писал он,— до тех пор мне приходилось встречать столь оригинального мыслителя...» Но и после этой беседы Уэллс, автор «Машины времени», человек, пытавшийся заглянуть в далекое будущее, не поверил в реальность того пути, по которому уже шла Россия. Ленин так и остался для него «кремлевским мечтателем». Но прошли еще годы, и он записал: «Я далеко не сторонник теории об исключительной роли «великих людей» в жизни человечества, но уж если говорить о великих представителях нашего рода, то я должен признать, что во всяком случае Ленин был действительно великий человек». Американский епископ Броун в связи с его письмом Н. К. Крупской пишет: «Миллионы людей, не интересующихся социалистическим движением, глубоко восхищаются ее героическим и талантливым мужем. Я считаю, что он был самым великим из всех людей, которые когда-либо жили» (№ 152).

Сталин писал как-то, что до Октября 1917 года большевики представляли собой лишь «национальную силу, действительную лишь для России и внутри России»¹. Достаточно просмотреть документы первого раздела сборника — «В дооктябрьские годы», — в который включены письма Ленину из Бельгии, Болгарии, Голландии, Италии, Франции, Швейцарии, Японии и Америки, письма от лидеров тогдашнего рабочего движения, достаточно проследить его роль в работе конгрессов II Интернационала, перечитать его статьи по важнейшим вопросам стратегии и тактики революции, печатавшиеся в зарубежных рабочих газетах, чтобы убедиться, что уже в те годы большевики во главе с Лениным стояли в авангарде международной революционной социал-демократии. И с каждым десятилетием XX века влияние и распространение ленинских идей шло вперед гигантскими шагами.

Октябрь 1917 года сделал имя Ленина для всего человечества синонимом революции, борьбы за мир и освобождение. «...Никогда вождь и учитель рабочего класса,— пишет один из видных деятелей компартии Великобритании, Роберт Стюарт,— не пользовался таким могуществом и таким влиянием во всем мире. С 1917 г. его имя стало, как говорят у нас в Англии, «домашним» словом» (№ 126). Из Южной Африки С. Дамбе писал: «Тяжелые условия работы у нас, еще тяжелее ленинская работа среди неграмотных черных народов. Но они чутьем знают, что Ленин — это их знамя, их маяк освобождения» (№ 163). Умберто Террачини: «Его уважали не только как вождя далекой русской революции, теоретика пролетарского движения... Каждый итальянский рабочий и крестьянин видел в Ленине вождя надвигающейся итальянской революции... Он как бы воплощал в себе грядущее пролетариата» (№ 136). А вот письмо с другого конца планеты: «Вы придете в изумление, когда из самого сердца Колумбии... до Вас и Ваших товарищей донесется возглас похвалы и восхищения, вызванный грандиозной работой социального строительства, предпринятого Вами на развалинах старой России» (№ 57).

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 5, стр. 105.

Письма, включенные во второй раздел сборника — «Рожденные эпохой Октября», — великолепно подтверждают мысль Ленина о том, что после победы революции главное влияние на развитие мирового революционного процесса Советская республика оказывает своим примером, своими успехами в социалистическом строительстве. Если вековая мечта угнетенных всего мира о государстве действительной свободы и социальной справедливости будет осуществлена, никакие силы реакции не смогут противостоять ей.

Американские рабочие писали Ленину: «Вы, русские рабочие, взяв в свои руки контроль и создавая новый общественный строй, творите больше, чем свое собственное будущее: вы вдохновляете и ускоряете революционное движение, подобного которому мир еще никогда не видывал. Рабочие, оставшиеся до сих пор глухими ко всей нашей пропаганде, увидев зарю нового дня... теперь радостно слушают нас» (№ 25). Английский лейборист Бен Тернер, побывав в Москве, пишет Ленину: «Ваша страна богата идеалами, развивая которые ваши деловые, реалистически мыслящие мужчины и женщины совершают дело международного значения... Ваша решительная и научно обоснованная попытка создать рабочую республику является чудесным примером для всех» (№ 45).

Впрочем, цитировать документы, подтверждающие эту мысль Ленина, нет необходимости. По существу об этом в той или иной форме говорят все материалы сборника. Б. Рунге — работник бюллетеня «Инпрекорр», бывшего тогда одним из источников информации для зарубежной коммунистической и рабочей печати, — рассказывает о своей беседе с Лениным: «Прежде всего, сказал Ленин, он (бюллетень.— В. Л.) должен систематически помещать подробные сообщения о Советском Союзе — первом в мире государстве рабочих и крестьян. Лживым и клеветническим сведениям о Советском Союзе, которыми наводняют мир наши противники, мы должны противопоставить свои правдивые сведения и объяснять, особенно рабочим кругам, подлинную сущность пролетарской революции и ее успехи» (№ 182).

Но и клевета врагов не могла помешать распространению ленинских идей. Комментируя один из «шедевров» антикоммунизма, опубликованных газетой «Таймс», Ленин писал: «...Я должен принести английским империалистам и капиталистам в лице их органа, богатейшей в мире газеты «Times», свою почтительнейшую признательность и благодарность за превосходную пропаганду в пользу большевизма» (№ 37). С такой же «почтительной» надписью он «посвятил» Ллойд Джорджу — одному из первых апологетов антикоммунизма — и свою книгу «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». И в этом была не только ирония Ленина, но и «ирония истории».

Ленинские идеи распространялись коммунистами изустно и через печать, открыто и из подполья. И многие из тех, чьи письма и воспоминания вошли в сборник, были первыми «апостолами» ленинских идей, первыми, кто принес их в свою страну, своему народу.

Кем был для них Ленин? В июле 1920 года делегаты II конгресса Коминтерна решили записать в особую книгу то, что они думают о нем. Эти записи составляют третий раздел сборника — «Говорят товарищи по борьбе». Почему записать? Да потому, что высказать все это самому Ленину практически было невозможно. Всего за несколько месяцев до этого, в дни пятидесятилетия Ильича, такой опыт уже был проделан. Окончился он весьма плачевно. С «юбилейного» заседания IX съезда партии Ленин ушел, а на «торжественную часть» вечера, организованного, несмотря на его возражения, МК, «опоздал». А когда явился, то в своем выступлении высмеял обычай «подобных юбилейных празднеств»¹. Об этом случае все было достаточно хорошо осведомлены.

И вот — красная книга «Делегаты Конгресса о товарище Ленине». «Великий дух Маркса снова ожил в Ленине» (Т. Квелч, Англия). «Самый благородный представитель человечества» (делегат Индии). «Вы счастливый человек...» (Д. И. Вайнкоп, Голландия). «В его имени заключается протест, борьба, освобождение» (Дж. М. Серрати, Италия). «Смелый, потому что справедливый» (Маринг, Ява). «Как говорят шотландцы: «Пусть долго дымится труба его дома» (В Мак-Лейн, Англия). Пересказывать эту книгу нет

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 325.

смысла. Это документ огромной силы, который надо читать. Причем все эти отзывы пишут не политические юнцы, восторженно взирающие на своего вождя. За спиной делегатов конгресса большая жизнь, огромный политический опыт. Они даже немного стесняются своих эмоций. «Я,— пишет Мак-Лейн,— не приверженец культа героев. Социалистическое движение так градиозно, что в сравнении с ним даже его величайшие вожди кажутся пигмеями. Однако, несмотря на все это, Николай Ленин...». «Мы,— пишет Серрати,— не поклонники фетишей, и с нашей, коммунистической точки зрения отдельные личности в исторических событиях играют роль путеводных вех, но не главных движущих сил». В чем же дело? В том, что все это было для них не просто проявлением эмоций, а объективным фактом. Просто, как пишет чешский делегат М. Ванек, «на Вашем примере, товарищ, видно, что пролетарская революция требует не только объективных условий в общественном строе, но и творческих носителей идей, личностей, в равной мере пронизательных и гениальных духом...».

Многим из тех, чьи письма и воспоминания включены в сборник, довелось не раз встречаться с Лениным, подолгу беседовать с ним. «Ленин с большим удовольствием,— пишет один из организаторов компартии Великобритании, Томас Белл,— беседовал с приезжающими из-за границы, задавал им вопросы и внимательно прислушивался ко всяким мелочам, говорящим об условиях труда и быта рабочих масс и об их настроениях. Это был один из каналов, связывавших жизнь и политику Ленина с жизнью и борьбой трудящихся масс» (№ 178).

Очень часто те, кто входил в кабинет Ленина, шли к нему как «на прием» — посмотреть на своего вождя, получить от него те или иные указания, а то и просто послушать своего великого учителя. А получалось нередко наоборот. «Какой бы решимости,— пишет американская журналистка Луиза Брайант,— забросать его вопросами ни бываешь пренесполнен, всегда уходишь от него, поражаясь тому, что сам ты только что без конца говорил и, вместо того чтобы спрашивать, сам непрерывно отвечал на его вопросы. У Ленина необыкновенная способность вызывать собеседника на разговор и располагать его к откровенности» (№ 176).

Помогало Ленину, безусловно, и знание языков. С немцами он говорил по-немецки. С французами по-французски. Итальянцев приветствовал по-итальянски. «Он совершенно свободно говорил по-английски,— пишет один из организаторов компартии Японии, Сэн Катаяма,— и был очень внимателен к каждому, кто с ним говорил, а также очень, очень хорошо умел слушать. Он умел каждого удовлетворить и ободрить. Мы все чувствовали себя хорошо и совершенно как дома» (№ 180). А происходило это потому, что собеседник был для него не только «каналом» информации, как выразился Томас Белл. Он всегда представлял для Ленина интерес и как личность. Иначе беседа не клеилась. И когда Ленин спрашивал у Цеткин о ее сыновьях (№ 179), у Томаса Белла о том, как он добрался, как устроился и как чувствует себя, то это не было обычной данью вежливости. Это был искренний человеческий интерес к человеку. И собеседники Ленина всегда чувствовали это.

Многие из тех, чьи письма и воспоминания включены в сборник, видели Ленина лишь на трибуне,— казалось бы, немного для того, чтобы говорить о своем восприятии этой гигантской и многогранной личности. Но, оказывается, и в этих привычных обстоятельствах они — политические деятели, видевшие на своем веку немало блестящих ораторов,— столкнулись с тем, что поразило и восхитило их. «Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок... Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки... Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улыбаясь; голос его был с хрипотцой... Никакой жестикуляции». Это запись Джона Рида (№ 173). Он же подводит итог своим наблюдениям: «Ничего, что напоминало бы кумира толпы». Но тут же отмечает: «Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него, исполненные обожания... Простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории».

История знала немало политических деятелей, чьи выступления, полные артистизма и блеска эрудиции, вызывали всеобщее восхищение. История знала и ораторов, чей тем-

перамент и эмоциональность заражали аудиторию, заставляли «сопереживать» речь. Ленин принадлежал к другому типу ораторов. Не эмоциональный взрыв энтузиазма, а революционное просвещение и убеждение масс — вот цель, которую он ставил перед собой, выходя к аудитории. Он заставлял слушателей не «переживать», а думать вместе с ним. К каждой мысли, к каждому выводу он подводил аудиторию силой своих аргументов и убежденности. И каждая его мысль становилась собственной мыслью его слушателей.

«Он не пользовался никакими ораторскими приемами. Он анализировал, делал выводы и постоянно ссылался на хладнокровное взвешивание всех обстоятельств, а еще больше на здравый человеческий смысл.— Это пишет чешский коммунист Бедржих Рунге, слушавший Ленина на IV конгрессе Коминтерна.— Он никогда не становился сентиментальным, использовал голую действительность, великолепную действительность. Ленин часто улыбался, и его лицо с могучим лбом было постоянно озарено иронической улыбкой и умным взглядом, которым он окидывал собрание, выискивал лица и с ними разговаривал» (№ 182).

А вот впечатления Сэн Катаямы: «Товарищ Ленин говорил приблизительно три часа, не обнаруживая никаких признаков усталости, почти не меняя интонации, неуклонно развивая свою мысль, излагая аргумент за аргументом, и вся аудитория, казалось, ловила, затаив дыхание, каждое сказанное им слово. Товарищ Ленин не прибегал ни к риторической напыщенности, ни к каким-либо жестам, но он обладал чрезвычайным обаянием... Я наблюдал многочисленную гсепу и не видел ни одного человека, который бы давился или кашлял в продолжение этих трех часов. Он увлек всю аудиторию» (№ 180).

Вильгельм Пик слышал выступление Ленина о новой экономической политике в 1921 году: «В простой манере, не повышая голоса и не делая лишних жестов, объясняет Ленин необходимость этого мероприятия. Товарищи слушают, боясь проронить хотя бы одно слово. Правда, то здесь, то там раздаются порой реплики... Оппозиция. Ленин отвечает в заключительном слове. В его словах — сарказм. Совершенно иной стала атмосфера собрания. Продолжительнее, оживленнее стали аплодисменты. Ленин завоевал аудиторию, критически настроенную к новой экономической политике» (№ 183).

Одно обстоятельство в этих выступлениях нередко удивляло его слушателей. «Ленин умел быть самокритичным. Мы были очень удивлены,— пишет Б. Рунге,— когда услышали из его уст следующие слова...» (№ 182). И он приводит слова Ленина из его выступления на IV конгрессе в ноябре 1922 года: «Несомненно, что мы сделали и еще сделаем огромное количество глупостей. Никто не может судить об этом лучше и видеть это нагляднее, чем я». Шутка Ленина вызвала в зале дружный смех. Но Рунге имел в виду не только эту шутку. В докладе, посвященном пятой годовщине революции, Ленин не только дал характеристику огромных успехов советской власти, но вместе с тем дал и обстоятельный анализ внутривластного кризиса, который республика переживала в начале 1921 года. Зачем понадобилось ему в этот торжественный день, выступая перед иностранными коммунистами, возвращаться хоть и к недавнему, но уже преодоленному прошлому?

Еще в годы первой мировой войны, конспектируя Гегеля, Ленин выписал одно чрезвычайно понравившееся ему место: «...Опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научались из истории и не действовали согласно урокам, которые из нее можно было бы извлечь»¹. Этот «всеобщий закон косности» необходимо было сломать.

Большевизм, указывал Ленин, прошел путь, который по разнообразию и богатству опыта не имела никакая другая партия. Им, этим партиям, еще предстояло пройти этот путь, и опыт большевиков должен был показать путь к победе и предотвратить или по крайней мере предостеречь от повторения ошибок и неудач. Действительно революционная партия, говорил Ленин на IV конгрессе, должна знать не только, как наступать, но, что еще важнее, как отступать в случае поражений. «...Если мы учтем этот урок наряду со всеми другими уроками из опыта нашей революции, то это нам не только

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 281.

не принесет никакого вреда, но, весьма вероятно, принесет нам во многих случаях пользу»¹.

Те трудности, указывал Ленин, которые преодолела наша партия, не есть явления чисто русские, а то, что еще предстоит, будет стоять перед рабочими партиями других стран. Именно поэтому, отвечая на злободневные вопросы международного пролетарского движения, выступая на конгрессах Интернационала, работая над «Детской болезнью «левизны» в коммунизме», он прежде всего анализирует свой путь, историю большевизма, русской революции, страницы ее блестящих побед и невеселые страницы поражений, извлекая из этой истории опыт, который поможет понять причины тех явлений, которые беспокоили его в пролетарском движении за рубежом.

Вильгельм Пик рассказывает, как, будучи у Ленина, он и Геккерт детально рассказали ему о появлении в среде немецких коммунистов «ультралевой» оппозиции. «Он внимательно слушает нас, ни разу не перебив, — искусство, которым владел Ленин. Когда мы кончили, он с присущей ему простотой ободрил нас. В РКП(б) преодолели уже гораздо большие трудности. С лукавой улыбкой и приветливым блеском в глазах он рассказал нам кое-что об этом» (№ 183). В передаче такого опыта братским компартиям Ленин видел интернациональный долг большевиков.

Этот интернациональный долг он видел и в ликвидации тех политических и экономических трудностей, которые переживала наша страна и с которыми партия вела повседневную открытую и напряженную борьбу. Да, главное влияние на развитие мирового революционного процесса Советская республика оказывает своими успехами. Но не меньшее влияние, к сожалению отрицательное, оказывают на него и наши трудности и недостатки. В этом смысле, говорил Ленин на IV конгрессе, голод, разразившийся в стране после победоносного окончания гражданской войны, был «таким несчастьем, которое грозило уничтожить всю нашу организационную и революционную работу»². Понимали это и зарубежные друзья Советской России. Американские рабочие писали Ленину: «Ваша борьба по самому своему существу — наша борьба, ваша победа — наша победа, и поражение, нанесенное вам, будет ударом в лицо нам» (№ 25). «...Советская власть, — пишет Ленину из Колумбии Хозе Гомец, — имеет целью или переделать мир, достигнув победы в установлении коммунизма, или же похоронить идеалы большевизма в случае неудачи» (№ 57).

Ленин не скрывал ни от партии, ни от народа, ни от зарубежных коммунистов тех трудностей или «шибок», с которыми столкнулись большевики, когда они выступили на «деловую дорогу», когда они «должны были подойти к социализму не как к иконе, расписанной торжественными красками»³.

За два десятилетия до этого — в «Что делать?» — Ленин писал: «...Для того, чтобы воспользоваться опытом движения и извлечь из этого опыта практические уроки, необходимо дать себе полный отчет о причинах и значении того или другого недостатка. В революционном деле, указывал Ленин, сознание недостатков — это уже «больше чем половина исправления!»⁴. Этому он учил и братские коммунистические партии: «Открыто признать ошибку, вскрыть ее причины, проанализировать обстановку, ее породившую, обсудить внимательно средства исправить ошибку — вот это признак серьезной партии, вот это исполнение ею своих обязанностей, вот это — воспитание и обучение к л а с с а, а затем и массы»⁵.

Вся буржуазная печать смаковала эти ошибки и неудачи, трубила о них на всех перекрестках. На IV конгрессе Ленин шутил по этому поводу: «Если наши противники нам ставят на вид и говорят, что, дескать, Ленин сам признает, что большевики совершили огромное количество глупостей, я хочу ответить на это: да, но, знаете ли, наши глупости все-таки совсем другого рода, чем ваши... Если большевики делают глупости, то большевик говорит: «Дважды два — пять»; а если его противники... делают глупости,

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 282.

² Там же, стр. 285.

³ Там же, стр. 308.

⁴ Там же, т. 6, стр. 32, 33.

⁵ Там же, т. 41, стр. 41.

то у них выходит: «Дважды два — стеариновая свечка»¹. За полгода до этого, выступая перед XI съездом партии, Ленин говорил: «Все революционные партии, которые до сих пор гибли,— гибли оттого, что зазнавались и не умели видеть, в чем их сила, и боялись говорить о своих слабостях. А мы не погибнем, потому что не боимся говорить о своих слабостях и научимся преодолевать слабости»².

Это было время мощного подъема мирового революционного движения, быстрого роста политического сознания рабочего класса, массового возникновения коммунистических партий. Документы сборника достаточно наглядно говорят об этих процессах. Но Ленин видел не только успехи растущего коммунистического движения.

Уже в письмах 1919 года, поступавших к Ленину, стали проявляться признаки того явления, которое позже он назвал «летской болезнью «левизны» в коммунизме». Ее тенденции проступали в письме Бела Куна, писавшего, что задержка революции на Западе во многом объясняется отсутствием там «руководящих лиц, которые обладали бы революционным опытом» (№ 39). Проявилась она и в письме деятельницы английского рабочего движения Сильвии Панкхерст (№ 36).

В этом письме она просила Ленина использовать свой гигантский авторитет среди пролетариев всего мира и обратиться к английским рабочим с призывом отдать «все свои силы непосредственному революционному выступлению», хотя и заявляла тут же, что в данный момент вызвать революционные настроения в широких массах невозможно. Логика ее размышлений была необычайно проста: многие рабочие уже «приходят к убеждению в необходимости революции» — значит, нужны лишь «руководители, которые помогли бы им организовать ее».

Надуманнные схемы всегда удобнее строить, если те или иные сложные явления разложены по полочкам и пронумерованы. Поэтому все рабочее движение Англии, все его партии она распределила по семи группам. В первых трех группах преобладали, по ее мнению, или «люди с приличной внешностью», или «очень самоуверенные и в высшей степени снисходительные ко всем преступлениям капитализма», или же люди, «зараженные буржуазностью», и «политики устарелого типа, лишенные всякого идеализма и широкого кругозора». В других группах ее более всего привлекали те, которые стремились объединить беднейшую часть городского населения, и те «замечательные люди, в характере которых при всем их великодушии и гуманности чувствуется некоторая беспощадность, которая окажется нам очень необходимой, когда наступит революция». Критерием этой классификации, кроме «психологических» наблюдений, было отношение тех или иных групп к парламентаризму. Причем Панкхерст сразу же заявляла, что «партия, пользующаяся успехом на выборах, с революционной точки зрения безнаджна».

Ленин ответил очень тактично (№ 37). Он начал с азов. Программой, которая способна и должна объединить пролетарских революционеров, является борьба за диктатуру пролетариата. Из всех групп, указанных Панкхерст, он вычленил несколько наиболее перспективных с точки зрения коммунистической пропаганды. Но делает он это не по признакам «приличной внешности» или «беспощадности», а по степени их связи с пролетарскими массами. Принципиальный отказ от парламентской деятельности — это ошибка. В ней сказывается отсутствие революционного опыта. Революционная рабочая партия должна быть партией массовой. Связанной с большинством трудящихся. Должна быть сплоченной организацией революционного авангарда, умеющей вести работу в массах всеми возможными способами. В том числе и парламентскими.

Разногласия по второстепенным вопросам, в том числе и по вопросу об участии в парламенте, несущественны и из-за них не следует раскалывать коммунистов. О необходимости борьбы за единство Ленин пишет и Лаццари: «Я уверен, что весь твой авторитет и энтузиазм старого и преданного революционера будут отданы на службу великой цели, которую мы себе ставим,— прочному и искреннему объединению всех истинных революционеров» (№ 83).

Позднее, когда тактичный тон по отношению к сектантам не дал желаемых резуль-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 291.

² Там же, стр. 118.

татов, Ленин пришел к выводу о возможности раскола, но не с теми, кто допускал ошибки в вопросах парламентаризма, а с сектантами. «Раскол все же лучше,— писал он,— чем путаница, мешающая и идейному, теоретическому, революционному росту, созреванию партии и ее дружной, действительно организованной, действительной подготавливающей диктатуру пролетариата, практической работе»¹. Относительно же призывов к «непосредственным революционным действиям» он прямо указывал, что бросать в решительный бой один только авангард, не обеспечив поддержки широких масс, есть прямое преступление.

В отличие от закоренелых сектантов, для которых целью была сама революция, и только революция, а масса лишь послушным объектом «руководства», Ленин шел по другому пути — не народ для революции, а революция для народа. Он рассматривал социалистическую революцию как условие прогресса всего человечества, как предпосылку «для дальнейшего роста цивилизации»². А эту свою задачу, считал он, она может выполнить лишь тогда, когда идеи социализма овладеют сознанием масс. Понимание масс, связь с массами, работа в массах, просвещение масс, наконец завоевание масс — все это было для Ленина не методом революционной борьбы, а главным ее содержанием, самим ее существом. «Он учил нас,— писали американские коммунисты,— понимать силу масс, и это понимание остается у нас как одно из великих его наследий» (№ 127).

XX век пробудил к политической жизни и вывел на историческую арену миллионы и миллионы людей. Но это не означает, что они «естественно», сами по себе, становятся под знамя социализма, знамя борьбы за передовые идеи эпохи. Среди этих миллионов пролетариат отнюдь не составляет большинства, а мелкобуржуазная масса может стать союзником не только коммунистического движения. После Октября идеи социализма приобрели колоссальное влияние среди угнетенных всего мира. Выступать против них открыто становится необычайно сложно, так же как становится все более невозможным строить серьезную политику без масс, без учета их настроений. И антиподы коммунизма прибегают к мимикрии. Они охотно кричат о «р-р-революции», об «интересах народа», используют в своих целях и псевдоантиимпериалистическую и псевдосоциалистическую фразеологию, паразитируют на массовых движениях.

Призывая зарубежных коммунистов упорно учиться самим и энергичнее работать над просвещением масс в духе коммунистических идей, борьбы за мир, демократию и социализм, Ленин предупреждал их от каких бы то ни было «прекраснодушных» иллюзий. В 1922 году, после беседы с итальянскими товарищами (№ 181), рассказавшими ему о своих схватках с фашистами, но не придавших еще должного значения самому факту появления и первых шагов фашизма, Ленин на конгрессе Коминтерна говорил, что именно фашизм должен убедить итальянцев в том, «что они еще недостаточно просвещены и что их страна еще не гарантирована от черной сотни»³.

С помощью демагогии, пробуждая фанатизм и низменные инстинкты, опираясь на темноту и политическую неразвитость масс, реакция не раз делала их своим слепым орудием, превращала массы в послушную толпу. И если они выходили на политическую арену в таком качестве, под таким знаменем — делу социализма, делу прогресса и цивилизации наносился неизмеримый ущерб. В таких случаях философы нередко вообще объявляли массу принципиальным «личным противником прогресса».

Величайшая заслуга коммунистов и их вождя Ленина перед человечеством заключается в том, что всей своей деятельностью они не только способствовали и способствуют пробуждению масс, но и все свои силы, всю энергию отдают их просвещению и организации, помогают осознать свои действительные интересы, поднимают до уровня сознательных борцов за интересы всего народа, всего человечества, то есть превращают их из «страдающего» объекта в субъект истории, в силу, способную сознательно влиять на ее ход. И чем успешнее идет этот процесс, тем шире и глубже распространяются повсюду ленинские идеи. Именно эти глубочайшие социальные сдвиги, проходящие во всем мире, сделали и делают имя Ленина достоянием миллионов.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 93.

² Там же, т. 45, стр. 380.

³ Там же, стр. 293.

После смерти Ленина Жак Садуль писал: «История дает нам примеры, что титанические гении, рождающиеся раз в тысячелетие, так сказать, ненасытны и истощают родившую их почву. Это гигантские дубы, их могучие корни исчерпывают все соки земли, в громадной тени которых не могут развиваться и погибают молодые деревья. Мировая буржуазия убаюкивает себя мыслью, что за последние шесть лет на громадном русском горизонте, на котором революционный энтузиазм зажег сердца миллионов, не появилось ни одной новой личности на смену Ленину. Она воображает, что великая революция поражена после него бесплодием.

Но она жестоко ошибается. В скором времени мир увидит, что из благословенного лона России выйдет великолепное поколение героев-созидателей... Исчезновение лучших голов французской Горы дало некогда возможность честолюбию Бонапарта украсть у французского народа тот цвет талантов, свежих и бодрых сил, которые родили последние шесть лет испытаний буржуазной революции. Но русская революция сумела удалить своих бонапартов... Лучшие ученики Ленина живут. Его преданные помощники, тысячи и тысячи пролетариев, возвращенные его гением, крупнейшие и скромнейшие его сотрудники, миллионы горячих ленинцев в старом и новом мире упорно и страстно продолжают его дело. Они несомненно доведут его до конца» (№ 135).

В. ЛОГИНОВ.



ЛИЦО СТРАНЫ

Советский Союз. Географическое описание. В 22 томах. Армения. «Мысль».
М. 1966. 343 стр.

Глянцевая, с цветной на белом фоне фотографии Еревана суперобложка. Золотисто-желтый матерчатый переплет. Много карт, фоторепродукций, среди которых есть и цветные... Перед нами «Армения» — первый том большого научно-популярного издания, выпускаемого издательством «Мысль». На титульном развороте перечислены все двадцать два тома, которые составят серию. Каждой из союзных республик посвящается отдельный том, а огромной Российской Федерации — семь книг; в них будет рассказано о Центральной России, Урале, европейском Севере, европейском Юго-Востоке, Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Один том посвящен общему обзору страны — природе, людям и хозяйству Советского Союза в целом.

Начало публикации такого труда — значительное событие в культурной жизни нашей страны. Этого издания ждали много лет. Мы знаем изданные в прошлом географические многотомники. Популярное издание двенадцатитомной «Живописной России» осуществил П. П. Семенов-Тянь-Шанский. Было предпринято и более серьезное монументальное издание — «Россия. Полное географическое описание нашего отечества», вдохновленное тем же Петром Пет-

ровичем (к 1914 году увидели свет лишь одиннадцать из задуманных им двадцати томов). Примечательно, что и сегодня эти фолианты, при всей устарелости содержания, не потеряли значения — и как ценнейшие историко-географические документы о предреволюционном лике России, и как путеводители по ее историческим местам и живописным уголкам.

О яркости, доходчивости, понятности страноведческих описаний говорил Н. В. Гоголь. Он заботился об умении «схватывать верно и выставлять сильно и выпукло черты и свойства народа, и всякую местность со всеми ее красками... выставлять так ярко, чтоб она навсегда осталась в глазах...».

Насколько близко к этому наше издание?

На клапане суперобложки первой книги читателю сообщается:

«Многотомное издание «Советский Союз» — первое за годы советской власти научно-популярное географическое описание нашей многонациональной страны и тех коренных изменений, которые произошли во всех областях ее жизни за истекшие 50 лет.

Это издание отличается высоким научным уровнем и простым, ясным языком. Живые описания природы, хозяйства и культуры строятся в нем на четко отобран-

ных, самых важных, самых характерных фактах и цифрах, конкретно и ярко рисующих лицо республики или района. При этом главное внимание уделяется районам, крупным городам, достопримечательным местам».

Анонс обязывающий. Для массового подписного издания (тираж первого тома 90 тысяч) доступность научного содержания необходима. Но сочетание высокого научного уровня с живостью и ясностью изложения — дело не простое. Легко ли отобрать самое важное и характерное из обильных фактических данных? Как обойти сложные термины? Ведь и в популярном описании нельзя не упомянуть о воздушных массах и климатических фронтах, о геологическом возрасте территории, о тектонических структурах ее недра...

К тому же, картина нужна не статичная, не моментальная фотография одного, хотя бы и юбилейного, года. Отразить надо самую жизнь в ее динамике, нарисовать меняющееся лицо родной земли в ходе строительства социализма и коммунизма.

Что мешало нам раньше выпустить подобное издание? Наша география переживала не только удивительный рост, но и сопутствующие ему «болезни роста». Шли затяжные дискуссии о самом предмете географии и даже... о ее нужности людям. Предвзято-пренебрежительное отношение к «описательной географии», искусственно культивируемое рядом ученых, не способствовало популярности идеи Н. Н. Баранского о «Большой географии», отпугивало авторские кадры. Замыслам нового «полного» географического описания отечества мешали и догматики-теоретики. Они возбраняли географам «смешивать» природные и общественные закономерности, принуждая авторов к раздельным характеристикам природы и хозяйства.

Схоластическим запретам положен конец. Призыв ко всей советской науке усилить внимание к изучению связей между природными и общественными явлениями раскрепостил и географию. И вот результат: о природе нашей страны, о ее географической среде, об общественном использовании природных ресурсов издается солиднейший труд, не страдающий никаким «смещением закономерностей». Эти двадцать два тома должны прозвучать как гимн в честь хозяйственных и культурных успехов Советского Союза за полвека.

Социалистический патриотизм формируется не только сознанием преимуществ нашего строя, не только убежденностью в верности и прогрессивности марксистско-ленинского мировоззрения. «Чувство родины» возникает у нас и при воспоминаниях о ее отдельных уголках — у каждого о своих: у кого — о дубаве в Средней Руси, у кого — об оазисе в Каракумах или о рыбацкой гавани у подножья камчатского вулкана. Мы любим прежде всего то, где выросли, что сами видели, что, особенно явственно представляем. А как мало мы сами видели и знаем, несмотря на всю быстролетность современного транспорта и на всю расторопность кинооператоров!

Многотомник «Советский Союз» поможет шире и глубже познать нашу родину, а значит, и лучше оценить ее богатства, ее красоту. Речь идет о красоте в самом широком смысле: о гармонии красок и пропорций в природе, о щедрости ее ресурсов и пафосе их освоения, о великой рукотворной красоте гигантов промышленности, городов и дорог, мостов и плотин, сокровищ культуры и искусства.

Читатель поймет и стройность закономерностей, которым подчинен ландшафт, и логику размещения производительных сил, удивится несметности привлекательных местностей, нередко невиданных и неслыханных. Каждый станет богаче и счастливее, если расслышит, что вся природа страны звучит, как единая симфония, — эту «высшую прелесть естествознания» предвкушал еще В. В. Докучаев.

Но читатель призван не просто любоваться природой — он ощущает себя ее хозяином. Вот почему в этой серии говорится не только об успехах в освоении природы, но и о неудачах, о поисках путей наиболее разумного использования ее ресурсов. Хорошо, что в томе «Армения» рассказана история проекта преобразования озера Севан: описано и первое, ошибочное, решение, приведшее к непродуктивной растрате вековых запасов вод озера, изложена и ныне осуществляемая программа спасения и полностью хозяйского освоения Севана.

Все хорошее в этом томе вселяет надежду, что и остальные выпуски окажутся не хуже. Текст написан авторами любовно, с увлечением и гордостью за свою маленькую, но столькими успехами прославленную республику. Естественно, что ядро книги составляет характеристика человека и

его деяний — об этом говорят и общий очерк истории страны, и развернутая картина хозяйства по отраслям и районам. И правильно сделали авторы, что вынесли справочные данные и таблицы в приложения.

Армения встает перед нашими глазами как страна чудес электрификации и выплавки ценнейших металлов, изощренной химии и вдохновенного виноделия, страна, дающая такую долю многих видов продукции, которая в сотни раз больше места, занимаемого в СССР самой Арменией и по численности населения (менее одного процента), и по размерам территории (0,13 процента). Республика видна и сквозь призму времени, это земля древнейшей культуры, возрожденная после многовековых страданий. Перед нами народ, находившийся на грани физической гибели и воспрянувший в результате победы советской власти, обретший здесь на малой части древней Армении, свою кровную родину и построивший на ней менее чем за полстолетия мощное индустриальное хозяйство, развивший многограннейшую культуру. Армению — страну науки, поэзии, музыки — знают во всем мире. Не случайно в географическую характеристику «вторглись» имена выдающихся деятелей армянской науки и культуры — Сарьяна, Хачатуряна, Исаакяна, Орбели, Амбарцумяна и многих, многих других!

Занял свое достойное место в географии и быт народа. Отброшен нелепый взгляд на этнографию как на якобы только историческую науку «об отрывках и пережитках». Лицо современных армян, их уклады, костюмы, жилища, пища — все это оказалось органической частью единой географической картины.

Хорошо, что республика очерчена по традиционному историческому делению страны, совмещающему в себе совокупность представлений и о природе и о людях каждого района. Поочередно описаны Арарат, Ширак, Гугарк, Севан и Сюник. Их синтетические портреты образуют лучшую часть тома.

Но весь ли текст одинаково популярен? К сожалению, нет. Читателя не раз поджидает скачка с препятствиями. Увлечательность в разных местах тоже разная: есть главы сухо протокольные, есть и живые странички, и нестандартные заголовки.

О недостатках книги придется говорить «в порядке самокритики». Рецен-

зент — сам член редколлегии издания «Советский Союз», несущий свою долю коллективной ответственности за содержание и этого тома. Но на примере первого тома стóбит гласно обсудить все, о чем редакторы издания еще не спорили, подумать о том, какие промахи можно предотвратить в предстоящих томах.

Не везде дало плоды стремление к комплексности картин. Лицо районов показано разносторонне и целостно, а в общем обзоре республики проступает традиционное рассмотрение природы и хозяйства по отраслевым полочкам. Давно известно, что этот недостаток преодолить: дать главу о географическом положении республики — и в нее войдет столько сведений о климатических и иных влияниях соседних земель на описываемую, что отраслевые главы сразу будут разгружены. Нужны были бы и разделы о природных ресурсах, об использовании, охране и преобразовании природы.

Работая над остальными томами, нужно позаботиться о большей яркости географических характеристик. Дело не в эстетически-вкусовых нормативах, хотя и стремление к литературной выразительности, образности, эмоциональной окраске текста следует, конечно, поощрять. Совершенство географического описания — в его логике, последовательности, доказательности, в глубине раскрытия причинно-исторических связей, в умелом отборе и группировке фактов, в гармонично найденных пропорциях, в расстановке нужных акцентов.

Чем безупречнее географический портрет страны или района, тем сильнее вооружит он агрономов, экономистов, строителей, партийных и советских руководителей пониманием местных особенностей, а значит, научит их лучше хозяйствовать на своих землях, — это ли не служба «описательной географии» практике?

С развитием науки, с усложнением методов исследований, с чудовищным нарастанием информации всесторонне описывать территории становится все труднее. Этому нужно долго и упорно учиться. Учиться такому мастерству, где бы заданная еще Гоголем выразительность совмещалась с глубиной новейших откровений науки.

Не могу не высказать претензии к фотоиллюстрациям тома. Многие из них серы, улыбки, безлики. В отличие от зовущего, соблазняющего текста они совсем не манят

скорее поехать в Армению. Прельстит ли любителей тускляя картинка на странице 108? Позовет ли автомобилиста показанное одними заградительными столбиками «Шоссе в Севанском бассейне» на странице 167 (кстати, что это за «шоссе в бассейне»)? Разве хоть доля райского очарования Арагатской равнины передана сереньким пейзажем на странице 178? Невыразителен снимок полупустынных предгорий на странице 55. Некоторые снимки слишком уменьшены в размерах. Может быть, это сделано от желания экономить место? Но в книге скорее удивляет обилие пустых столбцов и явная растрата листажа на повторение двадцати (!) фотографий в надуманном декоративном фотофризе над вступительным текстом. По замыслу авторов это, очевидно, некий «фотопролог», синтетический набор самых типичных картин. Попробуй догадайся. Скорее приходишь к выводу, что это плод небрежности издателей. Да и уйдешь ли от этого впечатления, если и вне декоративного фриза одни и те же снимки повторяются — уже явно по рассеянности хозяев книги? Хранилище древних рукописей удостоилось почти одинакового изображения дважды (на страницах 104 и 192—193), а руины храма Звартноц даже трижды (на страницах 11, 72—73 и совсем рядом — 75).

Географическому показу страны очень помогли бы две-три репродукции картин прославленных армянских пейзажистов — Сарьяна, Башинджагяна... Будь здесь, например, воспроизведен в цвете хоть один из видов Севана кисти Зардаряна, он воспринимался бы как песня о сказочном озере.

Юбилейное издание по географии СССР требует более высокой культуры, вкуса и техники в подборе и воспроизведении фотоиллюстраций. Нужны и специальные съемки по сценарному заданию авторов томов с привлечением лучших фотохудожников и репортеров. Кстати, почему их труды оставлены безымянными? Авторы снимков перечислены «чохом» в конце книги, так что создатели нескольких отличных работ делят неудачу с авторами посредственных снимков — ведь неизвестно, что чье.

Такая же игра в прятки учинена и с авторами текста. На титульном листе упомянуты ответственный редактор тома и четыре автора: неизвестно, кто из них какие разделы писал. Кому мы обязаны удачами и кому — неудачами?

Картографические иллюстрации на куда большей высоте, чем фотографии, и по содержательности и по исполнению. Книга вместила как бы маленький атлас Армении. Непонятно только, зачем так настойчиво выносятся на отдельные столбцы соседних страниц условные знаки, когда поля самих карт остаются пустыми. Это неудобно и опять-таки расточительно. Не везде карты хорошо связаны с текстом.

К сожалению, красочная обзорная карта республики, вклеенная в конце тома, недостаточно выразительна — ее не назовешь достойной уровня советской картографии и юбилейного издания. Думается, что генеральные обзорные карты в следующих томах должны исполняться с блеском, чтобы наш многотомник выглядел в этом отношении не хуже аналогичных изданий других стран. Ведь и в Японии, и во Франции, и в Польше это делают лучше.

Конечно, никто не хотел бы видеть юбилейное издание архаичным. Но зачем понадобилось оснащать его такими переходящими приметам времени, как вошедшее в моду из дешевых приемов западной журналистики растрепывание набора? Взгляните на оглавление: оно не столько раскрывает структуру книги, сколько затрудняет поиски нужного материала. Едва ли оправдано размещение текста в два столбца. Оно придает тому не свойственный его содержанию облик казенно-справочного издания. Хорошо, что в один, а не в два столбца, притом курсивом, набран вступительный текст, — этим как бы подчеркнута эпичность его содержания. Но зачем понадобилось размещать прозу в виде стихотворных строк? Если бы это оправдывалось хоть смысловой группировкой фраз! А ведь что получается:

Советская Армения очень мала, но по разнообразию природных условий, многогранности хозяйственной и культурной жизни она не уступает многим более обширным странам.

И в том же духе на целых десяти страницах.

Вот и извольте угадать, почему верхняя строка кончилась словами «но по!» Ни ритма, ни рифмы, ни интонации — только формалистический трюк, от которого ни красоты, ни радости.

Столь же неудачно, в угоду формальному приему, размещены тексты к иллюстра-

циям: не под ними, а сверху. Иногда — например, на страницах 26 и 27 — читатель должен догадываться, что текст левой страницы простирает свое содержание не на один, а на два снимка двух соседних страниц.

Размер «надрисуночных» подписей пляшет и нарушает прельстившую оформителей архитектурную стройность верхнего уровня страниц. Значит, этот прием вредит и форме и содержанию. Неужели решено «так держать» во всей серии?

Словом, еще многое в первом томе могло

быть лучше и может быть предотвращено в следующих выпусках. Серийность не страдает: лучше пусть один первый том понесет на себе, как родимые пятна, эти изъяны первого блина, чем равнять под него всю серию.

А пока — поздравим и семью географов, и подписчиков нового издания с началом публикации подлинно Большой географии Советского Союза — долгожданного монументального портрета родины.

Ю. ЕФРЕМОВ.



В ЗАЩИТУ ИСТИНЫ

Л. М. Еремеев. Глазами друзей и врагов. О роли Советского Союза в разгроме фашистской Германии. Предисловие Маршала Советского Союза М. В. Захарова. «Наука». М. 1966. 272 стр.

Двадцать два года миновало со дня Победы, а идеологические битвы вокруг минувших событий не затихают ни на один день. В США, Англии, ФРГ все роды идеологического оружия — кино, радио, печать, искусство, литература — мобилизуются на то, чтобы «внести поправки» в историю. Одни хотят не по заслугам вознести роль американцев и умалить англичан, другие из кожи лезут вон, чтоб обосновать вывод, что победа Советского Союза над гитлеризмом была «случайной». Находятся еще и такие, кто утверждает, что Советское государство устояло благодаря лишь экономической помощи союзников. А такие авторы, как западногерманский историк Ганс Якобсен, проводят мысль о том, что немецкий рейх потерпел поражение вследствие мощных бомбардировок промышленных центров Германии американско-английской авиацией, что, мол, с 1943 года рейх был «парализован» бомбардировками. В США нашелся отставной генерал Эдвин Уокер, который всерьез стал утверждать, что один американский корпус со своей обычной артиллерией мог бы захватить Сталинград в период битвы на Волге в течение... двух дней. Битые фашистские генералы Вестфаль и Шпейдель на всех перекрестках трубят о решающей роли союзных армий в минувшей войне.

И какой бы из этих доводов ни взять в отдельности, при сколько-нибудь внимательном рассмотрении каждый лопается подобно мыльному пузырю.

Правда общеизвестна: именно на Восточном фронте вооруженные силы гитлеровской Германии и ее союзников потерпели самые крупные поражения и понесли наиболее тяжелые потери в людях и боевой технике. Достаточно сказать, что на советско-германском фронте было разгромлено 607 дивизий гитлеровцев и их союзников, в то время как на всех остальных фронтах — 178. Потери гитлеровской Германии в войне против Советского Союза достигли десяти миллионов человек! Это три четверти ее общих потерь во второй мировой войне.

Несостоятелен довод и об экономической помощи союзников. Подсчитано, что общий удельный вес импорта СССР по отношению к массе отечественного производства составил всего четыре процента. Да и массовые поставки начались лишь со второй половины 1943 года, когда произошел коренной перелом в ходе войны и наши военные заводы в самых широких масштабах наладили производство боевой техники и других средств, необходимых для ведения боевых действий.

Смехотворно выглядит утверждение Г. Якобсена, что лишь бомбардировки союзников подточили в 1943 году ресурсы рейха. Спрашивается, как же тогда Гитлеру удавалось еще два с половиной года на отдельных фронтах порой сосредоточивать миллионные армии?

Что же касается заслуг союзных армий, то мы и сегодня, спустя двадцать два года после победы, не умаляем вклада свободолюбивых народов в разгром фашизма. Но

вместе с тем каждый советский человек испытывает законную гордость от того, что наш вклад в благородное дело уничтожения фашизма был решающим. Перемалывая фашистские дивизии на огромном фронте, Советская Армия и Военно-Морской Флот не только уничтожали живую силу и технику врага, действовавшего против них, но и оказывали колоссальную помощь странам антигитлеровской коалиции.

Вот почему ныне, когда апологеты новой войны хотят задним числом извратить историю великой Победы, мы даем резкую отповедь тем, кто пытается отрицать решающую роль Советского Союза в разгроме фашизма. Слишком дорогой ценой досталась нам победа. Свыше двадцати миллионов советских людей заплатили за нее своей жизнью.

За последние годы советские историки создали немало книг, правдиво отображающих события второй мировой войны. К числу таких книг принадлежит и новая работа Л. М. Еремеева «Глазами друзей и врагов». Она раскрывает всемирно-историческую роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии. Автор собрал выдержки из воспоминаний, телеграмм, заявлений, дневников, посланий, статей, писем, речей государственных, политических, общественных деятелей, писателей, журналистов с первого дня нападения гитлеровской Германии на Советский Союз до полного ее разгрома. Но хронологические рамки книги значительно шире. Автор показывает, как еще задолго до лета сорок первого года у главарей фашистского рейха зрел план будущей войны.

Вопреки укоренившемуся на Западе мнению о том, что Гитлер принял решение о нападении на СССР в конце 1940 — начале 1941 года (план «Барбаросса»), автор приводит свидетельства из других источников. Еще 22 августа 1939 года, за неделю до начала второй мировой войны, на совещании в Оберзальцберге Гитлер произнес одну из своих программных речей, в которой заявил: «Польша будет обезлюжена и населена немцами... с Россией, господа, случится то же самое... Мы разгромим Советский Союз. Тогда грядет немецкое мировое господство».

Пользуясь многочисленными и порой еще мало известными у нас работами, вышедшими на Западе, автор разоблачает политику правительств США, Англии, Франции в период назревания гитлеровской агрессии

против СССР. В 1944 году в США вышла в свет книга бывшего заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Самнера Уэллеса «Время решений». В 1940 году автор ее посетил Европу, где встречался с главами правительств и руководителями внешней политики Англии, Франции, Италии и Германии. Крупные финансовые торговые круги в западных странах, включая и Соединенные Штаты, считали для себя благом войну между Советским Союзом и гитлеровской Германией. Представители этих кругов, пишет Уэллес, утверждали, что «Россия непременно потерпит поражение, и тем самым будет ликвидирован коммунизм, а также что Германия, ослабленная в результате этого конфликта на многие годы, не сможет быть реальной угрозой для остального мира».

Битвы под Москвой, Сталинградом, Ленинградом и Севастополем, на Курской дуге показали всему миру силу и крепость первого в мире социалистического государства, его способность без чьей-либо помощи разгромить гитлеровский фашизм.

«Сталинград стал поворотным пунктом второй мировой войны», — напишет потом в своих мемуарах гитлеровский генерал Ганс Дёрр. Видимо, его американский коллега Эдвин Уокер плохо изучил воспоминания битых фашистов, если способен ныне утверждать, что один американский корпус в течение двух дней овладел бы Сталинградом. Следует напомнить Уокеру, что пять армий Гитлера и его сателлитов, насчитывавшие не один десяток корпусов, были разгромлены у стен волжской твердыни. Погребальным звоном прокатилось это известие по Германии. А у народов, кому дороги были жизнь и свобода, оно укрепило надежду, что с фашизмом можно покончить. Именно в те дни в беседе с советским послом в Лондоне И. М. Майским Герберт Уэллс убежденно заявил: «Теперь, после вашей победы на берегах Волги, исход войны не может вызывать сомнений, Гитлер будет разгромлен, фашизм вырван с корнем...» А после Курской битвы президент США Ф. Рузвельт сказал: «Если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то возможно, что будущей весной второй фронт... и не понадобится».

Антикоммунистическая политика и стратегия бывших наших западных партнеров, заставлявшая их тянуть с открытием второго фронта, только возвеличила авторитет

Советского Союза в глазах народов, помогла всем ясно увидеть, кто же нанес решающее поражение фашизму. «...Мы,— пишет англичанин С. Морисон,— всегда с тоской будем думать о том, как было бы замечательно, если бы мы могли разбить Германию на год раньше,— было бы потеряно гораздо меньше жизней, было бы меньше разрушений, но, что самое главное, мы значительно бы меньше зависели от России». Ему вторит голос американца Т. Хиггинса: стратегический конфликт между Великобританией и США по вопросу второго фронта в Европе «был наиболее важной причиной того, что Советский Союз вышел из второй мировой войны как основной победитель».

Нам думается, нет нужды оспаривать эти утверждения. За минувшие двадцать с лишним лет после окончания второй мировой войны народы мира хорошо научились отличать истину от лжи, и никакие разглашательства с миролюбии, скажем, хозяев Белого дома, не в силах поколебать решимости людей всех континентов отстаивать свободу и независимость Вьетнама. Люди судят о политике правительств не по словам, а по делам. Книга Л. Еремеева посвящена недавним урокам истории, которые не мешало бы помнить тем, кто их забыл.

Документы, собранные в книге, свидетельствуют о несостоятельности попыток некоторых зарубежных мемуаристов, так называемых «исследователей», выдать белое за черное, извратить историю, умалить вклад советского народа в благородное дело разгрома фашизма.

«Признания наших бывших союзников и наших бывших противников,— пишет в предисловии к книге Маршал Советского Союза М. В. Захаров,— это свидетельства, которые не могут потерять силы «за давностью времени».

Книга Л. Еремеева — не летопись боевых действий, а попытка, как объясняет сам автор, собрать, систематизировать и донести до сведения читателей, интересующихся историей минувшей войны, наиболее значительное из того, что говорилось или писалось государственными, политическими и военными деятелями различных государств, сообщалось корреспондентами газет и радиобозревателями, высказывалось в интервью, докладах, личных письмах об общем ходе борьбы и наиболее значительных событиях на Восточном фронте. Собрав воедино эти материалы, автор дал им вторую жизнь, адресовав свою книгу самому широкому кругу читателей.

В. СМОЛИН.

★

ИСТОРИК, ПУБЛИЦИСТ, БОРЕЦ

С. В. Оболенская. Франц Меринг как историк. «Наука». М. 1966. 219 стр.

Книга кандидата исторических наук С. В. Оболенской — не жизнеописание выдающегося немецкого историка и публициста, а историографическое исследование и в то же время интересный рассказ об исканиях честного и талантливого человека.

Буржуазный демократ, находившийся под сильным влиянием Лассалля в начале своего творческого пути, умеренный реформист, инстинктивно тянувшийся к марксизму, а затем убежденный последователь Маркса и один из ревностных пропагандистов марксизма — таков Франц Меринг. В конце своего жизненного пути он стал одним из основателей Коммунистической партии Германии.

Франц Меринг родился в 1846 году и скончался в 1919 году. Немецкий историк жил и трудился в эпоху, когда мир быстро менял свое лицо. Он не успел почувствовать

дыхания революций 1848 года, потрясших Европу,— ему было тогда всего два года. Но он был современником Парижской коммуны, на его глазах происходила первая русская революция 1905 года и мировая война 1914—1918 годов. Меринг одним из первых в Германии приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

Он был подлинным человеком XIX века: мятущаяся душа с ее сомнениями и исканиями, душа, жаждущая истины и познания. Но он был и истинным представителем нового, XX века, с неутоленной жаждой деятельности ради переустройства общества на разумных и справедливых основах.

В Меринге органически сливались два начала — гуманиста и революционера. Автор книги достоверно передает сложность его натуры, противоречивость его взглядов и

эволюцию их со всеми зигзагами и отступлениями.

Велика работа, проделанная С. В. Оболенской по изучению источников, литературы и других материалов. Необходимо было проанализировать значительное по объему, разнообразию и богатству мыслей литературное наследство Франца Меринга. С. В. Оболенская проштудировала и материалы германского рабочего движения, с которым так тесно был связан «герой ее романа», а также монографии и статьи историков и публицистов, глубоко выникла в сущность принципиальных разногласий Меринга с буржуазной историографией и сумела показать значение часто не очень заметных нюансов точек зрения в идеологической борьбе.

В результате исследования, проведенного С. В. Оболенской, сделан новый шаг вперед в изучении немецкой историографии XIX и XX веков и влияния на нее марксистских идей.

Большое достоинство рецензируемой книги — ее объективность. Автор не затушевывает слабых сторон творчества Франца Меринга и не ищет извинения им. Ее задача, очевидно, другая: беспристрастно рассмотреть значение Франца Меринга как историка и определить влияние, которое он оказал на утверждение идей марксизма в немецкой историографии, а также показать ту роль, которую сыграл Меринг в борьбе с враждебной марксизму буржуазной идеологией. Все творчество Меринга было подчинено одной цели: ломке устоявшихся представлений официальной историографии об историческом пути, пройденном германским государством и немецким народом.

Уже в своей первой крупной работе «Легенда о Лессинге» (1892) Меринг выступил против созданной официальными немецкими историками во главе с Генрихом Трейчке легенды о якобы особой национальной, социальной и культурной миссии прусского королевского дома Гогенцоллернов в истории Германии. Все, что было сделано «истинно великого», было связано с Пруссией, утверждал Трейчке. Немецкие буржуазные историографы изображали известного немецкого просветителя Готхольда Эфраима Лессинга сподвижником Фридриха II, утверждая, будто расцветом своего творчества Лессинг обязан благотворному влиянию на него прусского короля. Поэтому, берясь за разрушение легенды о Лессинге, Меринг

тем самым приступал и к разрушению легенды об особой «прусской миссии». Мерингу удалось убедительно показать связь и взаимодействие национального объединения Германии с потребностями капиталистического развития. Немецкий историк беспощадно сорвал покров с просвещенного прусского абсолютизма и показал, что за ним скрывается «всего лишь хищное юнкерское правление». Подробно разобрав деятельность «старого Фрица» (то есть Фридриха II) во всех сферах государственной жизни, Меринг показал, что пресловутый «король бедняков» проводил всегда антинародную политику, соответствующую интересам юнкерства.

Всесторонний классовый анализ прусского государства в его развитии вооружил Меринга необходимыми средствами для разрушения легенды о Лессинге. Впервые в немецкой историографии засверкал образ немецкого гуманиста и просветителя, выразителя интересов нарождающейся буржуазии в ее борьбе против феодализма. Все лучшее в наследстве Лессинга принадлежит самому передовому классу — пролетариату.

«Легенда о Лессинге» была важной вехой на творческом пути немецкого историка, так как сам Меринг в начале своего пути находился, как правильно отмечает С. В. Оболенская, под сильным влиянием Лассаля и на зрелой своей общественно-научной деятельности преувеличивал роль прусской монархии и Фридриха II в истории Германии. Постепенно под благотворным воздействием идей Маркса Меринг овладевает методом исторического материализма и коренным образом меняет свои представления об историческом процессе.

Франц Меринг убедился, и это он отразил в своих сочинениях, что главной задачей официальной немецкой историографии являлось прославление деспотизма и войн, с тем чтобы заставить народ безропотно повиноваться. Носителей освободительного движения в истории, писал Меринг, «всячески унижают; тех, кто был враждебен народу, возводят в ранг героев». Отвергая буржуазные представления о движущих силах истории, Меринг писал: «Тот, кто понимает историю XIX века все еще как историю королей, священников, полководцев и государственных деятелей, тот никогда не поймет правильно ее движущих сил, это гораздо более история труда и трудящихся...»

Истории пролетариата и отдал свой незаурядный талант Франц Меринг. Служение делу трудящихся стало главной целью жизни немецкого историка, публициста и революционера. Во всех своих работах, и особенно в «Истории германской социал-демократии», а затем в «Истории Германии с конца средних веков», в своих военно-исторических работах Меринг решительно отстаивает марксистские воззрения на природу исторического процесса, движущих сил истории и роль личности.

Франц Меринг отвергал преувеличенное представление о роли «великих людей» в истории. В статье «Кое-что о великих людях», опубликованной еще в 1885 году, он впервые высказал свою точку зрения на роль личности в истории. С. В. Оболенская приводит эти замечательные строки: «Нет более глупого предассудка, как в истории, так и в политике, чем почитание великих людей, которые... делают историю». И далее: «Отдельный человек, как бы он ни был значителен, есть все же лишь крошечная частица по сравнению с целым, с народом, который один только и порождает великие события». Эта принципиальная оценка роли личности в истории, данная Мерингом, соответствовала воззрениям основоположников марксизма. Уже в «Легенде о Лессинге» Меринг развенчал легенду об одном из таких «великих людей» — Фридрихе II. «Признавая известные способности «просвещенного деспота» в области философии и поэзии,— пишет С. В. Оболенская,— Меринг решительно отвергал легенду о его замечательных экономических и государственных дарованиях. С годами юношеские, незрелые познания короля в политической экономии и государственных делах стали застывшими представлениями. Он становился все язвительней и враждебней к прогрессу науки».

В написанной Мерингом первой в мире научной биографии Маркса — замечательной работе, которая и поныне не утратила своего значения и по-прежнему привлекает читателя не только глубоким научным анализом и яркостью формы изложения, но и тем почти непередаваемым оттенком подлинного гуманизма, который отличает творчество людей незаурядных,— Франц Меринг вновь возвращается к проблеме роли личности в истории. Стоит привести его слова полностью: «Никогда, быть может, не было столь беспощадно искренних в самокритике политиков, как Маркс и Энгельс. Они были

вполне свободны от того беспощадного упорства, которое вопреки самому горькому разочарованию все же старается продолжить самообман, воображая, что оказалось бы правым, если бы то или иное случилось иначе, чем оно фактически произошло. Они были свободны также и от всякого бесплодного пессимизма; они извлекали уроки из поражений, чтобы с усиленной энергией вновь приняться за подготовку победы».

Меринг обращал внимание на то, что к «личному успеху» Маркс относился с презрением, хотя «как истинный ученый вовсе не был лишен научного честолюбия, и узнавать об успехе своих трудов было для него большой радостью».

Примечательны в связи с этим и рассуждения Меринга о судьбе выдающегося человека, «гения», как именовал его Меринг, в буржуазном обществе. Можно добиться личного успеха, писал Меринг, если примириться с существующим порядком. Таков был Гёте, ставший государственным министром герцогства Саксонского, таков был Гегель, являвшийся королевским профессором в Пруссии. «Но,—развивает далее свою мысль немецкий историк,— горе гению, если он в гордой независимости и недоступности противопоставляет себя буржуазному обществу, если он предсказывает и подготавливает его близкую гибель, раскрывая тайну этой гибели в самых глубоких истоках его бытия; горе ему, если он кует оружие, которое нанесет смертельный удар этому обществу. Для такого гения у буржуазного общества нет ничего, кроме мучений и пыток; они с виду, может быть, и не кажутся столь грубыми, но внутренне они еще более жестоки, чем мученический крест древности и костры средневековья».

Гибель буржуазного общества неотвратима — таков лейтмотив творчества Франца Меринга. В «Истории германской социал-демократии» он с особой силой подчеркивает, что это общество будет уничтожено пролетариатом. Рабочее движение — «обратимый, закономерный процесс, который завершится всемирно-исторической победой пролетариата».

Относясь очень серьезно и принципиально к своей профессии историка и публициста, Меринг резко выступал против произвольного подхода к историческим явлениям, отрыва их от общего содержания исторического процесса. Реквизит этого метода (Меринг называл его «методом цитирования»)

несложен. Это груды книг, ножницы, клей, корзина для бумаг и лишь в последнюю очередь перо.

С. В. Оболенская рассматривает и общественно-политическую сторону деятельности Франца Меринга. Значительную часть своей жизни прославленный историк и публицист отдал немецкому рабочему движению. Он занимал почетное место в рядах германской социал-демократической партии. Его страстные передовые в «*Нейе цейт*», в «*Лейпцигер фольксцейтунг*» пользовались большой популярностью. Неустанный проповедник марксизма, Франц Меринг снискал себе немало друзей. Среди них были Август Бебель, Клара Цеткин, Роза Люксембург, Карл Либкнехт. Было у него и немало недругов...

Франц Меринг принадлежал к числу тех немногих деятелей германской социал-демократии, которые осудили поддержку своими лидерами империалистической войны. Уже с конца июля 1914 года Меринг выступал с антивоенными статьями, а после 4 августа 1914 года он вместе с Розой Люксембург, Карлом Либкнехтом, Кларой Цеткин и другими немецкими социал-демократическими деятелями, оставшимися верными принципу

пролетарского интернационализма, неустанно боролся против социал-шовинистов.

Меринг был одним из основателей нелегальной революционной группы «Спартак». В семидесятилетнем возрасте он был брошен кайзеровскими властями в тюрьму, где провел несколько месяцев. Одобрив позицию Меринга по отношению к империалистической войне, рабочие избрали его весной 1917 года депутатом прусского ландтага.

Накануне пятидесятой годовщины нашей революции уместно вспомнить, что Франц Меринг приветствовал установление первой в мире диктатуры пролетариата. Уместно напомнить и о том, что 25 июня 1918 года ЦИК РСФСР избрал Франца Меринга членом Социалистической Академии.

Выдающийся немецкий историк оставил после себя большое литературное наследство. Многие его работы не потеряли своей ценности и в наши дни. Обширная библиография, помещенная в рецензируемой книге, поможет тем, кто захочет поближе познакомиться с творчеством великолепного историка, острого публициста и пламенного борца

А. НЕКРИЧ.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О КАКОЙ СТАТЬЕ ЛУНАЧАРСКОГО ПИСАЛ ЛЕНИН?

Недавно завершено издание Полного собрания сочинений В. И. Ленина является результатом огромной работы по собиранию и изучению драгоценного ленинского литературного наследия. Эта работа выполнена в целом очень тщательно, на высоком научном уровне — и в своей текстологической, и в комментаторской части — и получила заслуженную оценку в нашей печати.

Однако в таком большом и сложном деле возможны, особенно в научно-справочном аппарате издания, некоторые промахи и неточности. Учитывая, что к этому изданию будут обращаться как к самому надежному источнику на протяжении многих лет все изучающие Ленина, его жизнь, деятельность, творчество, не следует замалчивать те или иные выявившиеся неточности и ошибки, тем более что их можно еще оговорить и исправить в готовящихся указаниях к собранию сочинений.

Такая ошибка, требующая исправления, содержится в примечании, сопровождающем письмо В. И. Ленина, написанное в мае 1913 года и адресованное А. М. Горькому (см. т. 48, стр. 180).

В этом письме имеется такая фраза: «А «ваш» Луначарский хорош! Ох, хорош! У Метерлинка-де «научный мистицизм»...»

В томе 48 Полного собрания сочинений указывается, что в приведенных строках письма Ленин говорит о фельетоне Луначарского «Страх и надежда (Рождественский разговор)». Действительно, такой фельетон Луначарского был напечатан в № 357 газеты «Киевская мысль» от 25 декабря 1912 года. Но комментаторы Полного собрания сочинений некритически приняли на веру то, что было сказано в примечаниях еще ко второму и третьему изданиям сочинений Ленина (т. XXIX, стр. 36). То же утверждение было повторено без необходимой проверки и в литературе о Луначар-

ском: в книге А. Кривошеевой «Эстетические взгляды А. В. Луначарского» («Искусство». М.—Л. 1939, стр. 56) и совсем недавно — в редакционной вступительной статье к восьмитомному собранию сочинений Луначарского (т. I, стр. XVI). Однако, ознакомившись с названным фельетоном, позднее перепечатанным в сборнике статей Луначарского «Идеи в масках», нельзя не усомниться в том, что Ленин в данном письме имел в виду именно статью «Страх и надежда». Ведь в этой статье нет даже и упоминания о Метерлинке.

Откуда же возникла такая версия?

Причина в том, что эту статью Ленин называет в другом, более раннем письме к Горькому, относящемся к концу января 1913 года.

Горький в своем письме от 25 января этого года обратил внимание Владимира Ильича на «фельетоны Луначарского в газете «День» и фельетон его в «Киев[ской] мысли» — «Между страхом и надеждой» (название здесь было передано неточно), охарактеризовав их как «рукописания полумистические». Ленин в ответ написал, что сообщение о фельетоне «Между страхом и надеждой» его заинтересовало, и просил прислать статью. Писатель сразу же выполнил просьбу Владимира Ильича, который уже в февральском письме благодарил за присылку и в беглом замечании выражал свое отрицательное отношение к статье.

Но этот «Рождественский разговор», конечно, не был в глазах Ленина настолько значительным явлением, чтобы возвращаться к нему еще раз через несколько месяцев.

К тому времени в периодической печати появились новые статьи Луначарского. Среди них была и статья «Любовь и смерть», опубликованная в той же «Киевской мысли» в №№ 48 и 55 от 17 и 24 февраля 1913 года. Регулярно информировавший в те годы русскую читающую публику о за-

падноевропейских литературных новинках, Луначарский в первой части статьи характеризовал книгу французского писателя Камилла Моклера (а не Коклена, как сообщается в библиографическом указателе «А. В. Луначарский о литературе и искусстве») — «О физической любви». Вторая же часть статьи была посвящена новому философскому произведению — «Смерти» Мориса Метерлинка, писателя, давно привлекавшего пристальное внимание Луначарского критика.

Приветствуя идейную эволюцию Метерлинка, Луначарский преувеличивал черты реализма, оптимизма и социальности в его художественных произведениях и философских трактатах первого и второго десятилетий XX века.

В 1913 году в названной статье «Любовь и смерть» он дал такую оценку философии Метерлинка: «Что касается меня, то, за ничтожными деталями, мудрость Метерлинка меня очаровывает, подымает, я нахожу

ее, как и поэзию Верхарна, самым полным, самым сверкающим, самым передовым, — самым плодотворным выражением нашей культуры». В новой книге Метерлинка Луначарского привлекали и пантеизм «бельгийского поэта-мудреца», и его гимны непознанному и бесконечному, и даже его рассуждения о разных мыслимых вариантах «загробного существования». В своем увлечении критик обьявил Метерлинка «позитивистом бесконечности» и — что особенно колоритно — «научным мистиком». Вот эти философские оценки Луначарского и вызвали язвительно-ироническое замечание Ленина в рассматриваемом письме.

Таким образом, в комментарии к тому 48 Полного собрания сочинений Ленина нужно внести поправку: Ленин в майском письме 1913 года к Горькому говорит не о статье Луначарского «Страх и надежда», а о его статье «Любовь и смерть».

Н. ТРИФОНОВ.

ОСТАНОВИТЕ АФОРИЗМ!

Вероятно, то, о чем я хочу рассказать, напоминает детективную историю, только без конца. В 1960 году Одесское книжное издательство выпустило вторым изданием сборник мыслей и афоризмов «Золотые россыпи». Просматривая его, я нашел следующее высказывание: «Чтение художественных произведений — неоленимый источник познания жизни и законов ее борьбы» (стр. 51). Подпись: К. Маркс. Указания на источник нет. Но почему такую явно «цитатную» мысль я нигде больше не встречал? — подумалось мне.

Решив уточнить источник этого «афоризма», просмотрел двухтомник «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве» (М. 1957). Не нашел. Обратился к составителю этого сборника М. Лифшицу. Получил от него ответ, что он никогда такого высказывания у Маркса не встречал, что это скорее всего комментарий к произведениям Маркса, принятый составителем сборника афоризмов за слова самого Маркса. Был послан также запрос в Государственную библиотеку СССР имени В. И. Ленина. Опытные библиографы просмотрели все источники свои и научной библиотеки Института марксизма-ленинизма, но подобного высказывания Маркса не

обнаружили. В 1962 году я написал в Одесское книжное издательство с просьбой указать источник афоризма, но ответа не получил.

Наконец уже в 1964 году с помощью редакции «Литературной газеты» удалось выяснить, что в одесском издательстве «Маяк» потеряли карточку с указанием источника этого афоризма. Работники издательства обещали опустить этот афоризм в последующих изданиях сборника «Золотые россыпи», если источник его не будет найден. И действительно, в четвертом издании сборника «Золотые россыпи», выпущенном в 1964 году, этого высказывания нет. На этом, казалось, можно было поставить точку — ошибка исправлена.

До сих пор я не называл фамилии составителя этого сборника. И не назову — из уважения к мужеству его. Инвалид Отечественной войны, тяжело больной человек, много лет прикованный к постели, он собрал сто двадцать тысяч афоризмов, опубликовав часть из них в сборнике «Золотые россыпи». Этот сборник пользуется популярностью у читателей, в 1965 году вышло уже пятое издание его, и не хотелось из-за одной ошибки доставлять огорчение составителю, преодо-

левшему огромный труд. Но все дело в том, что «афоризм», о котором идет речь, перекочевал на страницы печати. Журнал «В мире книг» открыл этим «афоризмом» раздел «Литература и искусство» своего первого номера за 1961 год. Не обошелся без него и «Клуб книголюбов», действующий на страницах еженедельника «Неделя» (1963, № 22, стр. 10). Нашел он место также в сборниках «Мысли и афоризмы» (издан в Баку в 1962 году), «Умное слово» (выпущен издательством «Московский рабочий» в

1964 году). Характерно, что составители этих сборников не указывали источника высказывания. Встречался мне этот «афоризм» и на библиотечных плакатах. Наконец газета «Книжное обозрение» решила в № 12 начать публикацию высказываний о книге — и здесь все то же: «Чтение художественных произведений...» Воистину: остановите афоризм!

И. МОРГЕНШТЕРН,
библиограф.

Улан-Удэ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Г. УТКИН. Штурм «Восточного вала». Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Воениздат. М. 1967. 464 стр.

Книга «Штурм «Восточного вала» — документальный рассказ о битве за Днепр, об эпопее освобождения Киева.

Интерес к этому исследованию определяется, помимо всего прочего, одним обстоятельством историко-психологического плана. Как-то так получилось, то ли из-за драматизма ситуации, то ли из-за глубины перелома в сознании, но начало и конец войны да еще Сталинградская битва описаны несравненно более обстоятельно, чем все другие события четырех военных лет. Ведь только теперь, когда отмечалось двадцатипятилетие битвы под Москвой, мы по-настоящему оценили истинную значимость этого исторического сражения.

1943 год. Гитлеровская армия еще удерживает большую часть захваченной советской территории. Ее стратегии рассматривают поражения под Москвой и Сталинградом как отдельные, частные неудачи. Главные силы фашистов сохраняют свою боеспособность. Именно в эти трудные летние и осенние месяцы сорок третьего года удары на Курской дуге и на Днепре были решающими ударами, открывшими путь к последующему победному наступлению 1944—1945 годов.

Ссылаясь на архивы, фронтовые газеты, на иностранные источники и свидетельства очевидцев, автор подробно и неторопливо повествует о том, как готовилось и осуществлялось освобождение украинской столицы. Он называет имена командующих армиями, командиров корпусов и дивизий, — мы помним их по сводкам Информбюро и приказам, которые читались перед очередным салютом. Но автор не забывает и рядовых участников битвы. Их боевым делам и подвигам посвящено немало страниц.

Книга привлекает правдивостью, научной объективностью.

М. Слуцкий.

★

ОНИ — УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ. Сборник. «Мысль». М. 1966. 271 стр.

«Мы все строим и строим рубежи. Завершили один, глядишь, на соседнем участке фронта наши продвинулись вперед. Тотчас

же нужно устремляться туда. Роем траншеи, ставим дзоты, минируем подступы, чтобы прочно, навсегда закрепить достигнутый нашими войсками успех и подготовить траншеи для нового броска вперед», — вспоминает А. С. Корнев, бывший командующий 6-й саперной армией, начальник строительства ряда рубежей в годы войны.

Другой автор этого сборника — бывший начальник спецуправления Наркомага угольной промышленности СССР по строительству оборонительных рубежей на подступах к Донбассу Д. Г. Оника — рассказывает, как оборонительные рубежи, особенно в первое время, нередко приходилось строить в условиях угрозы окружения и бомбежки. Много интересных фактов приводит также инженер А. Н. Комар: он рассказывает о том, как под огнем врага демонтировались запорожские заводы для эвакуации на восток.

Советские строители шли вслед за наступающими войсками и на не остывшей еще от боев земле воздвигали новые здания, поднимали из руин разрушенные города.

Читатель найдет в этой книге не только рассказ о славных трудовых делах строителей, но и описание их героических подвигов. Когда обстановка осложнялась и враг оказывался рядом, они сменяли кирки и лопаты на винтовки и автоматы и шли в бой. А сколько мин обезвредили они на «строительных площадках»!

Авторы сборника писали свои отчеты и воспоминания по горячим следам событий... Но только сейчас эти материалы извлечены из архивов, и читатели по достоинству могут оценить замечательный подвиг строителей, внесших большой вклад в разгром фашизма.

Л. Давыдова.

★

ГРАНТ МАТЕВОСЯН. Мы и наши горы. Оранжевый табу. Повести. Перевод с армянского Анаст Баяндур. «Молодая гвардия». М. 1967. 320 стр.

Одна из этих повестей — «Мы и наши горы» — примерно года полтора назад печаталась в «Литературной Армении» и была сразу замечена критикой: молодой армянский писатель дебютировал книгой доброй, честной, своеобразной. Мы узнали старое, как горы, село Антарамеч, его жителей, пастухов и земледельцев, их жизнь, их детей и

дедов, мы были покорены этими людьми и покорены автором, его неторопливым и благодушным рассказом, его иронией, его острым ощущением своей связи с родной землей и его мыслью о жалкой доле тех, кто нарушает или пытается нарушить эту вечную связь.

Повесть «Оранжевый табун» — новая вещь, но она воспринимается как продолжение первого произведения, не менее глубоко и поэтически раскрывающее нам жизнь армянского села. Здесь по-прежнему два главных героя: «мы и горы», люди и природа, человек и его труд, его жизнь. Самостоятельные и в то же время внутренне связанные новеллы объединили разных героев: еще нестарого Арно, написанного с фламандской сочностью, труженика и мудреца, и хитреца Гикора, глупого «националиста» Месропа и не менее глупого его противника Левона.

Очень смешна и живописна, как и остальные новеллы, история Гранта Каряна, приехавшего домой из города: великолепный Грант, горожанин, только что окончивший институт, почти двое суток сидит на станции — лето, в селе все заняты, за ним некому приехать, а у него багаж. Но, пожалуй, лучшие страницы повести посвящены старому коню Алхо, его путешествию в город: автор как бы помнит все литературные образцы, начиная с Холстомера, и стремится в создании своего Алхо к образу по-настоящему высокому, совершенному.

Всегда приятно, когда вторая повесть писателя оказывается не хуже, а в чем-то глубже первой, особенно приятно, что Грант Матевосян сохраняет верность своей теме и своему взгляду на жизнь — взгляду умному и доброму.

М. Роцин.

★

М. ДЕМИН. Мирская тропа. Рассказы, повесть. «Советский писатель». М. 1966. 172 стр.

Различны пути, что привели на таежные стройки и в отдаленные леспромхозы героев книги Михаила Демина. Одни приехали по вербовке, побуждаемые интересом к сибирскому краю. Другие потянулись в тайгу за длинным рублем, и нигде не могут они пустить глубокие корни, кочуют с места на место, и носит, и кружит их жизнь по необъятной Сибири. Третьи — не по своей воле когда-то попали в Сибирь, а затем осели там, приросли душой к этому краю, и лишь в щемящие бессонные ночи видятся им почти позабытые за десятилетия огни больших городов.

Сложные, трудные характеры привлекают писателя. Особенно это относится к повести «Слепота». Две жизни, две судьбы сталкивает автор в таежной глуши, под стылыми сводами охотничьего балагана. Полуослепшего, погибающего от пятидневного блуждания по тайге инженера Кириллова и Сергея, для которого тайга давно стала родным домом. Когда-то, в

далеком тридцать девятом, Кириллов трусливо оклеветал Сергея, и разошлись их пути. Сергея повезли в Сибирь, Кириллов продолжал благополучно делать карьеру в столичном городе. И теперь они встретились вновь.

К сожалению, М. Демину не удалось психологически точно обрисовать столкновение этих двух характеров. Он не пошел далее внешней напряженности сюжета. Надуманно звучит исповедь Кириллова своему неизвестному спасителю. Надуманна и реакция Сергея, сразу разглядевшего в Кириллове того, кто погубил его жизнь: «Потом он остановился и, глядя в небо, слепящее и гулкое, крикнул: «Но ведь должен же кто-нибудь быть в ответе? За все, за все... Нет, ты будешь наказан!»

Тема, которой коснулся молодой автор в своей повести, требует от писателя предельной искренности и аналитической последовательности изложения. К сожалению, в «Слепоте» внешняя сюжетная драматичность не способствует раскрытию глубокой мысли.

Но есть в книге Михаила Демина, и особенно в цикле рассказов «Мирская тропа», страницы, написанные внимательным, пристальным художником. Это страницы о тайге. Демин хорошо чувствует и любит природу таежного края. И хотя, стремясь к образности, красочности, писатель иногда впадает в излишества, пейзаж удается ему.

В тайге проходит жизнь героев «Мирской тропы». Мирская тропа, «потайная, расколыничья тропа, она вела за синие вершины Ала-Тау, и была она как рубец: она разделяла миры. Здесь кержаки убивали пришельцев — тишины хотели, берегли покой». Кержаки жили «в тайности, в стороне от сует и наваждений», ибо «не нужен нам греховный мир, и каждый человек оттуда — враг», — поучали старики. Но начались большие стройки, пришли в тайгу новые люди. О людях тайги — и тех, кто вырос и жил в сумрачном мире расколыничьих скитов, и тех, кто только-только приехал в таежный край, по-своему, интересно рассказывал Михаил Демин.

Вл. Енишерлов.

★

ПИСЬМА СЛАВЫ И БЕССМЕРТИЯ. 1905—1920 годы. Политиздат. М. 1966. 192 стр.

Беззаботно жил и многим увлекался шестнадцатилетний юноша Владимир. Но вот пришла ему в голову мысль, что смерть неминуема и никто потом не будет помнить его. Владимиру стало не по себе, его одолевают трудные раздумья...

Письмо этого юноши, опубликованное недавно в одной из газет, пришло мне на память при чтении небольшой, но очень емкой книжки «Письма славы и бессмертия». В ней собраны предсмертные письма революционеров — участников событий 1905 года и гражданской войны.

Вожаку Златоустовского союза молодежи Виктору Геппу тоже было шестнадцать лет,

когда он очутился перед лицом неминуемой близкой смерти. Контрреволюционеры схватили его и подвергли мучительным пыткам. Возможны лишь два приговора — каторга или расстрел, писал он матери в июне 1919 года. «Как к тому, так и к другому отношусь хладнокровно, ибо чувствую себя правым перед своей совестью, а это ведь самое главное».

«Ухожу из жизни со спокойной совестью... — писал своим друзьям перед казнью коммунист Лотов, — будьте счастливы и доведите дело до конца».

«Кто, как не мы, матросы, начавшие революцию в Севастополе, можем перебросить ее сразу на Кавказ, отсюда в Одессу, в Николаев...» — писал летом 1905 года, находясь в тюремной камере, матрос Александр Петров (это письмо было найдено почти шестьдесят лет спустя, при разборке старой каменной стены бывшей севастопольской тюрьмы).

«Мы погибаем с надеждой на победу...» — писал своим товарищам 2 июля девятнадцатого года из омовской тюрьмы коммунист Марк Никифоров.

Мысль о том, что они погибают за правое дело и что начатая ими борьба будет продолжена и доведена до победы, придавал этим людям такую стойкость духа, перед которой преклонится каждый, кто прочтет написанные кровью их предсмертные строки. Они сокрушаются, что мало сделали, и завещают оставшимся в живых бороться, не щадя себя, за народное счастье. Революционеры-борцы, которым обязаны мы свободой, как бы говорят нам, потомкам своим: не о смерти думайте — о жизни, о том, чтобы больше успеть сделать для блага людей.

На читателя смотрят спокойные, честные, мужественные лица мужчин и женщин — авторов предсмертных записок. Эти портреты, а также краткие биографические справки о коммунистах-революционерах еще более усиливают впечатление от книги.

Б. Исаев.



АЛЕКСАНДР ДЕЙЧ. Голос памяти. Театральные впечатления и встречи. «Искусство». М. 1966. 375 стр.

У актера бывают минуты и часы ни с чем не сравнимого счастья. Это случается, когда актер овладевает не только вниманием зала, но и сердцами зрителей, всем их существом. Кончается жизнь актера — и у его слушателей остается благодарное воспоминание о нем. А что будет через два-три поколения? Как передается сквозь годы искусство этих актеров? Помогут ли здесь письменные свидетельства очевидцев?

Мы восторженно произносим имена Мочалова, Каратыгина, Щепкина, читаем признательные строки о них, но их-то самих, увы, мы не слышим, их живой игрой мы насладиться не можем. Правда, сейчас к нашим услугам магнитофон и кино. Это большая помощь нашей памяти. И все же чудо непосредственного, живого воздействия ак-

терской игры — в этот вечер, вот сейчас, сию минуту — уходит вместе с актером.

Есть множество описаний, притом мастерских. актерской игры, актерского творчества на людях, перед тысячами глаз. Разумеется, описание чуда не может заменить нам самого чуда. Но и без описания нам не обойтись, тем более что многое, если не все, зависит от личности того, кто описывает.

Сейчас перед нами книга Александра Дейча «Голос памяти», любовно изданная «Искусством». Жизнь столкнула А. Дейча с примечательными людьми, он всегда находился в гуще литературной и театральной жизни. Ему есть что рассказать, и он знает, как рассказать. У него хорошая помощница — цепкая память, и послушное перо, умеющее верно и живо воспроизводить пережитое и виденное.

Книга Александра Дейча — это не мозаика частностей и мелочей, извлеченных из копилки памяти. Это — живая летопись театральной жизни на протяжении нескольких десятилетий, летопись, созданная пристрастным, зорким, влюбленным в искусство театра писателем. Как известно, А. Дейч участвовал в нашей театральной жизни как драматург, историк и теоретик театра, критик, журналист. Созданные им групповые портреты театров и отдельные портреты актеров и режиссеров даны в книге на фоне времени. Мы находим здесь страницы истории не только русского, но и украинского, узбекского, еврейского театров.

Вера Юренева и Сандро Мойсси, Мейерхольд и Кугель, Кузнецов и Евреинов, Марджанов и Микола Садовский, Михоэлс и Хидятов... Особо надо выделить А. В. Луначарского, с которым А. Дейча связывала многолетняя дружба и творческое сотрудничество. (Кстати сказать, от автора книги «Голос памяти» не только можно, но и должно ждать отдельной книги о Луначарском — человеке, общественном деятеле, драматурге, театроведе.)

Книга Александра Дейча написана в неторопливой и обстоятельной манере. Его описания естественно переходят в раздумья над судьбами современного искусства театра. Наряду с людьми, очерченными полно и многосторонне, читатель встречается в книге с десятками людей, обозначенных на страницах беглым, штриховым наброском (от разговора по телефону с Блоком до встреч с Брехтом и Шоу).

К удовольствию читателя, книга избавлена от тех приемов мемуарной литературы, которые становятся уже достоянием пародистов. Автор прежде всего занят своими героями, встреченными им на жизненном пути людьми, их работой, их удачами и неудачами, их поисками. Автор все время — вместе с ними — ищет в искусстве верных путей, серьезных решений. И желая остаться в тени повествования, тем самым бывает награжден вниманием читателя, ценящего сосредоточенную мысль и неподдельное чувство.

О. Львов.

А. ШАЛИМОВ. На пороге великих тайн. «Мысль». М. 1966. 296 стр.

Обширная библиотека научно-художественной литературы пополнилась книгой рассказов и очерков А. И. Шалимова, посвященных специалистам одной из самых романтических профессий — нашим геологам.

«Когда Хабаровск не принимает» — так называется открывающий книгу рассказ о встречах геологов в аэропорту в нелетную погоду. Живо, с юмором написанный, он привлекает и серьезными проблемами — о будущем геологии, путях ее развития, подготовке молодых специалистов.

Остальные рассказы первой части книги — живые зарисовки с натуры. Всякий, кто знаком с экспедиционной обстановкой, увидит в них много знакомого. Как живой встает перед читателем «медсестра Юсупов» — высокий худой узбек в белом фартуке с оборкой и брезентовой санитарной сумкой через плечо («Медсестра Юсупов, или Средство от фаланг»). С напряженным вниманием читатель следит за событиями, случившимися с геологом Поповым («Тигр на ветке»).

Основная тема второй части книги — открытие руд, решение сложных геологических задач. Мысль автора ясна: ушло в прошлое время, когда открытия совершались одиночками. «Каждая находка, каждое открытие — дело труда, настойчивости, усилий многих людей, составляющих отряд, партию, экспедицию. Мечта и энергия одного должны быть подкреплены трудом и умением другого, умножены поддержкой, опытом, дружеским участием третьего и четвертого...» Характерен тут очерк «По дорогам и тропам дикого Крыма», увлекающий читателя в мир нерешенных геологических загадок Крымского полуострова. Следуя вместе с геологами по дикому Крыму (есть еще такой!), читатель обнаруживает коралловые рифы, опоясывавшие некогда действовавшие подводные вулканы, и находит разгадку происхождения огромных глыб известняка на южном берегу Крыма.

Заключительная часть книги состоит из научно-популярных и научно-художественных очерков о таких разнообразных и сложных геологических явлениях и процессах, как вулканизм и землетрясения. О задачах, стоящих перед геологами в ближайшем будущем, рассказывает глава «На грани нового века». Изучение недр Земли, исследование дна морей и океанов, разработка основ наук о строении и истории планет, на которые в недалеком будущем отправятся астронавты (а среди них, конечно, обязательно будут геологи!), и наконец участие геологов в перестройке лика родной планеты — вот проблемы, обсуждаемые автором.

В. Лебединский,

доктор геолого-минералогических наук.

Симферополь.

★

Г. К. ИВАНОВ. Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года). Справочник. Выпуск I. «Музыка». М. 1966. 437 стр.

Известно, с каким трудом пробивают себе дорогу в наших издательствах разного рода справочники и библиографические указатели. От них отрешиваются, как от чумы, их «перебрасывают» из плана в план и наконец издают — если издают — крохотными, ни с чем не сообразными тиражами. И столь же хорошо известно, что книги этого рода бывают в продаже всего несколько часов, а через несколько дней они уже становятся библиографической редкостью.

Именно так — или почти так — обстояло дело с книгой Г. К. Иванова. Выразительная цифра ее тиража — 2390 экземпляров. Однако это серьезная, большая работа, результат многолетнего труда. Автор едва ли не исчерпал свою тему; он изучил все печатные источники, и прежде всего отечественную периодику, обследовал все библиотеки и нотохранилища, стремясь с возможной полнотой собрать сведения о том, какие произведения русской поэзии нашли отражение в русской музыке.

Разумеется, перед нами не исследование, а справочник, и на первый взгляд он может показаться всего лишь сухой регистрацией бесчисленных стихотворений, положенных на музыку композиторами. На самом же деле это удивительная и даже увлекательная книга. В ней впервые систематизирован богатейший материал. Результаты этой работы оказались неожиданными: в справочник вошли имена 1900 русских поэтов, на стихи которых написали музыку почти столько же композиторов. Среди тех и других — отнюдь не только классики и профессионалы; множество любителей, дилетантов, давно и прочно забытых, также вошли в эту книгу. Но именно эта полнота — существеннейшее достоинство ее.

Работа Г. К. Иванова дает массу поводов для размышлений. Какова роль русской поэзии в развитии национальной музыки? Как протекает и каким законам подчиняется процесс их взаимообогащения? Почему музыканты предпочитают того или иного поэта, выбирают это, а не другое стихотворение?

До появления этой работы мы не знали, не могли знать, сколько произведений Пушкина было положено на музыку. Теперь выясняется, что более трехсот пятидесяти, причем некоторые из них перекладывались пятнадцать—двадцать и больше раз. Стихотворению «Не пой, красавица, при мне» дали музыкальное истолкование двадцать шесть композиторов (в том числе Глинки, Римский-Корсаков, Рахманинов, Балакирев, Лядов). Вслед за Пушкиным по количеству романсов, казалось бы, должны идти такие «музыкальные» поэты, как Лермонтов и Фет, — соответственно 155 и 177 их поэтических произведений, положенных на музыку, зарегистрировано в справочнике (некоторые по многу раз). Но оказывается, что Лермонтова и Фета «обогнал» К. Бальмонт:

за короткое время — с середины девяностых годов до 1917 года — без малого три сотни его стихотворений превратились в романы, причем, в большинстве уже забытые и не оставившие заметного следа в русской музыке.

Очень часто даже сочинения безвестных авторов становились популярными романсами и народными песнями. Многие из них поются донныне, давно утратив имя своих создателей. Кто, например, помнит теперь имя И. П. Макарова, когда-то написавшего стихотворение «Колокольчик»? Между тем, положенное на музыку в 1853 году А. Гурилевым и в 1858 году К. Сидоровичем («Однозвучно гремит колокольчик»), оно стало популярной песней, которую знает буквально каждый. Такова же примерно судьба стихотворения А. А. Навроцкого «Есть на Волге утес» (1864).

Есть в книге и недочеты. Не везде указаны даты жизни авторов текстов, хотя некоторые из них можно было бы установить. Вряд ли следовало включать в книгу мелодекламации со стихами Ады Негри, поскольку к русской поэзии эти стихи не относятся. Среди музыкальных воплощений лирической миниатюры А. Толстого «Море и сердце» пропущено едва ли не лучшее из них — известный роман Чайковского «Не верь, мой друг, не верь...». Это, разумеется, случайность, но случайность очень досадная. Есть в книге и другие пропуски, восполнить которые следовало бы при ее переиздании.

В. Жданов.

★

В. Я. ФРЕНКЕЛЬ. Яков Ильич Френкель. «Наука». М.—Л. 1966. 473 стр.

Выдающийся советский ученый Яков Ильич Френкель оставил богатое эпистолярное наследство. Оно и составило основу этой книги. Наиболее интересные письма, которые он присылал родным и друзьям из-за границы — из Берлина, Гёттингена, Оксфорда, Рима, Парижа, Нью-Йорка, Миннеаполиса, Вашингтона, Лос-Анжелоса... Датированные двадцатыми и началом тридцатых годов, они не только представляют собой документальный рассказ о развитии физики, но и содержат приметы времени, обнаруживают острую социальную зоркость автора. Письма живо рассказывают о выдающихся советских ученых — А. Ф. Иоффе, П. Л. Капице, И. Е. Тамме, и о крупнейших представителях зарубежной науки — Альберте Эйнштейне, Максе Борне, Поле Ланжевене, Нильсе Боре...

Талант Я. И. Френкеля раскрывался стремительно: первая научная работа в восемнадцать лет, профессорское звание в двадцать шесть, избрание в члены-корреспонденты Академии наук СССР в тридцать пять. Он, как говорится в книге, «был в вечном цейтноте» — диапазон его научных интересов был очень велик, и он как будто спешил внести свой вклад в развитие многочисленных отраслей современной физики.

Всеобщее признание получила выдающаяся работа Я. И. Френкеля «Кинетическая теория жидкостей», созданная в годы войны в тяжелых условиях эвакуации. Ученый жил с семьей в Казани и писал свой труд в полутемной прачечной, положив на колени кусок фанеры...

В предисловии к своей работе ученый выражает восхищение Красной Армией, спасающей родину и цивилизацию. Кстати, уже на второй день войны Яков Ильич подал заявление в военкомат Выборгского района Ленинграда с просьбой направить его добровольцем в действующую армию. Комиссар отказал ему: ученые необходимы были стране для победы так же, как и воины. И профессор занялся усовершенствованием бронбойных материалов, радиолокацией и другими военными проблемами.

Из писем возникает образ советского ученого-гражданина с широкими общественными интересами и органически связанного с жизнью. Будучи за рубежом, Яков Ильич выступал с докладами о Советском Союзе и в письмах к родным выражал удовлетворение, что ему выпала честь представлять страну, являющуюся «единственной надеждой мира».

Природа щедро наделила Якова Ильича талантами. Он был не только поразительно одаренным ученым, но и обладал способностями музыканта и художника (об этом свидетельствует серия воспроизводимых в книге рисунков). Перу его присущи живость, точность, образность.

Книга о выдающемся советском физике собрана его сыном Виктором Яковлевичем, тоже физиком. Он весьма деликатно выполнил свою миссию, выступая с дополнением и комментариями документального материала только там, где это было необходимо.

Мих. Цунц.

★

ВЛАДИМИР ЖУКОВСКИЙ. Песня, спетая один раз. Повесть. Центрально-Черноземное книжное издательство. Воронеж. 1966. 215 стр.

Судьба Владика, героя повести «Песня, спетая один раз», не столь уж необычна. Судьба мальчишки, потерявшего близких, попавшего в детский дом, потом в колонию и все-таки нашедшего свою дорогу в жизни, — все это не раз встречалось в литературе. И тем не менее «Песня, спетая один раз» читается с интересом, а герой ее вызывает сочувствие читателя. Этому, без сомнения, способствует естественный и искренний тон повествования, ведущегося в форме рассказа от первого лица.

Ранние воспоминания Владика расплывчатые и отрывочные. Отца он не помнит совсем, с трудом вспоминает, скорее даже придумывает лицо матери. Зато ему запомнились песни, которые она пела, ее поступки, глубокий смысл которых он осознавал постепенно и которые, однако, стали стержнем, сформировавшим его характер. Автор ни разу не произносит слова «героизм», восьми-

летний мальчишка и не мог так воспринимать поступки матери, но именно таким тихим, незаметным героизмом была ее жизнь. Она оставила обжитой и привычный Кунгур, забрала двоих детей и отправилась в глухую таджикскую деревню, куда, как она считала, звал ее долг врача. Она была первым и единственным тогда врачом в Муминабаде. Она не только оказывала медицинскую помощь, но и олицетворяла собой определенные гуманистические принципы. Честность — то главное человеческое качество, которое помогло ее старшему сыну пройти сквозь все превратности сиротской доли.

А превратностей на его пути было немало. Вместе с большинством детдомовцев конца двадцатых — начала тридцатых годов он голодал. Мы видим, что значило для мальчишек удержаться и не отломить хлеб от общей буханки или не дать пожить за их счет сильному наглецу. Владик, которого назначили завскладом колонии, частенько ходит битый, потому что не хочет добровольно кормить ненасытного обжору Козла.

Разные люди окружали мальчишка, по-разному влияя на него и воспитывая его характер. Приветливый вор, директор Шахмансурского детского дома — и скорый на руку, но справедливый директор колонии по прозвищу Бамп-Бумп. Самоотверженный Кадилло, отдающий всю свою еду и даже ворующий для больной младшей сестренки, — и терпящий человеческий облик Козел. «Яша Хведорович Христофоров, двадцать седьмого года рождения, не оставляющий товарища в беде, — и Гриша Клоуч, предающий друзей, чтобы спасти собственную шкуру.

И сам Владик меняется на протяжении повести. Он уходит от пытавшихся усыновить его людей, потому что не может примириться с их моралью «все для себя». Он хочет быть честным.

В трудную минуту жизни Владик отрезался от правды и справедливости: «Нет на свете более пустячного занятия, чем поиски правды. Правда — это такая штука, которую можно повернуть то орлом, то решкой: вся суть в том, у кого в руках она находится» Вся книга Владимира Жуковского служит опровержением этой «философии», показывая, как забота и доброта людей помогают встать на ноги бездомному мальчишке.

В. Швейцер.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ПИОНЕРЫ СОВЕТСКОЙ РАДИОТЕХНИКИ. Составитель проф. Б. А. Остроумов. «Наука». М.—Л. 1966. 215 стр.

Среди нескольких радиостанций, имевшихся в 1918 году в нашей стране, лишь на Тверской приемной радиостанции была организована небольшая «внештатная» исследовательская лаборатория. Начальником радиостанции был В. М. Лещинский. Здесь работали также такие энтузиасты радиодела, как М. А. Бонч-Бруевич и В. К. Лебединский. В том же году по личному указанию В. И. Ленина радиолaborатория была переведена в Нижний Новгород и после подписания Лениным «Положения о лаборатории» начала быстро развиваться как своеобразное научно-производственное учреждение.

Нижегородская радиолaborатория стала колыбелью радиолюбительства — этого поистине народного движения, охватившего всю страну и давшего ценные кадры специалистов.

«Из нижегородского центра, — пишет Б. А. Остроумов, — новые технические идеи как электрические искры рассыпались во все стороны, зажигая умы, возвещая наступление новой эры технического прогресса». Из пятидесяти шести радиостанций Советского Союза, вошедших в список «Путеводителя по эфиру» за 1928 год, сорок три были спроектированы, построены и пущены в эксплуатацию силами Нижегородской радиолaborатории. В том числе две самые мощные радиотелефонные станции в Европе — «Большой Коминтерн» (в 1922 году) и «Новый Коминтерн» (в 1926 году).

За значительные успехи в исследовательской и производственной работе ВЦИК в 1922 году наградил лабораторию орденом Трудового Красного Знамени, а позже ей было присвоено имя Владимира Ильича Ленина.

Обо всем этом рассказывают двадцать четыре очерка сборника о наиболее активных сотрудниках Нижегородской радиолaborатории. Читатели почерпнут из него интересные сведения о жизни и дальнейших судьбах замечательных пионеров советской радиотехники, успешно претворявших в жизнь идею Ленина о создании «газеты без бумаги и «без расстояний».

А. Иглицкий.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Л. Жигарев. СССР. Год 1970-й (Заметки публициста). 214 стр. Цена 29 к.

Ж. Коньо. Великая Октябрьская социалистическая революция и борьба трудящихся Франции за социальный прогресс. Перевод с французского. 110 стр. («Великая сила идей Октября»). Цена 15 к.

Н. Крупская. Октябрьские дни. 31 стр. Цена 5 к.

А. Куньял. Путь к победе (Задачи партии в демократической и национальной революции). Перевод с португальского. 335 стр. Цена 87 к.

В. Ладухин. Азин. 126 стр. Цена 14 к.

В. Маевский. Европа без джентльменов. 207 стр. Цена 41 к.

Э. Саломаа. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на рабочее движение Финляндии. 96 стр. («Великая сила идей Октября»). Цена 14 к.

Справочник секретаря первичной партийной организации. 271 стр. Цена 34 к.

В. Степаков. Партийной пропаганде — научные основы. 287 стр. Цена 66 к.

«МЫСЛЬ»

И. Беляев. Дифференциальная рента в СССР. 200 стр. Цена 78 к.

Э. Литаврина. Колумбия. 167 стр. Цена 25 к.

Г. Мелвилл. Тайпи. Перевод с английского. 295 стр. Цена 94 к.

Некоторые вопросы управления сельскохозяйственным производством. 336 стр. Цена 1 р. 18 к.

А. Сухов. Философские проблемы происхождения религии. 288 стр. Цена 1 р. 3 к.

Человек и его работа. Социологическое исследование. 392 стр. Цена 1 р. 53 к.

Эффективность сельскохозяйственного производства. Сборник статей. 239 стр. Цена 85 к.

«ЭКОНОМИКА»

А. Ефимов. Планирование национальной экономики в СССР. 57 стр. Цена 21 к.

Г. Иванов А. Приблуда. Плановые органы в СССР. 207 стр. Цена 42 к.

С. Косилов. Физиологическое обоснование методов повышения производительности труда. 159 стр. Цена 53 к.

Новая система планирования и стимулирования в промышленности (Опыт перевода предприятий в первом полугодии 1966 г.). 183 стр. Цена 36 к.

И. Парамонов. Учиться управлять. Мысли и опыт старого хозяйственника. 166 стр. Цена 28 к.

Сетевое планирование и управление. 397 стр. Цена 1 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Венцлова. Весенняя река. Повесть. Перевод с литовского. 344 стр. Цена 65 к.

Р. Достян. Тревога. Повесть. 244 стр. Цена 33 к.

М. Ищенко. Ближе чем на сто иголок. Роман. Перевод с украинского. 235 стр. Цена 39 к.

В. Конечный. Кто смотрит на облака. 347 стр. Цена 48 к.

А. Лебеденко. Лицом к лицу. Роман. 612 стр. Цена 1 р. 12 к.

С. Липкин. Очевидец. Стихотворения разных лет. 183 стр. Цена 34 к.

А. Макарян. О сатире. Перевод с армянского. 275 стр. Цена 73 к.

В. Овечкин. Дороги, нами разведанные. Повести, очерк, рассказы. 632 стр. Цена 1 р. 22 к.

Ю. Рытхэу. Ленинградский рассвет. Роман. 287 стр. Цена 56 к.

Хранители ключей. Рассказы эстонских писателей. Перевод с эстонского. 407 стр. Цена 74 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

О. Берггольц. Избранные произведения. В 2-х томах. Том 1. Стихотворения и поэмы. 363 стр. Цена 70 к. Том 2. Проза. 651 стр. Цена 96 к.

Л. Кручковский. Тенета. Роман. Перевод с польского. 294 стр. Цена 75 к.

Л. Пиранделло. Покойный Маттиа Паскаль. Перевод с итальянского. 259 стр. Цена 39 к.

Т. Плавт. Избранные комедии. Перевод с латинского 663 стр. Цена 92 к.

Н. Чуковский. Время на крыльях летит... Избранные переводы Н. Чуковского. 159 стр. Цена 30 к.

А. Шницлер. Жена мудреца. Новеллы и повести. Перевод с немецкого. 702 стр. Цена 1 р. 31 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Каверин. Двойной портрет. Роман. 223 стр. Цена 41 к.

А. Кобринский. Кто — кого? (О кибернетических машинах и человеке). 302 стр. Цена 67 к.

Л. Корнешов. Смотрю людям в глаза. Субъективные записки. 192 стр. Цена 28 к.

Песнь любви. Лирика русских поэтов. 638 стр. Цена 1 р. 68 к.

Ш. Рашидов. Сильнее бури. Роман. Перевод с узбекского. 318 стр. Цена 72 к.

В. Савченко. Открытие себя. Научно-фантастический роман. 348 стр. Цена 66 к.

Н. Хохлов. За воротами слез (книга об Африне). 254 стр. Цена 72 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Бонч-Бруевич. Ленин и дети. 16 стр. Цена 13 к.

Е. Верейская. В те годы. Рассказы о революционных событиях 1901—1917 годов. 223 стр. Цена 68 к.

Н. Веретенников. Володя Ульянов Воспоминания о детских и юношеских годах В. И. Ленина в Кокушкине. 64 стр. Цена 11 к.

М. Дудин. Где наша не пропадала. 223 стр. («Моя книга»). Цена 44 к.

Л. Успенский. Почему не иначе? Этимологический словарь школьника. 300 стр. Цена 60 к.

В. Ян. Огни на курганах. Историческая повесть (об Александре Македонском). 327 стр. Цена 61 к.

«ИСКУССТВО»

В. Богданов-Березовский. Встречи. 277 стр. Цена 1 р. 38 к.

А. Володин. Для театра и кино. 310 стр. Цена 1 р. 13 к.

Л. Фрадкин. Второе рождение. Некоторые вопросы экранизации. 183 стр. Цена 1 р. 2 к.

«НАУКА»

Африка. 1961—1965 гг. (Справочник). 392 стр. Цена 1 р. 42 к.

З. Бурджалов. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. 407 стр. Цена 1 р. 90 к.

Н. Гей. Искусство слова. О художественности литературы. 364 стр. Цена 1 р. 67 к.

Б. Кедров. Предмет и взаимосвязь естественных наук. 436 стр. Цена 1 р. 53 к.

В. Куманев. Социализм и всенародная грамотность. Ликвидация массовой неграмотности в СССР. 328 стр. Цена 1 р. 39 к.

И. Минц. История Великого Октября. В 3-х томах. Том 1. Свержение самодержавия. 930 стр. Цена 4 р. 20 к.

О. Михайлов. Иван Алексеевич Бунин. Очерк творчества. 174 стр. Цена 56 к.

К. Островитянов. Думы о прошлом. Из истории первой русской революции, большевистского подполья и октябрьских боев против контрреволюции в Москве. 315 стр. Цена 1 р. 15 к.

Ф. Тютчев. Лирика. Том 1. (1824—1873). 447 стр. Том 2. (1815—1873). 511 стр. («Литературные памятники»). Цена 2 р. 10 к. за два тома.

Н. Чирков. О стиле Достоевского. Проблематика, идеи, образы. 303 стр. Цена 81 к.
Эйнштейновский сборник. 1967. 370 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ПРОГРЕСС»

В. Адам. Трудное решение. Мемуары полковника 6-й германской армии. Перевод с немецкого. 496 стр. Цена 1 р. 78 к.

Ч. Р. Аллен. Хойзингер из четвертого рейха. Возрождение германского генерального штаба. Перевод с английского. 408 стр. Цена 1 р. 47 к.

Американцы размышляют, американцы критикуют. Проблемы внешней политики США. Сборник статей. Перевод с английского. 423 стр. Цена 1 р. 42 к.

И. Клима. Час тишины. Роман. Перевод с чешского. 280 стр. Цена 92 к.

М. Цветаева. Просто сердце. Стихи зарубежных поэтов в переводе М. Цветаевой.

104 стр. («Мастера поэтического перевода»). Цена 18 к.

С. Хельмебак. Страшная зима. Роман. Перевод с норвежского. 152 стр. Цена 37 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Бек. Мои герои. Повести. 459 стр. Цена 86 к.

А. Мирзаев. Орлы и орлята. Стихи. Перевод с лакского. 112 стр. Цена 15 к.

Д. Яндиев. Лавина. Стихи разных лет. Перевод с ингушского. 220 стр. Цена 32 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Н. Кейзеров. Власть без будущего. Критика буржуазных теорий о будущем государства и права. 167 стр. Цена 39 к.

В. Мартемьянов. Решение местными Советами и их исполнительными органами гражданскоправовых вопросов (касающихся граждан). 136 стр. Цена 24 к.

Многостороннее экономическое сотрудничество социалистических государств. Сборник документов. 308 стр. Цена 78 к.

Постановления пленума Верховного Суда РСФСР. 168 стр. Цена 44 к.

К. Уржинский. Трудоустройство граждан в СССР. 144 стр. Цена 71 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Г. Гулям. Встреча будущее. Стихи. Перевод с узбекского. Ташкент. Издательство художественной литературы им. Гафура Гуляма. 282 стр. Цена 69 к.

С. Гуртуев. Синий ливень. Лирика. Перевод с балкарского. Нальчик. Кабардино-Балкарское книжное издательство. 128 стр. Цена 22 к.

К. Джунусов. Сердце любовью дышит. Стихи и поэмы. Перевод с киргизского. Фрунзе. «Кыргызстан». 80 стр. Цена 14 к.

Л. Кибардин. Полвека. Воспоминания старого врача. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 157 стр. Цена 40 к.

В. Коллар. 187 дней из жизни Шалапина. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 247 стр. Цена 81 к.

Ленинградцы в Испании (1936—1939). Сборник воспоминаний. Лениздат. 288 стр. Цена 54 к.

Н. Поведенко. Вешний сад. Повесть и рассказы. Алма-Ата. «Жазушы». 112 стр. Цена 16 к.

Г. Семенов. От Барселоны до Прохоровки. Очерки. Харьков. «Прапор». 131 стр. Цена 26 к.

Тульский край. Документы и материалы. Часть 1. Тула. Приокское книжное издательство. 376 стр. Цена 97 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 20/III 1967 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 15/V 1967 г.
А 02538 Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
Зак. 977. Тираж 148 500.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636